

Н О В Ы Й
М И Р

12



1950

НОВАЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVI

№ 12

Декабрь, 1950 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ТЕОФИЛИС ТИЛЬВИТИС — На земле литовской, повесть в стихах. Авторизованный перевод с литовского М. Петровых	3
ОЛЕСЬ ГОНЧАР — Микита Братусь, повесть. Авторизованный перевод с украинского Л. Шапиро	44
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Из книги путешествий, стихи	87
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ — Современники, стихи	89
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
БОРИС ЗАВАДСКИЙ — Пять лет за океаном. (Из канадских записок.)	94
ЗА МИР, ЗА ДЕМОКРАТИЮ!	
Юр. КОРОЛЬКОВ — В новой Германии. (Записки корреспондента.)	142
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
С. МАРШАК — Заметки о мастерстве	184
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ГОВАРД ФАСТ — Литература и действительность. Перевёл с английского П. Топер.	213
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	240
Б. Закс. В борьбе за мир. — Е. Ковальчик. Единство замысла. — Г. Маргвелашвили. Неотвратимая воля истории. — Л. Сейфуллина. Необхо- димое и излишнее. — Е. Сурков. О правде вымысла. — Н. Онуфриев. Новая книга о Белинском. — Д. Данин. Великий характер.	
<i>Международные отношения. Борьба за мир</i>	265
Академик Е. Тарле. Трезвый голос американского публициста. — М. Цунц. Учёный-борец Фредерик Жолио-Кюри.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Философия</i>	270
Кандидат философских наук Л. Шершенко . Бертран Рэссел — лейб-философ английского империализма.	
<i>Техника</i>	272
Действительный член Академии наук БССР Н. Акулов . Рассказы о русском первенстве.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Октябрь—ноябрь 1950 года)	275
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» за 1950 год	280

ТЕОФИЛИС ТИЛЬВИТИС

★

НА ЗЕМЛЕ ЛИТОВСКОЙ

Повесть в стихах

Часть первая

I

Земля распятий, хуторов, болот,
Векам пившая батрацкий пот.
В луга пойдёшь — как есть одна трясина.
На пашни глянешь — выжженная глина.
Поля ложбинами рассечены.
Как черепа, белеют валуны.

В Уснине прижились нужда и горе.
Опережая утренние зори,
За тощей клячей тащится с темна
С беззубою ухмылкой борона.
Здесь человек измучен недоедом
И от рождения приучен к бедам.

Кустарником зарос холмистый луг.
Одна метлица лишь, да мох вокруг,
Да сонные головки курослепа.
Когда приходит срок уборки хлеба,
С косой нейдут, берутся за серпы.
И, подпоясавшись, встают снопы.

Внаклонку жнеи движутся устало,
Чтоб ни зерна на землю не упало,
Чтоб ни одной соломинки не смять,
Чтобы добро не уходило вспять...

И снова осень с нищенской сумою
К бездольным шла дорогою прямою.
Ветра шумят в ольшанике пустом.
Нужда стучится к селянину в дом.
Взаимы просить к помещику идёт он
И отдаёт ксендзу, что добыл потом:
Кусок холста, остатнюю муку,
Чтобы господь был добрым к бедняку.

Одна изба, поодаль от дороги,
Стоит, как нищий, скорбный и убогий,
Оконца туго заткнуты тряпьём.

В избе потёмки даже ясным днём.
От чёрной топки стены прокоптели.
Едучий дым ползёт из каждой щели.

И снова снег сошёл с лица земли.
Кусты калины буйно зацвели.
Крестьянский год опять недолей начат.
С весны семья Калекиса батрачит.
Да он и сам — передохнуть нельзя —
В работники к соседу нанялся,
И призраком стоит изба пустая,
Унынье на прохожих нагоняя.

Был у Калекиса клочок земли.
Одни лишь сорняки на ней росли,
Одни лишь кривобокие берёзки,
Не прокормиться с нищенской полоски,
Где, вытесняя рожь из года в год,
Синеют васильки, шуршит осот.
Калекиса за все его печали
Уснинисом — сорняшником прозвали.

Его жена с весны до зимних дней
Батрачит на соседних богачей.
Перебиваются в подпасках дети.
Что ни случись — они за всё в ответе.
А вместо платы — скудная еда,
И дома ждут картошка да вода.

Настанет осень, и к родной избушке
Отправятся ребята без полушки,
А мать с куделью — не напрясть мотка,
А дочь — с одним горшочком молока.
И сам старик идёт с болотных кочек
Едва живой — и ржи несёт кулёчек.

Зимой — хоть не гляди на белый свет.
Ещё кругом снега, а хлеба нет.
Мучицы у Путны Уснинис просит.
Он летом луг ему задаром скосит,
За пуд зерна всё жито уберёт.
Батрачит на Путну из года в год.
Просвета нет в его житье убогом.
Должно быть, позабыт Уснинис богом.
Судьбы не одолеть, нужда сильна.
Как путами, оплёл его Путна.

Сжился Уснинис со своим уделом.
С Путною ладить кое-как умел он.
Да и Путна к нему благоволит:
То дочерям приданое сулит,
То в сад зовёт ребят: «Идите, детки.
Любое яблочко достану с ветки».

Разбогател Путна чужим трудом.
В саду стоит высокий новый дом.
Под окнами сирень цветёт весною.

На крыше трубы блещут белизною,
И закрома полны из года в год,
И ест Путна, как не едал народ —
В похлёбке жир, как жёлтые медали,
Яичница опять-таки на сале.

Уснине вся как есть в руках Путны.
Зерном, деньгами ль — все ему должны.
Расплачиваться нечем, но за это
Работать будут на Путну всё лето.
Кругом народ от голода исчах,
А Жичкус и Путна, как на дрожжах,
Жирели, богатея год от года.
К подворьям за подводой шла подвода.
Им волость присылала всё сполна —
И удобрения и семена.

Посмеивался, кто смеяться может:
«В густую кашу, мол, и чёрт подложит.
Но от добра не лопнет ли мешок?
Путне пойдёт ли нажитое впрок?
Всё, что загрёб, удержит он едва ли...»
Так о Путне соседи толковали.

Зато и у господ и у властей
Путна в числе желательных гостей.
Частенько — в проповеди ли, в беседе ль —
Сам ксёндз его зовёт «благой радетель»,
Со старшиною за одним столом
Судил-рядил Путна о том, о сём.

Он и Уснинису дружок хороший.
Порой снабжает латаной одежей.
Тот задолжал Путне мешки зерна.
Что ни попросит он — даёт Путна.
И всё задаром, как приятель близкий.
Ставь только крестики взамен распски.

Вновь жаворонок вешнею порой
Летит-поёт над голою горой.
Скончался меньшенький сынок намедни.
Картошки нет, доеден хлеб последний.
Старик подумал — не перенесу...
К Путне ль пойти, повеситься ль в лесу...

Тропинка крутится в зелёных долах,
Бредёт Уснинис в думах невесёлых,
Ласкает ветерок его лицо,
Сияет под горою озерцо.
И жаворонок вьётся с песней звонкой...
Опять к Путне старик идёт сторонкой,
А на сердце тоска и тайный страх.
На миг-другой замешкался в сенях:
Войти иль нет?.. Но слабость превозмог он.
К тому же в доме много зорких окон.

Путна встречает: «Заходи, сосед!
Мы только что садимся за обед»

(Горшками на шестке гремит Путника).
 Известно богачам, какое лихо
 К ним бедняка весною привело.
 Но с ним Путна заговорил не зло.
 Смешком да шуткой он повёл беседу:
 «Казис, ты что же ни ногой к соседу?
 Иль думаешь, напомню про должок?
 А мне и ни к чему, и невдомёк...»

Картошка жарилась в шипящем сале.
 Обедали они и выпивали,
 И всё же разговор не шёл на лад.
 Подпасками, полсотни лет назад,
 Могли дружить, не ведая препятствий.
 Теперь не то. Путна — в чести, в богатстве,
 Уснинис — в униженье, в нищете.
 Пора иная, и они не те.

Но рад Путна чему-то, как находке.
 Уснинису знай подливает водки —
 Горькозелёной, горячащей мозг.
 Уснинис пил и размякал, как воск,
 И сам себя в томлении шемащем
 Он чувствовал счастливым и пропащим.

Уж день стемнел, и поднялась луна,
 А всё не кончил говорить Путна:
 «Ты всё в трудах, Казис, а много ль проку?
 Всю жизнь свою убил ты на осоку.
 В долгах завяз, от голода иссох.
 Не так уж стар, а погляди, как плох.
 Перебирайся к нам без колебаний.
 Устраивайтесь всей семьёй хоть в бане.
 Жене и детям — всем работу дам.
 Трёхстенок ставь, коль тесно станет вам.
 И обживёшься лучше, брат, чем дома.
 Тебе тут всё привычно и знакомо.
 А за долги — участок твой возьму.
 Там дрянь-земля, и мне он ни к чему,
 Его другие бы не взяли даром,
 Но ведь иные счёты с другом старым.
 И мы под яблонькой, в саду моём,
 Последние годочки проведём...»

Они по третьей выпили, по пятой...
 Уснинис под бумагою проклятой
 Три крестика поставил, как во сне:
 Он долг свой отработает Путне,
 А тот другим долги его оплатит.
 Намаялись от голодухи, хватит...

Он сонно размечтался, но Путна
 Сам на него взвалил мешок зерна:
 «Пусть пирожком побалуются детки.
 Пшеничные у вас, наверно, редки...»
 И, спотыкаясь, гость домой побрёл,
 Иль ноги слабы, иль мешок тяжёл...

К избе подходит: наша ли, не наша ль?..
Несётся с печки звонкий детский кашель.
Уснинис ношу сбросил у дверей.
«А ну-ка, вздуйте огонёк скорей...»
Жене скрутило ревматизмом спину.
Вскочила дочка засветить лучину,
И увидали все мешок с зерном.
В избушке от него светло, как днём.
И торопливо старшая из дочек,
Накинувши кофтёнку и платочек,
Пшеницу насыпает из мешка,
А шестеро следят исподтишка,
И радостно у них светлеют лица:
Назавтра пирожок сулит пшеница.
В сенях заскрежетали жернова.
Трезвеет у Казиса голова
И сердце разрывается от боли
В предчувствии безвыходной неволи.

Старик жене с тоскою говорит:
«У самого, поверь, душа горит.
С землёй расстался,— к худу ли, к добру ли...
Весь век мы понапрасну спину гнули.
К Путне поедем... обещал Путна,
Что выплатит долги мои сполна
И хлеба даст... а здесь не видим света,
Что делать, согласился я на это...»
Жена вздохнула горестно в ответ.
Она болеет уже много лет.
Иссохла от нужды и родов частых.
И правда, что не нужен ей участок.

Сын старший Йонас, лёжа у светца,
С волнением выслушал слова отца.
Чёрт с ней, с землёй, коль таковы законы.
Таких, как он, на свете миллионы.
Пойдёт работать, был бы лишь здоров,
Но не к Путне в число его рабов!
Путна соседей душит в паутине,
Нешадно обирает он Уснине...

Отца не в силах Йонас упрекнуть.
Старик, склонивши голову на грудь,
Подавленный, молчит и тяжело дышит.
И сын сказал: «Ты слышал бы, что пишут:
Земля народной станет навсегда.
Исчезнут кулаки и господа...»
Листовку Йонас отыскал в кармане
И вслух прочёл: «Рабочие, крестьяне,
Свободы близок час...». Отец глядит:
От рук отбился сын, давно не бит.
Что мелет он? Кто им помочь захочет?
В сенях упрямо жернова грохочут.
Вкус пирога мерещится во рту,
А Йонас верит в глупую мечту!

Сияет утро бедным и богатым.
 Путна сегодня едет к адвокатам.
 В двуколку резвого гнедка запряг.
 Легко и ходко тронулся рысак.
 Путна во всех делах проворен, точен.
 Кусты навстречу мчатся вдоль обочин.
 И колокольня за холмом видна.
 Заехал к настоятелю Путна.

В подворье ни проезда, ни прохода.
 Крестьян созвали со всего прихода
 Работать над постройкою хлевов.
 Таскают щебень, роют узкий ров.
 Не зря ксендзу за лучший бэкон дали
 На выставке почётные медали,
 И сало требуют во все концы,
 И письма шлют из Лондона купцы.
 Срамиться ксёндз не станет перед миром.
 Муки хватает, чтоб жиреть йоркширам.
 К зиме поставят новые хлева,
 И с честью оправдается молва.

Путна, одежду отряхнув рукою,
 Проходит к настоятелю в покои.
 «Благословен господь...» «Аминь. Ну-ну,
 Что новенького? — встретил ксёндз Путну. —
 Дела финансовые хороши ли?
 А как насчёт плотины порешили?..»

Путна, усы поглаживая, сел.
 При настоятеле он не робел.
 Друг с другом ладя, как с гармонью скрипка,
 К наживе оба пристрастились шибко.
 И вдруг Путне внушает дух святой,
 Как делать деньги из воды простой:
 Пусть у Казиса нет земли хорошей,
 Но речка есть, не дар ли это божий!
 Ведь мельницы в округе нет нигде,
 И, значит, денежки лежат в воде.

Всё можно повернуть манером скорым.
 И вот Путна приехал с договором,
 Где крестики Усниниса стоят.
 Всё в тот же день оформит адвокат.
 А мельница Уснинису и детям
 Работу даст; без дела не сидеть им.

Тут ксёндз Путне с размаху руку жмёт.
 Самодовольно усмехнулся тот.
 Им чудились бетонные плотины,
 Вozy с мешками очередью длинной,
 И белая крестьянская мука,
 И деньги, деньги — целая река.

Развеселился настоятель: «браво!
 У нас, Путна, ты чудотворец, право.

Твою идею примут здесь тепло.
(Все любим деньги, хоть от них и зло!)
Но твой проект во благо местным сёлам.
Вся волость к нам поедет за помолом».

Проворно девушка накрыла стол.
От жареного дух манящий шёл.
Приподнимает ксёндрз Путну за плечи:
«И есть и пить — в натуре человеческой.
Дела само собою, а пока
Нам заморить не худо червячка».

По рюмке пропустили для начала
И повторили, и понятно стало,
Что если ведать мельницей Путне,
То ксёндрз на свиньях наживёт вдвойне.
«Ты гений, брат,— смеётся настоятель. —
Пусть трудится Уснинис, но не кстати ль
И лодырей моих, двенадцать ртов,
Поставить возле наших жерновов?..»
(Мы настоятеля в дальнейшем будем
Звать по фамильи, как привычно людям).

Такялис на софе полуприлёг.
От папиросы голубой дымок
Струится вверх, и помечтать приятно.
(Путна давно уж укатил обратно).

Понежившись, Такялис в сад сошёл,
Был ярким солнцем озарён костёл.
И на деревьях почки распускались.
Наведаться в поля решил Такялис.
Каймой леса темнели вдалеке,
Они напоминали о реке.

Чуть захмелевший, розовый, как боров,
Такялис брёл обратно вдоль заборов.
С купцом Тринкушке повстречался он,
И тот сказал, приятно возбуждён:
«Прошу прощения... но для начала
Вполне ли достаёт вам капитала?»

Такялиса вдруг осенило: что ж!
Как пайщик, право, был бы он хорош.
Всю жизнь ведёт финансовое дело,
И можно доверять ему всецело.
Путна никак не станет возражать,
И всё скрепит казённая печать...

Так основалось под опекой власти
Товарищество по доверью — «Счастье»,
И десять тысяч пайщики внесли.
Уснинис же, лишившийся земли,
К Путне с вещами ехал на рассвете,
А за подводой шли жена и дети.

II

Весна ушла, как полая вода,
И лето отлетает без следа.
Всё сызнава, и всё беспеременно.
В лугах Уснине сладко вянет сено.
Ромашки горько пахнут у межи,
И молниями носятся стрижи.

Тропинка убегает за покосы.
Над нею ветви свесили берёзы.
Трава в густой росе, как в серебре.
Здесь Йонас точит косу на заре.
Глядит он — луговиную зелёной
Задумавшись идёт Репшите Она;
В холстинном пиджачишке, босиком,
Бредёт, не видя ничего кругом.
Зажёгся Йонас радостью живою.
Он по косе провёл сырой травой, —
Заплакало железо, как дитя,
Голубизной небесною блестя.

Он радуется каждой встрече краткой.
С любимой видится тайком, украдкой.
Её родители бедны и так,
Не нужен им бездомный зять-батрак.
Ей жениха отыщут побогаче.
Сама должна понять — нельзя иначе.

Что с нею?.. От волненья покраснев,
Сперва молчаньем сдерживает гнев,
Потом вздыхает в тягостной печали
И говорит: «Хозяева прогнали,
Устроюсь ли поблизости — бог весть,
Но голодать не стану, руки есть!
Вчера овца больная околела,
А я в ответе, что недоглядела.
Теперь грозят привлечь меня к суду.
Я к Жичкусу работать не пойду,
Прощенья у него просить не буду.
Пойду к Путне — поставит на запруду...»

У Жичкусов Онуте третий год.
Весною вскапывала огород,
Зимой бельё на речке полоскала.
Но как ни угождай, всё, видно, мало.
Зазнались люди, потеряли стыд...
От возмущенья девушка дрожит.

С участием Йонас гладит руки Оне.
Запачканы землёй его ладони,
Зато глаза озёрной чистоты
Таят сиянье воли и мечты.
То здесь, то там — батрачит он всё лето,
Но на уме и на сердце не это.
Заботами иными он живёт.
Все замечают — Йонас уж не тот.

Не ходит по гостям, смеётся редко
И то не от души, а горько, едко.

Но Она помнит Йонаса другим.
Как весело плясать бывало с ним!
Как с ним работать весело бывало!
Теперь она его не узнавала.
Он рядом с ней, но будто и не здесь.
Какой-то думой околдован весь.
Не ходит затемно к её избушке.
Быть может, Йонас охладел к Онушке?.

Но не легко задать прямой вопрос.
Краснеет Она бедная до слёз.
«Не прежний ты... — пролепетать смогла лишь. —
Меня ты и тревожишь и печалишь...»
Дрожит рука, срывая василёк,
И ноет сердце — Йонас так далёк!..

Он догадался, что сказать хотела,
И утешать пытался неумело.
Они сидели молча на траве.
Жужжали пчёлы в знойной синеве.
Онуте грызла веточку сухую.
Вдруг Йонас говорит: «Я жил вслепую.
Я был рабом Путны, хозяйским псом.
Безропотно покорен был во всём,
Ещё не знал я о народной силе.
Но обо мне друзья не позабыли
И вывели меня на ясный путь.
Онуте, поняла ли ты, в чём суть?
Теперь тебе всю правду расскажу я...»
Он книжку вынимает небольшую
Из левого кармана на груди.
«Я комсомолец, Она, — погляди.
Твой путь со мной, соединяет всё нас...»
«Но, Йонас!.. За тебя мне страшно, Йонас! »
«Онуте, верь — должно насилье пасть.
Я слышал, в Каунасе свергли власть.
Бежал Сметона, скрылся от позора.
Теперь Литва освободится скоро.
Земля народной станет, наконец,
И нам иное скажет твой отец...»

Молчала Она, от волненья плача.
Он руку ей сжимал рукой горячей.
Пылал румянец на её щеках.
Теснили сердце и восторг и страх.
Борцом за волю стал её любимый.
Чтоб ни было — они неразлучимы.

Тропинка исчезала вдалеке.
Шли двое не спеша, рука в руке.
Он — богатырь, в плечах сажень косая.
Она — простоволосая, босая.

Луга пестрели, наливалась рожь.
И воздух был особенно хорош.

Катилось солнце вольным полукругом.
Народ на полдник шёл цветущим лугом.
Поев, иные отправлялись спать.
Уснинис же за труд брался опять.
Нет времени вздремнуть в прохладной клетни.
Он выпится на том уж, видно, свете.

У речки, где осыпалась гора,
На стройке «Счастья» — жаркая пора.
Нешадно солнце лютое палило,
Внизу чернела яма, как могила,
И в ней, локтями отирая лбы,
С утра до ночи ползали рабы,
Скользя и увязая в зыбком иле.
Ребятами они с Путной дружили,
Но землю жирную забрал Путна,
А им пришлось болотина одна.

Уснинису Путна за труд не платит:
Он свой, мол, человек, с него, мол, хватит,
Что есть жильё, и лапти, и еда.
Он лучше ведь и не жил никогда.
Работает в полях иль на запруде —
Ребята с ним, он их не отдал в люди.
Под окна кланчить не пойдут весной.
Живут здесь, как за каменной стеной.

Путна хитёр, находчив на уловки.
Он ребятишек гладит по головке,
Мурлычет ласково, как сытый кот,
И в то же время шкуру с них дерёт.
Он царь и бог для всей окрестной голи:
И скосят луг ему и вспашут поле,
Настанет время — уберут и рожь.
Бездольным горько достаётся грош.

Старик Уснинис в маяте всегдашней.
С утра — на стройке, с полдника — на пашне,
А ночью возит из лесу дрова.
Иссох, бедняга, в чём душа жива,
А тут ещё мерещатся на горе
Три пьяных крестика на договоре.

Жжёт солнце горячей день ото дня.
Взъерошились колосья ячменя.
Завязываются под остью зёрна.
Желтеют стебли от жары упорной.
Разросся в озере тростник густой,
И вместо речки лишь овраг пустой.
Всё зной да зной, хотя б денёк ненастья!
Без отдыха идёт постройка «Счастья».

Рабочий день до двадцати часов...
 Уснинис покрывал бетоном ров.
 Блестели под глазами капли пота...
 Тяжёлая для старика работа.

Вдруг в поле показался тарантас.
 Кого сюда несёт в полдневный час?
 «Прошу, прошу», — Путна кричит приезжим.
 Свернув с дороги, едут лугом свежим
 К плотине напрямик, и люди тут
 Такалисovu шляпу узнают
 И слышат быстрый говорок Тринкушке.
 Подъехав, гости сходят у речушки.

Уснинис ждёт их, стоя впереди.
 Как молот, сердце бухает в груди.
 Засуетились все перед гостями.
 Смущённо девушки толпятся в яме:
 Кофтёнки рваные, на юбках грязь.
 Не знают, где укрыться, застыдясь.

Путна показывал запруду гостю.
 Такалис по бетону стучал тростью.
 Уснинис, бледный и худой, как тень,
 Рубашку заправляя под ремень
 И грязь со щёк ладонями стирая,
 Ждал настоятеля, бродя у края.

Приблизился Такалис, не спеша.
 «А у тебя речушка хороша.
 Путна-то что придумал? Просто чудо!
 Гляди, какая знатная запруда!
 Путне долги вернул ли ты сполна?»
 Кузнечиком застрекотал Путна:
 «Уснинис наш не может быть охаян.
 Он у меня на пашне, как хозяин.
 Уж про его должок я ни гу-гу.
 Сегодня сам я у него в долгу,
 Но мы живём согласно, беспечально...»
 Такалис головой кивал: «Похвально!»

Шумящая вода неслась вниз.
 Уснинис в гневе говорит ксендзу:
 «Святой отец, ведь вот какое дело...»
 Срывался голос и лицо горело...
 Он шапку от волненья мял в руках.
 Невольно овладел Путною страх.
 «Пожалуюсь вам на свою судьбу я.
 Уж лучше вытерпеть нужду любую.
 За что плачусь я? Нет на мне вины.
 Путна... (глаза сверкнули у Путны)
 Меня нарочно напоил он пьяным
 И землю отнял у меня обманом»...

Путна как будто с кручи кувырком.
 Казис, не видя ничего кругом,

Всё громче говорит: «Я жил убого.
 Без хлеба жил. Долгов скопилось много.
 Их выплатить пообещал Путна...»
 Нависла грозовая тишина
 И только под горой шумела речка
 Да звякала на лошади уздечка.

Зубами скрипнул ксёндз, побагровев.
 Уснинис задрожал, но светлый гнев
 Бесстрашно нёс его, расправив крылья,
 И речь его звучала без усилья.
 «Я у Путны в мошне с семьёй, с землёй.
 На стройке, на покосе день деньской.
 И всё задаром, словно подневольный.
 Терпел, пока терпелось, но довольно!
 Намаялся — и больше не хочу!»

Похлопал ксёндз Казиса по плечу:
 «Ты против бога возмутился, чадо.
 Как видно, распустил я божье стадо.
 Ведь сказано, что в поте, мол, лица
 Мы все должны трудиться до конца...»
 В сердцах пошёл Такялис к тарантасу,
 Не оглянувшись на людей ни разу.

Путна поехал с гостем до леска.
 От злости он лишился языка,
 Лишь временами скалился по-волчьи.
 Такялис в мысли погрузился молча:
 Усниниса он видел пред собой
 С лицом землистым, с головой седой...

И едут, не смотря в глаза друг дружке.
 Вожжами звонко хлопает Тринкушке.
 «Эх, настоятель! Страшное не тут.
 Вот Гитлер как нагрянет — мне капут!»

Трусит рысцою сытая лошадка.
 По кочкам тарантас несётся шатко.
 Такялис говорит: «Советы — ад.
 Ведь Гитлер против них ведёт солдат.
 К рукам прибрал австрийцев и судетов.
 А для чего? Чтоб не было Советов.
 Что Гитлер страшен — в это верю я,
 Но нам и коммунисты не друзья».

Что б ни было — Тринкушке хуже вдвое.
 Несчастье, как топор над головою.
 В сознании купца распался мир:
 Придут большевики — прощай трактир.
 Нагрянет Гитлер — позабудь о жизни,
 Живым сгори в огне, в петле повисни...

Путна простился и назад побрёл.
 Он поднял на пути ольховый кол.
 Потом в раздумье сел у поворота.
 «Всё Йонас да Репшите — их работа.

Давно глаза горят, как у волков.
 Но я не пощажу бунтовщиков!
 В полицию, в тюрьму забрать!..» — орёт он,
 И эхо замирает над болотом.

А с батраками будет разговор.
 Вернувшись, их позвал Путна во двор.
 И воздух задрожал от крика злого:
 «Теперь попробуйте сказать хоть слово.
 Полиция, тюрьма, кому я плох!
 С корнями выдерну чертополох!
 Не станет разрастаться перед домом!
 И бунтовщик... наплачется потом он!»

Уснинис не откликнулся в ответ.
 В его глазах горел счастливый свет:
 Как высказал, что на сердце лежало,
 И сразу будто с плеч гора упала,
 И — нет, он не один, с ним большинство.
 Страшай, Путна, — не выйдет ничего!

III

Вечерня отошла в Кликунай рано.
 Прервался на неделю плач органа.
 Ждёт прихожан батрацкий горький труд.
 Растут погосты, мрёт голодный люд.
 Одним ксендзам на пользу кровь Христова
 И звонкая вода ключа святого.

Такаялис на обед созвал гостей.
 В подливке пряной рыба без костей,
 Блины в сметане, жареные куры...
 Бутылки светятся, но лица хмуры.
 Мешает веселиться тайный страх,
 Предчувствие, что наступает крах,
 Что ненадёжны древние обманы,
 Что не укрыться под сукном сутаны...
 Вдруг двери настезь прямо в тёмноту,
 И старшина пред ними, весь в поту:
 «Благословен господь... Дурные вести!
 Был митинг, провалиться мне на месте!..
 Полиция посыпала туда...»
 Такаялис в кресле подскочил: «Когда?»...
 Тяжёлое лицо, как скатерть, бело.
 «Рассказывай скорей, как было дело!»

«Не знаю, кончилось иль до сих пор...
 На горке парни развели костёр.
 Вдруг Йонас закричал, как одержимый:
 «Мы не потерпим старого режима!
 Уже Сметоны в Каунасе нет.
 Удрал, подлец, но ещё даст ответ!..»
 Младолитовцы,¹ пригрозив горлану,

¹ Члены буржуазно-националистической организации «Молодая Литва». (Примечание переводчика.)

Пытались говорить, но все, как спьяну:
 «Мы слушать Йонаса хотим», — галдят.
 «Янокас, продолжай!..» А тот и рад:
 «С Такялиса, я кричит, — личину сбросим!
 Расправимся с Путною-кросососом!
 Теперь, товарищи, простой народ
 В правительство достойных изберёт!..»

Осёкся Кибурис на полуслове.
 Ксендзы сжимают губы, хмурят брови.
 Неловкое молчанье за столом.
 Налаженная жизнь идёт на слом.
 Блестит вино, невыпитое с горя.
 Такялис вышел и вернулся вскоре.
 «Ну вот, — сказал он, рюмочку беря, —
 Арестовал урядник бунтаря.
 Но в утешительный исход не верьте.
 Неотвратимо приближенье смерти.
 Прислушайтесь — колеблется земля.
 Холопы будут жить, а нам петля.
 До времени укрыться по углам бы!..»

Коптили керосиновые лампы.
 В приёмнике стонал берлинский джаз.
 И предрассветный, и предсмертный час...
 Кончалась ночь, тянувшаяся годы.
 В Кликунай занялась заря свободы.

Предчувствуя крутые времена,
 Чуть свет влетел к Такялису Путна,
 А там ксендзы с тоски да с перепою
 Сидят, как занесённые землёю.
 Под чёрным благолепием одежд
 Кипит борьба сомнений и надежд...

Движеньем танков занята дорога.
 С рассветом Йонас вышел из острога.
 Онуте дожидалась у ворот.
 По улицам, ликуя, шёл народ.
 А вот и мать в своём платочке пёстром...
 Подходит Йонас к матери и к сёстрам.
 Шумит привольно алый шёлк знамён,
 И новости летят со всех сторон.
 Уже открылись первые Советы.
 Сердца людей доверием согреты.

С Такялисом не случилось ничего.
 Три га земли осталось у него.

IV

Живут Калекисы не видя солнца.
 Соломой глухо заткнуты оконца.
 Столбы подгнили, ветхий сруб осел.
 Глаза ребятам горький дым изъел,
 А щёки чёрны — в копоти ли, в саже ль,
 И лёгкие выматывает кашель.

Тряпье сырое сохнет на кусте.
 Жена Казиса в вечной суете:
 Измученная, хвора, худая, —
 А всё хлопочет, рук не покладая.
 Две девочки с паршой на голове
 Пирог из грязи лепят на траве.

Старик телегу чинит у ограды:
 Навоз возить не нынче-завтра надо.
 Хозяйских указаний он не ждёт,
 Всё любит сам наладить наперёд.
 Хоть у Путны переменялись речи:
 Усниниса зовёт при всякой встрече
 С семьёй к нему перебираться в дом —
 В светёлку. Но Уснинис — нипочём!
 Остался в бане жить на огороде:
 Здесь вроде обжился, обвыкся вроде...

Всё новое покамест не с руки:
 «Вот говорили, что большевики
 Крестьянской бедноте дают наделы.
 С нуждой покончим — это ли не дело!
 Не понимаю одного лишь я:
 Кругом земля Путны, а где ж моя?..
 Ведь стародавний строй вконец разрушен?!
 Ведь сам Путна в Уснине уж не нужен?!
 Но кто же мне на землю даст права?..» —
 Блуждали мысли, как по краю рва.

С размаху он топор всадил в колоду:
 Путна с людьми шагал по огороду,
 Меж них — какой-то новый человек.
 Уснинис лишь дурного ждал весь век.
 Он по привычке и теперь подумал:
 «Зачем ко мне? Уж верно не к добру, мол».

Пока меж грядок люди шли гуськом,
 Путна трещал: «Давно зову в свой дом.
 Брось баню, говорю, живите с нами.
 Товарищ господин, спросите сами.
 Зову его, а он всё нет да нет!»
 Приезжий сухо промолчал в ответ.
 Усниниса позвав, пошли на поле.
 Все на Путну глядели поневоле.
 Тот улыбался, но трясло его
 От страха, как бы не взяли всего.

А староста сказал, присев на травку:
 «Товарищу, Калекис, надо справку, —
 Тебе под пашню — сколько дать земли?
 Отмёряем — для этого пришли.
 И жить теперь ты должен в светлом доме.
 Довольно, повалялся на соломе!»

Казис в толпе стоит, как на юру.
 Седые космы вьются на ветру.

Он знает — у Путны земли не мало.
 И подымал и боронил бывало.
 Зерно созреет, сам же и косил.
 Старался для Путны что было сил.
 Он землю эту щедро полил потом
 Ей жизнь свою он отдал полным счётом.
 И видит, потрясённый и немой,
 Как возвращается земля домой.

«Казис, — Путна бормочет, — стану ль врать я?
 Под общей крышей будем жить, как братья.
 На всех достанет места у меня.
 Для нас твоё семейство как родня.
 Ведь мы с тобой и стары и недужны.
 Уж и землицы нам немного нужно»

Но прерывался голос у Путны.
 Его мыслишки были всем ясны.
 Он изворачивался неумело.
 Лицо подёргивалось и бледнело.
 Среди людей, как зверь, он одинок.
 Сама земля уходит из-под ног.

А землемер уж натянул бечёвку.
 Похваливал народ его сноровку.
 Советчиков сошлось не мало тут.
 Все от Путны чего-то будто ждут.
 Кусок земли Казисом честно нажит,
 Но вот Путна-то что на это скажет?!

Путна вертелся, словно на оси.
 Он не перечил, боже упаси!
 Сегодня, кажется, он отдал всё бы.
 Лишь зеленел от затаённой злобы.
 Метался без толку туда-сюда.
 Земля под ним качалась, как вода.

Уж лучше не дожить бы, не видать бы!
 Он как чужой среди своей усадьбы.
 Косятся на него, как на врага...
 Отмеряли Казису десять га.
 И борозда, бегущая по полю,
 Размежевала и людскую долю.

Вся жизнь теперь стремится птицей ввысь...
 В правлении крестьяне собрались:
 Совет на землю выдаёт бумаги.
 Над крышами победно рдеют флаги
 Невеселы купцы и кулаки,
 Приходят их последние деньки.

Имень власть передала рабочим.
 Теперь панам, спокон веков охочим
 До пьянства и разгула, — места нет.
 Здесь клуб теперь и радио чуть свет.

Теперь в именье волостной Совет
И клуб, где молодёжь с весёлым жаром
Танцует до упаду в зале старом.

У цветника толкуют мужики,
Что, дескать, перемены велики.
Тут люди все из бедноты вчерашней.
Которых нынче наделили пашней.
Пошучивают, курят не спеша,
И отдыхает исподволь душа.

Старик Уснинис в куртке домотканной
Впервые здесь непрошенный, незванный:
Являлся прежде лишь на барский зов.
Теперь ни барина, ни лютых псов,
Что норовили ухватить за пятки.
Добром не вспомнишь прежние порядки.

В аллее свет и сумрак пополам:
Лучи сквозь листья падают к ногам,
И вдруг неповторимые, родные
Над парком зазвенели позывные,
И звучный голос явственно сказал:
«Внимание, включён Кремлёвский зал.
Транслируем дневное заседание»...
И люди слышат, затаив дыханье,
Чудесные желанные слова:
«В Советскую семью вошла Литва.
Ей путь открыт в сияющие годы.
Ей шлют привет свободные народы»...
Стащил Уснинис шапку с головы.
Гремят аплодисменты в честь Литвы,
И Саломеи Нерис голос милый
Звучит наполненный сердечной силой
В стихах: «Литва родная! Столько раз
Обманутая!..» У людей из глаз
Невольно слёзы брызнули ответом.
Стихи летят в Литву — преграды нет им
К родной земле, в родные небеса,
Через поля, и горы, и леса
Они находят путь к избёнкам сырым,
Народной волей засияв над миром.
(Чем дальше я от дорогого дня,
Тем он светлей и ближе для меня).

А люди мирно отдыхали в парке.
На лицах девичьих румянец яркий.
Всё лучшее в душе пробуждено.
Ждут вечера — обещано кино.
В аллее бродят девушки попарно,
И солнце рассыпает блеск янтарный.

Свершившимся Уснинис потрясён.
Не мало горя пережил и он.
Морщинами изрешетило щёки,

Но в голубых глазах огонь глубокий.
 Старик впервые видит белый свет
 И думает: «Бесправья больше нет.
 Народное возвращено народу.
 Не будем побираться год из году.
 Товарищ Сталин не оставил нас.
 Ему спасибо — от недоли спас.
 Мы всё наладим правильно и просто.
 Пожить не худо лет хотя бы до ста...»

А в клубном зале митинг начался.
 Народу — что протиснуться нельзя,
 Взял слово Йонас, а за ним другие.
 Отец увидел сына, как впервые.
 Обнять его хотел, да не пройдёшь.
 Вкруг Йонаса столпилась молодёжь.
 Репшите Она появилась в зале.
 Её отцу надел недавно дали.
 Теперь по людям Она не пойдёт,
 Не будет плакать у чужих ворот.
 Глядит на Ону Йонас восхищённо:
 Как расцвела и распрямилась Она,
 Как поняла значение новых дней,
 Как широка дорога перед ней!..

Уже закат пылал в оконных стёклах,
 И рдели блики на обоях блёклых,
 А в зале заливается гармонь,
 И будто вьются ветер и огонь...
 Не только здесь — по всей стране вёселье,
 Республика справляет новоселье.

Часть вторая

I

Всё тягостнее вести о войне.
 Поля в забвеньи, города в огне.
 Чудовище фашизма шло по свету —
 И где объявится, там жизни нету,
 Одни развалины, и дым, и кровь,
 И смерть, и злодеянья вновь и вновь...

Июньской тихой ночью на востоке
 Явился хищник наглый и жестокий.
 От голода и горя чуть жива,
 Дымилась разорённая Литва.
 Казалось, ей не сбросить бремя злое.
 Закрылись небеса багровой мглою.

По сёлам шастала толпа громил.
 Такялис на разбой благословил.
 Вчера кузнец убит во имя бога,
 Сегодня запылала синагога.
 Один всадил ребёнку в горло штык.
 Ужасен был предсмертный детский крик.

Вацюкас Жичкус лютым стал бандитом.
 «Теперь не жить Уснинису!» — грозит он.
 И за полночь вломился лиходей.
 Избил старуху, застрашал детей,
 И пулею грозил и чертыхался,
 Но где Уснинис — так и не дознался.

Вершит делами волости Путна...
 С Такалисом в правленье до темна
 Он засиделся над горою справок,
 Опознавая правых и неправых,
 Чтоб точно и доподлинно узнать —
 С какой овцы доходней шкуру драть.
 Смиренникам грехи простят на месте,
 Но бунтарям не миновать возмездья...
 И вдруг с размаху распахнулась дверь:
 Толпа погромщиков — на звере зверь,
 С Вацюкасом, с их главарём достойным:
 «Святой отец, — галдят, — Уснинис пойман!»

Вацис выходит из толпы вперёд,
 Глаза блуждают, дёргается рот...
 «Но где же?..» — ксёндз приподнялся со стула.
 Вацис погладил у винтовки дуло
 И рассказал с издевкой, со смешком,
 Как по полю гнались за стариком,
 Как тот, замучась, повернул в болото,
 А пуля вслед — и кончена охота.

«А как же, всё-таки... а что ж потом?..»
 На стол налёг Такалис животом.
 Путна в волнение потирал колени,
 Убийцам обещая угощение.
 И хладнокровно пояснял Вацис:
 «Старик с горушки покатился вниз.
 Мы подошли да по башке прикладом.
 А он уже и так дышал на ладан.
 Мы привязали к дереву его.
 Наверно, кончился, скорей всего...»

Сидел, глаза потупя, ксёндз молчащий,
 И сердце у Путны стучало чаще.
 «Земли хотел ты, — думает, — ну что ж,
 Теперь ты от неё и не уйдёшь!..»
 Такалис поднялся: «Послушай, чадо,
 Живым Усниниса мне видеть надо!»
 И парни повернули всей гурьбой,
 Оставив запах крови за собой.

Свирепствовали кулаки в Кликунай,
 Сверкали выстрелы в ночи безлунной.
 Бандиты шарят по домам пустым.
 Из окон пух летит, как белый дым.
 Вся волость обмерла и онемела.

Такаялис там орудовал умело.
Среди людей ходил он, глядя вниз,
И в одиночку ногти нервно грыз.

Земля в огне, и небо в чёрных тучах,
Ползли к востоку сотни змей гремучих.
Звериной ярости слепой поток
Через Литву катился на восток.
Была зловещей середина лета,
Казалось, близится кончина света.

Казис лежит в кустарнике густом.
...Они грозили сжечь его живьём,
Пообещали вздёрнуть на осине,
Коль не расскажет о пропавшем сыне.
Потом ушли... вернуться или нет?..
В глазах прощально угасает свет,
Но сердце бьётся гневом и обидой.
Он встать не может, связанный, избитый.
А здесь когда-то на рассвете дня
С детьми срезал он прутья для плетня..
Всё горячее боль под правым глазом,
И силы убывают с каждым часом.

Ольха шумела нежно, а вдали
С тяжёлым грохотом машины шли.
Стонал Уснинис от мучений лютых,
Изныло тело в лошадиных путах.
Он голову склоняет на плечо,
Лишь смерть он призывает горячо.

Ольшаник шелестел о том, что было:
Он отдал всё Путне — и жизнь, и силы.
Его семья трудилась на Путну.
Друзьями были в старину.
Меж ними тропочка не зарастала.
Путна к нему, а он к Путне, бывало.
Доброе чужое охранял, как пёс..
И вдруг обидой обожгло до слёз:
Путна задумал мельницу поставить.
Ну что ж... в Кликунай мельница нужна ведь.

Доволен был Казис, что дети с ним,
Что лесопилка даст работу им,
Что не придётся им ходить по людям —
Путна богат — и мы, мол, сыты будем.
Но правильно сказал когда-то сын,
Что ненадёжен склеенный кувшин..
От сына услышал Казис впервые,
Что всех превыше люди трудовые,
Что книжки есть про них и песни есть,
Что прогремит освобожденья весть...

Хоть смутно понимал он эти речи,
 Но чуял силу правды человеческой
 И сердцем осознал, что для раба
 Одна дорога верная — борьба,
 И счастлив был Казис — он был на воле.
 Расстаться с нею тяжело до боли...

С ним кончено: он дожил жизнь свою,
 Но вот Путна грозил прогнать семью.
 Где дочки, где старуха? Может, живы,
 А может, и убиты,— всё не диво.
 Увидит ли он сына своего?
 Искали даже в озере его.
 С докладами он разъезжал по сёлам.
 Руководил в Кликунай комсомолом...
 Хотят нажиться на его крови,
 Но Йонаса попробуй — излови.

Вновь возле глаз блеснули автоматы...
 Громилы старика ведут куда-то,
 Швырнули на телегу, хохоча,
 И лошади рванули сгоряча.
 Глумятся парни и орут всё лише,
 И крест на колокольне ближе, ближе...

Такялис ждёт на лавочке в саду...
 Чтоб нечестивцу не гореть в аду,
 Задумал ксёндз на пастбища господни
 Овцу заблудшую вернуть сегодня.
 Намеренье похвальное вполне.
 Беседа с богом шла наедине.

Но набегали и другие мысли:
 Проекты «Счастья» в воздухе повисли.
 Тринкушке нет, и денежки не те,
 И ненадёжны братья во Христе,
 Округу баламутят партизаны,
 И перспективы вообще туманны...

Прервал раздумье грохот у ворот.
 По тропке, огибавшей огород,
 К нему идёт Уснинис под конвоем.
 (Не сплеховали парни, повезло им!)
 Старик бредёт с поникшей головой,
 Измученный, голодный, чуть живой.

Велел Такялис их вдвоём оставить.
 Заблудшему желает он добра ведь.
 И вдруг спросил, зверея: «Большевик?»
 Тот, помолчав, кивнул, и через миг
 Бандиты без суда и приговора
 Усниниса убили у забора.

Один с него сдирает сапоги:
 «Глядите, парни, как с моей ноги!...»
 Галдели, закуривши самокрутки.

И ссорились, и отпускали шутки.
Потом стащили тело под откос
И закопали возле двух берёз.

А вскоре Ону привели в Кликунай.
Приходит час проститься с жизнью юной:
Вацис кричал, что ждёт её расстрел.
Но дерзновенный пламень в ней горел.
Проходит Она мимо стен костёла
С усмешкой гордой и почти весёлой.

Такялис Ону встретил у дверей.
Не в первый раз увиделся он с ней:
У Жичкусов когда-то на пирушке
Он дал конфетку маленькой Онушке
За синие глаза и алый рот...
С ней близок Ионас — пусть его найдёт!

Такялис предложил присесть Онуте
И дело изложил ей в самой сути:
«Мы знаем — Ионас прячется в лесу.
Скажи мне, где он, — я тебя спасу.
Ребёнка ждёшь, но он ведь незаконный,
Рожаешь девкой — грех великий, Она!
Ты беззащитна, нужен друг тебе.
Я позабочусь о твоей судьбе...»

Садился и вставал он то и дело.
Сжимались кулаки, лицо бледнело.
Её, конечно, он и выдрать мог
И посадить на ночку под замок,
Но без острастки было б лучше всё же.
«Доверься мне, Онуте... будь хорошей.
Единственное слово нужно — где?..
Укажешь место — помогу в беде,
А если нет — пристрелим здесь, как суку!...»
Он в бешенстве над ней заносит руку,
Казалось, тут же вышвырнет в окно,
А ей, негодной, будто всё равно.

Но про себя решила Она крепко,
Что вырвется, что есть у ней зацепка...
И говорит: «Ребёнка ради, я
Пойду на всё... горька судьба моя...
Святой отец, спасите от позора,
А Ионаса я отыщу вам скоро...»

Такялис глянул на её живот
И успокоенно сказал: «Ну вот,
Решила правильно... пойдёшь с охраной...»
...Под вечер Она и Вацюкас пьяный
И с ним Шачюлис, тоже под хмельком,
В недалний лес отправились пешком.

Зловещи окна вымерших избушек,
Порхает пух распоротых подушек,

И вот уже Кликунай позади...
 Вацис толкает Ону: «Обожди.
 Своё получит Йонас, а покуда
 Нам подкрепиться кое-чем не худо,
 Садись!..» — и сами сели с двух сторон,
 И жадно хлещут жгучий самогон,
 Бутылку друг у друга вырывая.
 Кусты густые, как стена живая...
 Шачюлис Ону захотел обнять,
 А та вскочила... «Сядь, Онушке, сядь!..»
 Но тут Вацюкас, выругавшись глухо,
 Приятелю с размаху съездил в ухо:
 «Разиня косорукий, девка где?..
 Как в воду канула, а мы в беде!
 Всё, дьявол, ты... Полез, дурак, с обнимкой!..
 Теперь уйдёт в потёмках невидимкой!..
 И без толку палят беглянке вслед,
 А эхо усмехается в ответ.

II

Обширен кругозор с холмов Уснине.
 На опустевших нивах — первый иней.
 В озёрах — ледяные небеса.
 На горизонте — чёрные леса.
 Они соединяют север с югом,
 Обняв восток просторным полукругом.

По ним — ни ходока, ни ездока.
 Лишь проплывут порою облака
 Над чашей, полной тишины и шума.
 Деревья стонут грозно и угрюмо.
 Отряд самоохраны стороной
 Обходит ненадёжный мрак лесной.
 У полотна — посты сторожевые.
 По насыпи шагают часовые.
 На запад ночь за ночью, день за днём
 Ползут составы с краденым зерном,
 А на восток спешат с «добром» тяжёлым,
 Сулящим гибель городам и сёлам.

В глубокой чаще возле шалаша
 Сидела Она, на руки дыша,
 Сынка новорождённого качая.
 Какая стужа, тишина какая!
 Костёр чуть тлеет, засветлел восток...
 Как много пережито в малый срок!

И до сих пор дивится неустанно:
 Как повезло — перепилась охрана!
 Сбежала Она, Йонаса нашла.
 И снова жизнь желанна и светла.
 Их сын родился в этой дальней чаще.
 Безмерна сила дружбы настоящей —
 Здесь партизаны, как одна семья,
 Достали ей не только что тряпья,

Но одеяльце мягкое, на вате —
 Спи, маленький, спокойно, как в кровати...

Всё явственнее розовел рассвет.
 Как долго Йонаса сегодня нет!
 Вверху шумят деревья, как знамёна.
 Опасен каждый шаг, но знает Она,
 Что миллионы поднятых борьбой
 Насилья не потерпят над собой.

Ребёнок мирно спит в её объятьях.
 Тревога, счастье, боль — не передать их.
 Родник любви прозрачен и глубок.
 «Мой ненаглядный, мой родной дубок,
 Расти без горестей и без болезней...»
 Душа исходит колыбельной песней.

Протяжным громом отозвался взрыв,
 Мгновенным светом чашу озарив.
 Работают на совесть партизаны,
 И где — под самым носом у охраны!
 Под шпалой мина дождалась колёс,
 Горящий поезд рухнул под откос.

Тревожно застучали пулемёты,
 Но с местными в лесу сведёшь ли счёты!
 Сквозь можжевельник Йонас проскользнул,
 Скатился в ров... по лесу треск и гул,
 А по руке по левой — струйка крови.
 Не охнул, лишь затрепетали брови.
 Но рана, кажется, не глубока.
 Забинтовал, порвавши два платка,
 Весь перемазался в крови горячей,
 И дальше, дальше, окрылён удачей.

В Кликунай от машин проходу нет.
 Устроил ксёндз для вахмистра обед.
 Не зря его кормил-поил на славу:
 Готовили на партизан облаву.
 У гостя был большой запас гранат,
 Биноколь и первоклассный автомат.

Каков состав особого отряда?
 Гестаповец — вполне исчадьё ада,
 Шесть полицейских — им лишь заплати,
 Самоохранников до двадцати —
 Путна их держит на цепи короткой,
 Снабжая хлебом, табаком и водкой.

Герр Блитцт прошёлся перед строем: «Гут!
 Хайль Гитлер! Кто не с нами — тем капут!...»
 На площади толкались ротозей.
 Ребята мёрзли, на парад глаза.
 Стояли чинно местные ксендзы.
 Тут сам Путна и прочие тузы,

И среди них гулящие девчонки,
И богомолки старые — в сторонке.

Такалис вышел: «Братья во Христе!
Нам завещал распятый на кресте
Оборонять святую нашу веру.
Пощады не давайте Люциферу.
Сумейте нечестивцев побороть —
И подвиг ваш вознаградит господь».

Прослушавши напутственное слово,
Проходит маршем «воинство Христово»,
Испытанный разбойничий отряд.
На этом завершается парад.
И тут же «по машинам!» — крикнул взводный.
Направился в леса особый сводный.

Машины не успели отойти,
Бежит Вацис: «Мне с вами по пути!» —
Для пользы общества, из интересу
Охотно прогуляется по лесу...
Сверкая сапогами, в грузовик
Влезает он, и едут напрямик.

Дорога искрится снежком осенним.
У всех глаза пылают возбуждением.
Одним отведать крови нестерпёж,
Других от страха пробирает дрожь.
А лес простой и необыкновенный
Предстал внезапно, отрезвил мгновенно.

И по два, по три двинулись ползком,
Чтоб партизанам не уйти тайком.
Направились оврагом к тёмной чаще.
Земля дышала стужей леденящей.
Под ними кочки, корни, скользкий мох.
А тишина-то — слышен каждый вздох.

Приподнялись и побежали смело,
Но чаша засверкала, загремела.
Укрыться, спрятаться никто не смог.
Гранаты лопались у самых ног.
Кто — наповал, кто снег скребёт ногтями...
Опомнился Вацис в глубокой яме.
Что говорить, их встретили «тепло».
Шачюлиса на клочья разнесло.
Да и живых как смыло — все исчезли...

Герр Блитцт посасывал сигару в кресле
И, проклиная злополучный лес,
Доволен был, что первым не полез.

III

Литва томила в нищете, в неволе.
И думой и душой ушла в подполье.
В судьбе войны приметный перелом.

Фашистам достаётся поделом.
 Под Ленинградом их легло немало.
 От смертоносцев смерть не отставала.

К победе им заказаны пути.
 Лишь довелось бы ноги унести,
 Недавнее страшилище Европы
 Поражено до глубины утробы.
 Не удался обещанный парад
 В стране, где есть Москва и Сталинград.

Жестокый крах войны молниеносной.
 Расплата за злодейство будет грозной.
 В Берлине скорбный колокольный звон.
 Над Эльбой трепет спущенных знамён.
 «Непобедимым» приходилось худо.
 Лишь сумасшедший уповал на чудо...

Такялис к почте приходил чуть свет.
 Из курии бумаги нет и нет.
 В другой приход перевести просил он.
 Здесь оставаться больше не по силам.
 Сбежать отсюда хочет поскорей
 С молоденькой прислужницей своей.

И вот письмо желанное в кармане.
 Гуськом к подъезду подползают сани.
 Горой наваливают мужики
 Узлы, корзины, мебель, сундуки, —
 Всё, что ксендзу досталось их трудами,
 Чего во сне не видывали сами.

Ворчит Гражинис: «Настоятель зол.
 Не допил кофе, в кабинет прошёл.
 Неважный, говорят, приход в Шакяе,
 А едет, лучшего не ожидая.
 Душа Усниниса в полночный час
 Здесь побывала, думаю, не раз».

Не терпится лошадке белоногой...
 Такялис вышел, изнурён тревогой.
 Он жил в Кликунай долгие года,
 И нынче уезжает навсегда.
 Тут всё теперь враждебно, неприятно.
 В саду приходском кровяные пятна
 Вдруг проступают сквозь глубокий снег...
 Он слишком слаонервный человек!..
 В саях уселся грузно — всё же годы.
 Махнул рукой, чтоб трогались подводы,
 И, пропустив обоз, поехал сам,
 Едва кивнув знакомым мужикам.

Путна стоял без шапки на крылечке.
 Как действовать, чтоб не было осечки?
 На совести немало тёмных дел,
 Он от расплаты ускользнуть хотел.
 Почётный пост оласен и непрочен,

Стал ненавистен старшина рабочим.
Ждут новосёлы — уходил бы прочь.
Стреляют партизаны что ни ночь.
Чуть ляжешь спать — завоют самолёты..
Приспело всем свести с Путьной счёты.
Как выкрутится из беды Путьна?
Тяжёлые настали времена.

И с каждым днём трудней, невыносимей.
Как обелить замаранное имя?
Как одолеть кошмарный душный сон?
Не обелит, не одолеет он!
Путьне в Кликунай не на шутку туго
Без хитрого и опытного друга.

Их новый ксёндз уже совсем не то,
Живёт, не вмешиваясь ни во что.
Заботы волости, тревоги, нужды
Ему незанимательны и чужды.
Достаточно имеет он ума
Смиренно ждать, что скажет жизнь сама.

Шло лето через горы и долины.
Свободны вновь просторы Украины.
В ночах Москвы — счастливый гром побед
И быстрые созвездия ракет.
Над крышами — иные самолёты,
И воевать у немцев нет охоты.

Но их дорога всё ещё долга.
Бесчестен и обратный путь врага.
Хоть и побитый, а повадки те же:
На риге хлебец обмолотит свежий,
Обчистит избы, клетки, а потом
Людей угонит вместе со скотом.

Одни муку закапывали в яме,
Другие прятались в канавах сами.
Крестились бабы, сидя в погребках,
И мужиков томил тяжёлый страх.
Телеги ночью в озеро спускали
И хоронили денежки подале.

Не сообщив соседям ничего,
Путьна удрал — как вымело его.
Покинув дом, он в страхе и смятенье
По просеке бежал тревожной тенью
И думал: «Ворочусь, лишь дайте срок,
Как западный подует ветерок!»

В потёмках шёл, накинувши сермягу.
Кустами пробирался по оврагу,
И проклинал он на века веков
И побеждающих большевиков,
И жизнь свою, и самый день рожденья,
Для господ не зная снисхожденья.

Так очутился он у большака.
 Ну что ж, к Тацялису махнёт пока,
 «Но, подождите, он вернётся с маршем.
 Как был в Уснине, так и будет старшим...»
 Шагал и гневался, но в этот миг
 Его нагнал гремящий грузовик.

Договорясь, Путна полез в машину.
 Восточный ветер сильно дует в спину.
 Нехорошо на сердце у Путны:
 Покинув дом на произвол войны,
 Он удирал тайком, проворней вора,
 Литровкой водки соблазнив шофёра.

Машин полно набилось у реки,
 Ругаются, орут штурмовики,
 Беспомощную злобу изливая:
 Остались от моста одни лишь сваи.
 Выходит — ни вперёд и ни назад,
 А напрямик проваливайся в ад.

Через неделю жать пойдут в Уснине.
 С утра сенцо копнят на луговине.
 За озером, сойдясь издалека,
 Встречаются два главных большака.
 В сквозном березняке — машины вражьи.
 Угрюмые окопы в заовражье.

За граблями Шедуйкис шёл в сарай,
 Его остановил собачий лай.
 Глядит в недоуменье и тревоге —
 Отряд проходит по большой дороге.
 Старик отлично различил вдали
 Загар на лицах, сапоги в пыли...

А люди шли вперёд без остановки,
 За их плечами чудились винтовки.
 Свернули к пашне, и Шедуйкис тут
 Забеспокоился: куда идут?
 И это не советская ль разведка?..
 Теперь её встречают здесь нередко.

Большевики и впрямь, наверняка!
 Волнение охватило старика:
 Они войдут в немецкие окопы!
 Будь помоложе, упредил легко бы.
 Он должен, должен их предостеречь!
 Сермягу торопливо скинул с плеч,
 И, как молоденький, легко, проворно
 Бежит Шедуйкис нивой приозёрной.

В такие годы бегать не легко.
 И близко словно бы, а далеко.
 Бежал через болотце без дороги,
 Дрожали и подкашивались ноги,
 И света он не видел пред собой,
 И сердце колотилось вперевой.

Старик передохнул — он не один.
 На склоне видит нескольких мужчин
 И узнаёт, как подошли поближе:
 Шимонис, Йонас, Петрас — все свои же.
 Втроём прочёсывают ивняки,
 И пули свищут наперегонки.
 Шедуйкис не был ранен, лишь контужен...

...Добыть победу — труд великий нужен.
 Огнём заката горизонт объят.
 Летели самолёты на закат
 И врачевались горести и беды
 Живительным дыханием победы.

Часть третья

I

Черёмуха в цвету, в хмельном снегу,
 И курослеп желтеет на лугу,
 И верба наряжается в серёжки...
 Верхом по просыхающей дорожке
 В деревню едет Йонас, полон весь
 Воспоминаньями пережитого здесь.

Как дорог сердцу уголок родимый!
 К земле своей любовь неистребима.
 На этой речке в редкий свой досуг
 Бывало верши расставлял на щук.
 Как прежде, по сухой коре берёзы
 Текут, сверкая, сладостные слёзы...
 Коров Путны он здесь когда-то пас,
 В кустах таился от хозяйских глаз...

Спешит в Уснине секретарь райкома.
 Там жизнь ему до мелочей знакома.
 Легко и радостно смотреть вперёд,
 Когда в стране хозяином народ.

И думал Йонас: «Поработав лето,
 Мы не останемся к зиме без света,
 На днях турбину привезут сюда,
 Припасены столбы и провода.
 Запруда в сущности цела, и скоро
 Наладим на плотине пуск мотора.

Об этом на собрании сейчас
 Серьёзный будет разговор у нас.
 Теперь уж положиться можно смело —
 Крестьяне разберутся в сути дела,
 Поймут, как перспективы широки.
 Работать миром любят мужики.
 Неудержимый жар трудов совместных
 Спокон веков живёт в народных песнях».

Остановился Йонас у ворот.
 В правленьё поджидал его народ,

Через ольшаник напрямик бежал он,
Через чужой ячмень, и жгучим жалом
Засела мысль мертвящая в мозгу:
«Они погибнут, я не добегу...»
Душе тревожно, как перед несчастьем.
Вдруг темнота — и он с размаху наземь...

Внезапно рядом взорвалась земля.
Гремящий хохот окатил поля.
Старик очнулся... Стало как-то глуше,
И грудь стеснило тяжкое удушье.
Он жив... Но если немцы были тут
И видели его — конец, убьют.

Мершилось: в лицо наводят дула.
Он отшатнулся, словно что толкнуло,
И видит — перед ним стоит солдат,
А в десяти шагах и весь отряд,
Те самые, догнать которых нужно,
Как своему, кивают добродушно.

В его ушах окаменела тишь.
Один спросил: «Куда, старик, бежишь?..»
Тот видит звёздочки на их фуражках
И сразу ни следа волнений тяжких,
И объяснять Шедуйкис принялся:
«Там немцы... там окопы... там нельзя...»

Он умолкает, пот со лба стирая.
Не зря бежал от самого сарая.
Ему красноармейцы говорят,
Чтоб не тревожась шёл себе назад,
Что и окопы и шоссе в порядке,
Что враг бежит на запад без оглядки.

Довольный, радостный идёт старик.
Вдруг снизу слышится гортанный крик.
Штурмовики в кустарнике засели.
Среди ветвей приметны еле-еле
В мутнозелёных касках и плашах.
Шедуйкиса ознобом пронял страх.
Теперь конец — минуты не осталось.
И вдруг опять земля заколыхалась.
Ударил гром в прибрежном ивняке,
И эхо покатилося по реке.

...Опомнился Шедуйкис под обрывом
И удивился от души, что жив он.
Два немца здесь навек нашли покой,
А остальные, зная, ушли рекой.
Он потянулся вверх, но сполз обратно.
Всего сковало болью непонятной.
В глазах темно, кружится голова
И словно под водой звучат слова:
«Сейчас бежал Шедуйкис через поле:
Глядите — шапка чья-то... не его ли?..»

На лавках мужики сидели рядом
И яростно дымили самосадом.
Тут бедноты недавней большинство.
Понятно всем, собрались для чего.

Толкуют: «Начинать работу можем...»
«Как раз пришла пора денькам погожим».
«Начнём... да вот в лесу хорош ли путь?»
«А я хочу и сына притянуть...»
Заслушивался Ионас их речами
И крылья вырастали за плечами.

«Держите, что ли! Слышите — трещит!»
«Эй, вы, мужчины, придержите щит!»
«Неправильно! А кто зевал? Всё вы же!»
Ну вот, вошло. Да поднимите выше!
Спускайте!»... Деревянная стена
Рассекла воду и коснулась дна.

Вода взметнулась, разъярясь мгновенно.
О стену билась, закипала пеной,
Нежданно оказалась в западне
И тщетно ищет выхода в стене.
Привычный путь, единственный от века,
Вдруг преграждён рукою человека.

Отёр лицо Шедуйкис — ну и взмок!
От самокруток тянется дымок.
Луга с разбегу заливают речка,
На берегу сухого нет местечка
И словно зыблется зелёный склон.
А дёрн, что колышками укреплён,
Не шелохнётся, сторожа плотину.
В последний раз проверили турбину,
Наладил мастер приводной ремень,
Машина завертелась... Хмурый день
Предстал глазам, как в золочёной раме,
И люди чудились богатырями.

Где спорил с белоусом курослеп,
Где лебеда одолевала хлеб,
Где люди жили крепостных бездольней —
Теперь свистит ремнями мукомольня.
Весёлый свет пробьётся и в дома,
В лесную чашу уберётся тьма.

Всех привлекает зданье заводское,
Бурлит вода, лишённая покоя.
Со стен сосновых, что белым-белы,
Стекают капельки густой смолы,
Немало здесь перебивало люда,
Взволнован каждый ожиданьем чуда.

Окончены работы лишь вчера.
И вдаль столбы отправились с утра.
Двойные провода бегут в Кликунай,

А мельнице остался гром чугунный.
Мелькают лопасти, шумит волна,
Поблёскивает золото зерна.

Мука струёй широкой побежала,
«Вот жизни новой доброе начало», —
Раздумчиво Шедуйкис произнёс.
Беседа шла под перезвон колёс, —
О том, как с поезда везли динамо,
Как вырос двухэтажный дом над ямой,
Как жернова готовы были в срок,
И как в дома пойдёт отсюда ток.

В пустых полях ветра шумят свободней
Никак не спится Йонасу сегодня,
Напрасно ждал — не загорелся свет.
Но где же неполадка? В чём секрет?..
Лицо жены белеет в лунном блеске,
Скользящим в комнату сквозь занавески.

К плотине Йонас, только рассвело,
Помчался в «газике»... ведь как назло
И снег, и грязь... замучили заторы.
Он инженера встретил у мотора,
Уж ночи три подряд не спал и тот,
Дурит мотор, а что с ним — не поймёт.

По стёклам дождь сбегает, небо серо.
Шедуйкис ни на шаг от инженера,
Но бодрости обычной нет и в нём.
Мотор околдовало столбняком.
Пытливо, раздражённо и упрямо
Осматривают в сотый раз динамо.

И каждого в душе терзает страх:
«Неужто праздник праздновать впотьмах!..
Не находя злокозненной утайки,
Вновь проверяют все винты и гайки.
И, приводной ремень надев опять,
Вновь начинают воду напускать...

Вдруг лампочки сверкнули, засияли,
И люди вздрогнули и замолчали.
Как нежен, удивителен и тих
Лучистый свет, что озаряет их!
А на мосту полным-полно народу, —
Ну, словно золото плеснули в воду!

Обратно мчится Йонас, чтоб скорей
Увидеть волюсь в отблесках огней.
А если вдруг попржнему темно там?..
Но острый свет мелькнул за поворотом.
Чудесно всё и будто сам горящий
Огнями, что сияют между крыш.
На сердце празднично, легко, отрадно,
И непогодь не так уже досадна,

И грязь... мы с нею справимся, небось...
Он облегчённо прошептал: «Сбылось!..»

Шедуйкис жил, как повернёшь к плотине,
Ещё вчера сидел он при лучине.
Проводку в доме он наладил сам
И вот, не веря собственным глазам,
Глядит с моста: его ль избёнка это
Иль ларчик, полный золотого света?..

В волнение не заметил, как дошёл.
Под яркой лампочкой белеет стол.
Во все глаза глядят стенные щели.
Ребята замерли, остолбенели,
И с мискою невытертой жена
Среди избы стоит, поражена.

Чудесный свет сместил течение суток:
Средь ночи варится свиной желудок
С картошкой, с луком, с перцем... в эту ночь
Пристало праздновать, а спать невмочь.
Пылают в очаге сухие сучья
И сверху льётся свет благополучья.

Шедуйкис говорит: «Сынок, Альпук,
Перо не для моих дрожащих рук.
Возьми-ка ты бумагу да чернила
И запиши, что расскажу я, милый.
Когда гляжу на этот добрый свет,
Мне ясно виден путь дальнейших лет».

Склонился мальчик головой кудрявой,
Выводит он усердно, хоть коряво,
Отцовские горячие слова,
Осознавая их едва-едва.
И вот ложатся на листок широкий
Прямые мысли и кривые строки:

«Уснине потом, кровью полита,
Голгофа наша, наша маята.
Отцы и деды были крепостными.
Глумились графы да ксендзы над ними:
По десятине дали на семью,
А те им отдавали жизнь свою.
Из года в год, хоть не живи на свете,
Здесь над бездольными свистели плети.
А «воля» вышла, — с ней беда опять:
Народу волю дали... голодать.
И только те, что графский зад лизали,
Устроились без горя, без печали:
Им власти, свой имея интерес,
Отмерили землицы не в обрез.
Отсюда и пошло кулачье племя
И взяло власть над нами надо всеми.
Нужда не легче каторжных оков,
Я кровно ненавижу кулаков.

Жена была пастушкой с колыбели,
 Я сызмала пахал, косил — себе ли!
 Алчбой да кривдой жило кулачьё
 И грабило добро — известно, чьё.
 Но над землёй повеял ветер свежий,
 Разглядятся её морщины-межи»...

Он поглядел на свет над головой,
 Что искрился, лучился, как живой.
 Большие буквы сын вжимал в бумагу
 И продолжал отец: «К людскому благу
 Все помыслы направлены всерьёз.
 Когда начнут записывать в колхоз,
 Войти в него я обязуюсь первым.
 Хочу, соседи, показать пример вам!
 Я, как считалось прежде, не богат,
 И всё-таки внесу немалый вклад:
 Имею землю — не окинуть взглядом.
 Могучий брат живёт со мною рядом.
 Со мной — страна свободная моя,
 Со мной — многонародная семья.
 Со мной великий Сталин — счастье наше,
 Мы будем жить всё радостней да краше...»

II

Письмо Шедуйкиса встряхнуло всех,
 И те, что новому хотят помех,
 Прочли его с неуголимой злобой,
 Но большинство с душевностью особой.
 Письмо звучало со страниц газет.
 Шедуйкис избран в сельский комитет
 И мельницей заведовать назначен.
 Он всей душой живёт в труде горячем.
 Среди машин теперь уже, как свой.
 Когда динамо подымало вой,
 Когда вода сердитая шипела,
 Шедуйкис думал — нет милее дела!

Задерживался часто до утра,
 Ведь всё-таки завод, полно добра...
 И нынче возвратился на рассвете.
 Сначала с фонарём возился в клетки,
 Потом скотину накормил в хлеву.
 Но что это?.. во сне иль наяву —
 Окно в избе закрыто чем-то белым.
 Похолодел он, задрожал всем телом,
 Что ж это лампочка не зажжена?
 Как необычно проспала жена!
 Его, бывало, завтрак ждал готовый.
 Ну вичего, ну, может, нездорова...

Он входит в сени и включает свет.
 Но странно, почему-то света нет.
 В избе темно и тихо, как в могиле,

И будто время приостановили.
 Он чиркнул спичкой, заметалась тьма...
 «Я сплю, быть может... я схожу с ума...»
 В углу жена и оба сына с нею
 Мертвы, зарезаны... Старик, слабея,
 Подходит к ним... в избушке всё вверх дном..
 Глядит и думает лишь об одном:
 «Родимые, вы за меня убиты...
 Мне отомстили за письмо бандиты...»

А рассвело — и увидал тогда:
 Убийцы, оборвавши провода,
 Связали вместе милых, кровных, лучших...
 Путиами птиц ночных, мышей летучих,
 Они проникли в мирное жильё
 Потешить сердце лютое своё.

Услышав весть о злодеяньи диком,
 Гражинис и Сприндис примчались мигом.
 Друзей не мало к мельнику пришло.
 У всех на сердце горько, тяжело.
 Быть может, в недосмотре виноваты?..
 Но не уйдут убийцы от расплаты!

Невольно каждый думает сейчас:
 «Сегодня — здесь, а завтра и у нас...
 Кто этакое горе нам принёс-то?..
 Найдём и разорим кулачи гнёзда!
 За преступление, за кровь детей
 Перед судом ответит лиходея!».

И секретарь райкома прибыл вскоре:
 «Шедуйкис, нету слов — большое горе!
 Но вспомни-ка о старике моём?..
 Уж вместе как-нибудь переживём...
 И старый мой отец и эти трое
 За лучшее погибли, как герои...
 А кулачью пощады не дадим,
 Пока вконец не разочтёмся с ним!»

...И вот выносят из дверей три гроба.
 Твои дела, нечеловечья злоба!
 Последний путь лежит через поля.
 На взгорье расступилась мать-земля.
 Шедуйкис думает, бредя устало, —
 Как жить ему, когда семьи не стало?..

...В пустой избе хозяйкою — беда.
 На мельницу пошёл он, как всегда.
 Тоска на сердце непосильным грузом,
 А здесь вода легко бежит по шлюзам
 И горький день не так уже тяжёл.
 А главное — к кому бы ни зашёл, —
 Для всех Шедуйкис, что отец родимый
 Советская семья нерасторжима.
 Ему везде сердечно руку жмут
 И дорогим товарищем зовут.

Шла подготовка к выборам в Советы.
 Куда ни глянь — плакаты и портреты.
 Шедуйкису почёт в родных краях;
 Он кандидатом выставлен на днях.
 В заботах и трудах отрады много.
 Дорога родины — его дорога.

Сосновый лес пленителен зимой,
 В косых лучах особенно прямой,
 На кронах тяжесть белоснежных шапок.
 Укатан путь, скользят полозья набок,
 Здесь лесорубы трудятся с утра,
 Весёлая, хорошая пора.

Не задремал бы лежебок заядлый,
 По веткам топоры стучат, как дятлы.
 Им отвечает мягкий свист пилы.
 Взлетают щепки, падают стволы,
 На конских крупах оседает иней...
 Сегодня здесь почти что вся Усние.

Кипит работа — времени в обрез.
 Для новых зданий срочно нужен лес.
 Внавалку на вozy ложатся брёвна,
 И тащится по снегу след неровный.
 Тут заводить беседу недосуг,
 Лишь крикнет кто-нибудь: «А ну, Петрук,
 Подсунь-ка лом... да что ты! Осторожно,
 Ведь этак расколоть полозья можно!..»

Проходит день, — и лес уже не тот,
 Он, верно, сам себя не узнаёт,
 Скрипят вozy, а он стоит, молчащий,
 Лишь волчий вой доносится из чащи...
 С дороги вдруг метнулась чья-то тень.
 Стремительно темнеет зимний день,
 Но видели, как дрогнул можжевельник,
 И крикнул Ведегис: «А ну, бездельник,
 Проворней вылезай!..» Но тот молчит.
 Бродяга, а быть может и бандит...
 «Удрать приноровился? Больно ловкий!..»
 При лесорубах были и винтовки,
 Немедленно кустарник окружён,
 И выстрелы гремят со всех сторон.
 Хитёр подлец, но здесь ему уйти ли?
 Лишь сунулся — за шиворот схватили.
 Он ранен был и не владел рукой...
 «Вацюкас Жичкус — вон ты кто такой!
 Милиция давно тебя искала,
 Кровавых дел ты натворил немало,
 И зайцем шмыгаешь в кусты, дрянцо!..»
 Гражинис плюнул Жичкусу в лицо.

Обезоружив, повезли с собою,
Он понимает — кончено с борьбою,
Огнём горит пробитая рука.
Спасенья нет, пропал наверняка.
У мельницы его на снег свалили,
Теря кровь, он мечется в бессилье.

«Шедуйкис, где ты? — мельника зовут.—
Мы без тебя не разберёмся тут...»
Шедуйкис вышел, и Вацис в тревоге
Вскочил, бежит к нему и прямо в ноги...
«Убийца?.. Жичкус?..» — задрожал старик,
И сердце будто замерло на миг.

Он отвернулся, он глядеть не хочет,
Не слушает, а тот, хрипя, бормочет:
«Помилуй иль прикончи, но не я
Всему виной... тут воля не моя.
Путна сбежал, но он ведь и поныне
Не оставляет в помыслах Уенине.
Тебя убить он приказал... Прости,
Помилуй, я смогу его найти.»
Слова из глотки с хрипом вырывались:
«...Глава организации Такялис...»
И голос вдруг до шёпота затих:
«Под алтарём оружие у них»...

III

Сбегаёт с крыш весёлый звон капели,
И озимь и луга зазеленели,
И на обрывах пожелтел песок;
Блестит под солнцем на берёзе сок.
Довольный аист бродит по трясине.
Купается земля в небесной сини.

Работая в райкоме третий год,
Здесь знает Йонас всех наперечёт.
Он помнит, как загадочны и глухи
По избам проползали злые слухи
О том, что в новой жизни проку нет,
Что доверять большевикам не след...

Но жизнь сама разубеждала в этом.
Она в сердца врывалась ярким светом,
И, не стучась, входила в каждый дом,
И увлекала радостным трудом.
Уже и речи нет о недоверье.
Советской школы распахнулись двери,
И книжный магазин открыт давно,
По вечерам заполнено кино,
И бездорожье не кляня впервые,
Все дружно одобряют мостовые.

Но дел полно, лишь погляди вокруг.
И знает Йонас — медлить недосуг.

Не раз проверил — вспашка хороша ли.
Его не зря крестьяне уважали.
Досрочно каждый год кончают сев
И урожая ждут, повеселев.

И счастлив Ионас и признаться вправе,
Что лучшие мечтанья видиг в яви.
Уснице часто навещает он.
Не ту, что с незапамятных времён,
Выматывая силы и здоровье,
Кормилась человеческою кровью,
А новую, что навсегда своя,
Где нынче, как единая семья,
Все труженики молодой артели.
Как долго люди радости хотели,
И Ленинских идей счастливый свет
Им озарил пути грядущих лет.

Что говорить! В Уснице дела много.
Веками жили грязно и убого,
Терпели голод, холод, нищету...
Былое вспоминать невмоготу!
Теперь взамен избёнок кособоких
Поднимутся ряды домов высоких.
Своей землёй республика горда.
Деревни новые и города, —
В облики почти неотличимы, —
Украсят ясный день страны родимой.

Мы этот день увидим наяву.
Шоссе через Советскую Литву
Протянется; сады густые Неман
В живой волне отобразит, и всем он
Дарить захочет и тепло и свет.
Не пробежало и десятка лет,
А ведь былого нет уже в помине.
Хозяин пробудился в селянине.
Не для него ль цветут-шумят поля!
Куда ни глянь — кругом своя земля.
Открылась и сверкает, как зарница,
Истории заветная страница!

Весну в Уснице словно ветер внёс.
В зелёном облаке стволы берёз.
И вот поля и межи вековые
Распаханы машинами впервые.
Где глохли балки, сохла целина,
Живая глубь земли обнажена.
Пырей, чертополох — проклятье нивы —
Корнями вверх валяются, чуть живы,
И сушит их апрельский солнцепёк.
Весёлый ветер вдоль и поперёк
Проносится над поднятою ньюю.
Земля полна и силы и здоровья.

Взгляни вокруг — навеки, навсегда
Здесь всё твоё, как воздух и вода.
Не стало барских каменных заборов,
Исконной розни, вековых раздоров,
Кровавых драк, неправедных судов...
Меняется Уснине до основ.

Пытались кулаки хоть напоследок
Артели навредить и так и этак.
Обманом втёрлось человека три
И подрывали дело изнутри,
Пророчили великие печали,
Но их немедленно разоблачали.

Микнюкасу от бабы нет житья.
Кричит весь день: «Моя земля, моя!
В артель не смей!» И бродит он в тревоге
По той земле, что поперёк дороги,
И горько мается из-за того,
Что не имеет слова своего.

Шедуйкис говорит: «Обдумай здраво.
И не вертись налево да направо.
И зря на ветер не бросай слова.
Быть может, трудно будет нам сперва,
Но мы должны упорны быть и стойки.
Начало есть — нам дали тес для стройки,
Прислали трактор, завтра, говорят,
Прибудут семена, суперфосфат.
Получит каждый по его работе,
Не виделось во сне, как заживёте.
Артель, соседи, не твоё-моё,
Она поддержит нас, а мы её».

Земля почти просохла, и крестьяне
Подвозят камень для закладки зданий.
Бригадою корчуют сухостой.
Им волость план прислала не простой:
Зелёные и алые разводы,
Вокруг домов — сады и огороды.

Наметив цель, должны её достичь,
Тащили к стройке щебень и кирпич,
Проворно волокли цепями брёвна,
На козлы их укладывали ровно,
Звенящая пила брала разбег
И сыпался сухой сосновый снег.

Ещё сомненья мучили кого-то,
Но с каждым днём дружнее шла работа.
У мужика прямой и твёрдый нрав:
Решает долго — прав или не прав,
Он не захочет на слово поверить.
Всё должен сам и взвесить и измерить.
Обдумает, проверит наперёд
И если по сердцу — тогда возьмёт
Своей неразмыкающейся хваткой

И уж работать станет без устатка.
 Не сбить с пути богатырей труда,
 Их разум ясен, воля их тверда.

Шедуйкис, Ведегис, Сприндис, Гражинис,
 Как много униженья каждый вынес,
 Живя в нужде, без хлеба, без земли.
 Они в артель немедленно вошли
 И, понимая суть её глубоко,
 Оберегают, как зеницу ока.

Как возмужал советский человек!
 В мечтаньях он опережает век,
 И, созидая, обгоняет сроки...
 В земле весенней буйно бродят соки.
 В ладу с весёлым звоном кирпичей
 Грохочет щебня мелкого ручей,
 Струясь через железные решёта.
 Как стала людям радостна работа!
 Им виден родины могучий рост,
 А в прошлое давно разрушен мост.

Лучистый, ласковый конец апреля,
 Река идёт в разливе еле-еле.
 Весну лягушки славят целый день.
 Струятся в борозды овёс, ячмень,
 Гречиха, просо и горох особо,
 И от пшеницы сытно пахнет слобой.

Апрель уходит, землю обогрев.
 Денёк-другой — колхоз окончит сев.
 Заборонуют свежие отвалы,
 Чтобы зерно впустую не пропало,
 Чтоб соками набухло и взошло,
 Вобрав земли родимое тепло.

Звучали песни радости весенней...
 Хорошее в Уснине настроенье:
 Не подвели Кликунайский район.
 Весенний сев на совесть проведён,
 И честь колхоза подняли высоко,
 Закончив за четыре дня до срока.

В колхозе праздник — первомайский день
 И ждут гостей из ближних деревень.
 Спектакль и танцы — погуляют вволю.
 Сприндисов сын давно сидит над ролью.
 Недаром сцена сооружена
 Трудами комсомольского звена.

Черёмуху кудрявую ломая,
 Готовились ребята к Первомаю.
 Гирляндами украсили гумно.
 Кругом и света и тепла полно,
 И красный флаг в голубизне весёлой
 Взвивается над строящейся школой.

Напев гармонии льётся впереплёск.
 И тает сердце девичье, как воск.
 На праздник с хуторов пришли крестьяне.
 В глазах у всех светилось ожиданье —
 Не терпится увидеть — что и как.
 Перекроить деревню не пустяк.
 Фундамент — видно, что надёжной кладки
 Да и нигде не встретишь неполадки.
 На юг по речке улицу ведут.
 И клуб, и школа, и правление тут...

Прославилась Гражиниса бригада.
 Работали строители как надо.
 Вчера деревню известил район,
 Что бригадир медалью награждён.
 Вот он стоит под деревцем вишнёвым
 И говорит, волнуясь чувством новым:

«Товарищи, друзья! Не только мне
 Наш майский праздник радостен вдвойне.
 Уснине — это видите вы сами —
 Пошла вперёд саженными шагами,
 И только потому, что нету в ней
 Наделов мелких, межевых камней.
 У нас в колхозном поле — разве плохо! —
 Ни молочая, ни чертополоха —
 Их трактор выпшвырнул, — и нашу рожь
 Охаять трудно — урожай хорош!
 Живём не худо, будем жить богато.
 Для нас к нужде и рабству нет возврата.
 Вперёд и лишь вперёд стремимся мы.
 Строительство закончить до зимы
 Республике даём сегодня слово.
 Отпразднуем Октябрь в Уснине новой!..»

И слушал, ни словца не проронив,
 Не только свой уснинский коллектив,
 Но из округи гости-хуторяне
 Стояли так же, затаив дыханье.

И думал Йонас — не узнать народ!
 В труде и дружбе человек растёт.
 Одна душа — колхозники Уснине.
 Как сам он вырос на работе с ними!
 Неутомимый боевой отряд!
 Лишь загорятся — чудеса творят.
 И не свернут с единственной дороги,
 Открывшей миру горизонт широкий.

*Авторизованный перевод с литовского
 М. Петровых*



ОЛЕСЬ ГОНЧАР
★
МИКИТА БРАТУСЬ

Повесть

1

Славное выдалось утро: кто помер, ещё и пожалеет. Снега убегают, звенят ручьи, всё вокруг просыхает, парует. Небо обновилось — синее сегодня совсем по-весеннему.

Сад мой стоит ещё голый, но уже бродит соками, налился, вот-вот раскроются почки.

— Здравствуй, — говорю ему, снимая шапку.

По утрам я снимаю перед ним свою заячью шапку с завязанными на затылке ушами.

Девчата смеются:

— Вы у нас, Микита Иванович, как народный артист!

Думают, чудит старик.

— Цокотухи, — говорю, — вы не смейтесь, это не чудачество, без этого сад родить не будет.

— Без вашего здоровканья?

— А как же... Когда я кланяюсь яблоньке или грушке, то и смотрю заодно — какова ты? Не свил ли на тебе гнездо червь-вредитель, не холодно ли почке, не требуешь ли от меня какой-нибудь срочной помощи.

Спокойный, мирный стоит сад. Видели бы вы, какими мускулистыми становятся эти упругие деревья, когда подует ветер! А сейчас каждое словно мечтает о чём-то, глянцевым блеском вспыхивает на солнце, а там, где я прохожу, деревцо будто невзначай задевает меня, тянется ко мне своими живыми, влажными руками. Смышлённое, знает к кому тянуться... Ещё бы не знать: в этот сад я вложил двадцать лет жизни и не меньше, чем на двести лет — энергии.

Сегодня мы открываем траншеи в саду. Всю зиму они были закрыты рамами и рогожами, привалены землёю. Траншеи глубокие, длинные, стены обложены саманом и выбелены. Это наш лимонарий, подземная, вечнозелёная роща субтропических культур.

Только садовник во всём понимает садовника. Только садовник может понять, с каким чувством поднимал я сегодня первую раму. Выдержали? Сбудется наша мечта или, может, придётся начинать всё сызнова? Зиму-то цитрусы мои сидели не политые в темноте, в траншеях, заметённых сверху снегами. Такую ночь не то что растению, и человеку нелегко было бы выдержать... Ночь многомесячная, как в Заполярье. Конечно, я и зимой не раз заглядывал к ним, давал им во время оттепели световую подкормку, но сегодня...

Открываю, а у самого сердце ёкает. И девчата, неусыпные кадры мои, ученицы и помощницы, сбились возле меня, стоят — не дышат.

Быть у нас субтропикам или не быть?

Отворяю раму торжественно, словно дверь в свой завтрашний день. Солнечные зайцы, опередив меня, уже прыгнули в траншею, заиграли в белых подземных хорах, осветив шеренгу маленьких наших южан.

— Зелёные! Живые!

Уже мы в траншее, ощупываем листья. Они хоть и ослабели за зиму, но не осыпались, не отмерзли. Чую в них живой пульс — это главное. Земля под цитрусами тоже затвердела и спрессовалась — вытянули деревца из-под себя всю влагу. Теперь мы их польём. Будет вам вода, будет свежий воздух, получите света и тепла вдоволь. Впереди роскошные солнечные дни.

— Видите, девочки, увенчались успехом наши труды. Разве не говорил я, что на наших землях да в наших условиях всё будет расти и улыбаться. Не принимается у нас только одно дерево...

— Какое, Микита Иванович?

— Которого не сажаем. Только оно и не вырастет здесь.

Помощницы мои радуются цитрусам не меньше меня. У них есть для этого все основания. Разве не воевали они за лимонарий, как и я? Разве не рыли вот эти траншеи, так что мозоли вздулись на руках?

Отгребают землю, поднимают рамы, весело грозят:

— Пойдём да притащим того долгоязого морганиста сюда! Согнись, Фома неверный, в дугу, полезай в траншею и гляди: живёт наш лимонарий!

Знаю, кому угрожают мои комсомолочки. Они имеют в виду нашего уважаемого бухгалтера Харлампия Давыдовича Зюзя. Это он в прошлом году возглавил против меня оппозицию, когда я на правлении поставил вопрос о цитрусах.

— Мы вас уважаем, Микита Иванович, — разглагольствовал тогда Зюзь. — Никто не станет возражать, что благодаря вашим сортам черешни и яблок наш «Червоный запорожец» уже имеет немалые прибыли, иначе говоря, мы оказались в числе колхозов-миллионеров. К вам ездят на «победах» учёные, в газетах вас величают воинствующим мичуринцем, самородком. Всё это так, признаём. Но то, что вы, Микита Иванович, сгоряча навязываете нам теперь, это... позвольте! Разве мы Крым, разве мы Одесса, чтобы братья за субтропики? Мы, как известно, Приднепровье, крайний север Таврии. Должно быть, поэтому нас и не трогают сверху — план по цитрусам нам не спущен. Так зачем же нам лезть вперёд наших южных соседей, куда спешить? Или, может, сад у нас маленький, не засыпает нас фруктами? Пусть уж те пробуют, кому нечем похвалиться, те, что южнее нас, — увидим, что у них получится. Культура новая, незнакомая. А получится — тем лучше, их опыт охотно переймём. Кто же из нас против новаторства в природе? К лимону, товарищи, я сам был интересант, по собственной инициативе пробовал когда-то выращивать его в хате, в кадучке. Всё он у меня получал, только чаем с сахаром я его не поил, а всё-таки зимой взял он и захирел, к весне и листья сбросил. А почему? Не та зона.

— Не тебе, — говорю, — первому попадать пальцем в небо, товарищ Зюзь. Пока такой умник, как ты, стоит на берегу и разглагольствует, дурень тем временем с успехом речку вброд переходит. Помнишь, когда-то были скептики, которые говорили, что и виноград у нас не выдержит, из всех закоулков каркали на Микиту, когда он высаживал первые кусты. А где сейчас те знатоки, где сейчас те авторитеты? Давай их сюда, в их потоплю в вине из наших новых зимостойких сортов винограда!

— А правда, потопили бы, — замечает наш голова¹ товарищ Мелешко. — Да выгодно ли?

¹ Председатель колхоза. (Примечание переводчика.)

— Или, — веду я дальше, — возьмём ещё историю с хлопком. В первые годы, когда наш украинский юг только начинал осваивать эту культуру, тогда из-за каждого угла нам шипели: не та зона! Не дозреет! Не раскроются коробочки до морозов! Было такое, товарищ Зюзь?

— Тогда с..умыслом шипели, — угрожающе ёрзает на стуле Зюзь, — ты не равняй, пожалуйста!

— Тогда с умыслом, а сейчас ты, верно, без умысла уже сам протёр несколько пар штанов, сотканых из голопристанского или мелитопольского хлопка. Из того, в который не верили!

— Это не совсем то, — бросает Зюзь.

— То, — говорю, — именно то.

Тогда он, бедняга, попробовал меня на теории сбить. Приплёл сюда нашу среднюю температуру, козырнул общеизвестными данными о числе солнечных дней, необходимых для нормального вызревания цитруса. Думает — припёр уже Братуся к стене, радуется:

— Не сходится баланс? Разрыв большой?

— Если бы, — говорю, — сходился баланс наших климатических условий, нечего бы и ломиться в открытую дверь. Цитрусы уже давно распространились бы на Украине.

— А теперь разве мы себе климат переизбрали? Что вы сейчас можете противопоставить суровости наших континентальных зим? Ведь речь идёт не о каком-то новом зимостойком сорте цитруса — за такой мы бы обеими руками! Речь идёт о тех же нежных южанах, которые и в новой зоне будут своего требовать без скидки. Откуда вы, товарищ Братусь, надеетесь получить для них недостающее количество солнечных дней?

Высказался — и с победным видом ждёт. Только я рот раскрыл, чтоб проглотить Зюзя... чтоб проглотить товарища Зюзя вместе с его окулярами и журавлиными ногами, как откуда-то из сеней, опережая меня, отзывается ему хором:

— Остальные дни мы сами будем греть его!

— Согреем, только бы рос!

То мой — эти вот комсомолочки поспешили мне на выручку. Чуть не вся моя бригада толпилась, парилась тогда в сенях.

— Да, вы такие, что нагреете! — сокрушённо сказал голова, а сам, вижу, посматривает на Лидию Тарасовну — что она скажет. Агроном Лидия Тарасовна Баштова, как известно, у нас парторгом, и её мнение даже для Мелешко очень авторитетно. Но Баштова — женщина с выдержкой и никогда не спешит навязывать своё мнение. Стиль у неё такой.

— Излагайте, товарищ Братусь, свой план, — спокойно обращается она ко мне.

Излагаю. Тихо стало, а Зюзь тем временем на счётах цок да цок, плюсует себе да минусует. Когда я кончил, он опять добивается слова.

— Если трудодни, вложенные во все эти работы, — заявляет Зюзь, — да переведём на деньги — выйдет кругленькая цифра с четырьмя нулями, порядка десяти тысяч. Скажите, товарищ Братусь, сколько лимонов можно купить на рынке за десять тысяч?

— Я думаю, что года три чаёвничали бы, — замечает Мелешко, явно подавленный зюзевскими четырьмя нулями. — Если послать в Грузию человека к нашим друзьям в Махарадзевский район и договориться с ними — оптом... были бы мы гарантированы.

— К тому же ничем не рискуя, — оживившись, настаивает на своём Зюзь. — Наш «Червоный запорожец» не научно-опытная станция, чтобы вколачивать по десять тысяч во всякие эксперименты.

.. Только собрался я ему ответить, как у двери народ качнулся, и вперёд, вижу, проталкивается, распалившись, моя краснощёкая Оришка. Могла ли она стерпеть, чтобы на мне ещё кто-нибудь ездил, кроме неё? Что Оришка дома со мной творит — того никто не знает, но на людях она всегда готова вступить за своего воинствующего мичурина.

— Послушайте Зюзя, люди добрые, — возмущённо крикнула Оришка, — он вам нащёлкает нулей! Разве ж вы забыли, как в позапрошлом году у него куриное яйцо обошлось в сто сорок рублей деньгами!

— То была ошибка, — привычно ошетинился Зюзь, — и нечего мне весь век глаза ею колотить!.. Я за то яйцо уже был подвергнут заслуженной критике!

Товарищ Мелешко начал мирить:

— Вы по существу давайте, по существу.

Я и до сих пор не пойму, к кому относилось это мелешковское «по существу»: то ли к Зюзю, то ли к Оришке, то ли к ним обоим.

А Лидия Тарасовна тем временем слушала и только щурилась на ораторов (это у неё привычка такая — щуриться на каждого, как на солнце). Потом попросила слова.

— Плохие были б мы хозяева, когда б по десять тысяч бросали на ветер, — сказала Лидия Тарасовна. — А что, если не на ветер, товарищ Зюзь? Что, если в будущем именно в нашей Кавуновке, в нашем «Червоном запорожце» появится один из новых зимостойких сортов украинского лимона? В какие тысячи тогда вы уложите стоимость его для нас и для всей страны? Представьте себе — иметь свой собственный лимонарий. Мой или ваш ребёнок, захворавши, получает целебный плод, выздоравливает. Дорого, по-вашему? Что же может быть дороже, чем здоровье наших детей? Извините меня, Харлампий Давыдович, за такое слово, но вы рассуждали сегодня... вроде как лавочник. Пусть колхозный, а — лавочник.

В этот момент и Мелешко, смекнув, в чём суть, глянул на своего буха исподлобья:

— Развёл нам тут целую оппозицию..

— Вы пытаетесь, — словно и не слыхала Мелешка Лидия Тарасовна, — подсчитать на пальцах то, для чего нужны, может быть, астрономические числа. Ведь дело идёт о глубоком преобразовании одного из важнейших участков природы, о распространении субтропических культур в совершенно новых для них районах. Подумать только, товарищи! — поднялась из-за стола Баштова. — Цитрус на Украине! Когда это было возможно! Да мы эту культуру не то что... Нам бы её на «вы» величать!

Так и сказала Лидия Тарасовна. На «вы»! За эту чуткость я стал ещё больше её уважать.

Тогда уже решил: только дождусь своего лимона — первую скибочку ей поднесу, Лидии Тарасовне, за прогрессивность её натуры.

— Так, девочки?

— «Так» у нас ничего не бывает. Яснее формулируйтесь, Микита Иванович..

— Когда, говорю, снимем свой лимон-первенец, то первую скибочку Лидии Тарасовне — на пробу.

— Верно! Ей!

— Опять наши умы сходятся.

— А Зюзю дадите?

Гм... Зюзю..

— Пусть Зюзь себе законным путём выписывает, по накладной. Устава мы придерживаемся и ради нуля разбазариваться не будем.

Открыв все траншеи, садимся завтракать. Девчата расцвели, раскраснелись после работы — вижу, озорничать им хочется. С ними у ме-

ня чудеса нарасхват: тут тебе и ха-ха-ха, тут тебе и гу-гу-гу, а глядишь — и дело слажено.

Приметные у меня комсомолки! И сейчас приметные, а ещё больше летом, когда собираем фрукты... Парни-горняки из соседнего Краснознамённого рудника как-то хвалились мне, что девчат из моей садовой бригады они даже на расстоянии чувят, даже если в клубе свет погаснет.

— Как же это вам удаётся? — заинтересовался я.

— Уж мы знаем как, Микита Иванович! В августе каждая из ваших девчат яблоками-ранетами пахнет!..

Ишь, какой тонкий, какой развитой нюх у молодых горняков. А я уже не слышу. Правда, может, потому, что и сам яблоками пропах; как-то говорила мне об этом Оришка (она у меня круглый год тёплым коровьим молоком пахнет).

Угощают меня девчата пирожками, подкатываются ко мне то так, то сяк.

— И чего вы, неугомонные, до старика вяжетесь?

— Что вы, Микита Иванович! Какой вы старик? Вы ещё без лестницы на хату взберётесь!

— Смотря на какую хату. При теперешней архитектуре... не берусь. Просят, чтоб я сочинил им что-нибудь на открытие весны.

— Что же я вам сочиню?

— Ну, как были вы молодым...

Ах, сороки! Это их излюбленная тема.

— Вот, хотите — верьте, девчата, хотите — нет...

И я говорю им чистую правду, рассказываю, как был я молодым, и была у деда моего шелковица, одна-одинёшенька на весь двор. Теперь я догадываюсь, что была то не шелковица, а бесплодный шелкун — дерево не родило вовсе. А нам, всему братусевскому выводку, страсть как хотелось, чтоб оно родило!

Каждую зиму, в ночь под Новый год, выходил дед наш Калина босиком во двор и грозил дереву топором:

— Роди, а то срублю!

И все мы надеялись вместе с дедом, что дерево напугается и будущим летом родит.

Приходило лето, а дерево, как и прежде, ничего нам не родило.

Девчата не верят, смеются. А мне чего смеяться? Я не смеюсь, я выложил им чистую правду.

— Нет, вы-таки у нас, Микита Иванович, настоящий народный артист!

2

Этот сад можно считать живой летописью нашей артели. Поглядите на него. Думаете, спокон веку стояли тут кварталы шафранов и симиренков, кальвилей и ранетов золотых? Думаете, всегда триумфально шумели здесь эти ветроломы из яворов и высоких пирамидальных тополей? И следу их не было.

Лежал край села в объездах днепровских рукавов голый, гористый остров. И вода была рядом, а ничто на острове не родило, кроме чёрных колючек-якорцев. С весны, бывало, ещё так-сяк, до июня скот побродит, а потом, как налетят из степи горячие суховеи, всё повыгорает дотла. Не раз я посматривал на наш остров: гуляет понапрасну из году в год, пустошью желтеет за плавнями, будто аравийские пески.

Да что я мог тогда сделать, даже со своей Оришкой в супраге?

В год великого перелома, когда мы создавались, я сказал себе:

— Пришёл, Микита, твой час. Отныне будешь иметь где развернуться и осуществить свои давние замыслы. Теперь ты, человеке, и горы сдвинешь.

Меня уже и тогда интересовали вопросы поднятия морозостойкости растений и ликвидации периодичности плодоношения — эти усатые вопросы, которые ещё и сегодня спокойно спать мне не дают. Я уже и тогда пробовал выкидывать разные штуки с природой, пробовал кое-что скрещивать, используя для этого наши местные, народные сорта. К тому времени мою черешню «Пионерка» знал чуть ли не весь украинский юг. Отовсюду шли ко мне за саженцами «Пионерки»; что имел — раздавал, хотелось, чтоб везде росло и утверждалось.

Да ведь теснота — негде было размахнуться! Усадьба моя была такая, что если бы легла Оришка поперёк, то и в соседский огород ногами забралась бы. И питомник у меня соответствовал тем возможностям: прижался к хате — ладонью накроешь. А люди идут — дай, дай.. Я рад бы, да разве на всех напасёшься?

Помню, попробовал как-то и травополку проверить на своём огороде, так Оришка чуть не побила.

— Хочешь, чтоб я твою люцерку в борщ крошила?

С колхозом пошли другие дела. Предложил я разбить большой колхозный сад мичуринского образца. Карпо Васильевич Лысогор, — он сейчас работает директором Солончанской МТС, — был тогда у нас секретарём партийной ячейки, спасибо ему, твёрдо поддержал мою идею.

— Заложим!

Но где закладывать? Полевой земли жаль..

На неудобье!

Идём мы втроём в разведку на остров: Лысогор, я — Микита Братусеня, и Логвин Потапович Мелешко, наш голова (он у нас головует с самого начала нашей эры).

Идут три фундатора, три зачинателя, колючие якорцы с песком лезут в разъявленные башмаки Микиты, а вокруг молочай желтеет, чертополох стоит, будто черкесы в мохнатых папахах. Зелёные ящерики; желтобрюхи и гадюки свистят из-под ног. Развелось нечисти, расплодилось, как в новом ковчеге!

Остановились, осматриваем ковчег. Дали себя знать агрессивные восточные суховеи, уже подбираются к нам, обжигают наш зелёный придедах остров, превращают в бурую, гиблую пустыню..

— Вырастет сад? — спрашивает меня Карпо Лысогор.

— Должен, — говорю, — вырасти.

Вздыхнул Мелешко.

Конечно, я знал, что нелегко будет ему расти. Нужно орошать, удобрять, ввести нам строжайшую агротехнику, словом — придётся приложить ума и рук, и ещё раз рук, и ещё раз ума. Одному это было бы не под силу, да ведь я здесь не бунтарь-одиночка, за меня вся колхозная система. Вот почему я тогда сказал, что должно расти.

Мелешко, хмурясь, разминает в пальцах островную супесь и даже зачем-то нюхает её.

— Вымотает этот сад все жилы из нас... А окупится ли?

— Будем надеяться, — отвечает ему Лысогор. — Конечно, придётся и потерпеть, и повоевать. Сад — не редька и всякая такая петрушка, — сегодня посадил, а завтра уже имеешь от неё грош прибыли. Кто живёт лишь сегодняшним буднем, тот не станет заниматься садами. Тут нужны люди с крепкими нервами, с далёкой верой, настоящие оптимисты.

— Дай, — говорю, — руку, Карпо!.. До сих пор думал, что я так себе, просто Микита Братусь из Кавуновки, а ныне вижу — нет! С го-

ловы до пят чувствую себя этим самым оптимистом. Будем орошать, вода рядом, весь остров опоясан живой водой, днепровскими текучими рукавами. Запряжём науку, подпряжём технику, пестовать будем каждое дерево. Как тут не родить.

— Что ж... добре,— сказал Мелешко. — Попробуем.

А уж он как скажет «добре», так будьте уверены, поставит на ноги живого и мёртвого, днём и ночью толочься будет, как домовою, мобилизует все ресурсы.

— Я думаю, Микита Иванович, — обращается ко мне Лысогор, — что тебе не мешало бы съездить в город Козлов, к товарищу Мичурину. Ближе познакомишься, посоветуешься с ним. Заодно захватишь мёшочек островной земли на анализ — там у Мичурина должна быть лаборатория. Сделаешь анализ, узнаешь точно, чего именно ей не хватает. Ты как, Логвин Потапович?

— Не возражаю, командирюем. Только пусть товарняками едет, чтоб дешевле обошлось. Чуешь, Микита? Товарняками дуй.

— На крышах поеду — больше увижу!

— То-то же... А у Мичурина саженцев проси. Показательный колхозный сад, мол, закладываем, а с посадочным материалом туго. Что давать станет — всё бери, не ломайся, на острове места хватит.

Так и порешили. Взял я земли на пробу и товарняками да на крышах — к Мичурину.

Неправы те, что рисуют Ивана Владимировича сердитым, капризным стариканом. Мудрый, остроумный, весёлый был наш учитель!.. Вряд ли он при мне только был таким.

Достиг я Козлова, когда уже крепко похолодало, на улице в ту пору дождь хлестал, а в кабинете у Ивана Владимировича было жарко натоплено; так и ввалился я к нему — с дождём, промокший до нитки.

Мичурин писал, склонившись над столом. Поднял голову, окинул меня спокойным, пронизательным взглядом. Было в том взгляде в самом деле нечто величественное, апостольское и в то же время горело в нём, рвалось тебе навстречу хорошее нашинское тепло — человеческое, юношеское, весёлое.

— А, Братусь... Слышал, слышал.

И усаживает меня у стола, по правую руку от себя.

— Рассказывай, зачем приехал?

Говорит он будто и не громко, а мне чудится, что гремит на весь дом.

— Посоветоваться приехал, Иван Владимирович. Земли вот захватил для образца.

Показал я ему нашу землю. Терпеливо, не спеша изучал её Мичурин.

— Прекрасная, — говорит. — Смело закладывайте.

А когда я насчёт саженцев заикнулся, Иван Владимирович пристыдил, что просим у него (потом всё-таки сдался и отпустил).

— Мне, — говорит, — не жалко, да вы ведь знаете, что сорта мои расчитаны, главным образом, для продвижения на север. Вас, украинцев, ими вряд ли удивишь. Не так мои саженцы, как метод, метод мой вам нужен. Законы управления природой и развитием растений — вот что к вам просится.

— Изучаем, — говорю, — Иван Владимирович, и применяем.

— Особое обратите внимание на сорта народной селекции. Там у вас — богатства неисчислимы.

Пока разговаривали, я в тёплой комнате распарился, весь аж дымиться стал. Заметив это, Мичурин поднялся из-за стола.

— Пойдём, переоденешься, просохнешь. Ишь, как распарился... Ты ещё у меня тут прорасть начнёшь.

Неловко мне было причинять ему хлопоты, пробовал отказываться — где там... Да ещё и наказ Мелешка всплыл в памяти: не ломайся! Позже Иван Владимирович угощал меня своими зимними сортами.

Пробую, похваливаю, а он усмежается:

— Не ври, — говорит, — вот не люблю лести. Сам знаю, что у вас там, на юге, куда вкуснее есть... Есть, есть, у вас там и должны быть лучше, чем эти. Но для севера, где раньше люди вовсе яблока не видели, и это уже не малое достижение.

Прощаясь, положил мне руку на плечо, стоит передо мной — родной, добрый наставник.

— А тебе, — говорит, — Братусь, будет труднее, чем мне.

— Почему, Иван Владимирович?

— У вас, на Украине, культура садоводства издавна высокая, ассортимент в основном хороший, не то что в северных районах. Согласитесь, что никакое улучшить легче, чем улучшать хорошее.

Я, кажется, знаю толк в шутках и сам люблю пошутить! И это, конечно, шутил со мной Мичурин! Оба мы в тот момент хорошо знали, кому из нас легче, а кому труднее. Труднее всех, разумеется, было ему, Ивану Владимировичу, прокладывать для всех нас путь.

Конечно, наша дорога тоже не коврами была устлана. Кулаки и их прихвостни нам и мышей на остров напустили, и кору ночами на деревьях подрезали, и носили Микиту на всех перекрёстках. Был у нас в те годы такой себе шашель¹ житомирский, клоп грушевый, сколько он мне крови испортил... да чёрт с ним. Потопчусь на нём где-нибудь в другой раз, не теперь, когда о наших великих садах речь.

Посадили мы не за день весь сад. Сначала посадили ярус внизу, по краю острова, площадью в тридцать гектаров. Через год, когда этот принялся, — опоясали остров другим, широким ярусом в сорок гектаров. А на третий год освоили остальное, всю гористую часть острова. Сто двадцать га!

Так постепенно, вместе с укреплением колхоза разрастался и наш сад, поднимался ярус за ярусом всё выше, пока не взобрались мы на самую гору.

А теперь? Что здесь в мае делается, когда сад цветёт! Идёшь километр, а вокруг тебя сияет и сияет во все концы сказочное бело-розовое царство, идёшь другой — а над тобою всё плывут и плывут пышные ароматные соцветья... А в августе? На виноградниках по полпуда гроздьев на каждом кусте, в саду — ветки гнутся от плодов, знай подпирай! Пригнёшься — понизу холмы красных шафранов горят меж деревьев, выпрямишься — бьют в глаза солнечным блеском кальвили, облепив крону до самой макушки... А когда ветер, ступить тебе некуда — земля устлана созревшими плодами. Возьмёшь яблоко в руку — взглянуть на него, и такое оно смотрит на тебя красивое, такое божественно-совершенное, что уже не осмеливаешься бросить его обратно на землю. Так и держишь в руке, не находя для него лучшего места. Между прочим, на своих приятелях-садоводах я то же самое замечал: не утерпит, поднимет яблоко с земли, а бросить его потом не решается, неудобно как-то.

Мне, вы знаете, в наши времена везёт на встречи с великими людьми. Раньше кого я мог повстречать: волостного старшину, попа, дяка... Но что же в них великого, что выдающегося, если я сам громче их «Хмеля»² мог вытянуть! А в наши времена то и дело действительно

¹ Червь-древоточец. (Примечание переводчика.)

² Украинская народная песня. (Примечание переводчика.)

знаменитых людей встречаю. Не то везёт мне, не то сама наша жизнь такая уж стала урожайная на полноколосых, выдающихся людей?

В позапрошлом году посетил наш сад секретарь ЦК. Как и встречу с Мичуриным, никогда я не забуду тот день. Было это в мае, в пору цветения.

Началось вот с чего: прибегают, запыхавшись, ко мне в яблонево́й квартал наши непоседы-пионеры (я им не запрещаю толочься в саду, пусть привыкают).

— Микита Иванович, какие-то машины мчатся через мост на остров!..

— А точнее?

— Вереница легковых!

«Кто б это мог быть?» — думаю и выхожу на центральную аллею.

Вижу — подходит группа людей, машины внизу оставили. Узнаю среди них нашего секретаря райкома товарища Смирнова, Лидию Тарасовну Баштову и неперменного Мелешка, конечно, тоже узнаю. Все они держатся во втором эшелоне, а впереди кто-то идёт, живо поглядывая на кварталы, — невысокий, коренастый, в белом костюме, ростом и фигурой точно как я. Подхожу ближе — и дыхание у меня на радостях перехватило! Он, наш секретарь ЦК!

Совсем такой, как на портретах. Улыбается мне ласково, приветливо, словно мы давно уже с ним знакомы и за столом вместе сидели.

— Здравствуйте, товарищ Братусь, — и подаёт мне руку. — Так это ваши владения?

— Мои, — говорю.

А сад цветёт! Люблю его во всякую пору — и золотым летом, и багряной осенью, и зимой, когда он, заиндевевший, дремлет, стоя по пояс в снегу, — но весной, да ещё в мае! — этому и слов не подобрать... Верно, только садовник и пчела могут тогда сравниться силой своего наслаждения, своей любви к нему... А в день приезда секретаря ЦК сад мой расцвёл небывало, кажется пышнее, чем когда бы то ни было. Может, потому, что с одной стороны как раз подымалась синяя туча, а когда на горизонте синее туча, на её фоне цветущий сад особенно ярко и хорошо.

Самая маленькая веточка — и та вся облеплена бело-розовыми лепестками. А воздух! Если был когда-нибудь рай, то в нём, я уверен, пахло так, как в моём саду. Воздух райский, хоть во флаконы его наливай. Каждое дерево, каждая крона светится, будто огромная ваза, созданная из самого воздуха, солнца и тончайшего фарфора.

Думаю, что сад наш расцвёл в тот день так могуче за всё своё горе, за все муки, пережитые им в лихолетье оккупации. К тому времени не успел я ещё и все осколки повытаскивать, кое-где они ещё сидели в живых стволах, аж болело у меня вот здесь!

Иду рядом с секретарём, толкуем. Рассказываю ему, как ремонтируем сад после войны и как сторож нашего сада дед Ярёма в годы оккупации мужественно принял немецкие плети за то, что отказался показать коменданту мой гибридный участок, и как другие колхозники тоже указали коменданту совсем не то, что он искал. Не умолчал я перед секретарём и о наших потерях, рассказал, что часть нашего питомника оккупанты всё же погрузили в вагоны и вывезли в райх, а больше не успели, потому что, как известно, подавились. Всё выложил, что наболело, и перспективу попутно нарисовал. Тянуло меня ещё пожаловаться на Мелешка за то, что не хочет самолёты нанимать в аэрофлоте, чтоб окуривали нам сад с воздуха, но потом сдержался: не тот момент.

Идём, и всякий раз перед каким-нибудь прекраснейшим клубком живого соцветия секретарь останавливается и снимает свой брыль, буд-

то здороваётся с яблонькой. По этой примете я сразу определил, что секретарь ЦК, видимо, и сам славный, душевный садовник. Позже он мне открылся, что — да! — действительно занимается.

Стоим перед яблонькой, и просто удивительно! — до чего же похож на меня секретарь ЦК. И не только коренастым телосложением, лицом и крепкой лысиной — главное, чувствую, характером, мыслями кровно мы близки.

— Спасибо вам, — говорит, — товарищ Братусь, за ваши труды, за вашу плодотворную жизнь. Пока что у нас таких цветущих островов немного. Наша цель — сделать так, чтоб не отдельные острова красовались в цвету, а чтобы сплошь укрыли сады нашу землю, затопили, как весенний разлив. Сейчас ещё даже далеко не все колхозы могут похвалиться своими садами. Мало деревьев на приусадебных участках, и в частности на юге. Разве это дело? Надо, чтоб росло не только в колхозах и совхозах, не только на усадьбе у колхозника, рабочего или служащего, надо, чтоб и усадьбы наших МТС утопали в садах, чтоб рудники, школы, больницы, детские дома — всё окуталось зеленью и чтоб наши промышленные центры, наконец, опоясались могучими зелёными кольцами плодовых насаждений. Как по-вашему, товарищ Братусь?

Эго он меня спрашивает, как по-моему, будто мог я быть против! — Обеими руками — за.

— А наше с вами «за», товарищ Братусь, всё и решает. Каким хотим видеть наш край, таким он и будет... Станет Украина — вся страна наша станет — республикой-садом, цветущим, образцовым опытным полем коммунизма.

Так и сказал. Глубоко запало мне в душу его слово. Такое впечатление оставил по себе, будто побывал я где-то далеко, впереди других, в прекрасном новом мире.

Теперь с каждым годом убеждаюсь, как всё быстрее приближается тот прекрасный мир, как осуществляются наяву наши общие мечты.

3

Сад наш на историческом месте. По свидетельству всех преданий и легенд, здесь, на нашем острове, стояла некоторое время Запорожская Сечь, шумело храброе, весёлое казачество. Очень удачно выбрали они себе место для табора, уже и тогда наши предки разбирались в тактике и стратегии!.. Остров, видите, высится, как крепость, повернувшись спиной к непроходимым плавням, а лицом — на юг, к степи. Вражескую конницу, дикую татарву отсюда можно было увидеть за десятки километров. Мой приятель Роман Романович, преподаватель истории, уверяет, что именно здесь, на нашем острове, писали казаки свой знаменитый ответ турецкому султану Магомету, который с дурного ума предложил было им перейти в турецкое подданство. Что письмо писалось именно здесь — очень похоже на правду. Ещё и мы, закладывая сад, выпахивали плантажными плугами казацкие пистолы, пушки-салютовки да каламари¹. Один точнёхонько такой, как на картине у Репина, будто только что с полотна упал.

Приезжими археологами были найдены на острове остатки казачьих доменных печей.

А ещё позднее, копая погреб для вина, нашли мы и самого хозяина на Сечи — запорожца. Колосс, гигант! Видно, простой казак-голота, на таких спокон веку Сечь и держалась. Ни серебра с ним, ни золота, никакого заморского дива... Весь, конечно, истлел, сердечный, не истле-

¹ Чернильницы. (Примечание переводчика).

ли только «оселедец» на голове и саблюка на боку. В головах у него, вместо подушки, — простое казацкое седло, а под седлом — что бы вы думали?.. Бутылка мёда-горилки! Стоит себе, представьте, полнёхонькая, не высохла за века, только настоялась, густая стала, а чистая — как слеза.

Мы не сдавали её в музей, а распили коллективно ту бутылку, помянув добрым словом своих славных, весёлых и храбрых предков.

Я, Микита Братусь, от них род веду. В глубине сердца убеждён, что письмо турецкому султану было писано не без прямого участия одного из моих пращуров. Вы спросите, какие у меня данные? Свидетелей, конечно, выставить трудновато, но когда смотрю я на тех запорожцев с картины, столпившихся вокруг писаря и хохочущих от души, то чувствую, как близки мы характером, натурой и даже взглядами на турка.

Верно, вы уже заметили, что и я люблю посмеяться досыта и скучных людей не терплю.

Иногда Оришка донимает меня:

— И когда ты, Микита, насмеёшься, когда ты перебесишься?

А что поделаешь, если жизнь я принимаю под весёлым углом зрения? Такой уже, видно, получилась вся моя генерация, таким, наверно, и останусь до самой смерти, и умру с улыбкой, а девчатам велю, чтоб похоронили меня здесь, в весёлом саду, на весёлом казачьем острове, на самой его вершине... Да разве будет смерть? Иногда мне кажется, что я — вечный. А может, и в самом деле я вечный, а?

Во всяком случае, сам я никогда не повешусь, разве только какой-нибудь молодке на шею.

Всегда говорил и говорю:

— Плохо иметь дело с жинками, а вот с женщинами — прекрасно. Да, так о нашей истории.

Надо же было, чтоб так совпало: мне, как и моим предкам, тоже довелось писать письмо за море, только не подумайте, что султану — султаны теперь перевелись, — писал я ещё дальше, иным адресатам: в Англию.

Сегодня джентльмены, стакнувшись с американскими прасолами и бандюгами, хотят разжечь новую мировую войну. Они пытаются свалить свои злодейства с больной головы на здоровую, как тот их предок — ярмарочный жулик, который, проворовавшись, первым заорал:

— Караул! Держите!..

Так и теперь, чтоб одурачить публику, они кивают в нашу сторону, на всех советских людей, значит и на меня персонально.

«Микита Братусь — агрессор! Его сады завтра нападут на нас! Сады Братуса угрожают всем нашим американским раздутым штатам и английской короне тоже!»

Нет, господа, я — человек доброй воли, происхожу из честного, не загребушего рода.

И чего они пристают? Чего за полы хватают? Брызжет на меня слюной Черчилль, сам не знаю, чем я ему так наперчил... Не то за провал интервенции до сих пор бесится, не то письма моего никак забыть не может. Да ведь моя была правда, и я готов хоть сегодня вторично то письмо подписать.

А было это так.

В тридцатых годах наша черешня шла на экспорт в Англию. Отправляли мы её в бочках, засульфитированную, обработанную чин чинсом. Такую черешню зимой как обваришь кипятком, она свежей делается, словно только что с дерева. Платили англичане золотом, а мы, как известно, усиделись строились, и их фунты нам, конечно, были кстати. По-

купают лорды нашу черешню и, как утончённые знатоки, хвалят её — не нахвалятся.

Потом, — верно по почину старого лиса Черчилля, — начинают вести под меня подкоп.

— Мы, мол, заказчики, наше потребительское право, давай напишем Братусю реляцию, потребуем от него ещё лучшей черешни. Микита найдёт, Микита всё сумеет!..

И пишут гуртом реляцию в наш «Червоный запорожец» прямо на моё имя.

Приносит мне Мелешко ту реляцию и костит Черчилля на чём свет стоит.

— Подожди, — говорю, — Логвин Потапович, не мечи перед сэром бисер. Что там случилось?

— Читай, — бросает Мелешко письмо мне на стол. — Каверзничают паны-сэры. Птичьего молока им захотелось!

Читаю. Так, мол, и так, мистер Братусь. Перепробовали мы черешни со всех материков, но лучшей, чем с Украины, лучше вашего сорга «Пионерка» ещё не встречали нигде. Всё в ней идеально, всё нам импонирует, за исключением одного: окраска нам не подходит. Уж слишком она у вас красная! Будьте любезны, усовершенствуйте «Пионерку» и выведите для нас жёлтую или в крайнем случае бледнорозовую черешню с таким, однако, условием, что она сохранит все вкусовые качества «Пионерки».

Такой был заказ твердолобых лордов.

Я сам дипломат и хитрец, но всегда говорю правду. Советский дипломат всегда говорит правду, и тут-то как раз его сила.

Должен заметить, что в ту пору, когда заморские лорды вели под меня подкоп своими реляциями, в нашем районе как раз заканчивалось строительство нового плодоконсервного завода. Я уже вошёл с ним в тесный контакт и, учитывая это, спокойно отвечаю твердолобым джентльменам.

Так, мол, и так, уважаемые джентльмены. Чувствительно благодарен за похвалы в адрес моей «Пионерки» и пропускаю мимо ушей ваш дурацкий заказ. Не станет выводить вам Микита ни жёлтой, ни бледнорозовой черешни, ибо выводит он то, что ему нравится, а нравится ему как раз полнокровный, жаркий и живой красный цвет...

Касательно же моей черешни, которую вы получали с Украины до этого времени, мы с комиссаром нашей торговли решили, что отныне она пойдёт на переработку в наш новый плодоконсервный завод на компоты для трудового советского люда. Так вот, сэры, вам я на данном этапе решительно ничего не могу предложить, кроме нашей известной украинской дули¹.

Так я ответил.

Мелешко заверил мою подпись печатью «Червоного запорожца».

4

Вы не знакомы с моей Оришкой? Вот она вынырнула в конце аллеи, вэрно, несёт уже мне обед. «Моя Оришка» — так и только так нужно говорить, потому что иногда можно услышать ещё и другой термин, он режет мой слух: «Оришкин Микита»!

Что же, может, я сам в этом и виноват... Как-то ещё на фронте был в нашей дивизии большой митинг, и довелось мне выступать перед братьями как представителю украинского народа (там выступали бойцы многих национальностей, все мы шли на врага плечо к плечу, под од-

¹ Игра слов: дуля — сорт груши, а также кукиш. (Примечание переводчика.)

ним знаменем!). Так вот, высказав уверенность, что дойдём мы, братья, скоро до Берлина! — сказав затем о знаменитых калачах и пышках, я закончил речь тем, что «вернётся, мол, ещё Микита к своей Оришке!»

С тех пор и пошло:

— Кто там в медсанбате у дерева копаётся?

— Да это же тот Микита, у котэрого жинка Оришка!

Или просто:

— Оришкин Микита опять прививает!

Правду сказать, где, бывало, только ни остановимся, куда ни шагну, там уже — по привычке — и дерево посажу или сделаю прививку. Растут мои деревья под Воронежом и в Сумах, в Польше и в самой Германии, за Одером.

Почти всё время я был при медсанбате нашей гвардейской дивизии. Как попал к ним после первого ранения, так уже и не отпустили оттуда, оставили при себе.

— Нам, — говорят, — в персонале побольше весёлых людей нужно: бойцы быстрее выздоравливают.

Наш сад и на фронте снился мне чуть ли не каждую ночь. Рванусь, бывало, во сне, а кто-нибудь из товарищей по землянке сердится, ворчит:

— Легче со своими сапогами, Братусь! Что это с тобой?

— Через клубнику, — говорю, — переступаю.

— Какую клубнику?

— Снился, будто иду у себя по острову, и вдруг клубника краснеет размером с тыкву... Боялся наступить...

— Клубнику свою переступай, а мне сапогом в зубы не тычь!

Шинель на себя — и уже он захрапел. А я перевернусь навзничь — и снова сады вижу.

...Так это вот моя Оришка плывёт... Это, знаете ли, не Оришка, а целая проблема. Всё в ней мне нравится, только не была бы она такой сердитой и же ревновала меня по очереди ко всем молодыцам (и даже девчатам!) моей бригады. И учтите, что это после того, как нам обоим уже перевалило за пятый десяток.

И чем дальше, тем сильнее шалает, ревнует, как молодого.

Вся бригада знает Оришкину слабость, и всякий раз, когда Оришка появляется на горизонте, какая-нибудь молодка нарочно меня атакует.

— Дайте я хоть посижу коло вас, дядько Микита!..

Сядет, да ещё и руку положит Миките на плечо. Ей ничего — встала и пошла, а мне что потом дома бывает?! Замечу кстати, что Оришка моя намного выше меня ростом и вообще — чтоб не сглазить! — отлично укомплектована: сто пять килограммов. Мне хотя тоже здоровья не занимать, крепкость у меня есть и силу в руках чувствую, но против Оришки — малыш, воробышек. Кажется, взяла бы и в подоле унесла.

Пользуясь своими преимуществами, Оришка нередко прибегает к голому администрированию. Как только что заметит, сразу ставит вопрос ребром:

— А ну, смотри мне в глаза! Чего это сегодня Дарина возле тебя увивалась?

— Да как же я могу ей запретить, бабунечка? Захотелось молодце пошутить.

— А тебе б всё шутковать да развлекаться! Видела, видела, как ты облизывался! Дома тебе не до забав, дома тебе скучно!

И, недолго думая, бух по спине — даром что перед ней признанный воинствующий мичуринец. Оришка не взирает на авторитеты.

Я телом плотный, тугой, мне не больно, только вот неприятно, что гул идёт.

— Тише, — говорю, — бо соседи услышат.

Вот вам и разница между жинкой и женщиной. Сравните сами!

Если уж Оришка видит, что таким методом меня не проймёшь, тогда — кулак об кулак — и побежала к голове, к товарищу Мелешко.

О, смола!

Прилипнет, пристанет, насыдет с категорическим требованием, чтоб перевёл Мелешко приревнованную молодку куда-нибудь в другую бригаду. И хотя Логвин Потапович у нас такой, что и бывалого чёрта вокруг пальца обведёт, но мою Оришку и он не обкрутит. Сам не замечит, как пообещает:

— Переведу.

Легко дать обещание, а попробуй-ка его выполнить. Начнёт Мелешко угозаривать молодку, чтоб согласилась (ради спокойствия в брату-сево́й хате), а молодка его как отбреет — только послушай.

— Значит, ежели я вдова, так вы и будете надо мной потешаться, тыкать из бригады в бригаду? Что я, лишняя в саду? Урожаи низкие беру? Или, может, я летом воду воровала, может, вентили ночами пере-кручивала, чтобы больше влаги моим кварталам попадало? Чего же вы молчите, Микита Иванович? (Это уже ко мне.) Скажите им!

Я, конечно, стою за правду и даю соответствующую справку, что Дарина, мол, воду ночами не крада — не могу я чужой грех на неё сваливать.

— Так чего ж вы пристаёте? — опять молодичка к Мелешку. — Что вам от меня нужно? Никуда я отсюда не перейду, мало чего из ревности той тигре пожелается!..

И что ж... Как ни верти, а молодка права. Покружит, покружит возле неё Мелешко, с тем и отчалит. Ведь ни Оришка, ни Мелешко не в силах диктовать в данном случае: уж если работаешь хорошо — никто на тебе не покатается.

Сегодня моя Оришка, видно, в гуманном настроении: плывёт с кошёлкой и улыбается. То ли удои увеличились, то ли весна на неё вливает?

Я люблю полную откровенность и не таюсь: дома Оришка иногда берёт верх надо мной, но в саду — никогда! Это моя резиденция, моя лаборатория, и тут всё за меня: и таблички на контрольных деревьях, и скрещённые гибриды в марлевых сумках, и цитрусы в траншеях, и все мои весёлые помощницы. Это, как в медсанбатовской операционной — кто переступит её порог, сразу попадает под власть старшего, а старший на острове именно я, Оришкин Микита... то бишь, Микита Иванович Братусь!

В самые торжественные для сада дни: при светозарном, как сейчас, начале весны или позднее, в пору буйного цветения, или же в триумфальную пору золотого урожая, — в такие дни уверенно могу сказать, что Оришка меня побаивается. Становится доброй, мягкой — хоть к ране прикладывай — и во всём меня слушается. Да и как ей не слушаться, если видит, что меня здесь и деревья слушаются! По моему желанию растут ниже или выше, с плакучей или с пирамидальной кроной — формирую их я. «С Микитой в саду надо быть вежливой, — думает, наверно, Оришка. — Он здесь в своём царстве-государстве что захочет, то и сделает. Топнет ногой, крикнет: «Стань, Оришка, земляничкой!» — и станешь при всём народе земляничкой».

— Ты сегодня, бабунечка, в настроении... Верно, уже успела когонибудь выругать ради праздника, что такая весёлая?

— Так-таки успела, Микита...

Ишь, как угадал!.. Ещё бы не угадать: известно, что она каждого, кто зайдёт к ней на ферму, сначала основательно обругает ни за что

ни про что, а потом уже расспросит, зачем пришёл, по какому делу, и поговорит по-людски.

Удивительно, как только с нею коровы уживаются. Мало того: «Мы, — говорит, — сердитого сторожа на ферме не держим. Он нам коров нервирует». А сама она их не нервирует? Вероятно, наши селекционеры уже вывели новую породу коров с воловьими нервами.

— Садись, дедуник, ешь, пока не остыло...

О, далеко не всегда величает меня Оришка дедуником! Если уж она так обращается ко мне, это значит, что она совсем уж игриво сегодня настроена, чуть не подлизывается.

— Я ещё не проголодался, бабунечка... Недавно меня девчата пирогами угощали.

— Да, я вижу, что раскраснелся, как петух... Верно, уж и в погреб забегал к той верхивостке.

Это она про кладовщицу.

— Забегал, но не выпил и напёрстка. Торопился — за секаторами¹ бегал.

Оришка мне одним глазом грозит, другим — смеётся.

— Поверила... Ешь.

Беда, что я такой проворный и краснощёкий, что энергия из меня ключом бьёт. Многим кажется, что Братусь всегда под градусом, всегда навеселе, а между тем я от природы такой.

— Кто-кто, а ты, Оришка, должна уже знать, отчего я румяный: перца стручкового много употребляю, а он кровь разгоняет... Девчат моих не встречала там? К вам поехали, на ферму.

— Видела: перегной накладывают. А ты что — соскучился уже по какой-нибудь?

— Почти... это с ними ты поругаться успела?

— Нет, я их издали, из дома видела. С киношниками утром поссорилась — второй день на ферме толкутся.

— Не тем боком тебя снимают, что ли?

— «Товарищ Братусь, сядьте нам вот так и делайте вот так...» Молокососы, они меня учат, как коров доить! «Вы, говорят, сердитесь и выражаетесь, бо не знает, сколько стоит наш фильм... Тысячи съел! А ваше молоко? Что это за продукция? Если вы даже немного и не додадите до нормы Героини Труда, так мы вам купим десяток вёдер молока, только подчините нам свой процесс, бросайте, когда мы скажем: хватит!»

— Не смотри ты на них, Оришка... Они, видать, отсталый народ.

— Так-то, — говорю, — вы рассуждаете? Вы думаете, я сама не в состоянии купить десяток вёдер молока? Купила бы и молоко и вас вместе с вашим фильмом! Да разве я только за вёдрами гонюсь? А коровы? А режим? А опыт? На каком базаре вы купите опыт наших мастеров колхозного животноводства? Может, я хочу самых высоких удоев достичь, опыт такой иметь, чтобы все доярки Украины его перенимали!.. Отчитала их, идолов, по-своему, аж на душе легче стало.

Верю своей бабунечке, умеет она вступать в дебаты. За нашу совместную жизнь сам прослушал множество её блестящих речей. Одни менее выдержаны, другие — более, но все, как правило, блестящие. Думаете, всегда она мечтала о Звезде, всегда так-то за колхозное распиалась? Э, не знаете вы ещё моей Оришки!

А ну-ка припомним первый год коллективизации, самые бурные его дни... Разве не она, не моя Оришка, оборвала тогда пды у Карпа Лысогора? Разве не она верховодила отсталым женским элементом на каждом маленьком или большом собрании?

¹ Секатор — садовые ножницы. (Примечание переводчика.)

Никогда не забуду, как проводили мы зимой собрание по вопросу — быть или не быть? Школа тесна оказалась, собрались на площади перед бывшей волостью, и ораторы, выходя на круг, держали речи под открытым небом.

Оришка не шла на круг, она бесновалась в толпе женщин.

— Распустите нас, — орала на всю площадь, — отдайте нам наших коней и хомуты!

Не нашлось ни у кого такой затычки, чтоб заткнуть ей глотку. Голова ей — слово, Оришка ему — десять.

«Раз она моя жена, — думаю, — должен я сам её унять».

Выхожу на круг, предо мной вся площадь людьми забита. Особенно грозно бурлит женский пол. Замечаю, среди наших женщин и знакомые мордатые молодницы шмыгают (позже мы их в конторе раздели и оказалось, что под хуторскими сборчатыми юбками скрывалась не женская — кулацкая суть: в штанах были и топоры висели). А через день у этих «молодиц» усы показались.

Начинаю говорить — Оришка и меня не узнаёт.

— Он такой же, — кричит, — он тоже за коммуны!

Только начну — сразу оборвут бабы, не дают мне слова сказать.

— Да вы, — говорю, — сдурели чи побесились? Собаку вешать вешают — и то дают ей раз гавкнуть, а я вам кто?

Слышу, притихли, даже засмеялся кое-кто: не раз меня в жизни шутка выручала.

— Кого вы, — говорю, — слушаете? Языкатую Оришку? — и показываю прямо на свою жинку. — Люди добрые, разве вы не знаете, что за баба перед вами стоит?

Молчат.

— Да это ж такая баба, товарищи, — как плюнет в Днепр, так все лягушки назавтра подохнут!

Ха-ха-ха!.. Го-го-го!..

Всколыхнулась, захохотала площадь от края до края, наступила весёлая разрядка. Тогда это, между прочим, очень важно было.

Долго не прошала мне Оришка речь на кругу. Всё вспоминала... А сейчас, наоборот, не любит, когда я вспоминаю.

— Ты, — говорит, — хвалишься, что даже дикую стихию природы покоряешь, а чем я тебе хуже природы?

Что ни говорите, мы с бабуником, несмотря на ассамблеи, живём дружно и мирно. Пробую влиять на неё по-мичурински, методом весёлого ментора — и, верите... поддаётся. Не подумайте, будто Оришка у меня только ссориться умеет: бывает, что и смеётся. А уж она как за смеётся, так и живот трясётся.

Взял я Оришку дипломатическим путём. Вернулся с царской службой — бравый, молодецватый, да нищий, один шелкун на дворе торчит — никто за меня дочку не отдаёт. Царь заплатил мне за верную службу пятаками, новыми-новёхонькими. Богатей, Микита! Сажусь как-то в солнечный день на завалинку, считаю свои пятаки да пересчитываю. Тэ в гаман¹ их, то из гамана — захопотался, никого не вижу, не слышу. А меня, ясное дело, сразу увидели, все мы тогда были по уши в пережитках. Пошло-покатилось по селу: «Рудой Микита со службы червонцев навёз, сама полную пригоршню видела!».

Через две недели и женился. Из всех девчат выбрал себе черноброву Оришку.

Никто не скажет, что были мы с нею нерадивые — выходили трёх сынов, как соколов, и горлинку-доньку. Старший Михайло — на флоте,

¹ Кошелёк. (Примечание переводчика.)

штурман дальнего плавания, Богдан — этот под боком, на соседнем Краснознамённом руднике, а меньшей из моего корня — Федь — ещё в школу бегаёт.

Донька Людмила учится в столичном пединституте. Это в её честь назвал я когда-то свою первую черешню «Пионеркой», потому что окончательно выкристаллизовался мой сорт как раз в год её рождения. Теперь Людмила у меня полная комсомолка.

— Хочу, — говорит, — быть народной учительницей.

— Будь, — говорю, — дочка, это почётно.

Не успел я опомниться, как стал уже дважды дедом (по Михайловым и Богдановым внукам). Федь мой тоже иногда удивляется, как это он, пионер, уже стал дядей — ведь он и взаправду приходится дядей тому горняцкому Богдановому выводу. Причём один из Фединых племянников, Богданов Левко, часто допекает дядьку тем, что он, мол, старше его на целый год и в школе обогнал его на целый класс. Ясно, что раннему дядьке обидно слушать такое. А возразить — возразить нечего.

Наш «Червоный запорожец» в близком родстве с рудником; всегда держим с ним контакт: мы на земле, они под землёй. Летом наши девчата-вязальщицы, отдыхая под снопами, прикладываются к земле — не слышно ли горняков? Моя крестница Таня утверждает, что сама слышала, как однажды гремели хлопцы-горняки, проходя под массивами нашей пшеницы, рубая в глубине марганец для рудины.

Издавна так повелось в нашей Кавуновке: старики дома, а молодёжь на марганцах. Из каждой второй или третьей хаты кто-нибудь работает на руднике: дочка, сын или зять. Некоторые там в посёлке и живут, а остальные — дома, в Кавуновке. По утрам с рудника приходят машины за рабочими, а вечером привозят обратно. Когда мы обсуждали проект реконструкции нашей Кавуновки, Лидия Тарасовна выдвинула такую идею: соединить рудничный посёлок с нашей Кавуновкой широким общим проспектом, залить его асфальтом, обсадить деревьями и пустить по нему автобус, чтобы не подсакивали машины на ухабах так, как подсакивают теперь. Рудник ухватился за эту идею руками и ногами, и я уверен — будет тот проспект. Песок и деревья для насаждений — наши, рудник даёт асфальт и всякую другую мелочь, а рабочую силу — сообща, пополам.

Для нового проспекта у меня уже и название придумано: проспект Единения города с селом или — ещё лучше — проспект Мира (как собрание потом решит). Мы уже и сейчас породнились с рудником по многим линиям. Недаром ночью залётные шофёры путают, где посёлок Марганцевый, а где Кавуновка — и посёлок и село рядом с ним одинаково озарены электрическими огнями. Общая у нас десятилетка, и клуб общий, так что все праздники празднуем вместе.

Мне часто приходится сидеть в президиуме рядом с Богданом. Его избирают от рудника, как лучшего забойщика, а меня выдвигают наши колхозники. И так как оба мы — отец и сын — рыжие, то весь наш президиум называют золотым. Даже мои сорви-головы внуки, примостившись где-нибудь на подоконнике со своим зелёным дядькой, кричат, когда мы выходим на сцену:

— Ура, места занимает Золотой Президиум.

Что ты им скажешь? Улыбнёшься, да и только.

Так же, как Федь мой не привыкнет к тому, что он уже законный дядя, я и до сих пор никак не могу привыкнуть, что я уже дед. Внуками я горжусь, моя шея и шевченковские усы всегда к их услугам

(очень приятно, когда оно, тёпленькое и шаловливое, гнездится на тебе), но натуральным дедом... нет, не считаю себя, не признаю!

— Вот поеду, говорю, бабунчик, в город, там мне натянут кожу за ушами, разглядят морщины, вернусь к тебе молодым.

На это она замечает, что утюгом, мол, дешевле обойдётся, до блеска выгладит.

— Думаешь, Оришка, наука не достигнет? Вот посмотри, стоит квартал моих черешен; совсем уж было состарились, а я их в прошлом году омолодил. Сегодня я омолаживаю черешни, а завтра найдётся такой, что меня омолодит.

— Микита... А меня?

— И тебя.

А как же! С Оришкой мы — душа в душу.

Солнышко уже поднялось высоко, ласково согревает нас обоих.

Веду Оришку в лимонарий. Воздух в траншеях тёплый, парной, цитрусы уже политы.

Стоит среди них моя Оришка как зачарованная. Вечнозелёное!

А я говорю ей:

— Это уже — для коммунизма.

5

Если бы мой сад умел говорить, он, верно, сказал бы: «Хорошо взялась за меня дружная бригада Братуся! По всему острову кипит работа. И сам рудой Микита, как опытный дирижёр, знает, кого куда поставить, как силы распределить».

Работа работу подpiraет. Одни навоз возят, другие деревья белят и обрезают, а третьи уже дымовые кучи заготавливают на случай заморозков. Дирижируй, Микита! Но дирижируй не с одного места, как те, что во фраках спиной к публике стоят; ты должен всюду поспеть, везде побывать, обегать за день весь сад от виноградников до сушилки, а от сушилки метнуться к водокачке, на другой конец острова — там сегодня ремонт начинают. И так весь день: куда ни кинь — в Микиту попадёшь.

Спасибо ногам, что хорошо носят. Думаете, отчего у меня икры твёрдые, как камень? Сплошной мускул под кожей — результат ежедневных марафонских забегов по территории сада, по этим чудесным островным высотам.

Секатор из рук не выпускаю. Как только улучу свободную минуту — так и за сладкую работу, с теми, кто прихорашивает и обрезает деревья.

Солнце пригревает, девчата мои в одних платьях. Раздеваюсь и я: впервые после зимы снимаю свой стёганный ватник.

Если девчата, обрезая деревья, начинают беспокоиться поглядывать куда-то в сторону и допускать ошибки в работе, так и знайте: на территории сада появился кто-то посторонний, молодой, неженатый.

Кого же это они приметили?

Ну, конечно: почуяли птицу в небе! Уже ворожит возле моих траншей молодой, неженатый крестник Зюзя — Аполлон Комашка. Ишь ты, завёл себе обычай. Никого не спрашивая, идёт прямо к цитрусам, думает, что раз Аполлон, так ему всё дозволено.

Там, где Зюзя крестил, имена смешные: если не Реконструкция (девочка), так Аполлон (мальчик). Настоял, чтобы назвали парнишку Аполлоном — так и вырос Аполлоном без каких бы то ни было видимых оснований. Правда, воевал парень хорошо, ничего не скажешь: идёт в расстёгнутой шинели, наградами под солнцем сверкает — полный кавалер.

лер ордена Славы. Теперь этот кавалер работает садовником на Орджоникидзевском руднике. Приезжал зимой ко мне, к не кавалеру, на двухнедельные курсы мичуринцев. Хлопец будто смекалистый, энтузиазма у него хоть отбавляй — увидим, что из него выйдет.

Поздоровавшись, Комашка не решается при дежатах излагать своё дело, подмигивает, отзывает меня в сторону. Будто не разобрав, чего он хочет, я в ответ тоже подмигиваю. Так и стоим, перемигиваемся, а девушкам того и подавай: хохочут!

— Можно вас, Микита Иванович... на пару слов.

Ага! С этого бы и начинал. Но что за таинственность, почему он мнётся? Бывает же вот так: в бою человек чёрта на обе лопатки положит, а перед девушками пасует.

Идём с Аполлоном в мою мичуринскую лабораторию. По пути говорю ему:

— Товаришок, не мнись. Выкладывай, с какой миссией прибыл?

Хлопец осматривает деревья жадными, агрессивными глазами.

— Пришёл украсть у вас что-нибудь.

— У нас не очень-то украдёшь. Всё наше добро глубоко в земле укоренилось.

— Эге! — восклицает Аполлон и ни с того ни с сего начинает хохотать. — Во время войны на моих глазах живого человека украли, милиционера...

— Ты, дружок, поосторожней на эту тему.

— Чего там!.. Знаете, время было суровое, спешили матросы Ростов освобождать — свирепые, черти... На Северном Кавказе происходило, на одной станции. Какой-то милиционер с женщинами повздорил, несправедливо обошёлся с ними, матросы увидели это — и цап его в вагон.

Комашка добродушно засмеялся.

— Ну, а потом что? Вернули?

— Выбросили на перрон милицейское добро... У нас, говорят, и на него хватит амбиции и амуниции. Пока на станции разбирались, поезд и хвост показал. Через две недели милиционер письмо прислал домой: живу хорошо, воюю в морской пехоте.

— Складно ты врёшь, товаришок, Микита так не умеет... Посмотрю, складно ли будешь садовничать... Я к тебе скоро наведуясь.

— Спасибо скажу, Микита Иванович. Наведайтесь, укажите нам ориентиры.

Я действительно у него побываю. Сад у них молодой — нужен опытный глаз. У меня ни одно лето не проходит, чтоб я не обошёл все наши окрестные сады в радиусе до полусотни километров. И колхозные смотрю, и школьные, и рудничные... А как же вы думали? Нам, садовникам, замыкаться в себе нельзя: тому поможешь чем-нибудь, а у другого, глядишь, и сам почерпнёшь.

В лаборатории моей лежит в углу больше пуда проклятого металла, тысячи осколков, которые я повытаскивал из деревьев после войны.

— Почему вы их не сдадите в утиль? — удивляется Комашка.

— Пусть лежат, товаришок. Они всегда напоминают моей бригаде, что такое война и что такое мир.

На стене висит чудесная, в красках, карта: Сталинский план преобразования природы.

Дочка во время каникул срисовала его для меня из журнала.

На полках вдоль стены красуются рядышком лучшие зимние сорта яблок, растущие в нашем саду. Мичуринский Пепин шафранный, ранет Смирненка, Млеевская красавица, Кальвиль снежный, Пармен зимний золотой... А на левом фланге — прошу обратить внимание: белое, крупное, овально-конической формы, а на солнечном боку нежный, девичий

румянец. Это — снаружи, а внутри оно и того лучше: ароматное, сочное, плотное, а вкус — винно-сладкий, освежающий. Ни за что не угадаете, какой это сорт! Нигде он подробно ещё не описан, в прошлом году мы впервые экспонировали его на областной выставке. Это было настоящее украшение нашего стенда. Целые дни толпились возле него любители, восторгались знатоки:

— Шедевр! Плод — как светом налитой!

Это моя, Микитина гордость — новый сорт яблока, выведенный здесь, на острове.

Чудом сохранился во время войны мой гибридный участок. Хотя нет, неверно будет сказать — чудом... Люди наши сберегли его. Вместе с другими и моей Оришке досталось нагаек от фашистского коменданта, хлестали её при всех на том самом кругу перед волостью. Требовал комендант, чтоб отдала ему Оришка мои записи по гибридам.

Вытерпела, не призналась, не отдала. А гибридный участок колхозники нарочно запустили — бурьянами, чертополохом зарос, только бы не привлекал внимания коричневых менделистов. Зато уж когда я вернулся с войны, порадовал меня участок таким красавцем!..

Очень популярно это яблоко на рудниках. Как распробовали горняки — отбою не было.

— Ароматное, сочное, освежающее! В самый раз для нас!

Уже я вывел и саженцы нового сорта, этой весной посажу в двух кварталах на месте вымерзших абрикосов.

Выдержал мой сорт много испытаний, уверен я, и ещё выдержит. Дал я ему имя — «Сталинское».

Восторженно смотрит Аполлон Комашка на мою полку с яблоками, вижу, хочет что-то сказать и не решается.

— Говори!

— Микита Иванович, я...

— Яблок?

— Нет, мне...

— Мёду?

Смеётся.

— Пришёл узнать... Когда начинаете посадку?

— Ты мне зубы не заговаривай. Выкладывай чёрным по белому: зачем прибыл?

— Саженцев мне...

— С этого бы и начинал. Но будь готов принять удар, товаришок: думаю, не попасёшься. Ты ведь знаешь, я человек с предрассудками, пока не начну высаживать у себя — никому не отпущу.

— Это мне известно, — вздохнул Аполлон. Потом, воровато покосившись на дверь, с отчаянной решимостью добывает из-под своей слабой шинели запечатанную пол-литровку и ставит передо мною.

Смешно мне. Понимаю: хочет он меня замагарычить, добыть саженцы по так называемому «блату»!

— Кто тебя этому научил, хлопче? — спрашиваю. — Не твой ли крёстный, товарищ Зюзь? Сей секунд заberi со стола своего подкулачника, упрячь подальше и никому не показывай, дома с однополчанином разопьёшь. Меня, товаришок, магарычить не надо. Я раздаю без этого, я радуюсь и горжусь, когда ко мне идут за посадочным материалом. Всех наделю, в полцены раздавать буду — чтобы больше было бы у нас садов и дело наше получило всенародный размах... А если будешь ты иметь со временем свой собственный питомничек, то и тебе советую: не зажимайся в кулак, не отказывай, если есть, никому, потому что дело наше святое, просить у тебя будет только энтузиаст, только

тот, кто потом выхаживать, любить дерево будет... Равнодушный, нерадивый к тебе не придёт.

Аполлон спрятал бутылку, подсаживается ближе.

— А как насчёт «Сталинского»?

— Что — как?

— Горняки наши «Сталинское» очень высоко ставят... Можно будет... разжиться?

— Обязательно. С радостью дам.

— Спасибо. Я уж буду начеку. Как только начнёте — сразу причусь.

— Ладно. Только по пути забежишь в контору и оформишь разрешение... Такой уж порядок.

Мой коллега вдруг скисает.

— Непременно через правление? Знаете, я сегодня... уже был у товарища Мелешко и у товарища Зюзя.

— И что?

— Кое-что, — говорят, — отпустим, а что касается нового сорта... так рано, — говорят. — Не на той, мол, ещё стадии, чтобы его всем отпускать. Самим для ремонта сада нужен.

Так вот почему ты заикаешься, товаришок, вот откуда твоя отчаянная бутылка! Горе научило: потолковал с Мелешком и с Зюзем...

Сообщение Комашки не очень меня удивило. Я догадываюсь, чего они вертят... Встречаются ещё в нашей садовнической практике экземпляры с консервативной наследственностью, типы, которые туго поддаются влиянию ментора... Хотят и моё «Сталинское» законсервировать. Э, хлопцы, Микиту недаром зовут воинствующим: пробью рутину, ни перед кем пятиться не стану.

— Послезавтра, верно, начнём высаживать, — говорю Аполлону. — Ты не теряйся: приезжай, всё будет в порядке.

Выходим в сад.

— А ты, — спрашиваю, — действительно рано встаёшь или, может, восход солнца на подушке встречаешь?

— Подъём у меня вместе с петухами.

— Гляди товаришок, не поморозь свои черешни, заготовь уже сейчас дымовые кучи. В пору цветения заморозки наиболее опасные как раз при восходе солнца. Можно сказать, солнце само «примораживает».

— Как это?

— А так... Известно тебе, что заморозки страшны резкой сменой температуры. На рассвете прижмёт заморозок, а тут — солнце. Цветок ещё влажный, капля росы висит на нём, и сквозь эту каплю, как через увеличительное стекло, луч солнца наносит ожог. А дым рассекает луч. Вот и давай дым, окутай им сад, прикрой... Думаешь, мало побегал Микита, как очумелый, встречать восходы солнца на острове? Встанешь до света, выйдешь во двор: мороз! Зажжёшь факел — и что есть духу с факелом на остров, аж люди пугаются. Прибежишь, задыхаешься, как марафонец, подожжёшь одну кучу, третью, десятую — и уже сад укрывается белой завесой... Теперь у меня те, которые помоложе, бегают, а тебе ещё самому надо, товаришок!

— Буду бегать, Микита Иванович, духу у меня хватит!.. Я вот хотел спросить вас об окулировке. У нас окулируют обычно глазком на корневой шейке. А я хочу попробовать окулировать на метр выше, чтоб весь ствол был диким, морозостойким. Как вы думаете?

Удивляюсь: просто, а мне самому в голову не приходило.

— Как думаю? Пробуй, за это никто тебя по лбу не стукнет! А ещё, чего доброго, и выйдет...

Провожая Комашку к центральной аллее, с этим парнем надо быть вежливым. Кто знает: может, действительно, в будущем он оправдает всё необычное, удалое, данное ему пьяным Зюзем, имя?

— Отчего это ваши девчата надо мной смеются?

— Не пасуй, товаришок: смех — не грех, от смеха человек умнеет. Забавный клопец, выйдет из него толк!

6

А с Мелешко, Логвином Потаповичем, я ещё поговорю. Он мне давний друг, и не раз мы, бывает, сидим с ним в праздник и выпиваем до слёз. Только это не мешает нам иногда так дискутировать, что оба вспотеем до росы на лысинах. О, я вижу тебя насквозь, глубокоуважаемый Логвин Потапович! Знаю твоё слабое место, знаю, что ты моей критики побаиваешься, хотя я никогда не принадлежал и не принадлежу к кадровым критиканам.

Есть у нас такие мельницы: имеет что сказать или нет, а лезет на трибуну, только бы ему хоть немного похлопали в ладоши. Критиков этой масти я сам не переношу, называю их грушевыми клопами. В садах водится вредитель по названию грушевый клоп. Страшен он не сам по себе, а тем, что, ползая по листку, выделяет очень много экскрементов. Загаживает ими весь листок, закупоривает поры, и растение, усеянное грушевыми клопами, желтеет, чахнет, задыхается.

Был у нас когда-то один — куда! — в десять раз въедливее, чем товарищ Зюзь. Я его иначе и не классифицировал, как Клопикус Столярчук житомирский. Родом тип был из Житомирской области, из Полесья, там, наверное, от коллективизации сбежал, а к нам присосался. Я тогда сад начинал закладывать, дни и ночи в тревогах, в беспокойстве, а Столярчук тем временем, как ворон надо мною — кар!.. кар! Как только собрание, так у него уже язык через плечо болтается. О! Этот клопикус умел перед людьми позванивать пустопорожними фразами.

— Уважаемое общество, разве ж это хорошо? Оставит нас Братусь без штанов, пролотит всех червоных запорожцев его непродуманный сад!..

И пошёл, и пошёл... Послушать его, так действительно выходит, что вознамерился Микита проглотить всю Кавуновку.

Столярчук даже заметку в районную газету обо мне нацарапал: «Злонамеренно подрывает Микита Братусь экономику артели, а секретарь партиячейки Карпо Лысогор вместо того, чтобы разоблачить вредительские проекты, — потакает Братусю». Не знаю, кто сидел в редакции, а только не разобрались — и прямо бу-бух! — рубанули с плеча... Оришка уже в панику было ударилась, да как раз Лысогор и Мелешко наведались.

— Подожди... — говорят ей, — Микита ещё натворит нам чудес.

Потом, когда сад мой уже поднялся, когда стал богато родить, Столярчук, повернув флюгер по ветру, начал обхаживать меня, да всё метит на сбор черешен.

Неохотно посылал я его в черешневый квартал, невыгодно было для артели: прожорливый оказался, как гусеница. Я уж просил пасечника:

— Кормите вы Столярчука мёдом, напихайте его до отвалу перед тем, как он идёт в черешневый квартал... Вы же знаете, как ценятся наши черешни!

Думаете, помогло? Клопикус — тот и мёду нажрётся, и для черешен место найдёт. Сядет под деревом, зажмёт в ногах полное ведро черешни и говорит, говорит (да всё так складно, ладно), а тем временем на

язык по ягоде — кидь, кидь! — и так пока ногтями дна не царапнет. Утрётся, встанет — и косточки возле него не найдёшь (а мне ж косточки нужны!). И где оно в нём помешалось? Был бы человек как человек, а то ведь мизерное, червивое и в то же время такое прожорливое и на враньё неумоимое. Много он мне крови попортил, но теперь его не слышно. Ушёл в небытьё. Как-то, налакавшись самогона, заблудился, недотёпа, ночью на своём огороде, забрёл в болото и совсем на мелком месте утонул. Ползал человек по земле, разъедали его пережитки, и сам он старался разъесть других, а утонул в болоте — и никто его добрым словом не помянет.

Бывают такие критики-паразитики. Таких я сам при случае давлю.

Уж если мне что наболит или доймёт, тогда трепещите, пережитки! Не дам пощады и родной Оришке.

Логвин Потапович хорошо изучил мой характер и мои принципы. Когда приближается отчётно-выборное собрание, Мелешко раскрывается мне навстречу, как медонос, сладкими посулами так и сыплет: и людей, мол, из садовой бригады на поле не буду брать, и ядоматериалы своевременно завезу, и с аэрофлотом про опыление договорюсь, и самолично в мичуринский кружок пойду... Мелешко становится тогда первым другом науки.

Обещания принимаю, но на отчётном собрании, как на решающем, мой голос слышен. Хочется освежить человека! Кому же приятно, чтобы твой друг, один из упорнейших зачинателей артели, на двадцатом году председательствования вдруг вышел в тираж!

— Мы, — говорю, — хвалимся, что в нашем колхозе из девятистот производственных процессов в семи сотнях уже применяется механизация. Мы хвалимся, что большинство наших колхозников имеет по несколько ценных квалификаций. Вся наша молодёжь получила семилетнее — и выше — образование. Всё это так, всё это распрекрасно. Но посмотрим, как мы, пожилые люди, можно сказать — основатели — поспевает за молодёжью? Все ли среди нас достаточно поворотливы, дальнорозорки и быстроногие?

— Покажите ногу, Микита Иванович! — кричит мне кто-то из задних рядов. Наша публика знает, что я не из застенчивых, люблю иногда похвастать своими ногами. Если масса требует — могу удовлетворить... Запросто закатываю штанину, показываю собранию ногу. Икры у меня, действительно, нет — одни мускулы, крепкие, тугие, круглые, как у футболиста. Потому что много бегаю по острову.

Весело становится собранию.

— Без шуток, говорю: дело серьёзное. Как мы над собой работаем? Как наукой и культурой овладеваем? Не секрет, что кое у кого из нас вся домашняя библиотека начинается и кончается буквой «к»: корова, куры, кабаны... В лекторий ходим только лишь на открытие да на закрытие, потому что, видите ли, мы всегда перегружены. До четвёртой главы дойдём, потопчемся, а на будущий год снова возвращаемся к первой... На колхозном радиоузле, вместо мичуринской пропаганды, что мы делаем? Всё лето арбузы и фрукты горнякам продаём.

Понятно, я только к слову говорю «мы» — дело касается, прежде всего, товарища Мелешко. И он это хорошо понимает, будьте уверены. Как разойдусь, перестаю с ним в жмурки играть, обращаюсь прямо:

— Бойся, Логвин Потапович, засахариться в материальных достатках, убаюканный всеобщим уважением. Бойся, говорю, обрасти мхом! Тогда тебя ничто не спасёт — прокатим на воронях, выйдешь в тираж.

Вас интересует, почему до сих пор мы его не прокатали? Э, не так это просто. Товарищ Сталин учит, что людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плод-

вое дерево. Вдумайтесь в эти слова... Чтобы употребить такое сравнение, нужно быть великим садовником, прочувствовать наше дело, нашу душу с её прекрасными переживаниями.

Не можем мы так просто поступить с Мелешко: прокатить—и крышка. Крепкий он хозяин, умелый организатор, колхоз наш славится на всю республику. Однако пережитки Мелешка, чем дальше, тем тяжелее терпеть, мы-то ведь шагаем и шагаем вперёд. Не хочется и товарища оставлять в обозе, бросать на произвол, на расправу цепким пережиткам. Знаем, что корневая система развита у него хорошо, надо только правильно сформировать Мелешкову крону.

Догадываюсь я, почему он не хочет отпускать для рудника саженцы моего лучшего сорта. Ой, Мелешко, Мелешко! Лучше бы мои догадки не оправдались.

Есть люди, как горные орлы, — далеко видят. А есть, к сожалению, ещё и такие, к которым надо подходить с садовничьим ножом и беспощадно прививать им высокую мечту.

Я не раз ломал голову, откуда у нашего Мелешки такой характер? Неужели оттого, что он был в своё время министром?

Вы не смейтесь: был наш Мелешко министром.

Давно, правда, во время гражданской войны. Тогда, как известно, создалась в наших Кавунах Красная Кавуновская республика. Был избран свой президент Яков Покинъчерета (потом беднягу расстреляли григорьевцы), сформировано войско, определены границы, назначены министры, откомандированы послы в соседние сёла. Даже монету хотели свою чеканить, да нечем было.

Бедняцкая наша республика не опозорила себя, несколько месяцев храбро отбивалась от махновцев и от григорьевцев, держалась пока не подошли регулярные красные части. Сам я находился при артиллерии (было у нас аж две пушки), а Мелешко, Логвин Потапович, уже тогда был министром сельского хозяйства. Вот и думаю: не хуторянский ли министерский портфель до сих пор висит на Мелешко и мешает ему стать образцовым головой колхоза?

7

Пусть не подумает кто-нибудь из наших министров, что Микита человек невежливый и недостаточно уважает наших министров.

Да нет же, я вполне согласен с тем, что недавно создано новое министерство хлопководства, и не сомневаюсь, что туда назначен достойный министр. Больше того, у меня самого есть и предложение в этом роде. Хочется, чтоб наши депутаты над ним подумали.

Товарищи, не пора ли нам создать министерство садоводства? Мы хотим всю нашу страну покрыть цветущими садами. Уже сейчас площадь под садами и ягодниками по Союзу увеличилась против дореволюционной больше, чем вдвое. В годы сталинских пятилеток, с лёгкой руки мичуринцев, садоводство продвинулось в отдалённые северные районы, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток... У наших людей должно быть и будет изобилие лучших в мире фруктов.

Да разве в одних фруктах дело? Сады смягчают климат, обогащают кислородом воздух, украшают нашу жизнь... Сады облагораживают человеческие чувства, влияют и на характер человека. И чем ближе к коммунизму, тем более крупные, сложные государственные задачи встают перед нашими садоводами.

Что ж, может, и впрямь пришло время? Может, пора уже объединить наших садовников, выделить такую важную и перспективную отрасль сельского хозяйства в отдельное министерство? Уж тогда бы мы атаковали своего жока-министра со всех концов. Пусть бы он, не в пример Мелешку, посмотрел на всё по-государственному, обратил бы прежде всего внимание на питомники, на механизацию садовых работ, на подготовку молодых кадров, а при случае рассказал бы министру финансов товарищу Звереву, почему на приусадебных участках наши колхозники (да и горняки с рудника тоже!) не всегда охотно сажают плодовые деревья...

Так размышлял я сегодня, подводя итоги трудового дня. Работа закончена, девчата ушли, поют уже где-то у моста. Свежий весенний вечер опускается над нашим садом. Выходит из-за степи луна, над рудником вспыхнула красная звезда — верный признак, что наши горняки досрочно выполнили месячный план добычи.

Тихо в саду, за квартал слышно, как где-то у сушилки чихает дед Ярёма, наш часовой.

Направляюсь к нему.

— Чего это вы тут расчихались?

— Вот тебе раз... А где же мне чихать?

— Смотрите, дед, мы на ночь оставляем лимонарий открытым. Чаще посагривайте на приборы: как заметите что-нибудь подозрительное, сразу рамы опустите.

— Кому ты говоришь, Микита? Не учи ты меня, учёного. Я без тебя уже подумал, вот поставил себе водички в черепок.

— Что ваш черепок, дедушка?..

— Эге, черепок! Думаешь, вода хуже покажет заморозки, чем те брехунцы, что на твоей лаборатории висят?

— То не брехунцы, дедушка, то — наука. Вы хоть и старый человек и за плечами у вас большие жизненные курсы, однако и науку не обижайте. Она старше самого старого человека.

Дед опять чихает, аж борода трясётся.

— Продуло где-нибудь, что ли... Видишь, пришлось по-зимнему одеться: кожушок и штаны ватные.

Борода у деду Ярёмы редкостной пышности: широкая, ровная, белая как снег, в сумерках светится. Это нужная, заслуженная борода. Всякий раз, когда к нам прибывают делегации, деду Ярёме выпадает честь подносить гостям хлеб-соль на рушнике.

Прошлой осенью поляки у нас гостили. Приехали из города в голубом автобусе. Но Мелешко, будучи хозяином и заодно экскурсоводом, ни за что не хотел согласиться, чтобы они хозяйство «Червоного запорожца» осмагривали из окон своего автобуса. Решительно пригласил их пересеть в наш собственный открытый грузовик.

— Так, мол, лучше будет, больше увидите.

Уж очень вежливым становится Мелешко в подобных ситуациях! Сам подсаживает гостей в кузов и так увлекается своей ролью, что чуть было не посадил и меня, своего бригадира, вместе с гостями... А когда приметил ошибку, глянули мы друг на друга и оба громко рассмеялись.

Накануне приезда поляков я вернулся из Степного, с научно-опытной станции, и привёз полный портфель добра — семена разных южных растений. Чай, лавровый лист, миндаль, хурьма — всё там было, в моём потёртом портфеле. Часть отложил себе для экспериментов, а остаток семян полякам роздал, пусть и они подзаймаются. Подношу одной полячке — была среди них такая симпатичная молодка, — а она взяла и смеётся:

— Это чай? А сахару тоже дадите?

Саженцы наши им очень понравились, все просят у меня и дзенькуют. Наделил их и саженцами, пусть выращивают на радость новой демократической Польше...

Предупреждаю ещё раз деда Ярёму:

— Следите же. Заморозок — он коварный: и не опомнитесь, как подкрадётся.

Дед Ярёма сердится.

— По-твоему, Микита, я такой уж тютхтя? Думаешь, тебе только и больно за лимонарий? А мне, думаешь, не больно? Я тут для мебели стою, даром мне грудодень пишется?

И понёс, и понёс...

— А припоминаете, — говорю, — дедушка, как вы на меня цепом когда-то замахивались?

— За одеяло?

— За то самое. «Ты, безбожник, шьёшь уже общее одеяло на всю нашу Кавуновку!».

— Зачем вспоминать такое, Микита... Я же тогда неподкованный был. Прошёл слух, что в колхозе, мол, все вповалку спать будем под одним длинющим одеялом. Вам, думаю, молодым, ничего, а мне как, старику? Разве ж я поспею за вами захватить себе тёпленькое место? Пока пересчитаю ваши ноги, пока дойду к самому концу одеяла, — это будет, пожалуй, у самых рудников, — спать уже и некогда... А что цепом замахивался, так это я шутил тогда.

— Хороши шутки: хватил бы — тут мне и конец.

— Что было, то сплыло, Микита... Были мы тогда, как дети.

Было да сплыло... А много ведь неумирающих, жарких событий пришлось на нашу долю! Какая огромная нагрузка ложится в наше время на сердце человека... И всё ему под силу выдержать, всё способно оно вместить в себя!

Шагаю домой — Оришка уже, наверное, высматривает меня у тына.

Праздничным кажется вечер, если хорошо поработалось днём. Тело гудит сладкой, здоровой усталостью, пальцы ещё чувствуют черенок садового ножа... Если б злейший мой враг стал придумывать мне пожизненную кару, то должен был бы сделать одно: пустить Микиту по свету бездельником, лишить его самой сладкой утехи — мирного, любимого труда... Щедрый у меня сад, каждый день чем-нибудь порадует. Сегодня цитрусы утешили. Не осыпались листья — живут! Идите (смотрите): захотел бы кто, чтобы осыпалось, — а нет, не осыплется! Знаю, что это только начало. В детстве казалось, что наука уже всё объяснила, только овладей ей. А теперь? Чем дальше, тем шире открываются горизонты.

Спускаюсь вниз по черешневым побелённым кварталам, перехожу мостик, у которого Мелешко в августе выставляет шлагбаум, чтоб поменьше экскурсий ходило в сад, — а сразу за мостиком раскинулась родная Кавуновка. Белеют стены под луной, светятся лампочки Ильича в хатах. Три электрических фонаря горят на столбах: один у конторы, другой возле кладовой, а третий в стороне, почти на окраине села, в том углу, который раньше по-уличному назывался «Мотнёю» (там живёт Мелешко). Вкопал Мелешко столб посреди своего двора, а теперь и сам не рад, жалуется, что из-за этого столба и ночью нет покоя. Приедет кто из района, не застаёт председателя в конторе, и смело газует к Логвину Потаповичу домой. Найти не трудно, фонарь горит на Мелешковском дворе всю ночь.

На моей улице, в хате парторга, Лидии Тарасовны, тоже светится. Окно уже распахнуто навстречу весеннему целительному воздуху.

В комнате играет приёмник, две девочки — мне видно с дороги — склонились над столом, а сама она, Лидия Тарасовна, стоит на крыльце и... семечки прызёт! Вы скажете: а почему она в это время газету какую-нибудь не читает или над Докучаевым не сидит, как положено ей? Кто знает, может, оно и грех, но я лично считаю, что не пошатнётся наша артель, если даже парторг постоит вечером на крыльце и вылушит при луне пригоршню жареных семечек. Пусть грызёт Тарасовна, на здоровье ей! Неужели, если ты парторг, так должен беспрерывно кого-то подтягивать, кого-то накачивать или ночь напролёт над конспектами сутулиться? Живой человек — может, она девичество вспомнила, а может, о муже захотелось на досуге помечтать, — он учится в областной партшколе. Пусть помечтает, пусть насмотрится вдоволь на полнолицую луну, издавна воспетую в наших песнях... Взгляните, какая она и фигурой стройная, и чёрные брови ласточьим росчерком нарисованы! Грешил Микита, думал раньше, что она их чем-то подводит, а потом как-то присмотрелся — нет, сама природа потрудилась, вырисовала их и метнула в разные концы двумя тонкими изогнутыми стрелками...

— Добрый вечер, Лидия Тарасовна!

— Вечер добрый... Загулялись, Микита Иванович? Опять тётка Оришка поднимет расследование.

— И поднимет-таки, бдительности ей не занимать.

— Слыхала, что вы сегодня цитрусы уже открыли?

— Да, решил... довериться весне.

— Верно... Похоже, что настоящая весна пришла... Все выжили?

— До единого.

— Поздравляю вас.

— Спасибо... Поздравьте и себя.

— А чего ж: и себя поздравляю. Завтра посмотрю — сегодня не успела... В район ездила.

— Что там об укрупнении слышно?

— Думаю, что к осени поженемся с «Пятилеткой».

— Хотя бы скорей пожениться. У них там сад... я давно уже на него зубы точу. Бурьянов развели — серые волки воют.

— Объединимся, тогда никакой волк в саду не удержится!

— На тот свет загоню... Будут дела!

— Будут, Микита Иванович. В воздухе уже носится, будто в Каховке второй Днепрогэс строить будем, каналы проложим в степь...

— Лидия Тарасовна! Второй? В Каховке? Вот это да, это по-нашему! А когда? Не слыхали?

— Да... чувствуется, что скоро.

— Хорошо, очень даже хорошо, Лидия Тарасовна! И станцию, и каналы? Со сталинским размахом, сразу видно... Вы представляете, какие вдоль каналов сады зашумят! Сам поеду, возьмусь...

Она улыбается.

— Подготовьтесь, Микита Иванович...

— Готов уже, как пионер!

Взволнованный, возбуждённый, приближаюсь к дому. Ведь вот как обрадовала меня Лидия Тарасовна — новый Днепрогэс в Каховке! Каналы в Таврической степи... А прибавим сюда государственные лесозащитные полосы, которые уже сейчас насаждаем... Какой переворот в природе нашего юга! До самого Чёрного моря зацветут сады, забелеет хлопок, зашумят, заволнуются пшеницами поля. Забудем вас, обжигающие истребители-суховеи, только в памяти седых дедов останетесь вы, ненавистные чёрные бури!

Будто наградила она меня этим прекрасным известием. Радостно мне и в то же время как-то.. не неожиданно! Услыхал бы когда-то Микита, что готовится такой грандиозный проект, может, и не поверил бы, а теперь... Теперь — сразу верится! Разве сами мы не готовы уже и телом и душой, технически и морально, к выполнению таких гигантских начинаний? Готовы и ещё раз готовы!

Вот вам и Лидия Тарасовна... Бывает же так: стоит себе под луной, семечки грызёт, а какое богатство при ней! Теперь я догадываюсь; что не на месяц заглядывалась наша Лидия Тарасовна, другим, верно, любовалась с крыльца. Ведь где-то там, за рудниками, залитая лунным светом, лежит она, наша славная весенняя Каховка!

8

Оришка не в духе. Опять много писем пришло на моё имя, и все кажутся ей написанными девичьим почерком. Только письмо от моего старого приятеля Степана Фёдоровича Миронца, директора научно-опытной станции плодоводства в Степном, — только это письмо избегло Оришкиной цензуры, в остальные конверты она уже успела заглянуть — на них и пальцы Оришкины видны (подклеивала потом тестом). Не вытерпит, процензурит, а потом ещё сердится, ты же и виноват перед нею, хотя тайна переписки охраняется у нас законом.

— Свеженькие, — говорю, — ещё и высохнуть не успели.

Молчит моя Оришка, как воды в рот набрала.

Пишут молодые садовники (ну и садовницы тоже!), те, что приезжали ко мне зимой на кустовые мичуринские курсы. Пытливый, напористый народ, люблю я таких. Один хвалится, чем весну встречает, другой о чём-то спрашивает, чего зимой не понял, а все вместе как сговорились: саженцев просят. «Сталинское» им по сердцу пришлось.

«Многоуважаемый Микита Иванович!»

В нашем руднике уже полная весна. Сделал разбивку сада, купил ножей садовых и секаторов, а сейчас копаю ямы для весенних насаждений. Буду у вас за посадматериалом, записываюсь на «Сталинское», напоминаю, что вы мне его обещали (когда я ему обещал?).

*С мичуринским приветом
Павло Плыгун!».*

Этот друг вытрясет из любого, этот своего добьётся.

А вот письмо от моей любимицы, от Зины Снегирёвой из Каховского района. Хваткая, ловкая девчурка!

«...Кроме работы в саду, ещё — по поручению комсомольской организации — веду кружок, разъясняю людям садоводство и его значение. Иногда бывает даже смешно, что кое-кто говорит не чубук (виноградный), а муштук... Работа мне очень нравится, всюду хочется поспеть, мама жалуется, что видят меня только, когда сплю. «Ничего, — говорю, — мамо, зато переделаем наши сыпучие пески в коммунистический сад!..»

И тоже: дайте «Сталинское». Этому упрямому кочанчику, не колеблясь, отпущу, потому что знаю: пойдут мои саженцы навстречу новому Днепрогэсу, на счастливую жизнь в возрождённой, орошённой степи...

У подруги Зины, у Любочки Дробот, дела подвигаются, видимо, похуже. Как сейчас вижу Любочку — накрутила себе гнездо на голове и идёт писаная красавица, холеная, важная; нет, не идёт — плывёт.

«Привет из глубины Таврических степей! Пишет ваша курсантка Любовь Дробот, которая твёрдо решила жить на периферии, чтобы вывести в будущем свой новый сорт.

...На моё требование — дать в сад людей — у нашего головы один ответ: завтра и завтра. Я уже хотела бросить садоводство, совсем изверилась, а вспомнила вас, Микита Иванович, всегда бодрого, шутливового, закалённого трудностями, и поняла, что это у меня просто временное моральное падение сил, так называемая «опатия» от всяческих неудач по работе. Надо перебороть, сказала я себе, ведь Миките Ивановичу поначалу тоже нелегко давалось, а теперь какой сад вырастил и собственные сорта имеет...»

Дальше опять приветы и лютное Оришкино тесто.

Очень не по нутру мне эта «опатия». В нашем живом деле она как лишай, как грибковое заболевание. Откуда она? Нет-нет да и выступит на ком-нибудь из нашей молодёжи... Разве приходится тебе, девчина, каждую весну ташиться босиком к фальсфейнам на заработки? Разве стоял над тобой пан Филибер и заставлял на сборе черешен по целым дням петь, как заставлял он своих наймичек, чтоб не могли они в саду и ягоду съесть? Двадцать лет девчине, здоровья на троих, сад растит небывалый, а столкнулась с каким-то твердолобым и уже у неё — а-патия! С красным перцем пропишу Любочке. Другие ничего, могут и подождать, а ей отпишу тотчас же.

Степан Фёдорович сообщает, что 12 мая состоится учёный совет научно-опытной станции и что на том совете предстоит моя информация о результатах первой зимовки цитрусов в условиях нашей зоны. Сам я не успел ещё от радости опомниться, а Миронец уже на люди тянет. Будто знал он, что я сегодня траншеи открою, верно сорока ему на хзосте принесла. Что ж, придётся ехать информировать уважаемый совет, не зря же он избрал меня своим членом.

— Скучай, Оришка, скоро в Степное поеду.

— Опять заседать?

— Опять, бабунечка.

— Часто ты зарядил в Степное... Гляди, ещё академиком выберут.

И взмахнув рушником, она ставит на стол ужин.

Только я за ложку, как открывается дверь и, пригибаясь, входит в хату сам товарищ Мелешко.

— Иду по улице и слышу, что у кумы Оришки чем-то вкусным из дымара тянет. Дай, думаю, зайду, может Микиты как раз дома нема.

— Вы такое придумаете, кум, — улыбается моя Оришка, зардевшись, будто девушка. — Услыхала бы это ваша Степанида...

— Разве, — говорю, — Степанида такой, как ты, деспот? У них свобода совести господствует. Садись, министр, — приглашаю Мелешко к столу.

Он не очень заставляет себя просить. Крякнув, садится (как и расписывается — наискосок, по диагонали ко мне), локоть ставит на стол, аж доска под ним жалобно поскрипывает. Не впервые ей так поскрипывать — не впервые сидит Логвин Потапович за моим столом.

Замечу, кстати, что мать-природа не поскупилась, формуя нашего Мелешко. Это он ещё немного похудел с тех пор, как парторгом у нас Лидия Тарасовна. Раньше кузнецы чуть не каждую неделю меняли рессоры под его тачанкой, а теперь второй год ездит — и ничего.

Голова у нашего Мелешки, как всегда, старательно выбрита (чтобы границы лысины были меньше заметны), лицо пышет здоровьем, поражает каждого своей обветренной массивностью и богатырскими ободьями чёрных усов. Всегда нашему Мелешке жарко, гимнастёрка на нём, с запылёнными орденами «Знак почёта» и «Отечественной войны», уже и

теперь расстѣгнута (считайте, что на всё лето), всякий может любоваться его волосатой грудью. Посмотрев ниже, увидим солидный предсательский живот, пружинящий под гимнастёркой, затянутый узеньким кавказским ремешком (просто удивительно, как тоненький ремешок выдерживает такой напор), а ещё ниже... да хай ему чёрт! Пока обрисуйшь его с головы до пяток, так и ужин остынет.

— Оришка, может, нальѣшь нам хоть по напѣрстку... Желательно малиновки.

— Нет у меня малиновки! По напѣрстку, по напѣрстку — да и вылакал за зиму...

Зная Оришкин характер, я молчу: жду дальнейшего развития событий.

А она, поворчав ещё немного, недовольно позвякав возле буфета, подходит к столу и... наливают. Той самой малиновки, которую я будто уже давно вылакал. В этом вся моя Оришка! Удивительная жена, ни на кого её не сменял бы! Она тебя покритикует, она тебе выговорит, и сама же тебя уважит.

— Итак, будьмо!

— Будьмо!

Глаза у Мелешка маленькие, умные, лукавые, сверлят и сверлят собеседника весь вечер; только когда он хохочет или опрокидывает чарку, они ныряют куда-то в телесную живую глубину. Не припомню, чтоб Мелешко когда-нибудь улыбался, верно, не умеет, — если не сопит, то хохочет, да так, что стѣкла в конторе дребезжат.

— Это всё, — предупреждает Оришка, хлопнув дверцей буфета, — больше не ждите.

Теперь я знаю, что ждать нечего: на повторный шкалик в будень у неё не рассчитывай. Да и мы не из таких, что в конце вечера привыкли под столом встречаться. У нас, я предчувствую, будет с Мелешком серьёзный разговор.

— Почему ты, — говорю, — Логвин Потапович, не зашёл сегодня в сад, чтоб на цитрусы поглядеть? Там такие стоят — сердце радуется.

— Вот я и забежал узнать... Значит, будут жить?

— Будут и плодиться.

— Ну и слава богу... То бишь, природе слава и твоей третьей бригаде... Это, пожалуй, будет не последняя статья в наших доходах.

— И не только статья, Логвин Потапович.

— Конечно, не весь лимон пойдѣт на реализацию, будем и на трудодни выдавать... А я вот по рудникам мотался, хотел крепѣжного леса добыть для свинарников. Никто не даѣт! Вот тебе и единение, вот тебе и ликвидация противоположности между городом и селом. Как мы для рудников — так и пятое, и десятое, а они хоть бы шефство над нами взяли и лесу кубов несколько отпустили!

— Разве рудники уже начали лес для нас получать? Не слышал... Или, может, новый способ придумали, чтоб лавы в шахтах не крепить?

— Ты не смейся, Микита. Я знаю, как это делается: блат — большой человек.

— Не согласен я с тобой... Может, и был когда-нибудь да для кого-нибудь большим, а сейчас в лилипута превратился: думаю, что мы его вообще скоро в землю втопчем. В наши дни, наоборот, товарищ Госконтроль стал большим человеком.

— Против этого не возражаю, — скривился Мелешко, заскрипел стулом. — Тебе, как члену ревизионной комиссии, хорошо известно, что в нашей артели нарушения Устава нет и не будет. Госконтролю у нас делать нечего. Не из колхоза, а в колхоз — вот мой статус-кво. Колхо-

зом я силен, колхозом богат и потому всегда стою на страже его интересов. У нас никто руки не погрееет, это не то, что в «Пятилетке» — поросят разбазарили, а потом акт составили, вроде поросята поросят поели.

— Мы их подтянем осенью, когда посватаемся.

— Объединение, конечно, вещь хорошая, я давно говорил, что крупное хозяйство значительно рентабельнее. И если даже, Микита, мне и председателем в укрупнённом не быть, то я всё-таки за укрупнение. Правда, одно меня тревожит... В этом году за животноводство нам Звёздочки светят (Оришка моя у печи ушами запрядала). Наверное, и вам, кума Оришка, ну и мне, как председателю. Не знаю только, как будет, если при объединении выберут кого-нибудь другого. Кому тогда присудят? Тому, кто был, или тому, кого выберут?

— Не беспокойся, Логвин Потапович, в Кремле правду видят... Ты мне другое скажи: был у тебя сегодня Аполлон Комашка, садовник из Орджоникидзевского рудника?

— Этот кавалер? Был.

— О чём же вы переговоры вели?

— Да о чём же: о саженцах, известно. Дай и дай. А как дашь? Тут как раз начинаются нарушения...

— Отказали, значит?..

— Чего там отказали... Зюзь тоже присутствовал при разговоре, не даст соврать. Продадим, сказали, небоже, что самим негоже... Не думай, что я так ему и брякнул, мы, брат, тоже дипломаты!.. А знаешь, чего он захотел? «Сталинского» им отпусти, хо-хо-хо... Распробовали! Но мы народ тёмный, нам абы гроши, абы лес, а не хочешь по дружбе жить — отчаливай... Вот старый друг-приятель Карпо Лысогор вчера звонил, хочет свою МТС озеленить... Карпа не уважить просто грех, да и то относительно «Сталинского» я ещё не дал ему окончательного резюме.

— А по-моему, и руднику надо отпустить.

— «Сталинское»?

— «Сталинское».

— Ты что, Микита? Такой сорт! У нас в руках!.. Да ни за какие деньги!

— Именно такой сорт должны получить рудники.

— Слушай, Микита... Я знаю тебя давно: ты всегда по колена в фантазиях бродишь. К твоим выдумкам мы уже привыкли. Но чем дальше, тем труднее мне тебя понимать, Микита. Неужели ты уже перестаёшь быть патриотом нашего «Червоного запорожца»? Неужели тебе не дороги его слава и приоритет? Мы с тобой — основатели, мы за него какой бой выдержали с кулачней и её попихачами! (Оришка моя сердито гремит рогачами в печи). Вышли, наконец, на светлый путь, залечили раны войны, окрепли так, что с Посмитным можем тягаться! И вот теперь ты советуешь пораскрывать ворота настежь — заходи, бери, что кому нравится?! Ей же ей, Микита, если бы ты не тут вырос, подумал бы я, что тебя рудничные подослали...

— Всё-таки я не понял, Логвин Потапович, почему ты не хочешь новый сорт горнякам отпустить?

— Э, ты на это не бей, товарищ Братусь! Сам я с нашим героическим рабочим классом издавна в смычке живу... Ты видел их сады? Они только что за дело берутся... Они ещё не знают, на какой вербе груши растут. Ты им дашь редкостные, самые дорогие саженцы, а они их завтра своим козам скормят... Еду как-то в прошлом году, а у них возле дерева козёл привязанный прохаживается — сторожа нашли! Козлу один чёрт, что перед ним — буржуазный западноевропейский сорт или твой новый, мичуринский, — всё объест и спасибо не скажет. Да и вооб-

ше, будь я на их месте, знал бы я свой марганец и не лез в чужой приход. Это уж нам с тобой на роду написано: паша, мели, ешь. Ты скажешь: проспект Единения, проспект Мира... Проспект проспектом, мы его, конечно, проложим, бо предусмотрено планом реконструкции, но основы — отрасли производства — у нас остаются различные, и ты этого не игнорируй, Микита... Рудники в садах! Где это было, где это видано? Чем садами развлекаться, лучше бы планы перед государством с нашей аккуратностью выполняли, из графика не выбивались, как вол из борозды, чтоб круглый год на всех рудниках победоносные звёзды горели!..

Мелешко протёр кулаком усы и посмотрел на меня: ага, возрази!

— Слушал я тебя, Логвин Потапович, теперь ты меня послушай. Не туда бьёшь, совсем не туда. Нам нечего пускать друг другу дым в глаза: мы с тобой сидим не за круглым столом. Раз ты не хочешь выложить, почему вы с товарищем Зюзем против рудничных садов настроены, так я сам тебе это выложу, чтоб прояснить настоящие ваши мотивы. Козлов и коз ты сюда за хвост притянул, Логвиц Потапович. Сегодня козёл объедает дерево, а завтра козла самого можно съесть. Не в этом проблема. А вот когда разведут рудники у нас под боком свои горняцкие сады, когда покраснеет возле каждого коттеджа наше «Сталинское» и появятся на рудниках добрые лимонарии, так куда же, спрашивается, будем мы тогда сбывать свою собственную продукцию? Кто к нам придёт, кто купит? Плодоконсервный завод всё не заберёт, мы у него не одни. В Кривой Рог везти? Далеко, да и у них тоже сады зашумят, там ведь подхватят инициативу наших рудничков... Где ж выход? То ли обсадить рудники садами, чтоб гнить потом свою колхозную продукцию, то ли пусть остаются рудники такими голыми, как были до сих пор, зато мы откроем ещё десяток рундуков на марганцах, выжмем из знатного забойщика Богдана Братуся его знатные заработки и ввалимся в коммунизм самыми богатыми людьми, с набитыми кошельками. Говори, Логвин Потапович: так думал?

— Ты меня винишь, а сам за своего сына Богдана переживаешь, о его длинном рубле заботишься... Ну скажи, разве ж это не семейственность, не приятельство?

— Нет, ты отвечай мне на вопрос, товарищ Мелешко! И не забудь, что твой сын Порфирий тоже на руднике марганец долбит!

— Что же, и Порфирий от земли отказался, под землю его потянуло... Ты не спеши, Микита, с выводами, я тебе на твой вопрос ещё отвечаю, а раньше ты мне объясни: неужели тебе не приятно, что на выставке возле нашего стенда вавилон стоит, не о соседских поросятах, а о нас добрая слава катится? «Чьё это яблоко такое роскошное?» — «Червоного запорожца!» — «Где ещё можно «Сталинское» достать?» — «Нигде! Это их приоритет, их колхозная монополия!». И теперь вот его, нашу эмблему, нашу гордость, передать рудникам? Да за какое-такое шефство? Ну, пусть уж абрикос — не возражаю. Пусть такой-сякой куст смородины — молчу. Зачем же «Сталинское»? Почему именно «Сталинское»? Что они, так уж сыты нашим сортиментом, что ничем другим удовлетвориться не могут?

— Не корч из себя простака, Логвин Потапович. Ты хорошо знаешь, почему именно этот сорт так полюбился горнякам. И красивым видом, и вкусом, и особенно своими редкостными освежающими качествами наш новый сорт заметно выделяется среди других и как бы специально создан для людей тяжёлого физического труда. Ты знаешь, что на свете, наверное, нет труда более тяжёлого, чем труд шахтёра и рудокопа. Может, я, Микита Братусь, всю жизнь мечтаю создать для них что-то необыкновенное, целительное, достойную награду горняку за его

богатырские усилия. Ты спрашиваешь, приятно ли мне, что наши стенды в центре внимания, что слава идёт о нас?.. Кому это не было бы приятно? Но мне во сто крат приятнее будет, если горняк, поднявшись на-гора из жаркого забоя, увидит дома на своём столе в хрустальной вазе моё краснощёкое, моё любимое, освежающее «Сталинское»! Этого я хочу, и этого я достигну! А то, что вы мудрили с Зюзем, посылая молодого садовника Аполлона Комашку ко всем чертям, мне хорошо известно, я сразу догадался, хотя ты и извиваешься сейчас ужом и не хочешь признаться... Логвин! Обращаюсь к тебе, как к бывшему министру славной Кавуновской республики, именем нашей бурной молодости спрашиваю: разгадал я ваши подводные мысли или нет?

— Гм-гм... Разгадал.

— И чего ты пристаёшь весь вечер к человеку? — вмешивается вдруг Оришка. — Он всё же наш голова, а ты по чину бригадир — и только.

— Я бригадир, Оришка, но чувствую, что прав, и потому на моей стороне сила. А он, этот экс-министр, хоть и голова, а неправ и сам чувствует, что неправ, потому сидит и только мекает. Ты бы, Оришка, налила нам ещё по напёрстку...

Этого она не слышит, будто оглохла — завозилась с Федей.. Сидит себе хлопек на лежанке, мирно мастерит скворешню, а ей вроде стружки в кадку летят... С родным ребёнком не помирится, за онучу поднимет бучу — хоть разводил их.

— Ты, — говорю, — Логвин Потапович, материалист подкованный, но диалектик очень тугой. Ты смотри на жизнь, как философ, потому что она смотрит на тебя именно так и хочет видеть тебя в неустанном развитии и движении вперёд. Ты сейчас ошетишься — с чего это, мол, я тебе проповеди читаю и такой ли, дескать, ты уж сам, Микита, мудрый и образованный? Не возражаю, я тоже у бога телёнка не съел. Я хоть и признанный мичуринец, и «воинствующий глашатай», и «верный последователь его» — хоть бери и мичуринскую пробу ставь мне на лоб, а между тем заглянул бы ты мне в душу... Часто меня что-то грызёт, часто чувствую себя неудовлетворённым: мало, Микита, сделал, можно бы больше и лучше, нужно только смелее брать быка за рога. Мичуринская наука открывает перед нами безграничные перспективы, буквально безграничные. Далеко, далеко не все мы, воинствующие ортодоксы, полностью охватили всё величие этого учения. Ведь можно, действительно можно всё на свете лепить этими руками, преобразить фауну и флору снизу доверху, обновить их до неузнаваемости по желанию и стремлению человека. Конечно, на первых порах это не каждому легко понять, — все мы вырастали в мире, где всему, казалось, определены границы. И вдруг открываются перед тобой такие горизонты, такие перспективы, таким неохватным повеяло простором! Думаешь, я на себе не чувствую иногда тяжёлый груз старых границ, рамок, предопределений? Ошибаешься, друже... Вот собрался зимой ко мне, к бывалому мичуринскому волку, наши молодые садовники и садовницы... Бей, но учи! А Микита? Конечно, есть у него чем поделиться, по жизни не шёл верхоглядом, по колосочку подбирал всё ценное, что попадалось на пути, — а вот столкнулся с молодыми и смелыми, учу их, обучаю мичуринской науке, а сам — по ходу обучения — нет-нет, а поймаю себя неожиданно на том, что — эге! — тут ты сам, учитель, ещё не перешагнул эту границу, потому и ставишь курсантам какие-то рамки. Кое-кто заметит, а большинство — нет, доверяются старому глашатаю. погоди, говорю, Микита, тут что-то не то... А ну попробуй, что выйдет, если без рамок, если налечь и сломать и эти барьеры и барьерчики?! Потём убеждаешься, что можно было и следовало их сломать. Только нужно

всё время стремиться на простор, выпрямиться для богатырского размаха и уметь распознать рутину, какой бы доброй и родной она ни казалась тебе... Мы говорим, Потапович: молодость мира. Мы пионеры настоящей жизни, рыцари великой науки. Так будем же беспощадны к себе! Пусть юношеские дерзания, пусть вечная отвага всегда сопутствуют нам... У нас есть основания вести себя и чувствовать себя на земле так, как чувствовал себя наш предок господь бог в первые семь дней творения!

Мелешко, вижу, не совсем согласен со мной. Сидит, задумавшись, жуёт свой чёрный ус — сейчас скажет, что чудес на свете не бывает.

— Чудес, Микита, на свете не бывает, — говорит после паузы Мелешко, — и ты сам когда-то научал, как создавалась наша земля из раскалённой туманности. Мы уже раз создавались в год великого перелома, а сейчас создаёмся на высшей стадии, у входа в коммунизм. Я, Микита, развиваясь революционными скачками, чувствую, что всё время создаю, всё время — в процессе...

— В процессе будь, однако скачками не очень увлекайся: скачки иногда к вывихам приводят.

— Какие там вывихи! Когда будет объявлен коммунизм... тогда — пожалуйста! — требуй от меня и того, и другого. Всё у меня найдёшь, товарищ, ты знаешь, Микита, что Мелешко умеет перестраиваться на ходу. Не услышите вы тогда о Мелешкиных комбинациях — ведь мы идём не туда, где будут процветать разные комбинации, а туда, где вообще никакого барышничества, никакой торговли не будет, а будет полный достаток. Знаю это, Микита, и над своими пережитками учиню тогда гвардейскую расправу, нисколько не буду сожалеть о них. Но пока что мы должны думать о сегодняшнем. Если сейчас вводить «каждому по потребностям», то что же получится? Вот ты меня рудниками упрекаешь — хоть сорочку с себя снимай, да им отдай, а я придерживаюсь Устава. Какой из меня хозяин будет, если я своё, кровное, колхозное, начну разбазаривать налево и направо? Им дай, пятому, десятому, а я тебя спрошу: нам много дают? Чепухи, стояков для свинарника, и тех у них не разживёшься!

— Не извращай факты, Логвин Потапович, они упрямые, сами за себя постоят. Стояков не дают — и правильно делают, рудник не Лесоснаб. Подумай, сколько тебе всего другого дают, и значительно более важного. Откуда ты электричество берёшь, дорогой товарищ Мелешко? От нашего государственного Днепрогэса. Как это ты ухитрился столько тракторов и другой техники себе наковать? Что бы ты без них сегодня делал? Куры б тебя на пепелище загребли в послевоенный период, если бы не выручил рабочий класс, в его числе и наши горняки своим стахановским марганцем. Ты знаешь, куда и для чего он идёт! А возьми наш сад... Чьими саженцами засадили мы свой первый квартал? От Мичурина получили, из далёкого города Козлова Или, может, ты наши цитрусы в гнезде высидел? Морем приплыли от братской Грузии в подарок! Да ещё как: в марлю упакованные, с корнями, обложенными мохом.

Мелешко мой краснеет, хотя, кажется, некуда ему уже больше краснеть.

— Я, — продолжаю, — час назад разговаривал с нашим парторгом, с товарищем Баштовой...

— Ты и ей уже успел нашептать?

— О чём?

— Да всё о том же... О рудниках, о саженцах.

— А как же. Всё выложил, как должно быть. Рассказал, как вы сго-

вор устроили с товарищем Зюзем, как новый сорт в кулак зажимаете, дороги ему не даёте.

Повесил голову мой Мелешко, вянет, на глазах оседает, даже жалко человека стало.

— Не ожидал я такого от тебя, Микита.. Из-за какой-то Комашки¹ — он уже побежал, нажаловался, забыл обо всём, что вместе переживали...

Уже не пружинят могучие Мелешковские усы, печально обвисли.

— Не дрейфь, — говорю, — верный товарищ, выше подними свою министерскую голову! Разговаривал я сегодня с парторгом, да не об этом. Была у нас беседа более приятная.. Ты ждёшь, пока коммунизм объявят декретом, а оглянись, друже: он уже вокруг нас прорастает, буйные побеги выбрасывает, а в нашей преславной Каховке скоро распустится уже целым соцветьем!..

9

Когда бы я ни лёг, с вечера или полночь, всё равно поднимусь рано — такая привычка. И хоть мало сплю, да крепко, и часто вижу цветистые сны.

Вы не умеете разгадывать сны? Удивительный сон видел я этой ночью.

Будто собираемся мы с Оришкой в клуб, что ли. Побрился я, усы закрутил, потом провёл ладонью по щеке и... люди добрые! — нет уже на ней морщин! Провёл по второй — мгновенно то же произошло. Сам на себя дивлюсь — молодой.

— Ты видишь, Оришка, что со мной случилось?

А она говорит:

— Сделай то же и мне.

Подхожу к ней, провожу ладонью по щеке, потом по второй (слегка), и уже стоит передо мною Оришка, как в молодости стояла: круглолицая, тугощёкая, чернобровая.

Одеваемся по-праздничному, внимательно осматриваем друг друга. Она шаль накинула на плечи, я перед ней — в новых чоботах и в галошах, она цепляет себе Золотую Звезду на грудь, а я медаль лауреата.

И так выходим со двора на широкую, будто знакомую и незнакомую асфальтированную улицу.

Идём, а сзади, слышу, какие-то голоса шипят:

— О, гляди, Братусеня вырядилось, пошло...

— Какое Братусеня? То, что голопузым по улице бегало и батогом пылюку сбивало?

Оглядываюсь — сзади никого, а между тем голоса опять шипят:

— Хозяином оно будет! Вернулось из Таврии, с заработков, и поскорей по четыре чобота обуло! (То есть чоботы с галошами).

Оборачиваюсь снова — никого. То ли в пыль развеялись, то ли боятся меня, шипят откуда-то, а на свет не показываются?..

— Не обращай внимания, — советует Оришка. — Разве ты их не знаешь? Это те, для которых даже галоши — диковина. Те, что мечтали когда-то: если стал бы я, мол, царём, так сало с салом ел бы и на свежей соломе спал бы

— А и правда, — говорю Оришке, — голос как будто его.. Он, он! Тот самый, что босиком от снега до снега ходил и путами подпоясывался!.. Чего ему от меня нужно?

— Сказала тебе: не обращай внимания. То уже не живой человек, то уже привидение.

¹ Игра слов: комашка — насекомое. (Примечание переводчика.)

Вышли за село, идём, а шлях перед нами всё поднимается и поднимается. И местность не горная — наша, южная равнина, а шлях всё на подъём идёт. Скоро по сторонам возникла прозрачная воздушная глубина, а шлях стал голубым, блестящим, как небо весной.

«Куда ж это мы?» — думаю. И вскоре — аж дух у меня захватило! — вижу, что впереди, над дорогой, солнце выкатилось по-утреннему огромное, и мы будто идём прямо на него.

— Оришка, это мы... туда?

— Туда, — отвечает жена, пристально глядя на растущее с каждым нашим шагом светило. И легко на него смотреть, глаз не режет, хоть и очень яркое.

— Тебя не ослепляет, Оришка?

— Нет.

— Разве ты орлица? Только орлицы могут смотреть на солнце.

— А ты разве орёл? — отвечает она мне, улыбаясь.

Так, переговариваясь, дошли мы до самого солнца, выросшего в высокую, прозрачную гору. Ничего не боясь, шагнули мы в солнце, в самый его мякиш, и воздух стал вокруг ароматным, сияющим, как в нашем саду в пору цветения. Куда ни глянь, всё вокруг сияет, и хотя я иду в середине самого солнца, однако меня не жжёт, а только тепло и светло мне и очень легко итти. Не останавливаясь, прошли мы сквозь солнце и вышли по ту сторону его.

Перед нами открылась беспредельная золотая равнина. Такой красоты, такого простора я ещё никогда не видел! Словно вечное лето там, вечный мир между людьми — благоустроенно, торжественно как-то вокруг, светозарно... Слева и справа блестят асфальтовые дороги, в неоглядных золотых степях полевые таборы белеют, окутанные зелёными садами; комбайны будто сами плывут в высоких, как камыш, хлебах — комбайнеров на них не видно.

— Что за чудо, — говорю, — Оришка... Где в них комбайнер сидит?

— Микита, разве ты нездешний? — пожимает Оришка плечами. — Они ведь по радио управляются.

Ах, вот оно что!

Идём дальше. Начались необъятные зелёные пастбища. Отары тучами плывут — тысячи тонкорунных асканийских меринсов.

— погоди, — кричу Оришке, — разве ты не узнаёшь? Это ж наша Таврия!

Может, и овец тут радио пасёт? Нет, чабан всё-таки есть, маячит в белом костюме как всё равно дачник. Подхожу ближе — и кого я вижу? Богдан, мой средненький, забойщик из Краснознамённого!

— Ты, — говорю, — Богдан, уже овец пасёшь?

— Моя, — говорит, — очередь.

— Очередь! А кто же марганец долбит?

— Как кто? — удивляется сын. — Сегодня там товарищ Мелешко, Логвин Потапович. По графику как раз ему выпало спускаться в шахту.

Странные, но какие справедливые порядки!

Расспрашиваю Богдана, где он спасается со своими белоснежными рамбулье, когда, к примеру, налетает чёрная буря.

— Какая чёрная буря? — не понимает сын. — Мы о такой и не слышали.

— Ты брось, — говорю, — свои шутки, Богдан. Смотри, как загордился! Мало ли ты сам их пережил, чёрных бурь? Когда тысячи тонн распылённого грунта взмываются вместе с посевами в воздух, заслоняя собой солнце; когда сухой буран сбивает человека с ног, заносит песком молодые посадки до самой кроны; когда в наших южных городах весь

день не выключают электричество, потому что от чёрной метели темнеет на улицах и в учреждениях... Забыл, что ли?

— Нет, не припоминаю, — оправдывается Богдан, — хоть бейте меня, батько, не припоминаю.

Что ты ему сделаешь? Не станешь в самом деле драться с ним, когда он, во-первых, взрослый, а во-вторых, на таком посту.

Двигаемся дальше, бредём полями хлопка, он как раз лопается (солнца много!), ослепительно белеет.

— На мне блузка батистовая, — хвалится Оришка, — как раз из этого хлопка.

Дивные дива поднимаются вокруг!.. Впереди радугой перекинулся мост через какую-то речку — лёгкий, кружевной, будто сплетённый из серебряных нитей.

«Речка, да ещё и широкая... Откуда тут, думаю, речка появилась? Знаю я Таврию, пешком её в молодости исходил. Не было здесь речки!»

— Ведь это новый канал, — спокойно подсказывает мне Оришка.

Вот она, животворная артерия степи! Вынырнула из-за горизонта и, рассекая степь, опять уходит за горизонт... Путь канала определить не трудно, он обозначен полосами садов и виноградников. Когда б вы только видели это зрелище... Сколько глаз обнимает — красуются вдоль канала рослые, взлелеянные сады, круто изгибаются ветви, плоды свисают густыми гирляндами — сочные, краснощёкне, будто налитые розовым светом.

— Видишь, — говорю, — Оришка, какие сады поднялись? А ну угадай, бабунечка, что это за сорт?

— Да это ж твоё, дедуник, «Сталинское»!..

Дальше не пошёл. До самого утра бродил я в тех садах, шутил с тамашными девушками (очень похожи на моих!), пока не проснулся.

Хвалюсь Оришке:

— Ты знаешь, где мы с тобой побывали? Пошли, — говорю, — и пошли по небесной дороге, дошли до солнца, прошли сквозь него и очутились по ту сторону... Наверное и с земли было видно, как мы с тобой спокойно входили в солнце.

— А по ту сторону оно тоже светит? — серьёзно спрашивает Оришка.

— Светит, бабунечка, и греет, такая уж его природа — всеми краями светит... А какая там жизнь, Оришка! Вечное лето, вечный мир, и круглый год сады плодоносят...

Оришку это даже не удивило. А может, она и права: разве не к тому идёт?

Опять славное выдалось утро... Выйдя во двор, я сразу сказал: тихий, погожий будет день (тихие дни у нас бывают не часто, непрошенные гости — суховеи — ещё заскакивают то и дело из степи). Свежий весенний воздух шекочет меня, бодрит. Ранние дымы тянутся из труб вверх, стоят над всем селом высокими стройными столбами, будто выросла за ночь над нашей Кавуновкой высокая белая колоннада, поднялась к небу, мягко подпирая по-весеннему лёгкую небесную голубизну. Восток алеет, разгорается, голые деревья стоят неподвижно, в серёжках росы Скворцы уже прилетели и, чтоб разбудить моего Федю, нарочно подняли под окном радостную возню. Пора, хлопец, вставай, выноси нам скорей свою разукрашенную скворешню!

Синявка наша вышла за ночь из берегов, затопила часть сада.

— Глянь, — кричу Оришке в окно, — какой на огороде водоём образовался — хоть каналы в степь отводи!

На всякий случай надо выкопать магонию, а то её ещё зальёт. Это подарок Степана Фёдоровича Миронца — вечнозелёная дикая магония. Привёз в прошлом году из Степного, посадил возле хаты:

«Ну-ка, думаю, выдержит ли зиму в открытом грунте?»

Выдержала, как видите, браво зеленеет.

Выкапываю, а Оришка проходит поблизости, спрашивает:

— Зачем ты её выкапываешь?

— Разве ты не догадываешься, бабунечка? В наш большой сад пересажу.

— Другие в дом несут, а ты всё из дома норовишь.

— Что ж, — говорю, — Оришка, разве наш колхозный сад — не мой дом? Эх ты, а ещё в Героини метишь!..

— Не скреби ты меня вот тут, Микита! Разве я тебе сказала: не выкапывай, не уноси? Сказала, а? Что ж тебя задело?

— Могла б и сказать, если б не остановил!

— Остановил! Он меня остановил! Мёчу и буду метить!.. А сам ты разве в лауреаты не метишь?

О, смола! Сам не знаю, чем мне эта смола нравится. (А таки да! Нравится! Если день не вижу, уже и соскучился.)

— Магония! — не утихает Оришка. — Плакать буду по ней горько! Ферму мою не выкорчуешь, а остальное хоть всё выкопай и уноси! Перетаскивай деревья на остров, тащи туда хлев, тын, всё тащи! Возьми и меня впридачу, отнеси и посади на своём острове!

— Боюсь! Посажу, а ты ещё подрастёшь, Оришка. Что мне тогда делать?

— Найдёшь, что делать! Теперь ведь находишь!

Пошла, витийствует на ходу так, что скворцы шарахаются.

Осторожно беру магонию на руки, с кистью корня, с влажной пахучей землёй. Пусть привыкает магония в моей большой усадьбе, там ей будет выгоднее.

Какая от неё польза? — спросите. Пока никакой, а позднее, возможно, пригодится, как дичок — прививка для работы с цитрусами при поисках или воспитании гибридов.

Не всегда же им сидеть в траншеях, как бойцам перед атакой. Придёт время, бросим их в открытую атаку, выведем их — и в условиях Украины — на открытые грунты, развернётся по всему югу наше зелёное бессмертное войско! Станут золотые невянущие цитрусовые рощи привычными для нашего глаза, придадут ещё большую яркость и красоту нашим живописным украинским пейзажам.

10

Справедливость торжествует, и в этом нет ничего удивительного. Такова уж диалектика нашей жизни. В своё время и мне кое-кто немало крови попортил, но я всегда говорил себе:

— Не падай, Микита, духом. Твоё дело верное, ты честно работаешь на благо народа, значит, рано или поздно, а твой, Микита, будет верх.

И, как правило, мои прогнозы сбывались, сами законы развития жизни оказывались моими союзниками.

Да что я! Возьмите вы моего друга, Степана Фёдоровича Миронца.. Теперь он директор станции и кандидат сельскохозяйственных наук, а я его знаю, когда он ещё только приехал к нам из института простым агрономом. Молодой был, темпераментный, худющий — видно, как сердце бьётся. Не понравилась кое-кому его энергия, его увлечение Мичуриним и дружба с Лысенко (с которым они, кстати, вместе учились в институте). Миронца не какие-нибудь столярчукусы цапали, были против него известные в то время зубры. Он-де и карьерист, и растратчик.

и политикой подменяет подлинную науку... Так насели на молодого учёного, что если бы это где-нибудь в других условиях — хоть вешайся. Но Миронец, чувствуя за собой силу и правоту, никому не смотрел в зубы, смело выступал даже против своих учителей, седоголовых авторитетов, которые учили его в институте облучать икс-лучами чечевицу и искать гены под микроскопом...

Как-то в самые трудные для него времена признался мне Степан Фёдорович:

— Вот меня обвиняют, Микита Иванович, в карьеризме, в неуважении к своему педагогу — авторитетному профессору... Предо мной на выбор два пути: считаться с его авторитетом или считаться с народом, с его требованиями, с его интересами. Я знаю, что профессор осуждает моё поведение, и мне больно, что он считает меня неблагоприятным учеником... Вот, мол, воспитывал его, возлагал на него надежды, а он идёт против меня. Ведь профессор думает, что воспитывал меня он один. А меня воспитывали ещё комсомол, партия, народ, и я рад, что их воздействию оказалось сильнее влияния формальной, мёртвой науки!

Смелый этот наш товарищ Миронец.

Помню, прибыл в те годы один пузатый авторитет из Наркомзема и тоже не поддержал молодого учёного, а навалился на него. Собрал широкое совещание на научно-опытной станции, созвал окрестных агрономов и меня, как самородка, — туда же.

Отчитывается Степан Фёдорович о работе станции, а насупленный авторитет, развалившись за столом, то и дело реплики ему:

— Вы бросьте свои научные термины, мы знаем, что вы хотите ими голову нам затуманить! Расскажите лучше, как денежки транжирите!

Миронец выслушивает и продолжает:

— Мы добились того, что уничтожаем вредителя «розановую листовую крутку» на 98 процентов...

— Подождите, — перебивает авторитет, — а в Америке что-нибудь ведётся в этом направлении?

— Да...

— Так купите у них за пять рублей золотом книжку и не трудитесь попусту!

Не выдержал я, поднимаю руку — и прямо из зала:

— Мы знаем станцию, знаем много интересных и полезных её работ, пусть доложит товарищ Миронец... А вы, товарищ приезжий, дайте ему возможность говорить. Кому не нравится — может выйти проветриться.

Аудитория загудела, поддержала меня. Авторитет глянул на меня волком, но замолчал. После этого Миронец доложил нам о своих опытах и, в конце концов, его верх оказался.

А тот «авторитет»? Тот «авторитет» был позже разоблачён как враг народа и с тех пор его будто корова языком слизала.

Вот почему я говорю, что законы развития — великая вещь. Всегда молодых инструктирую:

— Стой крепко, юноша и молодая девушка, за правдивое, действуй по велению совести, ответственной перед народом. Партия и народ — вот твой самый высший авторитет, твой компас, который тебя никогда не подведёт. В нём твоя сила, твоё счастье, богатство и неограниченные возможности.

Ведь ещё попадаются и в наши дни такие типы, которые пробуют добиться положения в коллективе не искренним трудом в интересах народа, а разными салто-мортале в зависимости от погоды и ситуации. По моим многолетним наблюдениям, такие ловкачи всякий раз горят, как шведы, наша советская атмосфера сама губит их. Ведь у нас почести не случайно достаются, у нас они, можно сказать, из земли растут,

и ты должен трудодни в них вкладывать полные, без дураков. Это там, за океаном, раздолье всяким ловкачам и проходимцам, которые родного отца продадут, лишь бы только урвать себе «место под солнцем». Нашей молодёжи не приходится искать место под солнцем: на нашей советской земле где ни стань — всюду тебе солнца хватит.

Такие мысли появляются, когда оглянешься на пройденный путь, когда начнёшь анализировать — кто у нас имеет успех в жизни, а кто бесславно исчезает с горизонта...

В нашем саду сегодня людно, шумливо, весело: сажаем «Сталинское». Радует меня этот напряжённый трудовой гомон, этот звонкий девичий переклик, этот сверкающий прекрасный день!

Если взойти на самое гемя нашего острова, оттуда видна территория бóльшая, верно, чем несколько бенилюксов. На север раскинулись плавни, наши южные, днепровские леса. Сейчас они ещё голые, по грудь плавают в сияющем разливе вешних вод. Над плавнями висят в чистом небе сильные орланы, ослеплённые весенним блеском природы, сиянием бескрайнего половодья... На юге — белеет наша Кавуновка и посёлок краснознамёнцев, видны действующие рудники между терриконами давно выбранных, погасших шахт, а ещё дальше на юг — раскинулась до самого моря открытая степь, ушли за горизонт мачты высоковольтных линий, поберели сквозь весеннее прозрачное марево, неумоимо, бесшумно обтекающее их. Кое-где в этом плывущем мареве чудятся мне пышные оазисы — зелёные роши, и я знаю, что очень скоро зеленеть им в степи наяву!

На самой вершине нашего острова, вставшего твердыней на границе плавней и степи, стоит лёгкая беседка, обвитая розами-мальвами. Я сам соорудил её и люблю там иногда посидеть, как король в своём королевстве, потому что всё вокруг вот этими руками создано, и сад мой спускается по склону острова могучими ярусами к самой воде.

Но сейчас Миките не усидеть в своём зените — множество всяких хлопот у меня: сажаю деревца, принимаю посетителей на ходу, отпускаю саженцы. Да, отпускаю саженцы, и «Сталинское» своё отпускаю тоже! Говорил же я только что, что справедливость у нас торжествует неминуемо.

Товариш Мелешко и товариш Зюзь — оба тут как тут. Лидия Тарасовна каким-то образом уже успела доказать им, что разрешения на отпуск саженцев удобнее оформлять не в конторе, а непосредственно на острове, в саду, потому что весной, мол, людям дорога каждая минута.

Мелешко подписывает разрешение на колене, накладывает свою министерскую подпись размашисто, по диагонали (боюсь, не разучился ли он писать прямо из-за того, что всегда ему, бедняге, приходится подмахивать бумаги только по диагонали?).

— До чёрта вас развелось, — приветствует Мелешко моих молодых клиентов. — Ты их научи, Микита, каким концом саженец надо в землю втыкать, а то ещё насажают кверху ногами... И не забудь Лысогору отобрать... Сам знаешь, каких...

Кое-кто из клиентов пытается роптать, усматривая в его словах тенденциозность и приятельство.

— Завтра поучите меня, а сейчас молоко на губах оботрите, — наваливается Мелешко на клиентов. — Вы знаете, кто такой Лысогор, что набираетесь дерзости отзываться о нём, как о любом другом? Для вас он не один человек, вам ещё положено обращаться к нему, как к двоим (то есть величать его на «вы»). Когда некоторые организмы ещё под стол пешком ходили, Лысогор, вместе с нами, для вас этот сад закладывал... И сейчас Карпо в степи, на переднем крае против суховея

стоит. Первый сорт Лысогору, слышишь, товарищ Братусь? Не забывай, что сад Лысогора и наши поля защищать будет!..

Выходят мои саженцы в широкий свет. Отпустил Павлу Плыгуну, Аполлону Комашке. Отпускаю Зине Снегирёвой, жду посланцев и от нашего Краснознамённого рудника.

— Даю тебе саженцы, Зина, с таким условием, что через несколько лет ты уже сама будешь отпускать их другим.

— Всю Каховку обеспечу, — обещает она.

— Это твоё лучшее приданое, девчина, с ним не стыдно вступать в новую жизнь... Будь моя воля, спросил бы я сейчас каждого из членов нашей великой семьи: с чем ты, друже, вступаешь в коммунизм, в самую светлую эру человечества? Оглянись, проверь себя, и если обнаружишь, что не очень много приобрёл, догоняй немедленно, товаришок!

— И это я обещаю сделать, Микита Иванович, — смеётся тугой кочанчик.

Смотрю на неё, на такое круглолицое, симпатичное, славное существо, и невольно сам улыбаюсь. Ещё Иван Владимирович говорил, что сад облагораживает и смягчает характер человека. Влияют на нас сады! Работала бы моя Оришка тут — была бы она ещё ласковей ко мне. Лаской к людям наливается здесь душа. Правда, мы, садовники, тоже бываем злы и беспощадны, когда вредитель насаждает в мае, посягает на всё наше будущее, на завязь, на заложенные опыты, на смелые наши мечты. Труд садовника беспокойный, но почётный и по самой своей сути — мирный. Я сказал бы: не просто мирный, наш труд может служить символом мирной человеческой деятельности, направленной к красоте и достатку. Тот, кто думает об авантюрах и разрушениях, — сады сажать не станет: зачем они ему? Мы часто говорим: голубь мира... А по мне, так рядом с голубем и веткой благородного лавра изобразить бы на эмблеме мира молоденький саженец... черешни, яблоньки или дубка. Не посягает он ни на кого, растёт себе в глубину и вверх, мирный, беззлобный, добрый... Однако в нём заключена могучая сила — способность развиваться, расти, и этим он грозен для суховеев, для чёрных бурь и для многих других врагов человека.

Отпуская саженцы, разговариваю об этом со своей ученицей Зиной Снегирёвой. Она смотрит на меня внимательно, слушает задумчиво, а потом, вздохнув, говорит, что полностью согласна со мной.

Лидия Тарасовна псзела товарища Зюзя к лимонарию, я их вижу сквозь деревья: остановились возле третьей траншеи, беседуют. Вернее, говорит одна Лидия Тарасовна, показывает куда-то рукой, а долговязый Зюзь стоит над ней, как журавль, покачивает головой, будто упрямо и сердито клюёт что-то. Клюй, клюй, товарищ Зюзь, это тебе на пользу... Не знаю, мучит ли его до сих пор цынга. Был раньше в Заполярье, привёз цынгу, Зюзиха как-то рассказывала Оришке, как встанет муж утром, а на подушке — кровь... Дождусь лимона, дам и ему, пусть закислит себе дёсны. Глупый он! Может, Братусь трижды подумал и о цынге Зюзевой, прежде чем взялся за непредусмотренные планом цитрусы.

Осмотрели траншеи, пошли к магонии...

А вот и мои горнячки зашебетали в саду. Дорог сюда они знают много, особенно летом, научились обходить Мелешковы шлагбаумы. Только летом они бегают черномазые, загорелые, а сейчас идут стройно, как под знаменем, в белых рубашках, в красных галстуках. Далеко их слышно — целым табунком приближаются, звенят... Кто, по-вашему, впереди выступает с таким независимым, геройским видом? Да это же не кто иной, как мой законный внук Левко. Лев Богданович!

Мне всё-таки везёт на встречи с выдающимися людьми: талантливей, необычный парнишка! Обратите внимание, какие у него глаза

большие, блестящие, сливами горят на чистом, матовом личике. Я думаю иногда: в кого оно удалось, такое смышлёное, быстрое и бесстрашное? Лето он всегда гостит у меня, навоюется с ним Оришка вволю. На бабушкиной картошке внук помидоры прививает, а захочет Оришка за ухо потянуть — не даётся. Отбежит на берег и, как белка, — на самый высокий осокор! Оришка его и там найдёт, но поделаться ничего не может: малыш уже так высоко, что и взглянуть страшно. Бегаёт Оришка, как квочка, кругом: «Левко!» да «Левко!» А Левко и в ус не дует, покачивается на самой верхушке и смеётся над бабкиным положением.

— Буду сидеть тут, — говорит, — пока мои гибриды на картошке поспеют.

К моей науке парнишка очень жаден. Замечаю это не только потому, что губы у Левка всё лето в вишнях и что он помидоры на бабкиной картошке прививает, а, главное, потому, что часами стоит надо мной, присматривается, вдумывается, расспрашивает о всяких секретах растительного царства.

Сказано ведь: юные мичуринцы! Всё им в саду интересно, на всё у них глазёнки широко раскрыты. Магония зовёт: смотрите, какая я зелёная; птицы зовут с тополя: скорее сюда, а маленький садовый трактор и свой голос подаёт: остановитесь возле меня, ребятки, подивитесь на меня, пощупайте, поспорьте!

Насторожённо здороваясь с Мелешком, пионерия обтекает его с двух сторон и уже летит прямо на меня, весело салютует, почёт деду отдаёт.

Для одних я «дедусь», для других «Микита Иванович», а какому-то карапузу — слышите? — «товарищ Братусь!».

Вот уже имею себе товарища: от горшка два вершка.

Обступили, облепили меня, даже светлее стало вокруг, — наперебой требуют:

— «Сталинского!» Шафранов! Симиренка!

— Да угомонитесь вы, галчата!

— Мы не галчата! Мы — юные натуралисты!

— Прошу прощения... Кого же, однако, мне слушать?

— У нас есть староста кружка!

— Староста, покажись... А, Лев Богданович Братусь! Очень приятно...

Как же на такой благодарной почве не процветать семейственности? Всё им отпускаю, устоять не могу. Легко жить на свете с такой детворой... Не прутики какие-то им выделяю, а самые лучшие, хорошо сформированные, отобранные для себя саженцы. Знаю, что жалеть не буду, потому что передаю их — пусть в молоденькие, но в надёжные руки нашей весёлой, смекалистой и живучей братусовской породы.

— Коз, смотрите, не привязывайте под деревьями, коза — сторож нудышный. И зайцев не подпускайте... Повадился было один ко мне в сад, так я за ним босиком полкилометра по снегу гнался, а сейчас, гляньте, шапку из него ношу.

— Ни зайцам, ни козам, ни морозам не отдадим! Выставим посты, вырастим каждое деревцо, увидите, дедусь, какой будет сад!

Внук мой Левко топчется у меня под рукой, явно хочет о чём-то спросить.

— Спрашивай.

— Хотели мы с вами посоветоваться, дедушка...

— Чего ж... Посоветуемся... От нашей ассамблеи никому не будет зла — мы с вами люди доброй воли.

— Скажите, чтобы вывести новый сорт... сколько нужно скрестить цветков?

Задумавшись, смотрю, взволнованный, на своего потомка, на его ровесников и ровесниц... Великое, невыразимое счастье — дожидаться от них такого вопроса. Уже их мысли проникают в самое потаённое, уже им нужно знать, сколько цветков...

— Берите не больше... пятка.

— О! А мы задумали тысячу!

— Потом, позднее, возьмёте тысячу. А пока, чтоб не растеряться, не запутаться среди них, берите пяток... Можете ещё раз помножить на пяток, но, главное, внимательней присматривайтесь, замечайте всё. В нашем деле мелочей нет.

Подвожу своих юных друзей к лимонарию.

— Вот это, видите... цитрусы. Нигде в мире на таких широтах не разводят цитрусов. Только у нас, на наших сталинских широтах это возможно.

Дети стоят зачарованные: невиданное, сказочное, вечнозелёное!

— Оказывается, можно! И как вам всё удаётся, Микита Иванович! Как вы этого добились?!

— Есть у нас, дети, тот, кто всех нас вырастил и на прекрасные дела вдохновил... Товарищ Сталин сам, занимаясь много лет разведением и изучением цитрусовых культур в районе Черноморского побережья, на практике доказал, что — можно! Можно вывести морозостойкие сорта цитрусов, можно двинуть их далеко севернее тех районов, где росли они до сих пор. Он, батюко, благословил их в суровый путь, по его воле двинулись они на север и, вот видите, уже пришли сюда, к нам с вами...

Провожая, веду пионерия по своему весеннему праздничному саду. Прозрачно, светло вокруг, ясно и легко у меня на сердце. Деревья стоят блестящие, мускулистые, счастливо притихшие, словно прислушиваются к своему росту.

Несут малыши охапки красавцев-саженцев — счастливый им путь!

— Высаживайте, выращивайте, лелейте их, друзья... Помните: дерево, посаженное сегодня, будет плодоносить уже при полном коммунизме.

1950.

Авторизованный перевод с украинского
Л. ШАПИРО



АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

ИЗ КНИГИ ПУТЕШЕСТВИЙ

ЛОНДОНСКИЙ НИЩИЙ

В пиджаке, заношенном до лоска,
Толпами затолканный, понурый,
Дрогнет нищий около киоска
С пёстрой ходовой макулатурой.

По асфальту пролетают «кары».
Щерят «бобби» пасти крокодилы.
В сумерках рекламные пожары
Заревом висят над Пикадилли.

Песенкой, похожей на рыданье,
Флейта просит милости несмело.
В непроглядном лондонском тумане
Горло старой флейты отсырело.

Пёструю сумятицу прохожих
Поглощает полусумрак зыбкий.
Лоснятся на выхоленных рожах
Масленные, сытые улыбки.

И не слышат плача флейты леди.
Скучно слушать жалобы
джентльменам.
О тепле камина и обеде
Вспору думать лондонцам почтенным.

Их сердца не жжёт чужое горе
Жаром справедливого укора.
Не они, а ты купался в море
В чёрный день дюнкеркского позора.

И когда, настигнутый снарядом,
Ты лежал в песках Эль-Аламейна,
Ты не их в атаке видел рядом,
Славящих Британию елейно.

В загородном доме спали эти
Счастьем не обиженные дэнди
В ночь, когда твои жена и дети
Были бомбой сожжены в Ист-Энде.

Вот и стой под ветром в отупеньи,
Зябко сотрясаем дрожью мелкой.
Разве что рабочий бросит пenni
На пустое дно твоей тарелки.

Коридоры улиц в мёртвом свете
Затканы тенётами тумана.
Плачет флейта, рвёт свирепый

ветер

Влажные лохмотья ветерана.

И пока о ласковых рассветах
Грезит флейты голос беспокойный,
В тёплых министерских кабинетах
Новые задумывают войны.

ТИПЕРЕРИ

В рай британский свято веря,
Сердцем чист, красив лицом,
Томми Аткинс в Типерери
Жил с мамашей и отцом.

Старый дуб стоял у двери.
Под окном сирень цвела.
И недавно крошка Мэри
Томми сердце отдала.

Только дни их счастья были,
Как мгновенье, коротки.
Томми Аткинса забрали
В королевские стрелки.

В Сингапур уехал Томми,
Где опять гремит война.
В Типерери, в старом доме,
Скука, вздохи, тишина.

С Джона Стречи¹ взятки гладки —
Он сидит на Даунинг-стрит.
А в Малайе Томми Аткинс
На костре войны горит.

Там повстанцы не желают
Отступить хотя б на шаг.
В правый бой зовёт Малайю
Взвитый в джунглях красный флаг.

В джунглях пули, в джунглях звери,
В джунглях тухлая вода.
Далеко до Типерери!
Вас бы, мистер Джон, сюда!

По ночам, когда тревога
Сон солдатский гонит прочь,
Миссис Аткинс просит бога
Сыну-первенцу помочь.

Миссис Аткинс, не просите,
Чтобы бог в беде помог.
На убой банкирам Сити
Душу Томми продал бог.

Путь далёк до Типерери,
Смерть бесславная близка.
Не дождётся крошка Мэри
Королевского стрелка.

ЖАЛОБА БРИТАНЦА

Та же Темза. Те же стены.
Бьёт Биг-Бен за часом час.
Ну а мы не спим, джентльмены,
Червь сомнений гложет нас.

Как нам спать? Судите сами —
Триста лет трудились зря!
«Правь, Британия, морями»...
Чем же править? Где моря?

Тесно стало жить совсем нам
И не весело совсем.
В Северном и в Средиземном
И на Темзе — всюду — Сэм.

Где имперская система,
Банки, рынки, звон монет,

Если нам от дяди Сэма
На земле прохода нет?

Угодили наши души
В постный трумэновский рай.
Почему на нашей суше
«Чуингэм» жуёт Джи-Ай?²

От сумятицы проклятой
Затемнение в головах.
Уж не сорок ли девятый
Штат на наших островах?

Уж не Сэму на обед ли
Мы запроданы с детьми?
Мистер Черчилль! Мистер Эттли!
Отвечайте, чёрт возьми!



¹ Джон Стречи — английский министр колоний.

² Джи-Ай — американский солдат, жующий резинку.

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ

★

СОВРЕМЕННОКИ

1. ПАРЕНЬ ИЗ БУКОВИНЫ

Медью пылая жаркой,
На километр окрест
С эстрады рабочего парка
Гремит духовой оркестр.

А в первом ряду, как дома, —
Чёрнявый Коваль Ярёма,
Прославленный скоростник,
В костюмчике Главшвейпрома
И при часах ручных.

О, если б сейчас увидел
Беднейшего из крестьян
Его господар,
Со свитой
Бежавший за океан!

На сцене — девчата в белом,
Словно вишнёвый сад.
И вот заводская капелла
Под всплески смычков запела.
Коваль улыбнулся несмело,
Поглядывая на девчат.

Потом всколыхнуло всего:
Песня-то про него!
Бросило в жар буковинца,
А песня росла,

молодым

Задором дышала в лица,
Как волны, колебля ряды.

— На сцену его! — закричали.
Коваль упирался вначале,
Но встал.
За спиной — шумок.
В московской своей обновке
Идёт он, смущённый, неловкий.
— Товарищи! — и умолк.

Стоит под раскаты грома
 На сцене Коваль Ярёма,
 Речь в горле застряла комом,
 Слезой подступает к глазам.

И тут клокодавшему залу
 Руки свои показал он,
 Руки, которым хозяин
 Нынче Ярёма сам.

2. ЧАС ПРИДЕТ

В общежитии нашем — три койки, диван.
 На столе — чертежи, копирки.
 За столом — Лим Чи Ван. Помрачнел наш Чи Ван,
 Пальцы выронили кронциркуль.

Где ты, где ты сегодня, седая мать?
 Больше месяца нет известий.
 Брат — на фронте. Моложе. Чи Сунем звать.
 В детстве спали, играли вместе.

О, разбитый Сеул! О, горящий Пхеньян!
 Не уснуть со спокойной совестью.
 Изменился Чи Ван. Посуровел Чи Ван,
 Пишет он заявленье в Посольство.

Но приходит ответ: разрешенья нет,
 Предлагают учиться дальше.
 Ким Ир Сену видней. И его студент
 Здесь, в Москве, пять зачётов сдал уже.

Он кронциркуль берёт. В сердце вспыхнет сильней
 Пламя юной горячей веры:
 Час придёт — и Корее, свободной стране,
 Будут очень нужны инженеры.

3. КИТАЙСКИЙ ПОДАРОК

Полдень лучистым огнём пронизан.
 Трясётся колхозной машины кузов.
 Со мной сидят на мешках с чумизой
 Хозяева необычного груза.

Один — чубатый, в потёртом кителе,
 Другой — усач добродушно-грозный,
 Курить, друг над другом трунить любители,
 Везут иностранку в семфонд колхозный.

Усач собрал три крупинки:
 — Побачь!
 От проса калибром чуть отличается.
 Сосед говорил: для пробы варил —
 Вкусная каша получается!

Я руку тяну:
 — А ну-ка, дай!
 Усач с ладони в ладонь мою катит
 Крупишки бурые, как древний Китай
 На школьной физической карте.

Я долго рассматривал их в руке,
 Одну на зубах раздавил, попробовал.
 Привкус мучного на языке,
 А в сердце какое-то чувство особое,
 Словно с машины Янцзы увидал,
 Словно мне руку Китай подал.

4. ПРИЗНАНИЕ

Павлику, если по правде признаться,
 Не девятнадцать, а восемнадцать.
 Он не врвался на танке в Вену.
 На паренька долгожданная слава
 Обрушилась, как гремучая лава,
 Сегодня в вечернюю смену.

Всё, право, какое-то нынче другое,
 Послушней, складней, веселей.
 Под рукою
 Фреза шуршит покорно.
 Девчата спешили руками усталыми
 Возить от станка тележки с деталями.
 Вторая... четвёртая норма!

На пятой аж дух захватило в груди.
 Сигнал.
 И вся смена столпилась, гудит.
 Он растерялся: не надо шуму бы!
 А кто-то шепнул:
 — Жаль, букета нет...
 И вечно ворчавший за сорванный цвет
 Сам старший мастер огромный букет
 Нарвал возле цеха с клумбы.

И с этим букетом Павлик домой
 Быстро шагает...
 Нет, постой! —
 В сторону противоположную.
 Рядом купается в лунном свете
 Зданье, чудеснее всех на свете.
 Застыл паренёк, огорошенный,

И видит, став наконец-то зрячим:
 Необычная тень за оградой маячит,
 У институтских берёз
 Спряталась от луны и прохожих
 Влюблённая парочка.
 И похоже,
 Целуется... что за вопрос!

Где справедливость, люди, скажите,
 Если в студенческом общежитии
 С открытым лицом хорошеньким
 Любовь его спит,
 Вздох ей грудь стесняет,—
 Девушка что-то во сне вспоминает
 И ничего-то о нём не знает,
 Ну, ничегошеньки!

Милая, встань! Ты слышишь, Надюша!
 Он зацелует тебя, задушит,
 Растормошит всё равно.
 Спать ты сейчас не имеешь права,
 Видишь, уже не луна, а слава —
 Щедрая дань трудовой державы —
 Брызнула к вам в окно!

5. БРАТЬЯ

Под гулкие своды рабочего клуба
 Не все толпящиеся попали:
 Сегодня у нас выступает труппа
 Театра имени Янки Купалы.

Вот в полутёмный зал многолицый
 Скрипка слезу обронила тихонько.
 Тут вскочит Павлинка¹ в крестьянской светлице,
 И жаром обдаст «Лявониха».

Весь до словечка язык понимая
 С занозистой шуткой народной,
 Я вспомнил внезапно, что мама моя
 Родилась в местечке под Гродно.

Гляжу — и соседи руками машут,
 Под скрипку поводят плечами,
 Хотя все их родители, все мамы —
 Завятые харьковчане.

Вдруг — занавес.
 Кончили?
 Как бы не так!
 Там, где пламя «Лявонихи» било,
 Волчком закрутили цветастый «Гопак»
 Кружковцы с казацким пылом.

А гости в гриме и париках,
 Все, до хормейстера-старика,
 Забывшись, в ладоши хлопали
 Разгорячённым, смущённым слегка
 Нашим девчатам с хлопцами.

Не разберёшь, кто ж артисты из них,
 Только одно разобрать я
 Смог в этот вечер: для тех и других
 Лучшее слово — братья!

¹ Павлинка — героиня одноимённой комедии Я. Купалы.

6. АДМИРАЛ

Ходит добрая слава кругами по озеру,
Никуда от неё не уплыть, не уехать.
— Дядя Вася! — кричат пионеры колхозные.
— Дядя Вася! — в лесу повторяет эхо.

-- Э-ге-гей! — дядя Вася друзьям отзывается,
Он легко, чуть небрежно, гребёт по-матросски.
С быстрых вёсел прозрачные капли срываются,
Опрокинуты в синюю заводь берёзки.

Он уху приготовит — оближешь пальчики!
И пловец, и гребец, молодой, сероглазый
В доме отдыха даже седые купальщики
Не шутя называют его дядей Васей.

Служил на Балтике
Матросом старшим,
Вернулся к батьке
Моряк со стажем.

Ушёл застенчивым,
Пришёл упрямым,
На лбу отсвечивает
Полоска шрама.

ОСВОДА станция
Гонцов прислала:
— У нас останься,
Будь адмиралом!..

Над лодкой узенькой —
Флажок весёлый.
Матросы в трусиках —
Две местных школы.

Скоро осень придёт Закружатся над озером,
Поплывут золотые, багряные листья.
Погрустнев, «адмирал» распростится с «матросами»,
Их учебники ждут и тетрадки чистые.

А его ждёт вагон ленинградского скорого,
Женский вскрик у раскрытых дверей в коридоре,
Ждёт морского училища аудитория,
Штормовое родное Балтийское море.

Для матросской души этот воздух живителен.
Дядя Вася напорист.
И рано иль поздно,
Словно звёзды в ночи, на его чёрном кителе
Горячо заблестят адмиральские звёзды.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

БОРИС ЗАВАДСКИЙ

★

ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ОКЕАНОМ

(Из канадских записок)

КАК Я ПОПАЛ В АМЕРИКУ И КАК ИЗ НЕЕ ВЫБРАЛСЯ

В 1921 году моя мать осталась вдовой с тремя малыши на руках. Примерно в это же время с нею возобновила переписку, прерванную войной, её старшая сестра, бежавшая с мужем в 1905 году в Канаду от преследований царской полиции за участие в революционном движении. Узнав о смерти моего отца и от всей души желая помочь своей сестре-вдове вырастить детей, тётка предложила матери взять к себе на воспитание старшего из троих ребят — меня. «Пусть поживёт у нас до совершеннолетия. Я дам Борису образование, а потом он вернётся к тебе взрослым, умным мальчиком...» — писала тётка. И повторяла своё предложение в каждом новом письме.

Жили мы тогда в Харькове. То было трудное время послевоенной разрухи, когда молодая Советская власть только-только начинала залечивать раны, нанесённые стране сначала четырёхлетней империалистической бойней, а потом бесчинствами интервентов и белогвардейцев. Нам жилось нелегко. Моя мать, полагая, что её «американская» сестра живёт в полном достатке и будет лелеять её первенца как зеницу ока, в конце концов, согласилась послать меня на несколько лет за океан — «погостить, изучить язык, получить образование»... Могу ли я сегодня осуждать её за это решение? Нет. Оно выражало только её наивность и доверчивость и было продиктовано горячей материнской любовью. «А ты сам хочешь поехать к тётке?» — спрашивала она меня.

Я жаждал поехать, но не к тётке, а к киндейцам и следопытам, к ковбоям и бизонам. Как тысячи других мальчишек, я зачитывался Майн-Ридом и Жюлем Верном, Джеком Лондоном и Стивенсоном, мечтал о далёких путешествиях и опасных приключениях. Тётушкины письма подогревали эти мечты... Меня огорчало лишь одно: что я уеду странствовать без своих друзей-харьковчан, ребят с нашего двора. А в Америке меня страшило только то, что там я окажусь, наверное, привязанным к тётушкиной юбке, что она мне никуда не разрешит отлучаться. Впрочем, на этот случай у меня уже был готов план бегства из дома моих канадских родственников на волю, в широкие прерии... Тем временем мать и тётушка в письмах спорили: на сколько лет я должен уехать в Канаду? Мать соглашалась «на два-три года — не больше!» Тётушка настаивала — «до совершеннолетия!». Наконец, решили: чтобы я успел чему-нибудь научиться, мне нужно прожить у тётушки пять лет...

Но время шло, а из Америки не приходили ни проездные документы, ни билет. Я учился в школе, ездил в лагерь с пионерским отрядом, рос, увлекался уже совсем другими книгами — «Чапаевым» и «Спартак»... Путешествие в Америку постепенно превратилось в полузабытую детскую сказку. И вдруг в 1927 году, когда, окончив семилетку, 15-летний подросток я уже поступил в фабзавуч, из Канады неожиданно прибыла «шифскарта» — сквозной проездной билет от Харькова до Йорктона, города, где жила тётушка, а вместе с шифскартой и все прочие необходимые для такого путешествия документы.

Детские мечты проснулись во мне с новой силой. Я хотел ехать. Но теперь уже мать долго не решалась отпустить меня, словно предчувствуя, что её сыну не уготовлено ничего хорошего на чужбине. И может быть, она отправила бы шифскарту обратно в Канаду, если бы не пришли одно за другим два новых письма от тётушки, в которых та уже писала, что с радостью ждёт моего скорого приезда. Скрепя сердце, мать сказала: «ладно!». И вот, обильно окропив меня слезами, под аханье соседок, предостерегавших ото всяких напастей в дальнем пути, взяв с меня слово быть осторожным, часто писать и возвратиться в срок, мать отправила меня за океан.

Так, по мальчишескому легкомыслию, я совершил тот жизненный шаг, в котором потом столько раз горько раскаивался...

Я действительно пробыл в Америке столько, сколько нужно было бы для того, чтобы получить хорошее образование и досыта вкусить «романтики» путешествий и приключений. Я вернулся даже не через пять, а через пять с половиной лет. Но школа, которую я прошёл, называется школой жизни, путешествия, которые я совершил, — поисками заработка, а приключения, которые я пережил, — борьбой за существование...

Я работал батраком и ковбоем на фермах и рэнчо, чернорабочим, маляром, штукатуром, учителем русского языка, пекарем, мойщиком автомобилей, шофёром, слесарем, механиком, судомойкой в ресторанах, проводником скота, сиделкой при сумасшедших... Выбирать не приходилось: как и всех американских рабочих, меня вечно преследовала безработица, призрак голода или сам голод.

В те годы ни в Канаде, ни в Соединённых Штатах ещё не было наших посольств и консульств. Мне не к кому было обратиться за помощью и неоткуда было взять средств для возвращения домой.

Только после тщетных усилий скопить деньги на обратную дорогу, после бесчисленных неудачных попыток «зайцем» махнуть на родину через океан, мне, на шестой год, наконец, удалось устроиться работать на шведский теплоход, шедший в Ленинград. Бесплатный проезд до любого советского порта — это была вершина моих тогдашних мечтаний!

И вот я снова ступил на родную землю...

«Я дам Борису образование..» — писала когда-то моя американская тётушка. Я действительно стал инженером, но ни Канада, ни тётушка здесь ни при чём! Я вернулся в родной Харьков, когда мне исполнился двадцать один год. И то, что канадские рабочие парни видят только в счастливом сне — аудитории институтов, научные кабинеты, лаборатории, библиотеки, — я тотчас увидел наяву. Меня сразу приняли на рабфак, а затем в автодорожный институт. И не на доллары тётушки (их, кстати, у неё было слишком мало), а на средства Советского социалистического государства я получил свой диплом инженера.

В дни Великой Отечественной войны я служил на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском и 1-м Прибалтийском фронтах как офицер-артиллерист. А сейчас, работая старшим научным сотрудником научно-исследовательского учреждения, готовлю диссертацию на соискание степени кандидата технических наук... Если бы кто-нибудь рассказал тем канадским рабочим, с которыми я когда-то встретился в Скалистых Горах, за колючей проволокой концентрационного лагеря для безработных, как сложилась моя судьба, — они, пожалуй, сочли бы этот рассказ выдумкой.

И сегодня, когда во всём мире идёт напряжённая борьба за мир, которую сама жизнь тесно сплетает с борьбой за демократию, за свободу, за хлеб, за право на труд, я невольно вспоминаю своих старых канадских друзей — рабочих и интеллигентов. Я вспоминаю, как на моих глазах аполитичные люди — бедняки, ещё не изжившие своих иллюзий, труженики, которым день ото дня становилось всё тяжелее и тяжелее добывать кусок хлеба, постепенно переставали быть слепыми и безответными жертвами волчьей системы капиталистической эксплуатации и превращались в сознательных борцов за дело рабочего класса.

В этих «Записках» нет ни слова выдумки. В них рассказаны отдельные эпизоды

из моей жизни в Америке — только то, что я сам испытал или видел собственными глазами.

Я сказал «в Америке», отождествляя, таким образом, Канаду и Штаты. Я делаю это неслучайно и не только потому, что обе страны расположены на североамериканском материке. Канада едва ли не во всех отношениях является как бы естественным продолжением Соединённых Штатов. Преобладающую часть населения в Канаде, как и в Штатах, составляют англо-саксы. Государственным языком и там и здесь служит английский. Граница между обеими странами в значительной мере условна: как жители Штатов, так и жители Канады имеют право беспрепятственно переезжать границу без специальных документов и паспортов, если только они не безработные — нужды в безработных людях не испытывает ни одно из этих «процветающих» государств! В обеих странах царит доллар. Большинство американских фирм имеет свои филиалы в Канаде. Форду, например, выгоднее продавать канадцам автомобили, сделанные не в Штатах, а на канадских заводах, и он делает их в Канаде, чтобы не оплачивать таможенных пошлин за ввоз.

И если есть существенные различия между этими странами, то они заключаются уж конечно не в том, что в Канаде «а» произносятся шире, чем в Штатах, и поют «Боже, храни короля» попеременно с «О, Канада!», вместо американского «Янки Дудл».

Различия существуют, прежде всего, количественные. Если мы увидим в Канаде небоскрёб в пятнадцать-двадцать этажей, то, увеличив его высоту в три-пять раз, мы получим представление о небоскрёбах в Штатах. Если мы узнаем, что в Канаде на 11 миллионов жителей 1,5 миллиона безработных, то, умножив это число на 10, мы получим число безработных в Штатах. Если мы услышим о десятках убитых, раненых и изуродованных, о сотнях брошенных в тюрьмы при диких расправах полиции с безоружными рабочими в Канаде, то, увеличив только эти данные в несколько раз, мы получим вполне реальное представление о фашистских нравах правящей верхушки в Штатах...

«Американский образ жизни» — понятие, существующее не только в Соединённых Штатах, но и в Канаде, и если мои воспоминания помогут читателю яснее представить себе, какую жизнь сулят всем простым людям мира заокеанские «завоеватели», поджигатели новой войны, стремящиеся навязать народам свою волю, свой «новый порядок», — значит, опубликование этих воспоминаний будет оправдано.

1. В ГОСТЯХ У АМЕРИКАНСКОЙ ТЕТУШКИ.

В хмурый, похожий на сумерки, полдень 31 декабря 1927 года океанский лайнер «Антония» пришвартовался у пирса паровой компании «Кунард Лайн» в Галифаксе, канадском порту на берегу Атлантического океана. С третьего или четвёртого этажа морского вокзала подъёмный кран перекинул на борт лайнера крытый трап.

С подобострастным почтением и лакейской вежливостью спустив на берег пассажиров первого и второго классов, портовые чиновники бесцеремонно задержали на палубе пассажиров третьего класса, чтобы подвергнуть их унижительному медицинскому осмотру. Они разыскивали среди нас носителей вшей, проказы, трахомы и венерических заболеваний. Только дорогостоящие билеты давали беспрепятственное право на ввоз в страну любой заразы!..

Потом таможенники долго рылись в наших чемоданах, настойчиво предлагая каждому добровольно сообщить, сколько бриллиантов, спиртных напитков и табака он пытается ввезти из Европы. Затем один из чиновников — детина, откормленный как на убой, стал проверять паспорта. Когда дошла очередь до моей «пурпурной книжицы», он широко раскрыл глаза и многозначительно спросил: «Бóльшевик?», делая ударение на первом слоге. Я незолно рассмеялся. Смерив меня подозрительным взглядом и, очевидно, сообразив, что перед ним стоит совсем ещё мальчик, он без дальнейших расспросов вернул мне паспорт и пропустил к выходу в город.

Тотчас меня обступили представители всевозможных религиозных общин и сект. Осведомившись о моей национальности, каждый из них пытался внушить мне на

русско-украинско-польско-немецко-английском диалекте, что только его религия—истинная, и значит, я непременно должен её исповедовать. И каждый из них совал мне в руку молитвенник или библию или брошюру религиозного содержания, напечатанную на таком же венегретообразном языке. С трудом пробившись через эту кликушествую толпу, я прошёл на вокзал.

При посадке в поезд меня вновь обступили какие-то люди. Они так же нахально приставали ко мне, что-то кричали и чего-то добивались. Они говорили на всех языках, перебивали друг друга, и я не понимал их. Думая, что это вновь дела религиозные, я помахал перед их носами пачкой полученных мною молитвенников и сказал, что уже всё в порядке... Тогда из толпы вынырнул какой-то юркий приземистый тип и всё на том же тарбарском языке объяснил, что их интересует спасение не души моей, а тела. Он предложил мне купить свёрток продовольствия в дорогу. Но у меня оставалось всего десять сентов из денег, присланных тётушкой на дорогу, и я вынужден был отказаться от его предложения.

— Ничо́го! — бодро сказал он. — Мы це шнель-сичас-зараз влаштуемо. От вас треба тильки ту сайн — пидписыаты. А мы удержымо мани-грёши-гельд с ваших родычив.

Осторожно разобрав по цифрам в английском тексте стандартного печатного бланка, что сумма ограничивается двумя долларами, я поставил свою подпись там, где надлежало её поставить, и получил пакет с продуктами.

Таким же способом я сумел отправить тётушке доплатную телеграмму о моём прибытии.

При переходе с пристани на вокзал я видел предпраздничную суету. Люди с покупками спешили домой, очевидно, готовясь к встрече Нового, 1928 года.

В новогоднюю ночь я ехал в поезде один среди чужих людей, «без языка». За окном, быстро исчезая, косо летели снежинки. Мыслью я невольно перенёсся в Харьков, где за праздничным столом, в кругу семьи и школьных друзей, всегда бывало так радостно и весело в эту ночь. Чувство тоски, одиночества и оторванности от всего милого, близкого, дорогого, ощущение тихой боли, щемящей сердце, впервые испытанное мною при переезде нашей границы, вновь охватило меня. Неудержимо потянуло к родным, к товарищам, в далёкий любимый Харьков. Было мгновение, когда захотелось прямо на ходу прыгнуть с поезда и пуститься бежать без оглядки домой. Но уже тысячи километров чужих земель и морей отделяли меня от родины...

Вагон мерно покачивался, и в конце концов усталость взяла своё, я уснул.

Я проснулся рано и, ощутив голод, вспомнил о свёртке с провизией, купленной на долг. С жадностью набросился на него, развернул и сразу же понял, что стал жертвой бесстыдного надувательства. Там лежала жалкая снедь, которой едва могло хватить даже на скудный завтрак: хлеба не было вовсе — его заменяли твёрдые, как камень, галеты... Но делать было нечего — я принялся их грызть, проклиная канадских жуликов и мою детскую доверчивость...

Поезд продолжал свой путь на запад. В окнах мелькала заснеженная равнина с бесконечными унылыми осиновыми лесами. Они наводили тоску, но я постарался её побороть.

В самом деле — как бы там ни было, но ведь я путешествую! Я уже проехал всю Европу, посмотрел Ригу и Берлин, Голландию, с её гладкими, как стол, полями, прорезанными бесчисленными каналами, Роттердам, Лондон, пересёк Атлантику и вот уже поезд мчит меня по Америке! Разве не здорово?! Мои детские мечты о путешествиях неожиданно сбылись как раз тогда, когда, взрослея, я стал уже понемногу о них забывать!

Я представлял себе, как меня встретит тётя, как она меня узнает по зелёному платку, который я буду держать в руке, выходя из вагона (о зелёном платке ей писала мама). Я представил себе, как мы едем в такси к тёте домой, где нас ждёт торжественный обед в столовой, и как после обеда мы переходим в гостиную, усаживаемся в кресла, и я рассказываю всем собравшимся о маме, о доме, о Советской России... А потом тётя спрашивает меня, где я хочу учиться и какую специальность

решил избрать. Узнав, что я мечтаю быть инженером, она, наверное, скажет, что ей бы больше нравилось, если бы я стал доктором и спасал бы от смерти бедных обездоленных людей. Но я объясню ей, что сейчас России, пожалуй, больше нужны инженеры, чтобы строить новые заводы и машины, чтобы догнать и перегнать Америку; и что вообще мне не нравится быть врачом. Я рассказываю ей, что уже три года тому назад вместе с товарищами сделал настоящий радиоприёмник и маленькую работающую паровую машину, а в прошлом году строил авиамодели... И тётя соглашается, что быть инженером тоже неплохо, а дядя сразу становится на мою сторону... Я представлял себе, как затем, поздно ночью, тётя показывает мне отведённую в полное моё распоряжение комнату и желает своему племяннику спокойной ночи на новом месте...

После двух пересадок, в Монреале и Виннипеге, утром 3 января я прибыл, наконец, в тётушкин город — Йорктон. Не успел я выйти из вагона, как тётя узнала меня без всякого зелёного платка, о котором я вспомнил только после её материнских объятий. Она так напомнила маму своими добрыми лучистыми синими глазами, что я и сам сразу узнал бы её среди тысячи лиц.

И вот мы отправились к тётушке. Я нёс свой чемодан. Тётя прошла мимо нескольких разношёрстных такси, даже не взглянув в их сторону. Мы пешком поплелись к её дому через весь город.

Судя по станции и по окружающим её зданиям, Йорктон был маленьким и незначительным городком. Однако стоял сильный мороз, и расстояние до тётушкиного дома на другом конце города оказалось вполне достаточным, чтобы дать мне почувствовать жестокий холод канадской зимы. Заговорить о такси я постеснялся, но, коченея от стужи, испытывал не только озноб, но и недоумение: почему мы тащимся пешком? Ведь не каждый день к тёте приезжают племянники из России?

Через час я осматривал тётушкину резиденцию. Вся её семья снимала одну комнату во втором этаже небольшого деревянного домика. Собственно, это была мансарда, со стенами, такими же наклонными, как и крыша, под которой она располагалась. Обстановка комнаты состояла только из одной кровати и раскладной комбинированной железной кушетки. В комнате было неуютно и холодно, и вся семья в течение дня ютилась в кухоньке при дядиной мастерской.

Прежде чем направиться туда, тётушка решила представить меня хозяйке дома. Мы спустились вниз. Хозяйка куда-то вышла, и мне пришлось пока познакомиться только с её сыном. Это был пятилетний рыжий бутуз. Сидя с ногами в ботинках на незастланной ещё кровати, мальчик играл с плюшевой обезьянкой. Схватив её за ногу, он с ожесточением бил обезьянку головой об стену и, не обращая внимания на наш приход, весело приговаривал:

— Чинки-чинки-чайнамэн!

Услышав незнакомые слова, я спросил тётю, что они значат. Тётя, как мне показалось, смутившись, сказала, что «чайнамэн» по-английски значит китаец, а «чинки» — резрительная кличка...

— Вот рыжий зверёныш! — возмутился я. — Кто же его этому научил?

— Ш-ш-ш! Ты просто не привык, — тихо сказала тётя, — тебе ещё многое здесь не понравится. Придётся терпеть. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Видишь ли, мой милый, англичане, канадцы, американцы воображают себя солью земли... — она перешла на шёпот. — Всех остальных они презирают. Особенно цветных — негров, китайцев. Их вообще не считают людьми. Ты только не шуми, прошу тебя, — едва слышно проговорила она извиняющимся тоном, — а то будет «лаца тробл» — много неприятностей.

Мастерская дяди находилась на дальнем конце главной улицы Йорктона, названной Бродвеем, очевидно, в подражание Нью-Йорку. Мастерская помещалась в дощатом сарае с плоской крышей. Передняя стена его была немного выше остальных, чтобы скрыть убожество постройки, и на этой стене большими буквами было начертано: «Джон Фёдоровф. Ремонт граммофонов и часов всех систем».

Постройка принадлежала дяде, но крошечный кусочек земли под нею он никак не мог купить в полную собственность и уже в продолжение 15 лет вынужден был платить хозяину высокую арендную плату.

Заказов дяде перепало так мало, что он не всякий день вырабатывал свой собственный прожиточный минимум — один доллар.

Тётя Ната, с тех пор как она поселилась в Канаде, работала мастерицей в корсетной мастерской. Она-то и была опорой семьи, выкормила своих дочерей и дала им возможность окончить учительские курсы. Но в последние годы тётя часто болела, лишилась места и постепенно стала только домашней хозяйкой.

Обе её дочери — мои двоюродные сёстры — были милыми, близорукими великовозрастными девицами: Лена — двадцативосьмилетняя блондинка в пенсне, Валя — двадцатичетырёхлетняя брюнетка, в очках. Обе, разговаривая по-русски, безбожно коверкали слова. Обе служили учительницами в канадских народных школах. С тех пор как перестала зарабатывать тётя, они содержали семью на свои скудные заработки, постоянно работая и живя в глуши, за десятки миль от дома. Валя сидела сейчас без работы и поэтому жила в Йорктоне, а Лена специально приехала на попутном грузовике, чтобы познакомиться со мною. Шифскарту для меня, стоимостью в 150 долларов, купила Лена в рассрочку на три года.

Тётя Ната собиралась выслать мне «сквозной проездной билет» ещё в 1922 году, но не смогла. И вот уже в течение нескольких лет разные невзгоды разрушали её план...

Два года назад сгорел дом, в котором они жили. Вплоть до моего приезда тётиная семья не могла оправиться от этого удара. У них была там кое-какая мебель и граммофон, и даже радиоприёмник, и они снимали «чуженькую» квартирку в «большом» двухэтажном доме... Но хозяин мистер Редстоун решил получить страховую премию за свой старый деревянный дом, продажа которого дала бы гроши. Для поджога он выбрал ветреную ночь под рождество. В Йорктоне есть только добровольная пожарная команда. В пожарное депо она собирается лишь по тревоге. В рождественскую ночь все добровольцы изрядно выпили и прибыли на пожар, когда дом уже сгорел дотла. Мистер Редстоун получил, конечно, свою страховую премию: улик против него оказалось недостаточно, хотя весь город и знал, что поджог — дело его рук... А тётка и ещё десяток семейств остались нищими, потеряв в огне всё, что было ими нажито за десятилетия труда и лишений...

Всё это я узнал в день моего приезда в кухоньке при мастерской Джона Фёдоровффа, сидя за столом на хромоногом стуле в кругу тётиной семьи, восседавшей на трёх столь же дряхлых стульях и на старой колченогой качалке с перевязанными проволокой конечностями и многократно чиненой ветхой плетёной спинкой.

Я невольно вспомнил нашу уютную харьковскую жилкооповскую квартиру — просторную и обставленную несравненно лучше, чем жилище маминих «зажиточных» американских родственников.

Оказалось, что тётушка представляла себе жизнь в Советском Союзе по описаниям ужасов послевоенной разрухи в России, вычитанным ею в канадских газетах 1921 года. Охваченная страхом за свою сестру, она решила во что бы то ни стало помочь вдове вырастить сирот и выписала меня к себе, чтобы спасти, как она думала, от «голодной смерти».

В этот вечер развеялся миф о тёткином благополучии, в которое поверила моя наивная мать, соглашаясь отправить меня за океан «погостить», «получить образование»...

Путешествовать, видеть новые страны и народы, конечно, интересно и заманчиво, но это хорошо месяц, два, три... А потом? Нужно учиться, готовить себя к будущей самостоятельной жизни. Я был уже достаточно взрослым, чтобы понимать это. Я сразу увидел, что никакого образования добросердечная тётя Ната в Йорктоне дать мне не сможет. Я понял и то, что она даже не сможет помочь мне вернуться в Советский Союз, пока, в течение трёх лет, её семья не выплатит задолженности за первую шифскарту... А мне так захотелось немедленно вернуться домой! В Харьков,

в фабзавуч, к друзьям, от которых я был так глупо оторван, так далеко заброшен... И вновь, как в поезде под Новый год, я физически ощутил приступ давящей тоски, боли, сжимающей сердце.

Изо дня в день, гуляя по заснеженным улицам маленького канадского городка, я думал только об одном: «что же мне делать? что предпринять для возвращения на родину?» В Канаде, как я говорил уже, тогда ещё не было советского посольства, а написать матери всю правду я просто не мог решиться... Оставалось одно — зарабатывать на обратный проезд. Однако для этого нужно было иметь какую-нибудь специальность, изучить хоть какое-нибудь ремесло. Но прежде всего необходимо было знать язык.

Сначала меня учила Валя. Но вскоре, найдя временную работу в сельской школе, в которой заболела учительница, Валя уехала из Йорктона.

Мы с тётушкой долго думали — куда бы мне поступить учиться так, чтобы это не стоило денег? Наконец, она решила, что единственное подходящее место — детская народная школа. Я переборол своё самолюбие, уязвлённое необходимостью учиться вместе с малышами, и в марте поступил в Симпсон Паблик Скул — народную школу имени Симпсона.

Директор школы, мистер Кроссуэйт, привёл меня в первый класс, а сам остался в коридоре... К этому времени я уже кое-как изъяснялся по-английски. Молоденькая учительница, — я был на голову выше её ростом, — покраснев, усадила меня за парту, к дикому восторгу малышей. Она задала мне несколько вопросов и через три минуты вывела к директору. Так, буквально, пройдя в один день четыре класса, я к концу уроков попал в пятый.

В пятом классе я занимался две недели и был переведён в шестой, а ещё через три недели — в седьмой.

После окончания советской семилетки, в канадской восьмиклассной школе мне делать было нечего, кроме изучения языка. Эта школа может быть приравнена, да и то с большой натяжкой, только к нашим пяти классам. Здесь лишь на последнем году обучения начинают знакомить учеников с химией и геометрией, а физику и алгебру вообще не проходят.

Тётушка, выписывая меня в Канаду, рассчитывала, что «мальчик» в свободные от уроков часы будет немного подрабатывать в американском духе — разносить из магазина покупки по домам или торговать газетами — и «себя оправдает». Но пока она сумела выписать меня, прошли годы. Мальчик подросток, оказался верзилкой и уже не мог быть приспособлен к такому «детскому бизнесу».

Вскоре я увидел, что просто объедаю семью и всё больше становлюсь для неё обузой. Впрочем, дядюшка не раз без обиняков попрекал меня куском хлеба. Поэтому уже в мае, проучившись два месяца и пройдя за это время семь классов, я вынужден был бросить школу и начать искать работу.

2. НАЧАЛО МОЕЙ «АМЕРИКАНСКОЙ КАРЬЕРЫ».

Я мечтал стать механиком. И вот, по просьбе тётушки, меня принял к себе учеником владелец маленького гаража на 3-м авеню, мистер Логан.

М-р Логан собственными руками ремонтировал автомобили, и кроме него в гараже работал только один слесарь. Собственно, это был не гараж, а скорее ремонтная мастерская. Впрочем, на фасаде этого углового строения из некрашенных, давно посеревших досок висело ещё несколько стандартных мелких вывесок различных фирм, представителем которых был хозяин гаража. Из содержания этих вывесок следовало, что м-р Логан продаёт радиоприёмники «Маркони», швейные машины «Зингер», мотоциклы «Индиан», электрохолодильники «Дженерал-Электрик», автомобили «Шевроле» и ещё что-то, столь же мало ходкое в Канаде. Поэтому я затрудняюсь сказать — что же было основным в деятельности м-ра Логана.

Разнообразие дел, за которые он брался, объяснялось, конечно, недостатком работы по ремонту автомобилей. Но это и не удивительно. В Йорктоне, на 5000 насе-

ления, гаражей было столько же, сколько церквей: по меньшей мере, — с полсотни. И все они принадлежали разным фирмам, так же как церкви — различным религиям и сектам. И все они, как и церкви, конкурировали и враждовали между собою, и готовы были утопить друг друга в ложке воды..

Кстати сказать, каких только церквей и сект здесь не было!.. Самая беспокойная секта помещалась по соседству с дядюшкиной мастерской. В народе её называли «Холи Роллерс» («Святые Вертуны»). Под дикие завывания, столь громкие, что их слышно было за три квартала, сектанты доводили себя до исступления и, набравшись «святого духу», в бешенстве катались по земле..

Обучение автоделу у м-ра Логана ничем не напоминало занятия в фабзавуче авторемонтного завода в Харькове, где я, закончив семилетку, начал было заниматься полгода тому назад... С грустью и тоской, как родной дом, вспоминал я наш фабзавуч, хоть и проучился в нём совсем недолго. Там у каждого из нас было своё место за верстаком, там с первого дня нас начали обучать слесарному делу, с первого дня мы стали изучать устройство автомобиля и с первого же дня нам платили зарплату... Но теперь всё это было далеко за океаном..

Что же касается освоения автодела в гараже м-ра Логана, то первым этапом ученичества была утренняя уборка всего помещения перед тем, как хозяин открывал гараж. Вскоре, убедившись, что я проделываю эту процедуру достаточно тщательно и добросовестно, мне стали поручать более ответственные задания — подать молоток, домкрат или пассатижи, сбегать за пачкой сигарет или бутылкой «кока-кола», вычистить изнутри крышку или поддержать какую-нибудь тяжесть. Я всё исполнял с одинаковым усердием. Терзался, если сидел без дела несколько минут, и терзал хозяина просьбами дать мне работу. Хотелось поскорее получить право своими руками притронуться к автомашине. С благоговением наблюдал я, как м-р Логан, точно доктор, безошибочно на слух определял болезнь мотора. Но дни шли, а мне ничего не объясняли, ничему меня не учили, к автомобилю же и близко не подпускали..

Тётка купила мне синий «оверолс» (по-русски — «поверх всего») — комбинезон с широченными и длинными штанинами, с бесчисленными карманами в самых невероятных местах. С гордостью надевая его по утрам, я чувствовал себя настоящим рабочим.

Но и это маленькое счастье длилось только до дня первой полочки, когда выяснилось, что хозяин ничего не собирается мне платить в течение первых двух лет и считает, что делает особое одолжение моей тётушке, не требуя ещё с неё денег за моё обучение. Сразу стало ясно, что из гаража придётся уйти — нужно было зарабатывать на жизнь. Но я никак не решался заявить об этом м-ру Логану.

Мне помог случай. Это было, кстати сказать, и моё первое канадское знакомство с автомобилем.

Я кончал уборку гаража в тишине и прохладе майского утра. Неожиданно в гараж вкатил новенький, сверкающий полировкой открытый двухместный «понтяк». Из машины вылез её владелец — человек в модном костюме, с тройным подбородком и обширнейшим животом. К нему подобострастно подбежал м-р Логан. Достав из жилетного кармана сигару, откусив и выплюнув её кончик, владелец «понтяка» кинул: — «Спустила левая задняя... Спичку!». В одно мгновение я достал из кармана спичку¹ и, молниеносно чиркнув ею о крыло, эффектно зажгёг и поднёс важному клиенту. Клиентов было мало и услужливость по отношению к ним являлась первой заповедью м-ра Логана. К моему удивлению, клиент не только не прикурил от протянутого к нему огня, но на минуту вообще оцепенел и лишился дара слова. Он выглядел так, словно поперхнулся рыбьей костью. Сначала он мертвецки побледнел, потом побагровел..

Чувствуя, что произошло нечто ужасное, я всё-таки никак не мог понять — в чём же дело? Но разгадка последовала гораздо быстрее, чем я об этом рассказываю.

— Болва-ан! — заревел хозяин.

¹ В Америке распространены крупные, зажигающиеся обо всё твёрдое, спички. Они продаются в огромных коробках, и их носят в карманах насыпью.

— Что он у вас? — упавшим голосом выговорил, наконец, клиент, многозначительно дотронувшись пальцем до своего вспотевшего лба. — Что он у вас, идиот? Новую машину испортил! — еле слышно твердил он, яростно жуя незажжённую сигару.

Я часто видел, как фермеры, приезжая в город на своих допотопных «фордах», зажигали спички о крылья машин. Подражая им, я упустил из виду одну лишь мелочь — они зажигали спички о самую кромку старых, потрёпанных и исцарапанных крыльев с давно облупившейся краской.

...Мистер Логан до конца дня не только не заговаривал со мною, но даже ни разу не посмотрел в мою сторону.

На следующий день я не пошёл в гараж.

Йорктон — маленький торговый городок в степной сельскохозяйственной провинции Саскачеван. Промышленных предприятий в нём нет, если не считать маслобойки, элеватора и гаражей.

Здесь нелегко было найти работу. Но когда я и находил её — она не доставалась мне. Если для «детского бизнеса» я оказывался слишком взрослым, то на тяжёлую работу придирчивые подрядчики не брали меня, утверждая, что я слишком мал и юн для этого. Только в виде личного одолжения моей тётушке меня приняли чернорабочим на строительство нового гаража. Там я копал землю, месил бетон, делал блоки для кладки стен. Трудной была эта работа, но ведь зато по субботам я возвращался домой с получкой! Однако вскоре и это счастье кончилось: мы забастовали, и нас всех уволили — подрядчики набрали на наше место, на ещё худших условиях, десятки других бездомных иммигрантов...

Потом мне удалось устроиться землекопом на прокладке линии канализации. Но строительство вскоре закончилось, и я опять остался без работы.

Здесь, в Йорктоне, я впервые увидел американских индейцев...

Как раз летом 1928 года, когда я слонялся по йорктонским улицам в поисках заработка, город отмечал важное событие в своей истории: число его жителей достигло пяти тысяч человек, и это дало ему право впредь называться «сити» вместо прежнего «таун».

В Канаде нигде, кроме населённой французами провинции Квебек, нет деревень, Канадские фермеры живут крошечными хуторами, состоящими, как правило, из одного дома и надворных построек. Такие фермы отстоят далеко одна от другой. Всякий иной населённый пункт, даже если он, как станционные посёлки, состоит из трёх-пяти домов — станции, элеватора, лавки и жилья при этих учреждениях — всё-таки называется городом — «таун».

Превращение Йорктона из «тауна» в «сити» было празднично отмечено гулянием и танцами на главной улице и торжественным шествием. В шествии приняли участие добровольная пожарная команда, полувзвод королевской конной полиции, самодеятельный духовой оркестр, группа играющих на волынках шотландских оркестрантов в традиционных клетчатых «килтс», напоминающих юбочки, приблизительно одно отделение ветеранов первой мировой войны, одетых в штатское и звенящих медалями... Это шествие могло бы показаться только смешным, икак нелепая пародия на «взправдашний» парад в большом городе, если бы не драматическое зрелище десятка индейцев, замыкавших йорктонскую манифестацию. Их «милостиво» пригласили на городской праздник из соседней резервации. Истощённые, забытые, они ехали на костлявых клячах в своих старинных костюмах и головных уборах из перьев. Жалок был их маскарадный вид на этом «чужом пиру». Невольно вспоминалась трагическая история этого многоплеменного, когда-то воинственного и гордого народа, согнанного со своей земли и обречённого теперь жить тем, что удастся подобрать их «сквау» (индианкам) в мусорных ящиках... Йорктонцы бесцеремонно разглядывали их костюмы, иные гоготали, показывая на них пальцами... На всю жизнь запомнилась мне эта картина унижения героев моих первых детских мечтаний...

Не находя работы в городе, я поступил батраком на ферму.

Это был обычный фермерский дом, обособленно стоящий со своими службами и двором среди полей и огородов. Дома ближайших соседей-фермеров находились на

расстоянии мили или двух отсюда. Как и на других фермах провинции Саскачеван, при доме не было сада. Фермеры убедили самих себя, что фруктовые деревья у них не могут расти из-за сурового климата (это на широте Москвы!).

До уборки урожая оставался месяц. Пока что хозяин заставил меня вырубать кустарник и молодой лес на его земле. Работа эта была самой неприятной из всех, какие мне приходилось когда-либо выполнять. В тени кустарника на меня наваливались тучи комаров. Они непрерывно жалили лицо и руки. Топор хозяин всучил мне тупой и тяжёлый. Под его ударами тонкий и гибкий кустарник без сопротивления прижимался к земле, а затем, почти невредимый, снова выпрямлялся, хлеща меня ветвями по лицу. До иступления могла довести борьба с этими неуязвимыми хлыстами. Я радовался и отдыхал душой, когда мне попадалась толстая поросль, которая не гнулась под топором, или деревья, в стволы которых топор мог врубиться: тогда, по крайней мере, каждый удар давал результат.

Наконец, началась уборка урожая. Идя за конной сноповязалкой, я должен был успевать собирать снопы и устанавливать их в копёнки по 12 снопов в каждой. Эта работа страшно утомляла физически и угнетала своим бесконечным однообразием в течение всего 12—14-часового рабочего дня.

Началась молотьба. Молотилку вывезли в поле. Её обслуживали всего четыре пароконных «рэка» (огромные платформы с высокими вертикальными бортами), по два с каждой стороны «фидера» — подающего транспортёра. Каждый «тимстер» (возчик) выезжал в поле, в радиусе мили от молотилки набирал полный рэк снопов и должен был успеть вернуться к молотилке до того, как предыдущий тимстер сбросит все свои снопы на фидер, так, чтобы барабан молотилки ни минуты не крутился вхолостую.

Я работал тимстером. Хотя я и был сильным подростком для своих лет, всё же я еле поспевал за опытными взрослыми батраками. Заблаговременно подав грузённый рэк к молотилке, они успевали ещё выпить воды, а иногда даже несколько раз затянуться свёрнутой наспех самокруткой. Я же просто изнемогал в этой бесконечной гонке. Горло у меня пересыхало. Боязнь быть выгнанным за задержку живого конвейера тимстеров постоянно меня подстёгивала. Свой рэк я подавал во-время, и машина ни разу не работала вхолостую из-за меня, но часто в течение долгих часов я не мог урвать мгновения, чтобы хлебнуть хоть глоток воды.

Во время молотьбы рабочий день начинался в 4.30 утра. Бывало так, что никто из рабочих не просыпался во-время. Тогда в 4.40, в сарай, где мы спали на полу, входил рассерженный хозяин и ударами сапога будил нас. Тело, особенно в первые дни, ныло не переставая, конечности деревенели — приходилось с усилием и болью разгибать каждый сустав. После подъёма нужно было ещё вычислить, напоить и накормить коней, надеть на них сбрую, затем быстро умыться и позавтракать самому с тем, чтобы поскорее выехать в поле, так как к шести часам уже следовало быть у молотилки с первым рэком снопов.

В обеденный перерыв от двенадцати до часу мы ездили обедать верхом на ферму. В 4 часа дня хозяйка привозила к молотилке «ланч» — сэндвичи и тёплый кофе в бочонке. Но молотьба не останавливалась. Нужно было с удвоенным напряжением поработать в поле, собирая снопы, и вернуться к молотилке так, чтобы успеть перекусить, пока твой напарник ещё сбрасывает снопы. Это далеко не всегда удавалось. В 7—9 часов вечера рабочий день заканчивался, и мы отправлялись домой, кормили коней, кое-как ужинали и обессиленные заваливались спать в сарае.

Фермы почти не пользовались соломой, оставшейся после молотьбы. Её обычно сжигали в поле и золой удобряли землю. Иногда, чтобы побыстрее закончить обмолот на каком-нибудь участке, нас заставляли работать до 10—11 часов ночи при свете горящих скирд соломы.

Однажды, в конце октября, у меня на указательном пальце правой руки появился прыщик. Я не заметил, как сорвал его грязной рабочей рукавицей. К вечеру палец стал нарывать, появился жар. Я смазал ранку иодом. На следующее утро распухла и покраснела вся кисть руки, палец не сгибался, горел, и я не мог без чужой по-

мощи запрячь лошадей. Пришлось рассказать об этом хозяину. Он сказал: «чепуха!» и отказался свезти меня в город к врачу. До города было двадцать миль. Пока я тащился эти 30 с лишним километров пешком, рука распухла до фантастических размеров. Доктор Патрик, осмотрев меня, поздравил с приходом к нему сегодня: «Завтра было бы уже поздно. Пришлось бы отнимать руку выше локтя. У вас заражение крови!» Бесплатной больницы в Йорктоне не было. Каждый визит к доктору стоил два доллара. Пока мистер Патрик вылечил мою руку, он вытянул у меня всё, что я заработал на молотье...

К слову сказать, врачи в Америке вообще отличаются чрезвычайным сребролюбием. Стоит не уплатить во-время за визит, как врач не только прекращает вас лечить, но и немедленно передаёт счёт своему адвокату для взыскания гонорара по суду. Однажды моя двоюродная сестра, встретив на улице знакомого врача, который за просто бывал у нас дома в гостях, попросила его посоветовать ей лекарство от насморка. Он назвал какое-то патентованное средство. На следующий день сестра по почте получила счёт на два доллара «за профессиональный совет». В погоне за долларом эти врачи делают вид, что они универсалы, берутся лечить всё, начиная от зубов и глаз и кончая венерическими болезнями, лишь бы выкачать побольше денег. Для доверчивых пациентов это нередко кончается плохо...

Только в ноябре я поправился настолько, что смог начать думать о поисках новой работы. Тётушка впадала во всё большую и большую нужду. Дело дошло до того, что её семья была вынуждена отказаться и от своей комнатухи в мансарде и переселиться в кухню при дядиной мастерской.

После окончания 8-го класса я поступил работать учеником к маляру. Но месяца через два у этого маляра-подрядчика работа подошла к концу, и я опять остался на бобах.

Шло уже моё второе лето в Канаде, а возможность вернуться на родину была от меня так же далека, как и в тот день, когда я впервые поднялся на тётушкину мансарду в Йорктоне... Я снова нанялся батраком на ферму, на этот раз на очень большую ферму некоего мистера Черри. У мистера Черри было 1500 акров земли, 50 коров, 60 лошадей, стадо овец, трактор и автомобиль.

Мне, как батраку, пришлось выполнять всевозможную работу: в качестве ковбоя верхом пасти скот и крутить хвосты телятам, когда их водили на прививку и тавровку; пахать землю четырёхлемешным восьмиконным плугом, корчевать лес и снова потеть на уборке урожая.

Именно здесь, долго не слыша русской речи, я однажды заметил, что во сне рассуждаю по-английски: приснившаяся мне мать разговаривала со мною на английском языке, которого она не знает! А в другой раз, во время пахоты, я поймал себя на том, что начал думать по-английски.

Вечерами, после ужина, хозяева любили посидеть за столом и поговорить со мной о России.

Их изумляло всё, что я рассказывал о Волховстрое, о плане электрификации, но больше всего — даже то небольшое, что я слышал и знал о первой пятилетке...

— Это просто непостижимо!. В такой отсталой стране за пять лет достичь так много!.. Неужели «блшевики» сумеют сделать это?... — говорил мистер Черри.

После уборки урожая, скопив за лето несколько десятков долларов, я решил переехать в самый большой промышленный город Канады — Монреаль: я был уверен, что это приблизит меня к цели...

Но денег на билет до Монреаля у меня нехватало, и тётушке пришлось просить местного скотопромышленника устроить меня на товарный поезд проводником скота. За это удовольствие я ещё вынужден был заплатить ему 25 долларов.

В ноябре 1929 года с поездом для скота я приехал в Монреаль.

На вокзале меня оглушили крики мальчишек-газетчиков:

— Экстра! Экстра! Крах на бирже в Нью-Йорке!

Это начался всеобщий капиталистический кризис. То, о чём я знал только понаслышке, мне предстояло испытать на собственной шкуре...

Одиноким, не знающим ни живой души в Монреале, не имеющим никакой специальности, бродил я по большому чужому городу в напрасных поисках работы. Каждый день под давлением кризиса закрывались десятки заводов и фабрик, и тысячи рабочих оставались без работы. 28 долларов, которые мне удалось скопить и привезти с собой в Монреаль, таяли с ужасающей быстротой.

Однажды я случайно познакомился с одним маляром, который предложил мне поработать в его артели. Мы занимались оклеиванием белой бумагой потолка шелкораскрасочной студии. Для всех членов артели, безработных самых различных профессий, эта работа была такой же случайной, как и для меня, и очень быстро закончилась. Но мне посчастливилось устроиться в самой этой студии чернорабочим. Однако и тут через месяц заказов не стало — и хозяин сократил большую часть персонала, в том числе и меня.

Снова целыми днями, голодный, бродил я по Монреалю в поисках хоть какой-нибудь работы. Существовал я тем, что находил случайные ночные заработки: мыл посуду в ресторанах, протирал мокрой тряпкой расписанные масляной краской стены и потолки в кафе; в пекарне — подменял заболевшего подмастерья...

Когда я уже отчаялся найти сколько-нибудь регулярный заработок, меня снова выручила знакомая артель маляров. С ними я проработал около месяца на ремонте частных квартир. Сначала делал чёрную подготовительную работу и убирал квартиры после ремонта. Постепенно мне стали доверять и более сложные дела. Но не успел я освоиться со своим новым положением, как все мы вновь остались без работы: появилось слишком много артелей, подобных нашей, и заказы перепали нам всё реже и реже...

С каждым днём «американский образ жизни» всё полней раскрывался передо мною в своей непритяжной наготе.

3. ГОРЯЧАЯ ВОДА.

Проедая свои последние 25 центов в одном из дешёвых кафетериев, которыми кишит Сент-Лоуренс-стрит в Монреале, я случайно разговорился с механиком одного гаража. Саймон — так звали механика — оказался просто находкой. Узнав, что я в безвыходном положении, он без всякой видимой выгоды для себя вызвался помочь «неоперившемуся юнцу» и действительно устроил меня мойщиком автомобилей в тот же гараж, где работал сам.

Гараж принадлежал компании «Стэндрд Брэндс Лимитед», торговавшей свежими дрожжами и кофе в зёрнах.

В большой зал машины въезжали прямо с улицы. Возле самых въездных ворот находился стенд для мойки автомобилей; в правом углу, за брезентовым пологом размещался малярный цех, а в левом — ремонтная мастерская, точнее — один-единственный верстак. Остальная часть зала служила стоянкой сорока двух автомобилей.

Кроме семиместного «бюнка» директора фирмы, который сам управлял машиной, и трёхтонного «интернационала», предназначенного для тяжёлых грузов, здесь располагалось сорок лакированных фургонов на фордовских пикапах. В них-то шофёры — они же агенты по распространению — развозили мелкорасфасованный товар.

В гараже не было ни стула, ни скамейки — сидеть на работе не полагалось. Даже бюро-конторка формана¹ — вся наша канцелярия, притулившаяся под телефоном у верстака, — была устроена так, что работающий за этой конторкой мог только стоять...

Весь штат гаража состоял из пяти человек. Шестым был мистер Гарднер — форман, являвшийся одновременно и маляром. Больше всего доставалось сэрвисмену (рабочему по техническому обслуживанию) и мне. Наш сэрвисмен сочетал в одном лице должности слесаря, смазчика, бензо- и маслозаправщика, электрика, баллонщика, аккумуляторщика и регулировщика. А мне — хоть и с избытком хватало одной мойки — приходилось поневоле работать ещё и за уборщицу.

¹ Мастер, здесь — зав. гаражом.

Всегда один из сорока двух автомобилей — в порядке очерёдности — находился в ремонте; один — в окраске. Остальные сорок постоянно были на ходу, и моя обязанность заключалась в том, чтобы ежедневно, к восьми утра, независимо от погоды, все сорок сверкали чистотой.

Мойщик автомобилей в Америке — обязательно шофёр. Я должен был взять машину со стоянки, поставить на стэнд, вымыть губкой и щётками, обтереть замшей, долить в радиатор воду или антифриз и вернуть машину на место. На эту операцию нормально полагался час. Но автомобилей было сорок, а сутки состоят, как известно, всего лишь из двадцати четырёх часов. И так как не меньше восьми часов машины находились вне гаража, мне приходилось укладываться в остающиеся шестнадцать...

Но кроме того, «между прочим» я должен был убирать гараж и туалетную. Последняя состояла из раздевалки со стандартными железными шкафами, душевой и уборной. В раздевалке, на единственной во всём гараже скамье, можно было в обеденный перерыв перекусить сидя.

Никого не интересовало, когда я успею всё сделать.. Форман мне просто сказал, что до моего ухода из гаража, к восьми утра, везде должна быть идеальная чистота. Если м-р Гарднер обнаруживал на полу самое крошечное масляное пятно — разражался скандал, грозивший мне потерей работы. Поэтому все пятнышки я тщательно вылизывал щётками и затирал тряпками, смоченными бензином.

Изнемогая по ночам от непосильной нагрузки, невольно с грустной иронией вспоминал я примелькавшийся мне когда-то в наших газетах заголовок рабковорских заметок, казавшийся прозаическим и скучным: «Охрана труда, где ты?!». Теперь здесь, за океаном, эти четыре слова наполнились для меня таким глубоким и важным смыслом!

В первый день, придя на работу, я не мог скрыть, что не умею управлять автомобилем. Мой покровитель м-р Саймон начал с того, что научил меня водить машину. Уже через несколько дней, выехав со мною в город, он посадил меня за руль. Всё шло гладко. Я свободно делал повороты, переключал скорости, сигналил и тормозил. Но вот мы приблизились к перекрёстку с трамвайными путями. Я медленно выехал из-за угла и уже повёл машину вперёд, когда вдруг увидел быстро приближающийся трамвай. Следовало притормозить. Моя нога с силой нажала на педаль, но не тормоза, а акселератора. Приёмистый мотор мгновенно развил бешеные обороты, и автомобиль ринулся наперерез трамваю. В тот же миг Саймон до отказа затянул ручной тормоз. Машина резко остановилась, дрожа каждым своим винтиком, а перед её радиатором, со звоном, раскачиваясь на полном ходу, промчался трамвай... Несколько секунд длилось молчание. Только теперь я почувствовал холодную испарину. Саймон пристально смотрел на меня, и в его глазах я готов был прочесть укор, проклятие, приговор к потере работы... Но, очевидно, на моей физиономии отразилось всё, что я переживал в эту минуту, и глаза Саймона подобрели. Он сказал только:

— Ну и тормоза — мёртвые!.. Вот что значит хорошая регулировка!..

Другой на его месте мог обругать меня последними словами и тотчас выгнать с работы. Но Саймон был добрым малым и особенно добрым с теми, на ком он собирался заработать лишний доллар. Он не только не выгнал меня, но даже предложил мне обучаться искусству механика в школе, которую он собирался открыть.

Через несколько дней он действительно арендовал старый заброшенный сарай с чердаком, принял у кого-то в ремонт доисторический фэтон «рио», набрал десяток рабочих парней, хотевших стать механиками, и занятия начались.

Курс обучения, рассчитанный на три месяца, обходился каждому из учеников по сто долларов. С меня он взял 80, «по знакомству», как он объяснил.

Мне сразу стало очевидно, что механиком эта «школа» не сделает, что всё это просто-напросто коммерческая затея предприимчивого Саймона, но бросить «учение», работая у него в гараже, я уже не мог.

В дни занятий, по просьбе Саймона, Чарлз Гарднер разрешал мне приходить на работу позднее, но всё равно — к восьми утра, как и прежде, машины должны были быть готовыми к выезду.

После шести или восьми уроков по теории, сводившихся к пережёвыванию простейших сведений о процессе внутреннего сгорания, мы перешли с чердака в сарай и приступили к разборке и ремонту «рио». Саймон должен был заработать и на ремонте, а следовательно, произвести его в срок. Поэтому он спешил, и каждый из нас успел своими руками проделать лишь несколько разрозненных операций. Мне досталась притирка клапанов. Я её ревностно выполнил и основательно усвоил, но обо всём остальном не получил даже самого смутного представления.

Потом, когда ремонт был закончен, мы собрали автомобиль. Обкатку машины Саймон использовал для обучения каждого из нас практической езде. Все мы уже умели управлять автомобилем. Но несколько часов за рулём всё же помогли нам стшлифовать начальные навыки. Затем Саймон сдал отремонтированный «рио» его владельцу, и «школа» закрылась.

Она всё же облегчила мне подготовку к шофёрским экзаменам — и то хорошо!.. Испытание за рулём свелось к объезду вокруг квартала. Об устройстве автомобиля, его неисправностях и их устранении экзаменуемый спрашивал совсем мало... Я понял, почему наши шофёры нередко звонили в гараж и вызывали механика для устранения «неполадок», когда их машины не двигались из-за... отсутствия бензина!

Когда я пришёл получать шофёрскую лицензию на право вождения автомобиля, оказалось, что основное испытание ещё впереди.

Клерк придвинул ко мне библию, положил мою левую руку на неё, правую велел воздеть к небесам и заставил меня повторять слова присяги: «Клянусь всемогущим господом, что буду говорить правду, только правду и ничего, кроме правды!». Я верил ни в бога, ни в чёрта, и хотел было заявить об этом клерку, но решил, что ничего этим не добьюсь, а лишь усложню всю процедуру. Потом клерк спросил, сколько мне лет. Здесь-то и началось испытание. Ответить правду — значило не получить лицензию. Для несовершеннолетнего необходима порука взрослого. Но кто в чужом городе станёт за меня ручаться, с риском сесть в тюрьму после первой моей аварии?.. Ничего не оставалось, как прибавить себе два-три года. Однако мне было известно, что даже такой невинный обман может рассматриваться как клятвopеcтупление. А наказание за клятвopеcтупление — не менее пяти лет каторги и удар плетью раз в год. Плеть для этой цели — о двенадцати концах и на каждом конце стальной крючок. Один удар с протяжкой по голой спине — и спина превращается в рваное кровавое мясо... Было над чем задуматься!..

Старик-клерк, видя моё замешательство, улыбнулся и сказал:

— Вам, очевидно, немного нехватает до двадцати одного? Это ничего!.

Я покраснел и утвердительно кивнул головой. Самое неприятное осталось позади.

Затем другой клерк с моих слов заполнил анкету. Это была огромная и универсальная анкета. Она заменяла собою и медицинский осмотр. Я должен был отвечать на такие вопросы, о смысле которых и представления не имел. Когда я мялся, не зная есть ли у меня гипертония или шизофрения, клерк приходил мне на помощь, и, таким образом, нашими общими усилиями все диагнозы были проставлены очень быстро, так сказать, не отходя от кассы. А это действительно была, кроме всего прочего, и касса — этот же клерк потребовал с меня три доллара годового налога за право работать шофёром.

Теперь, с лицензией в кармане, я чувствовал себя настоящим шофёром, то есть мог на законном основании продолжать заниматься мойкой машин компании «Стэн-дарт Брэндс Лимитед»...

Наступил март. Холода не прекращались. Потoki морозного воздуха то и дело обдавали меня с ног до головы, потому что стенд для мойки находился в нескольких шагах от постоянно открывавшихся ворот гаража. Руки у меня были всё время в воде. Я мыл машины губкой, и единственным моим спасением была горячая вода. Она подавалась из котельной и позволяла регулировать температуру моечной струи.

Однажды горячей воды не оказалось, Чарли Гарднер и Саймон уже ушли домой, и мне некому было пожаловаться. Всю ночь ледяная вода обжигала мне руки. К утру они задеревенели. Я еле выстоял. Когда пришёл Чарли, я рассказал ему о своих муках. Он пообещал к вечеру всё уладить, и, успокоенный, я ушёл спать.

Однако ночью повторилась та же история. На этот раз к утреннему приходу Гарднера я не успел вымыть все автомобили: меня бил озноб, и, наконец, я просто вынужден был время от времени прекращать работу и согреть руки, иначе они переставали слушаться меня...

— Что случилось, Чарли? — сказал я, поздоровавшись с форманом. — Опять одна холодная! Я просто околеваю. Ты же обещал горячую. Руки совсем деревянные, не гнутся. Не могу такой водой мыть!..

— Ах, не можешь?! Ну, зато я могу! — злорадно вскричал Чарли, будто только этого и ждал. Он быстро подошёл к телефону, что-то проговорил, затем одел фартук, натянул высокие резиновые сапоги, подбежал ко мне и стал вырывать у меня шланг и губку.

— Давай сюда! Я буду мыть сам!..

Отношения у нас были самые миролюбивые, поэтому, принимая его слова за шутку, я продолжал работать.

— Ты что, не слышишь?! — заорал он. — Давай сюда шланг и губку! Ты здесь больше не работаешь! Можешь сейчас же получить расчёт в конторе, там всё готово...

— Что вы, мистер Гарднер! Это я только так... Нужно — буду мыть и ледяной!.. — взмолился я, чувствуя, что холодею от страха перед безработицей. Живо вспомнились мне недавние голодные дни, когда я зарабатывал бесплатный обед мытьём посуды на кухне ресторана... Но Чарлз Гарднер ничего не хотел слушать. Он вырвал у меня шланг и демонстративно принялся мыть очередной автомобиль, стоявший на стенде. Я извинялся, просил простить меня — он был неумолим.

— Ты здесь больше не работаешь! — повторял он. — Понял?! Разговор окончен!.. Иди получай расчёт!..

Позднее узнал я, что Гарднер продал мою должность за сто долларов одному парню. И Чарли специально выключал горячую воду, чтобы вызвать меня на скандал и получить предлог для увольнения.

4. РЫЖИЙ КАРПАНТЬЕ.

Три месяца я был без работы. Голодая, искал её по всему Монреалю, изо дня в день обходил все гаражи, и, наконец, случайно мне повезло.

В «Парк-Авеню Гараж» тяжело заболел мойщик-загонщик автомобилей. Ждать его возвращения хозяин не собирался и теперь решил нанять нового мойщика на освободившееся место. Так в капиталистическом мире на большом несчастье одних строятся маленькие счастья других.

Проработав в гараже «Стэндард Брэндс Лимитед» полгода, я мог теперь смело врать, что у меня трёхлетний стаж — иначе не взяли бы. Эта ложь и помогла мне получить место в «Парк-Авеню Гараж». К этому времени я действительно совершенно свободно управлял автомобилем. Включая скорость и берясь за баранку, я срастался с машиной в одно целое, чувствовал её, как живое существо, привыкал ко всем её капризам. Но оказалось, что моё представление о должности загонщика автомобилей в большом гараже было самым смутным.

«Загонщик» — не совсем точный перевод американского названия этой должности — «кар-шутер». «Шутер» — производное существительное от глагола «шут» — стрелять, метать, стремительно проноситься; «кар» — экипаж, вагон, автомобиль; поэтому слово «кар-шутер» буквально значит — «стреляющий автомобилями» или «мечущий автомобили». Название это, в равной мере дикое и яркое, довольно образно и точно характеризует самую должность... Клиенты бросают машины уворот гаража. Обязанности загонщика заключаются в том, чтобы быстро, не позволяя автомобилям скапливаться на улице, успеть загнать их в гараж, поставить на лифт, поднять на второй или тре-

тый этаж и расставить по местам на расстоянии.., дюйма друг от друга — площадь в гараже должна приносить доход!

Всё это было бы несложно, если бы машины возвращались поочерёдно, по какому-нибудь графику. Но в этом частном гараже общественного пользования стояло 250 легковых автомобилей, владельцы которых почти одновременно съезжались в гараж часам к девяти вечера. А кроме меня, в ночной смене работал только ещё один человек — механик Карпантье, канадский француз, пожилой человек с худым остроносым лицом в веснушках и жидкими темнорыжими волосами.

Часам к десяти хвост машин растягивался вдоль тротуара Парк-авеню до самого Маунт-Роялл-сприт и там заворачивал за угол. В эти минуты нужно было проявлять чудеса расторопности.. Поставив машину на место и отправив лифт вниз, я сломя голову летел с третьего этажа по лестнице, чтобы сэкономить хоть десяток секунд: сбегал я быстрее, чем спускался лифт. По излюбленному выражению м-ра Саймона, нужно было уметь «трусить ногами».

В первые дни я не управлялся, и когда в таких случаях сам хозяин, долговязый янки из Штатов, садился за руль, помогая рассасывать образовавшуюся пробку, я испытывал почти физическое недомогание от страха остаться без работы. Но он только посмеивался над моей медлительностью и моим «трёхлетним» стажем, похлопывал меня по плечу и говорил:

— Ставлю десять против одного, что ты скоро привыкнешь — у тебя молодые ноги!

— Ему нет расчёта гнать тебя вон, — уверял меня старик Карпантье. — Любой кар-шутер должен хоть неделю привыкать к этому дьявольскому темпу... А кроме того, это же настоящий человек, вот увидишь!

Наш хозяин, обладавший звучной фамилией Гамильтон и носивший имя Александр, очевидно, в честь известного в американской истории государственного деятеля Александра Гамильтона, казался на первых порах действительно добродушным парнем. Вот только работать нам приходилось у него по 16 часов в день, а выходными пользоваться по очереди раз в две недели и лишь до 12 часов ночи.. И так как рабочий день наш длился с 5 вечера до 9 утра, то за месяц ни у меня, ни у Карпантье не набиралось даже по одному полному шестнадцатичасовому выходному дню... А в остальном обижаться на хозяина и вправду не за что было.. М-р Гамильтон никогда не придирился к ерунде, как это делал Чарли Гарднер в гараже «Стэндрд Брэндс»; говоря фигурально, он не вгрызался нам в шею, как ржавая пила, а разговаривал и держался с нами, как равный с равным, не подчёркивая своего положения; он всегда говорил так тихо и таким тоном, что можно было подумать, будто он не приказывает, а только просит вас сделать ему одолжение.. Он был даже настолько добр, что иногда разрешал нам для поездок за город пользоваться его легкой машиной, старым трёхместным закрытым купе «виктория». Правда, механик дневной смены, ветеран первой мировой войны Доналд Брюсс, объяснял это не добротой, а жадностью — ведь бензин-то мы для этих поездок должны были покупать по условию в нашем гараже, у того же м-ра Гамильтона. Но рыжий Карпантье считал это просто злоязычием и чуть ли не кощунством. Он постоянно утверждал, что наш босс «настоящий человек» с благороднейшей душой. Старик раздражался и готов был чуть ли не глаза выцарапать любому, кто отзывался о Гамильтоне непочтительно.

Не прошло и десяти дней, как я и в самом деле наловчился «метать автомобили» так, что с одного захода ставил машину на лифт, а наверху с лифта одним махом сдавал её задним ходом прямо на место, без лишнего маневрирования взад-вперёд.

Наш рабочий день, или, правильнее, рабочая ночь начиналась с того, что мы производили мелкий ремонт, не выполненный дневной сменой. Я латал камеры, мыл автомобили, расставлял по местам постепенно прибывающие машины, по требованию отвозил домой наших клиентов, производил уборку гаража, отпускал бензин и масло из колонок на улице и запасные части — из магазина, топил котёл центрального отопле-

ния...

К девяти вечера обычно съезжалось столько клиентов, что нам с Карпантье приходилось всё бросать и заниматься только расстановкой автомобилей часов до двенадцати ночи. После этого всё входило в нормальную колею, и, если старику не нужна была моя помощь, я мыл и полировал машины, а он ковырялся в них, что-нибудь ремонтируя.

Хотя здесь и требовалась более тщательная работа — машины легковые! — зато число заказов на мойку никогда не превышало двенадцати. Ну, а что такое каких-то двенадцать машин по сравнению с четырьмя десятками, которые мне приходилось ежедневно мыть в гараже «Стэндард Брэндс»?!

Утром мы подавали автомобили на выезд, по заказу доставляли их на дом клиентам, которые нас подвозили обратно в гараж, если жили дальше, чем за квартал от него, а часов в 9, когда выход машин из гаража заканчивался, я садился за руль старой «виктории», подводил её к квартире м-ра Гамильтона и мог считать себя совершенно свободным... до пяти часов вечера.

К десяти утра я успевал добраться до своей клетушки, которую снимал в одной рабочей семье. А для того, чтобы в пять снова быть на работе, я должен был в четыре надеть свой «коверолс», наскоро пообедать и отправиться в гараж. Таким образом, в течение шести часов я принадлежал самому себе. За это время мне надлежало успеть выспаться, нагуляться, наотдыхаться, побриться и сделать все прочие свои дела.

Живя в Советском Союзе, я с детства пристрастился к чтению. И здесь, вдали от родного дома, я умудрялся доставать советские книги и газеты. С трудом отрывался я от старого номера «Правды», чудесно переносившего меня на такую далёкую и такую милую родину, с трудом отрывался от «Тихого Дона», чтобы поспать хотя бы часа три-четыре. Днём не спалось, да и жалко было терять драгоценное время на сон — ведь только в эти часы, наедине с газетой и книгами, я мог безраздельно, беспрепятственно жить жизнью моей страны, мог мыслью перенестись на родину и вместе со всем Союзом и с героями наших книг вершить большие дела и испытывать большие чувства...

Но ночью, в гараже, особенно под утро, невыносимо хотелось спать. Валяясь с ног от усталости, я сам себе клялся, что уж сегодня днём ни за что не буду читать и обязательно выплусь. Однако когда я добирался, наконец, до постели, около меня оказывались книги — и всё начиналось сначала.

Я никак не мог привыкнуть к тому, что день для меня должен превратиться в ночь.

Иногда по дороге домой я заходил в кино. В Канаде сеансы начинаются с 10 утра, и билеты утром дешевле. Не выдержав искушения при виде красочной рекламы и поддавшись соблазну, я попадал не в свою каморку, а в кинозал, и тогда на сон мне оставалось часа два или вовсе ничего не оставалось. В таких случаях на рассвете следующего дня наступала расплата: сон так одолевал, что я уже ничего с собой не мог поделывать: глаза слипались, правая рука с губкой двигалась всё медленнее и медленнее, стоя и по инерции ещё работая, я сладко засыпал. Длинный конец резинового шланга в левой руке становился всё тяжелее, постепенно перевешивал до тех пор, пока струя не устремлялась вверх, ударяя мне в лицо. Это приводило меня в довольно бодрое состояние на следующие десять-пятнадцать минут, а затем цикл повторялся во всех деталях.

Самыми счастливыми были для меня редкие ночи, когда работы оказывалось не слишком много. Мы с Карпантье успевали закончить её часов до трёх утра и потом по очереди спали на заднем сидении какого-нибудь семиместного лимузина, вытянув ноги на откидной стул. Никогда, ни раньше, ни позже, не спал я блаженнее ни на каких пуховиках. Этот сон в машине был ни с чем не сравнимым, самым настоящим райским блаженством.

Иной раз, заметив, как я засыпаю, стоя во время мойки машины, и сжалившись надо мною, старик Карпантье, трогательно ворча о «непутёвой, не жалеющей себя

молодости», неожиданно отправлял меня спать, а сам принимался домыывать за меня автомобиль.

— Она иди спи! — говорил он, тыча пальцем мне в грудь. И затем, показывая на себя, продолжал: — У она нет работа, она выспан, она немношко помой машин...

Карпантье никак не давались английские местоимения. «Я», «вы», «мы», «мне» — он заменял одним единственным универсальным — «она». Однако я очень быстро научился понимать его и, должен признаться, что всякий раз исковерканная добрым стариком фраза с предложением поспать услаждала мой слух больше, чем самая безупречная английская речь. Я старался не оставаться в долгу у старого механика и несколько раз дежурил за него по воскресеньям в свой выходной.

У нас в гараже стоял новенький двухместный открытый «оукленд» спортивного типа. Это была яркая и даже кокетливая машина с кремовыми обводами на темно-коричневом кузове и крыльях. Говорили, что она принадлежит одному фабриканту, канадскому французу, но я его никогда не видел. За рулём этого «оукленда» всегда сидела приветливо улыбающаяся молодая хорошенькая женщина — мадмуазель Бланш, дочь хозяйина машины, как говорил француз мсье Арси, наш клерк и бухгалтер.

Однажды, когда я был занят на третьем этаже, Арси позвал меня вниз. В гараж вернулся «оукленд». Его маленькая хозяйка никак не могла открыть крышку запасного сидения в задней части кузова, а там у неё лежали покупки. Вызванный ею на помощь Арси пыхтел, тужился и обливался потом. Его чёрный котелок съехал на затылок. Он часто снимал очки, протирал их, снова важно надевал на нос, стараясь скрыть своё смущение, но сидение не открывалось.

Не знаю, как это случилось, возможно, они пытались повернуть ручку в обратную сторону, но только когда я взялся за неё, сидение открылось при первом же моём движении. Хозяйка автомобиля и сопровождавшая её подруга разразились воплями восторга, провозгласили меня «настоящим мужчиной», окончательно смутив бедного Арси.

— Вот вам за это квóртер на сигареты! — мило улыбаясь, проговорила хозяйка «оукленда» и протянула мне серебряную двадцатипятисентовую монету. Я готов был провалиться сквозь землю. Меня словно облили ушатом холодной воды. До этого никто никогда не решался предлагать мне чаевых.

— Спрячьте ваши деньги, — выдавил я, наконец, из себя, с трудом сдерживаясь, чтобы не наговорить лишнего.

Мадмуазель Бланш удивлённо посмотрела на меня, потом на мсье Арси и спокойно спросила:

— Разве вы не курите?.. Ну, тогда купите себе на квортер что-нибудь другое..

— Спасибо, мне моего заработка хватает! — зло сказал я и со всем пылом, на какой был способен, начал произносить целую тираду о человеческом достоинстве, о гордости рабочего человека, который вовсе не является лакеем всяких богатых бездельников, которые ни черта не умеют делать своими руками, и о многом другом... — Вы понимаете это? — кричал я.

Она, конечно, ничего не собиралась понимать, кроме того, что её самолюбие уязвлял какой-то мойщик автомобилей, читающий ей нотацию в гараже, в присутствии начавших собираться вокруг нас и похихикивающих клиентов — мелкокалиберных коммерсантов. Мадмуазель Бланш со злостью сказала что-то о «грубиянах» и «молокососах», круто повернулась и ушла с подругой, сопровождаемая хохотом наших бизнесменов третьей руки, ликовавших, что дочь бизнесмена второй руки «заработала оплеуху»...

Через несколько минут меня вызвал хозяйин. М-р Гамильтон, в своей неизменной твёрдой соломенной шляпе, сидел на высокой стойке, но его длинные ноги упирались в пол.

— Ты что же, разорять меня вздумал?.. — медленно процедил он. — А?! Смотри!.. Видишь этот дайм? — он достал из жилетного кармана маленькую десятицентовую монету и показал её на вытянутой ладони. — Этот дайм дали на чай мне, когда

я сегодня заправил бензином одну проезжую машину. И я принял его. Я — босс!. А ты кто такой?!

— Я человек! Понимаете? Свободный человек... и не хочу, чтоб меня унижали!..

Мистер Гамильтон неожиданно расхохотался.

— Ты «свободный человек»? Охо-хо-хо, это просто здорово! — продолжал он смеяться. — Сразу видно, что ты русский: голова у вас всех там забита чёрт знает чем. А что же ты, «свободный человек», работаешь у меня в гараже? Не для своего ли удовольствия? Свободный человек — это Дюпон, это Рокфеллер!.. Эти люди свободны — могут делать, что им захочется. Дать одному из них «на чай» действительно было бы неуместно. А ты не можешь делать, что тебе заблагорассудится. Даже я не могу! И мы должны радоваться «чаевым». Понял?

— Но я совсем не хочу..

— Раз тебе дают на чай — значит, у них больше денег, чем у тебя! И их нельзя оскорблять! Что за дикость!.. Дают—бери!..

— Меня совсем не интересует, у кого больше денег..

— Хватит!.. — зловеще зашипел «настоящий человек», потеряв терпение. — Но слушай: если старик Бланш, рассердившись за то, что ты сделал его дочь дурочкой в присутствии всех этих регочущих жеребцов, заберёт из нашего гаража машину, или если ты когда-нибудь повторить этот номер, так ты не уйдёшь, а выскочишь из гаража «Парк-Авеню»! Ясно? Я не собираюсь терять хороших клиентов из-за причуд мойщика автомобилей, будь он русский или даже стопроцентный янки и мой родной брат! Понял? Иди!

...Прошла неделя. Старик Бланш не забирал свой «оуклэнд» из нашего гаража — видимо, его дочь ничего ему не рассказала. А я старался не попадаться ей на глаза.

Однажды в 12 часов ночи, после своего очередного полувыходного воскресенья, я подходил к гаражу, хотя и довольный днём, проведённым на берегу канала Ла-Шин, но изнемогающий от усталости. Доставить себе удовольствие вволю поплавать и погулять с друзьями, рабочими парнями моих лет, я мог только дорогой ценой — мне пришлось не спать для этого более тридцати часов подряд.. Я собирался поделиться со старым Карпантье своими впечатлениями и в тайне вождельно мечтал услышать от него волшебную фразу «Она иди спи»..

Но к моему удивлению, в этот поздний час по всей Парк-авеню к гаражу тянулся хвост автомобилей, и меня встретил у ворот сам хозяин, никогда до этого не задерживавшийся в гараже так поздно.

— Куда ты пропал? У нас несчастье! Проклятый старый дурак, — возбуждённо рассказывал босс, — полез ремонтировать лифт, и ему оторвало руку. Скорая помощь только что его увезла. Здесь затор! Скорей — машины!

Не переодеваясь, я начал гонять автомобили. Усталость как рукой сняло. Позднее, у клерка, я узнал подробности всего происшедшего с Карпантье. В разгар съезда наших клиентов отказал электромотор лифта. Чтобы побыстрее рассосать пробку, Карпантье попытался отремонтировать его. Внезапно электромотор заработал. Рука механика находилась в это время под тросом. Он хотел выдернуть руку, но было уже поздно — трос отсёк её, раздробив кость у плеча. Это произошло в один миг. Когда Карпантье закричал, всё уже было кончено.

— Конечно, — рассуждал клерк, — в обязанности Карпантье не входило ремонтировать лифт. Босс поэтому ничего не обязан платить ему за увечье.. Но если бы Карпантье вздумал сидеть сложа руки в ожидании электромонтёра, хозяин устроил бы ему такой скандал! Старик не вышел бы, а, как говорит босс, выскочил бы из гаража..

— Что же будет теперь с ним? С семьёй? Одиннадцать душ детей! — невольно воскликнул я.

— Чему ты удивляешься? — сказал Арси. — У всех канадских французов такие семьи. Ка-то-ли-ки, понимаешь! Религия запрещает нам принимать меры.. Мы оторвались от Франции двести лет тому назад.. И.. поотстали от современности. Каждый

из нас до сих пор, понимаешь ты это, «добровольно» платит десятину на церкви! Десять центов с каждого доллара! Таких идиотов свет не видывал, будто нам денег девать некуда! — с горечью резюмировал Арси. — Жаль, конечно, Карпантье. Правая рука! Не работать теперь ему!.. Они и так никогда досыта не ели. Кроме него, только одна дочь работает. Гроши. Видел, какой он худой был — мумия! А теперь — настоящий голод!..

На следующий день я завёл с мистером Гамильтоном разговор о судьбе старого механика. Как я ни старался, мне не удалось вытянуть из хозяина и десятка связанных слов. Единственное, что я понял из этого разговора — босс жалеет о случившемся... Карпантье был хороший механик и преданный малый... это он всегда видел, но он не даст старику ни сента.

Через несколько дней я навестил Карпантье в больницу, в бесплатном отделении для нищих, где лечат не врачи, а студенты-практиканты.

Он встретил меня едва уловимой улыбкой своих светлокарих подвижных глаз. Только они, казалось, и жили на его мертвенно-жёлтом, ещё более похудевшем лице. Кожа, туго обтянувшая скулы, действительно напоминала высохшую кожу мумии. Он до подбородка был накрыт простыней.

— Она думаль, она прийдёшь воскресенье, надо иди спи, немношко,— тихо говорил он, горестно усмехнувшись. — Так получился, она не мог спи!..

Он мне рассказал, что плечо его уже почти не болит; рассказал с подробностями, как всё это произошло, а затем я перевёл разговор на забастовку рабочих завода электроприборов «Нортсёрн электрик компани», чтобы как-нибудь отвлечь старика от его переживаний. Перед уходом, без всяких объяснений, я сунул ему под подушку сложенные вчетверо несколько банкнот — 50 долларов — все мои сбережения.

— Возьми обратно! — сказал он. — Она знаю, она сберегай деньги ехать родину. Не возьму эти деньги!..

Понимая, что старика не уговорить, я пустился на хитрость: уверил его, что это хозяин передаёт ему небольшую сумму. Десять раз переспросив меня, так ли это, и поверив, наконец, он с благодарностью принял деньги.

Прошло месяца два. Как-то, прийдя на работу, я возле гаража встретил Карпантье. Он выздоровел, но вместо правой руки у него болтался пустой рукав. Карпантье скверно выглядел, превратился в совершенно дряхлого старика. Здороваясь со мною своей левой рукой, он укоризненно покачал головой.

— Зачем она обмануль? Это очень нехорошо!..

Как сумел, я объяснил ему, сказав, что и он на моём месте поступил бы точно так же.

У входа в гараж меня встретил Арси и сказал, что м-р Гамильтон ждёт меня в конторе. Не успел я и дверь открыть, как босс, обычно такой спокойный и медлительный, набросился на меня с руганью и никогда, даже в случае с мадмуазель Бланш, не виданной мною прежде яростью.

— Какого дьявола ты суёшь свой проклятый нос в мои дела? Нет, я вижу, ты просто задался целью меня разорить! Что это ещё за идиотский номер с передачей денег от моего имени? Кто тебя уполномачивал? — Он так взбесился, что его рот перекосило и на губах появилась пена.

Я пытался объяснить ему, что иначе старик отказывался от денег, а я не мог уйти, не заставив его принять их, зная, что и он и его семья голодают... М-р Гамильтон не дал мне договорить:

— Меня не интересуют, — сказал босс, чеканя каждое слово, — ни ваши отношения с Рыжим, ни твои рассуждения! Это меня не касается! Понял! — заорал он во всё горло. — У меня здесь бизнес, а не благотворительное учреждение!..

— Но какое вам, в конце концов, дело до моих денег? — заорал и я, забыв о всякой осторожности. — Я же отдал не ваши, а свои деньги!..

— А, так ты ещё притворяешься непонимающим! Полагаешь, я тебя поблагодарить должен за твой поступок? — завопил Гамильтон, нелепо размахивая руками. — Ведь стоит мне дать потерпевшему хоть два доллара, как в руках опытного адвоката

это может послужить доказательством признания мною моей вины, прецедентом и поводом для судебного решения, обязывающего меня регулярно выплачивать инвалиду какую-то сумму на его содержание, до конца его дней! Не я выдумал этот проклятый закон! — Он замолчал, отёр губы платком, немного успокоился, и с раздражением, но уже без крика, добавил: — Даже если бы я хотел помочь ему, я лишён возможности сделать это.

— А почему бы вам и не платить какую-нибудь пенсию Карпантье?.. — снова не сдержавшись, сказал я Гамильтону. — Он же для вас старался! По-моему, это было бы только справедливо. Вы даже обязаны..

— Ах, ты учишь меня! — брызжа слюной, заревел совершенно рассвирепевший босс. — Учитель! Ха! Требовать? Я тебе покажу справедливость! Во-он отсюда! Арси! Расчёт немедленно!

..И снова потянулись бесконечные голодные дни безработицы.

5. «АГЕНТ МОСКВЫ».

Наше знакомство произошло при нескольких необычных обстоятельствах. Мы встретились в монреальской тюрьме.

Я был осуждён на восемь дней не столько за совершённое мною «преступление», сколько за то, что осмелился протестовать против полицейских порядков в Канаде и ответить «не виновен» на вопрос судьи: «Признаёте ли вы себя виновным?».

Мое «преступление» заключалось в том, что, работая шофёром такси, я остановил машину, в надежде подцепить пассажира, у входа в кинотеатр «Капитолий» на Сент-Кэтрин-стрит.

Шофёры такси в Монреале целыми днями сидели за рулём без дела. Богатые разъезжали в собственных автомобилях, бедняки пользовались трамваями, а ещё чаще ходили пешком, так как цена даже трамвайного билета часто оказывалась им не по карману: она равнялась почти половине стоимости дешёвого обеда в какой-нибудь обжорке на Сент-Лоуренс-стрит.. Можно было простоять на стоянке хоть сутки в ожидании пассажира, да так и не дожидаться его. А хозяева нам не платили зарплаты — ни дайма: мы работали на мизерных процентах от выручки. Ничего не привезёшь — ничего не получишь! Поэтому, несмотря на запрет полиции, мы «крейсеровали» порожняком по улицам и с риском быть оштрафованными останавливались у подъездов шикарных кино перед окончанием сеансов — «авось повезёт!». Это была единственная возможность поймать случайного пассажира..

Однажды — не успев я остановиться у «Капитолия» — дверку снаружи открыл человек в мягкой шляпе и сел рядом со мною. Я обрадовался, но едва только раскрыл рот, чтобы спросить «куда?», как он достал из кармана и показал медную бляху с номером. Полицейский шпик!

— Плати штраф! — сказал он, плотнее захлопывая дверцу. — На месте это будет 3 доллара.

Денег у меня не было — не только трёх долларов, но и трёх сентов.. Я попытался объяснить ему своё отчаянное положение. Слова отскакивали от него, как футбольный мяч от штанги ворот при промахе.

— Поехали на станцию, — приказал он. — Там это тебе обойдётся дороже.

За те десять минут, что мы ехали до полицейского участка, или, как называют их в Америке, до полицейской станции, мне, естественно, не удалось стать богаче..

Через несколько дней я предстал перед судом и произнёс целую речь, негодую на порядки, при которых тебя арестовывают за попытку честно заработать свой кусок хлеба. Я обвинил полицию в несправедливости. Она драла с нас, шофёров, ежегодный налог за шофёрскую лицензию на право управления автомобилем и, в то же время, сама не давала нам возможности пользоваться на деле этим оплаченным нами правом.

— Восемь долларов или восемь дней тюрьмы! — объявил судья, не дав мне закончить мой первой публичной речи, произнесённой в общественном, да ещё столь «высококочтимом» месте..

Так вот, с Томасом Кеннади мы познакомились в большой камере монреальской тюрьмы. Подыхая со скуки, я просматривал самые свежие газеты из тех, что нам разрешили читать, газеты почти тридцатилетней давности. Мне попалось несколько номеров иллюстрированного приложения к лондонской «Дейли Миррор» с фотографиями сцен русско-японской войны 1905 года. Том Кеннади попросил у меня газету, и мы разговорились. Правда, уже и раньше этот старик возбуждал моё любопытство, но до сих пор моё внимание привлекал, главным образом, его костюм.

Все мы были одеты не совсем элегантно. Нас нарядили в арестантские брюки из грубой парусины с левой штаниной канареечного цвета и правой — синего; а у наших парусиновых курток, наоборот, левая половина была синего цвета, а правая — канареечного. Большинству из нас эти штаны оказались коротковатыми, а о куртках нельзя было даже сказать, что они с чужого плеча: только большое воображение могло представить себе человека, которому они пришлись бы впору. Но Тому, при его почти саженном росте, попались брюки и куртка, сшитые на какого-то ненормально толстого ребёнка. Широленные штанины едва прикрывали его колени, а просторные рукава доходили лишь до локтей. Однако этот наряд не смущал Тома Казалось, он и не замечал тех улыбок, которые невольно вызывал на наших лицах его вид.

За последние несколько недель у Тома, как он говорил, на многое открылись глаза, и, меряя широким шагом камеру, он, не стесняясь выбором выражений, яростно возмущался порядками в стране. И делал он это так, словно с кем-то спорил. Между тем кто же из нас, сидевших вместе с ним в этой тюремной камере за несовершенные преступления, стал бы ему возражать? Напротив, многое из того, что он говорил, казалось нам ещё слишком наивным.

Помню, как однажды Тома прервал пожилой рабочий, посаженный в тюрьму «за бродяжничество» — он давно лишился не только работы, но и угла: ночевал в скверах, в парадных, на вокзале...

— Вот ты, старик, — сказал он Тому, — возмущаешься, например, зверствами полисменов, словно только что с луны свалился. Так о них говоришь, как если бы они были людьми, когда всем хорошо известно, что они не люди, а пресмыкающиеся твари, нечто среднее между вонючкой, шакалом, вошью и гремучей змеей. А кто же будет ждать человеческого поведения от вши или вонючки? Чему ж тут возмущаться? Словами не поможешь. Здравомыслящие люди понимают, что вшами не возмущаются. Их уничтожают. А у полисменов ещё есть хозяева. Вот где собака зарыта! Ты об этом подумай, старик...

Но как ни наивны были мысли Тома, он стоял уже на правильном пути, и я не сомневаюсь, что на седьмом десятке тюрьма стала для него своеобразным университетом. Это был чудесный старик, всю свою жизнь проработавший батраком и ковбоем на фермах и рэнчо в прериях провинции Саскачеван, неподатлёку от так хорошо мне знакомого Йорктона. Всю свою жизнь он простодушно верил в существование справедливости и правосудия в Канаде, и всю свою жизнь он винил только самого себя за житейские «неудачи» и горькую нужду. Кроме полиции, он питал ненависть, пожалуй, лишь к одному человеку — к мистеру Кроссуэллу, своему последнему хозяину, у которого проработал двадцать лет и который выставил его теперь с фермы: Том уже не мог угнаться за молодыми батраками во время уборки урожая, и м-р Кроссуэлл посоветовал ему «поискать лёгкой работы в городе»...

Том подробно рассказал мне, как он попал в тюрьму.

Месяц тому назад он приехал в Монреаль зайцем на товарном поезде, вместе с несколькими молодыми безработными парнями из Саскачевана. Несмотря на молодость, это были ребята, исколесившие уже всю Канаду в поисках заработка. Не раз бывали они и в Монреале, знали здесь все ходы и выходы, помнили адреса всех ночлежек. В первый же вечер, после многочасовых бесполезных блужданий по городу, не найдя нигде никакой работы, они привели Тома в ночлежку «Армии Спасения» на углу Дорчестер и Дебульон-стрит. «По крайней мере, будет хоть крыша над головой, а может, и тарелку супа дадут...» — сказали они старику.

Здесь-то и услышал Том о демонстрации безработных, которая должна была

состояться в один из ближайших дней. Проработав всю жизнь батраком на фермах в маленьком Фоун-Хилле и его окрестностях, Том за все свои шестьдесят пять лет никогда, ни разу не видел демонстраций. Он слышал, конечно, что какие-то «красные» бунтуют народ в городах, но совершенно не представлял себе, что это значит. Безработные в ночлежке разговаривали о демонстрации вполголоса, а когда появлялся брат Перкинс из «Армии Спасения»,—совсем замолкали или переводили разговор на другие темы.

А брат Перкинс во время утренней проповеди советовал всем и каждому воздержаться от участия в «беспорядках» и пригрозил лишением ночлега и супа тому, кто будет хотя бы издали глазеть на демонстрантов. Но когда настал день, о котором столько говорили соседи Тома по ночлежке, он из любопытства решил всё же сходить посмотреть, как краснорожие полисмены поколотят «платных агентов Москвы» — так называл «красных» брат Перкинс... Рассказывая мне об этом, Том Кеннади ругал себя на все лады за то, что в тот памятный день поверил проповеднику из «Армии Спасения» больше, чем парням из Саскачевана, которые звали его с собой не просто «поглазеть», а и участвовать в демонстрации.

Том вышел на Доминион-сквер и сразу увидел на площади разгуливающих парочками «лумберджеков» — лесорубов. Он тотчас понял, что эти толстомордые субъекты — переодетые шпики, и, на всякий случай, решил отойти от них в сторонку. Возле собора Сент-Джеймса стоял отряд «маунтис» — «королевской конной полиции». На сытых конях сидели молодчики в чёрных бриджах с жёлтыми лампасами, в красных мундирах и со стальными шлемами на головах. Том всегда боялся их. Больше всего ему не понравились их стальные шлемы. Он решил было вернуться «домой» — в ночлежку, «от греха подальше». Но в это время в центре площади, где стоял памятник «Неизвестному солдату», уже начался митинг. Безработные толпами стекались к памятнику, и Том вдруг увидел неподалёку от себя двух знакомых по ночлежке парней — сгорбленного Мак-Лея и длинного Билля О'Сулливана. Они проталкивались вперёд, и Том признался мне, что в этот момент ему стало стыдно за собственную трусость. «Постою, посмотрю»,—сказал он самому себе. И он остался на площади.

Когда толпа угомонилась, Том услышал, о чём говорил оратор, стоявший на каком-то возвышении возле памятника. Он рассказывал о миллионах безработных в Канаде, о миллионах тружеников, у которых ничего нет, о хлебе, что гниёт в элеваторах, о магазинах, полных костюмов, и о людях в духмотьях... Оратор призывал к борьбе за страхование от безработицы, за немедленную помощь беднякам и их семьям, за хлеб и работу. Он призывал объединяться, вступать в комитеты безработных...

— Как услышал я всё это,—рассказывал мне Том,—так подумал: «вот, чёрт, дело говорит! Какой же он платный агент Москвы! Ставлю десять против одного — наврал нам брат Перкинс!».

Том не ушёл с площади и тогда, когда откуда-то со стороны послышался топот сапог и цепь полицейских начала окружать толпу безработных. Он слышал ругательства, которые выкрикивал полицейский офицер, слышал, как полисмены орали на мирно стоявших неподалёку рабочих парней, обзывали их «свиньями», «ленивыми скотами», «красными бездельниками»... Он видел, что рабочие еле сдерживаются, сжимаемая в карманах кулаки, но драку затевать не хотят. Потом он увидел, как один из «быков» — полисменов — взмахнул дубинкой и ударил кого-то из демонстрантов по голове. Увидел, как взмахнул рукой офицер и как, вслед за тем, все полисмены и переодетые лесорубами шпики начали избивать безработных резиновыми дубинками, кастетами, кулаками...

Началась свалка. В шагах десяти от Тома какой-то высокий рыжий парень выхватил у «лумберджека» дубинку и молотил шпика, держа его левой вытянутой рукой за ворот куртки. А рядом огромный гориллообразный полисмен бил маленького щуплого демонстранта со значком ветерана войны в петлице. Тот пытался вырваться,

но удары кастетом не давали ему опомниться, и скоро он упал с проломленной головой. Лужа крови образовалась вокруг него...

Том рассказывал об этом тихим голосом, руки его дрожали, а на обтянутых кожей скулах ходили желваки. Он проклинал себя сейчас, что не бросился тогда на помощь маленькому ветерану.

— Ноги отнялись... — говорил он мне с тоской в голосе. — А тут ещё эти... маунтис...

С ужасом увидел он, как от собора Святого Джеймса отделилась конная жандармерия и галопом понеслась на толпу. И на всю жизнь запомнил, как в эту минуту у памятника «Неизвестному солдату» поднялся над головами и поплыл куда-то в сторону красный флаг. Толпа пела какую-то песню, которую до той поры Том никогда не слышал...

Мимо него, вынырнув откуда-то из-за угла, пронеслась на площадь «Чёрная Мария» — полицейский автобус. Он увидел, как толпа начала редеть. Над площадью стояли крики избиваемых, стоны раненых, раздавался топот копыт «маунтис», которые скакали по тротуарам, давя всех, кто попадался им на пути. Том прижался к стене, но не догадался укрыться в соседнем парадном. Его оглушил удар чем-то тяжёлым по голове, потом он почувствовал удар копытом в спину и растянулся на асфальте...

— Очнулся я в госпитале, весь перебинтованный, — рассказывал Том. — Две недели меня лечили, выхаживали для тюрьмы!

Потом состоялся суд.

Том Кеннади был ещё болен, когда его, спаренного автоматическими никелированными наручниками с другим арестованным, доставили в суд и посадили в клетку с решёткой от пола до потолка.

— Точь-в-точь как в зверинце братьев Барнум, — невесело улыбнулся старик. — Я этот зверинец видел как-то на ярмарке.

Огромный мрачный зал суда давил на душу Тому, словно хотел внушить ему своими размерами, что он, нищий батрак из прерий, ничтожество перед лицом всемогущего закона.

Том ярко описал мне картину, с которой я и сам уже имел случай познакомиться.

Судья сидел в одиночестве на непомерно высокой трибуне, приподнятой чуть ли не на целый этаж над головами простых смертных. Очевидно, это символизировало неприступность и независимость суда.

— Я ещё подумал, — признался Том, — а вдруг сейчас всё пойдёт по-божески: полисмены будут наказаны и справедливость восторжествует!

Начался суд. Но прокурор обвинял в беспорядках не полицию, а избитых и арестованных безработных. Говорил что-то невнятное о происках Москвы и её агентов и требовал у суда сурово покарать зачинщиков, «доставленных сюда нашей доблестной полицией»...

Когда настала очередь Тома, клерк, сидевший на пол-этажа ниже судьи, монотонным голосом прогнусавил:

— Томас Чарлз Кеннади, родившийся от британских родителей в 1867 году, третьего дня сентября месяца, в районе города Фоун-Хилл, провинции Саскачеван, в Канаде, по профессии черноработчий...

Судья спросил Тома, признаёт ли он себя виновным в подстрекательстве к беспорядкам и в принадлежности к организации, действующей в интересах иностранной державы.

Хоть и ко всему уже был готов Том Кеннади, но это ошеломило его. «Что вы, ваша честь? — хотел вскричать он. — Ведь я никакого отношения к ним ни имею. Я всю жизнь прожил в прериях. Я чистокровный канадец...». Хотел он сказать судье ещё о десятках разных вещей, подтверждающих его непричастность к «красным». Но тут он взглянул на других подсудимых и вспомнил демонстрацию во всех её подробностях... Вытопанную конскими копытами клумбу у памятника «Неизвест-

ному солдату»... Маленького безработного со значком ветерана войны в петлице, которому полицейский проломил череп... Конную полицию на тротуарах... Откормленных «лумберджеков» с кастетами в руках...

— Да-да, я один из «красных»! — вдруг закричал Том. — Да, я большевик! Разве не видите — прямо из Москвы! Раз меня разукрасили этим браслетом, — Том поднял руку, скованную наручником, — то, конечно, я виновен! Так нечего здесь комедию ломать, сажайте меня в тюрьму! Ничего, всех не пересажают! Свернут вам ш-ш-ш...

По знаку судьи на Тома накиннулись полисмены.

— Зажали мне рот «быки» и не дали договорить!.. Я б им договорил! Всё бы договорил! — с ненавистью сказал старик, заканчивая свой рассказ.

— Один год тюрьмы! — произнёс судья, ударив деревянным молотком по столу. — Следующий!

Когда через несколько дней я был освобождён, Томас Кеннади долго тряс мне руку на прощанье.

— Рад человеку оттуда! — кричал он на всю камеру, многозначительно и насмешливо косясь на тюремного надзирателя, который пришёл за мной.. — Рад человеку оттуда!

Больше я никогда не встречал Тома. Но когда я думаю о тех, кто, в конце концов, свернёт шею угнетателям народа в заокеанских «демократиях», я вспоминаю и старого батрака из Фоун-Хилла, распроставшегося, наконец, со своей покорностью и ставшего в ряды борцов за человеческую свободу.

6. ШВЕЙЦАР.

В Ванкувере, на берегу Тихого океана, где Японию называют «страной заходящего солнца», я прожил почти год. Я перебрался туда из Монреаля, проехав зайцем на «красных пульманах»¹ через всю Канаду. После нескольких тщетных попыток на восточном, атлантическом побережье устроиться работать на пароход за бесплатный проезд через Атлантику, я решил попробовать добиться своего на западном, тихоокеанском побережье Канады. А до поры до времени рассчитывал найти работу на сборе фруктов в садах Британской Колумбии.

Сведения о рейсах грузовых пароходов из Ванкувера во Владивосток, вычитанные мною в газете «Монреал Стар», оказались чистейшим вымыслом. А слухи о возможности получить работу на сборе яблок в садах Британской Колумбии были просто бредом какого-то безработного мечтателя. Как и в Монреале, как и во всей Канаде да и вообще на всём американском континенте, здесь с избытком хватало своих голодных, ищущих заработка людей.

В конце лета, когда я приехал в эту самую тёплую канадскую провинцию, в её садах действительно созрел богатейший урожай. Но большинство крупных садоводов и не думало его снимать. Самая мизерная оплата труда по сбору яблок оказывалась чуть ли не выше отпускной цены этих яблок в магазинах. Собирать их плантаторам было невыгодно, и их не собирали. Ароматные, сочные, золотистые, румяные плоды гнили.. Их гноили сытые, раскормленные бизнесмены! Это им было выгодно!

Не устроившись ни на пароход, ни на сбор фруктов, я, вместе со своим попутчиком Джимом Мак-Гро, целыми днями слонялся по утопающему в зелени, солнечному и всё же такому неприветливому чужому городу в поисках хоть какой-нибудь работы. Ничего не найдя в Ванкувере, мы обошли все лесопилки и рыбные заводы во всех его пригородах — Нью-Вестминстере, Бэрнаби и Северном Ванкувере, расположенном по ту сторону залива Бэррард. Но и здесь все наши поиски оказались напрасными.

К счастью, климат в Ванкувере, несмотря на соседство Аляски, так мягок¹ благодаря тёплому океанскому течению, что и я и Джим смогли всю зиму спать в

¹ Товарные поезда.

нетопленном помещении. В январе по ночам лужицы затягивало тонким ледком, иногда выпадал снег, но утром и снег и ледок таяли, а к полудню бесследно исчезали.

Джим, огромный детина с внешностью борца, по образованию был врачом и, как все заканчивающие канадские университеты, носил пышное звание бакалавра искусств. Он закончил Мак-Гиллский университет за год до нашего знакомства, состоявшегося на крыше «красного пульмана» при отъезде из Монреаля. Этот год он проболтался без дела в самом большом канадском городе с миллионным населением, продолжая жить на иждивении отца, служащего страховой компании. Сознание того, что он отрывает хлеб у младших братьев и сидит на шее у старика, заставило его уйти из дома в поисках любой хотя бы подённой работы. Но Джиму определённо не везло, так же как и мне...

Радости безбилетного путешествия из Монреаля с нами делил ещё третий спутник — безработный адвокат Анри Лепорк, приятель Джима по университету, закончивший юридический факультет Мак-Гилла. Этому маленькому, подвижному и остроумному канадскому французу невероятно повезло в Ванкувере. Правда, тут мог сыграть большую роль его внешний вид. Несмотря на некоторый недостаток удобств при путешествии через весь американский континент на крышах товарных вагонов, Анри Лепорку удалось каким-то чудом сохранить целым и даже почти не помятым свой единственный костюм — темносинюю тройку. Невредимым довёз он и свой чёрный котелок. Так вот — складки на брюках, точно из-под утюга портного, и особенно котелок, не оставлявший сомнений в солидности его обладателя, и помогли Лепорку найти работу. Анри превосходно устроился, к нашей нескрываемой зависти. Он убирал грязную посуду со столов в кафетерии «Золотая Ракушка» на Хэйстингс-стрит. Правда, ему приходилось работать без выходных, по шестнадцать часов ежедневно. Правда, он получал всего два доллара в неделю, которых едва хватало на оплату койки в дешёвых меблированных комнатах типа ночлежки. Но зато бакалавр искусств юрист Анри Жозеф Франсуа Лепорк всегда был сыт.

Мы с Джимом, вместе с сотнями других безработных, каждое утро, за час до выхода газеты, являлись к типографии «Ванкувер Сан». Первые экземпляры доставались нетерпеливым читателям с бою. Схватив газету, безработные тотчас разворачивали её на 22-й странице, жадно просматривали рубрику требований рабочей силы и наперегонки друг с другом, стремясь быть первыми, бежали, мчались на велосипедах и ехали на трамваях по адресам редких объявлений. По каждому адресу устремлялся целый поток, даже если требовался всего один рабочий.

Мы с Джимом на своих длинных ногах бегали неплохо, но, к нашему удивлению, когда бы мы ни прибегали, неизменно перед нами уже оказывалась длиннейшая очередь не менее, чем из сотни претендентов. Мы стали приходить к типографии за два, за три часа до выпуска газеты и умудрялись первыми покупать её, но, прибежав по адресу, обнаруживали всё ту же знакомую картину — не сто, так два-три десятка претендентов на одно-единственное объявленное в газете место уже стояли перед дверьми ещё закрытого в этот ранний час учреждения...

Как-то раз, когда мы с Мак-Гро устало возвращались после очередной неудачной гонки, он угрюмо сказал:

— Тут что-то не так! Не могли же все эти двадцать человек обогнать нас на велосипедах. Ведь не летают же они по воздуху?

Я так был измучен непрерывным полуголодным, изматывающим нервы существованием, что не хотел даже рассуждать на такие «праздные» темы... Я в тысячный раз проклинал тётушкину доброту, корил мать за уступчивость и последними словами ругал себя за мальчишеское легкомыслие... Я уже начинал забывать, что мне было всего пятнадцать лет, когда я отправился в эту проклятую поездку за океан...

— Понимаешь, Бобис, — продолжал бормотать Джим, — я почти уверен, что некоторые из них просто прочли объявление заблаговременно и неспеша явились по адресу. Этак мы с тобой никогда не получим работу. Нужно быть первыми. — Он вдруг останвился и стукнул себя кулаком по лбу. — Я знаю, как это сделать! Спорю

на твои сапоги, я нашёл разгадку! Знаешь что? Надо завязать знакомство с каким-нибудь наборщиком, и всё будет о'кей!.

В тот же день, поздно вечером, мы направились к типографии, без труда разыскали служебный вход и дождались там обеденного перерыва. Как и у ночных пекарей, обеденный перерыв у типографских рабочих начинался в двенадцать и кончался в час ночи. Шёл дождь. Мы промокли до нитки, а из типографии никто из рабочих, очевидно, из-за дождя, не выходил. Без толку прождав до начала второго, мы ушли. Однако эта неудача нас не обескуражила. Мы узнали, что печатники кончают работу в восемь утра, и без четверти восемь снова были у типографии. Вскоре из дверей потянулась цепочка кончивших ночную смену... Остановив свой выбор на коренастом рыжем парне, Джим окликнул его.

— Эй, Мак, спорю на твои сапоги—наши предки были соседями в доброй старой Шотландии.

В самом деле, к общему удовольствию всех троих, Джим не ошибся! Мы разговорились с парнем, фамилия которого действительно начиналась с шотландской приставки Мак и была — Мак-Грегор. Проводив Мак-Грегора до трамвая и рассказав ему о своих неудачах, мы получили заверение, что он с радостью поможет своему соплеменнику — вручит Джиму завтра в восемь утра свежую газету, но не у типографии, а на трамвайной остановке — подальше от начальства.

Торжествуя первую победу, д-р Мак-Гро и я решили сегодня больше не тратить времени на бесполезный обход всевозможных предприятий. Хватит! Мы вдвоём насмотрелись на большие объявления из трёх слов, прибитые на всех воротах: «Р а б о ч и е н е н у ж н ы».

Сегодня мы решили пойти посмотреть Стэнли-парк, расположенный на маленьком одноимённом полуострове, отделяющем узкий, похожий на канал залив Бэррарда от пролива Джорджия и океана. Впрочем, Стэнли-парк—это скорее не парк, а заповедник нетронутых многовековых исполинов-кедров, которыми так славятся Аризона и тихоокеанское побережье Канады. Глядя на эти кедры высотой с семизэтажный дом и такие толстые, что не каждый из них смогли бы обхватить, взявшись за руки, шесть человек, я вспомнил фотографию необыкновенного дерева из географии Ивапова — дерева, в котором прорублен тоннель для проезда автомобилей. Это были как раз такие гиганты.

Сначала мы с Джимом прошли по асфальтовому шоссе, проложенному вдоль берега для того, чтобы богатая публика могла любоваться парком и морем, не выходя из своих комфортабельных машин. Потом мы пересекли полуостров по одной из многочисленных конных троп, по которым любители конного спорта катаются верхом на собственных лошадях. Затем вышли на восточный берег полуострова, с видом на ванкуверскую бухту и порт. Здесь на берегу был расположен яхт-клуб. Я невольно залюбовался белокрылыми яхтами. Не выдержав, я спустился на пристань и спросил одного из администраторов — можно ли стать членом клуба?

— Пожалуйста! — ответил он, приторно улыбаясь. — Покупайте себе яхту, сэр, и мы к вашим услугам. У нас все яхты частные. Если хотите, я помогу вам выбрать недорогую мореходную посудину. У меня есть одна на примете — быстра как ястреб!..

Джим посмеялся над моим желанием заниматься парусным спортом — спортом богачей, — и мы двинулись дальше. У выхода из парка неожиданно наткнулись на маленький зоологический сад. Это был просто жалкий зверинец, состоящий из десятка тесных клеток. Он не выдерживал никакого сравнения с прекрасным зоосадам в моём родном Харькове. Я не мог не сказать об этом Джиму.

— А работа есть в твоём Харькове? — спросил он, иронически глядя на меня. Я посмеялся над нелепости его вопроса, потом долго рассказывал ему о жизни в Советской стране. Он слушал, не прерывая, задумчиво глядя на океан. А я, когда выговорился всласть, почувствовал, как сердце заняло в тоске... Мы долго шли молча.

— Так как наших денег сегодня всё равно нехватит на приобретение яхты, сэр, давайте вместо яхты купим жареной картошки! — вдруг сказал Джим деланно-серьёзным тоном, с нарочитым оксфордским произношением.

Глазами он показывал на крытый фургон с застеклёнными стенками — его медленно тащила старая гнедая кляча с отвисшей нижней губой. В фургоне горела печурка: на ней-то и жарились американские уличные угощения: земляные орехи, картошка и «горячие собаки», как называют в Америке сосиски в маленьких булочках. На этой печурке грелся и специальный котелок для приготовления «пап-корна» — губкообразной массы из раздувшихся зёрен кукурузы. Пар из котелка со свистом вырывался через крохотный гудок и привлекал внимание прохожих.

— Я, собственно, предпочёл бы пару «горячих собак», — мечтательно произнёс д-р Мак-Гро. — Знаете ли, сэр, эта прогулка по берегу моря... Воздух, насыщенный озоном, всегда весьма благотворно действует на мой аппетит, чёрт бы его побрал совсем. Но раз уж мы не в Харькове, я готов удовлетвориться кулёчком картошки на двоих... Всё-таки обед!

Мы купили кулёчек и «пообедали».

По дороге в город мы то и дело весело напоминали друг другу, что завтра раньше всех получим газету с заветными объявлениями о работе.

К восьми утра мы были на трамвайной остановке. Мак-Грегор не появлялся до половины девятого, и мы с Джимом уже начали подозревать, что парень ушёл другим путём, стараясь не встретиться с нами. Но через минуту Мак вынырнул из-за угла и вручил нам пахнущую свежей типографской краской газету. Мы сердечно поблагодарили его и торопливо пробежали глазами рубрику объявлений о найме рабочей силы.

Хотя бы одному из нас просто необходимо было немедленно устроиться на работу — мы исчерпали уже все наши ресурсы. У нас на двоих оставалось 69 центов, а этого и для одного человека совершенно недостаточно даже на день жизни. Уже завтра наше постоянное недоедание должно было смениться самым настоящим голодом. Но чёрт возьми — мы не находили ни одного подходящего объявления! В глаза лезли назойливые предложения внести в «дело» свой пай — 5—6 тысяч долларов — и «работать», участвуя в коммерческом бизнесе. Наконец, я нашёл крошечное объявление о найме и, заикаясь от волнения, начал читать его вслух.

— Требуется секретарь-машинистка...

— Нет, это мне что-то не нравится! — сказал Мак-Гро. — Вот! Вот! — радостно вскричал он. — Смотри, единственное место, куда нас могут взять.

«Кинотеатру «Палас» требуется швейцар!».

— Не особенно блестящее предложение врачу с дипломом в кармане, — криво усмехнулся Мак-Гро, — но, спорю на твои сапоги, это значительно лучше, чем подыхать с голоду. Бежим туда, пока не поздно!

Я ещё раз просмотрел короткий столбец объявлений. Действительно, там больше не было ничего подходящего... Не теряя времени, мы торопливо зашагали, вернее — побежали, к «Паласу».

— Из первой полочки я закажу себе бифштекс, — мечтал на ходу Мак-Гро. — Я уже начал забывать вкус мяса. А ты как, не откажешься от порции жареной говядины, а, старик? Вам как прикажете: хорошо прожаренный или с кровью? — поддразнивал он. — Нет, это всё же божественное наслаждение: вонзать свои зубы в сочное мясо, ощущать букет его соков и жареного лука...

Запахавшись, мы подбежали к кино. Перед входом тщательно осмотрели друг друга. Расправили лацканы давно не глаженных пиджаков. Джим снял у меня со спины ниточку; я выбил из его пиджака пыль.

Было ещё рано — около девяти. Нас попросили дожидаться 10 часов. Минуты тянулись, как недели. От волнения мы ни о чём не могли говорить. Вскоре начали появляться другие безработные, наши конкуренты, и вот уже за нами выстроилась целая очередь — человек семьдесят. Но на этот раз очередь нас не пугала. Мы были первыми и поминутно переглядывались, радуясь своему успеху и удивляясь, как это мы раньше не додумались прибегнуть к помощи типографского рабочего. Ведь это так просто! А теперь успех гарантирован. Жалко было всех этих парней, дравшихся

за газету и бежавших сломя голову к «Паласу». Ведь требовался всего один швейцар! Джим признался, что чувствует себя виноватым перед ними за то, что мы перехитрили их. Я испытывал те же чувства. В этой проклятой Америке даже честные рабочие люди должны конкурировать друг с другом, точно их мускулы, их пот, их бесправие, их голод тоже являются предметом какого-то бизнеса!.

Наконец, нас вызвали в кабинет директора.

— Ваше образование? — спросил меня директор.

— Восемь классов, — бодро ответил я.

— Не подходит! — отрезал директор. — Вы что же, не читали объявления?

— А я, сэр! — спросил доктор Мак-Гро тоном, в котором слышались надежда и отчаяние. Иронической улыбкой он старался скрыть своё смущение и унижение. — У меня высшее образование! Вот диплом. Я подойду вам?

Джим протянул диплом директору, и я заметил, как у него нервно дёрнулось веко (у него всегда дёргалось левое веко, когда он очень волновался). От одного слова этого маленького плешивого человечка с холеной физиономией зависела судьба двух здоровенных, сильных и молодых мужчин.

— Праздный вопрос! — директор отмахнулся рукой от диплома, как от назойливой мухи. — Чудак! Вы же шатен. Университетское образование, а газетного объявления прочесть толком не умеете! Напрасно отнимаете время у себя и у занятых людей, молодой человек! До свидания! Читайте внимательнее... — сказал он с издевкой и показал рукой на дверь.

Мы с Джимом вышли из кабинета, как пришибленные. Последние наши надежды рухнули. С нетерпением, волнуясь и мешая друг другу, мы развернули газету и на этот раз очень внимательно прочли объявление.

Кинотеатру «Палас» требуется швейцар!

Рост — 6 футов. Волосы — русые. Глаза — голубые. Возраст — 20—30 лет. Образование — высшее. Происхождение — от британских родителей. Джентльменов, не отвечающих этим требованиям, просят не беспокоиться.

— Разве швейцару так уж необходимо высшее образование? — сказал я Джиму, чтобы сказать хоть что-нибудь..

— Это объясняется очень просто, чёрт их побери! — ответил Джим. — У владельцев «Паласа» достаточно широкий выбор, а раз так — почему же им не похвастать: «У нас, мол, до того первоклассное кино, что дворники, и те с высшим...» Но вот почему русский и обязательно с голубыми глазами? — с едва сдерживаемой яростью набросился он на кассиршу, показывая ей объявление. — Почему шатен с карими глазами не может стать швейцаром?

— А зачем дирекции нарушать стиль театра, мальчики? — снисходительно улыбаясь нашему невежеству, вопросом на вопрос отстрелила кассирша, крашенная блондинка с выцветшими голубыми глазами. — Здесь вся отделка — голубой плюш и позолота. И весь штат подбирается в масть, понимаете! Чтобы было стильно... Сейчас всяких безработных хватает: и брюнетов и блондинов...

— Грязные мерзавцы! Гнусные твари! — возмущённо орал Джим, выходя со мною из подъезда «Паласа». — Нет, ты только подумай, что за наглость! Что за издевательства! Сытые скоты! Рептилии проклятые! Они перешли все границы подлости!.. Эй, брюнеты и черноглазые! По домам! — крикнул он, обращаясь к очереди безработных, вытянувшейся вдоль фасада кино. — Вам жрать не полагается!..

— А я, осёл, ещё колебался, на что-то надеялся! Возомнил себя стоящим над толпой... Отказался вступить в Комитет безработных! Интеллигент паршивый! — презрительно говорил Мак-Гро, когда мы переходили улицу. — Там моё место, вместе с рабочими!..

Было ясно: чаша терпения этого человека переполнилась.

В полдень, голодные и злые, мы разошлись с Джимом Мак-Гро в разные стороны, решив поискать работу порознь. В шесть вечера, как было условлено, я стоял

под часами у почтамта. Прождал Джима полтора часа, но он не пришёл. Я терялся в догадках, искал Мака по всему городу, наводил справки у Лепорка, но нигде не мог напасть на след Джима. Разминуться нам было немудрено — последнее время у нас не было не только постоянного жилья, но даже и постоянного ночлега.

Меня неотступно мучила мысль, что Джим голодает в то время, как я объедаюсь и мог бы сейчас подкормить его. Мне подвалило счастье — в кафетерии «Чайлдс» заболела судомойка, и вот уже четыре ночи я работал в посудной, в подвале, и старался наесться как верблюд — впрок. Условия были такие: ешь сколько влезет, но денег не жди. Эта работа обладала ещё и тем преимуществом, что можно было не думать о ночлеге. А днём подремать где-нибудь на садовой скамье, конечно, гораздо безопаснее, чем ночью, — полиции труднее придаться: «отдыхаю, сэр, на свежем воздухе по предписанию врача!»

Прошла неделя. Судомойка выздоровела. Я же еле волочил ноги, возвращаясь вечером по Грэнвил-стрит, после очередного безрезультатного обхода города в поисках работы. Я шёл и думал: где бы удобнее остановиться на шумной многолюдной улице, снять правый ботинок и вытрусить камешки, попавшие в него через дыру в протёршейся подошве. Ноги мои были стёрты, и камешки, врезаясь в пятку, причиняли отвратительную саднящую боль. Я прислонился к фонарю, и вдруг порывом ветра до меня донесло едва различимые слова песни:

... So rise the skarlet banner high...¹

Затем из-за угла Хэйстингс-стрит появилась процессия, и теперь уже совершенно отчётливо я услышал могучую песню, сотнями уверенных голосов заливающую главную улицу:

... Within it's shade we'll live and die!²

Впереди шёл пожилой небольшого роста человек с измождённым серым лицом, с многочисленными боевыми медалями на груди аккуратно залатанного пиджака. Он держал в руках красное знамя. Рядом, соблюдая обязательное требование полиции, человек помоложе нёс «юнион джек!» — пёстрый британский флаг. Чуть поодаль два человека высоко вздымали большой белый плакат, на котором атели слова «Работы и хлеба». За плакатом, по четыре в ряд, шли безработные. Тут были мужчины и женщины, старики и молодёжь, люди в костюмах и платьях, ещё сохраняющих приличный вид, и в изношенных до дыр и лоска неправдоподобных остатках того, что когда-то называлось брюками и пиджаками, кофтами и платьями. По пути следования процессии, на тротуарах вдоль мостовой, стенкой выстраивались прохожие.

— Нечего глазеть! — кричали демонстранты. — Становись в строй! Пошли! К сити-холл!³

Когда процессия поровнялась со мною, вдруг кто-то из колонны крепко схватил меня за руку и, не дав мне опомниться, вташил в ряды демонстрантов. Это был Джим Мак-Гро. С лицом, сияющим довольной улыбкой, он медленно, словно смакуя, произнёс:

— Ну, старик, наконец-то я на своём месте! Идём с нами.

И мы зашагали рядом. Гордо и непреодолимо устремлённое вперёд, колыхалось в голове колонны красное знамя. Оживая на ветру, оно трепетало, рдея в лучах багряного заката.

7. В СКАЛИСТЫХ ГОРАХ.

Отчаявшись найти работу в Ванкувере, мы с доктором и бакалавром искусств Джимом Мак-Гро решили вернуться в Монреаль. Наш отъезд ускорила телеграмма, которую получил Джим от матери, — она вызывала его домой в связи с тяжёлой болезнью отца, а я, в свою очередь, спешил в Монреаль, так как прослышал об одном тамошнем агентстве, которое возобновило вербовку проводников скота на парохо-

¹ ...Так поднимай выше алый стяг.

² ...Под его сенью мы будем жить и умрём!

³ Здание городского муниципалитета.

ды, перевозящие рогатых пассажиров в Европу. Возможность кормить коров, убирать навоз, при этом бесплатно плывя через Атлантику в Европу, стала моей мечтой и манила, как вода в знойной пустыне...

В солнечный майский день, дождавшись на почтительном расстоянии от товарной станции, пока «красный пульман» наберёт скорость, мы с Джимом вскочили на подножку тормозной площадки одного из задних вагонов длиннейшего состава. Быстро взобрались на крышу и комфортабельно уселись на двух досках, что тянулись по середине неё. Такие доски прибывают в Америке вдоль покатых крыш всех товарных пульманов для того, чтобы поездная бригада могла на ходу поезда проходить от паровоза к хвостовому служебному вагону с наблюдательной вышкой.

Однако наше благодушие оказалось преждевременным. Полисмен, проводив состав и соскочив на землю в полной уверенности, что «хобо» — «зайцев» — в поезде нет, теперь заметил нас. Скорость была ещё не велика, и он вновь вскочил на последнюю площадку, взобрался на крышу и направился по вагонам к нам. Пришлось удирать. Мы побежали к паровозу, в компании ещё двух десятков таких же безбилетных пассажиров.

Дощатые мостки на крышах сделаны длиннее вагонов. Когда поезд стоит, перебраться с вагона на вагон не представляет труда: нужно сделать всего лишь один хороший шаг, только не следует смотреть вниз... Но когда состав делает миль 30 в час и дёргается на поворотах, а за вашей спиной погоня и вас торопит толпа перепуганных хобо, — дело несколько осложняется, даже если у вас есть навыки...

Мы миновали четыре вагона, перед нами, вздрагивая на стыках, болтался из стороны в сторону пятый. Джим бежал третьим, за ним я. Машинист, уже успевший развить хорошую скорость, очевидно заметил погоню и, стараясь помочь «буллу» — «быку» (как презрительно называют полисменов в Америке), начал притормаживать. Джим перескочил на пятый вагон. Я замешкался, засмотревшись на быстро мелькающие шпалы. В этот момент поезд рвануло и, потеряв равновесие, я упал между вагонами. Падая, инстинктивно выбросил руки вперёд и схватился за мостки, по которым только что пробежал вперёд Джим. С секунду я висел в воздухе — мои ноги оставались ещё на четвёртом вагоне, а руки уже были на пятом. Сообразив, наконец, как выпутаться из этого глупого и опасного положения, я осторожно скинул ноги, подтянулся на руках, как когда-то подтягивался на турнике нашей пионерской спортплощадки, и вскарабкался на мостки пятого вагона прежде, чем Джим успел прийти мне на помощь.

— Разрешается отдохнуть, джентльмены! Займите места согласно купленным билетам! — провозгласил Джим, сняв кепку и приветливо помахивая ею кому-то. Мы оглянулись и увидели полисмена. «Булл» стоял на полотне позади поезда и грозил нам кулаком. Вероятно ему надоело рисковать своей шеей, и он оставил нас в покое, когда машинист притормозил состав.

Теперь мы могли ехать спокойно, по крайней мере до ближайшей станции. Все хобо направились обратно к хвосту поезда. Мы последовали за ними, чтобы избавиться от неприятного соседства с паровозом: из его трубы вылетали тучи золы, сыпавшей нам лица, набивавшейся в рот, глаза, уши и волосы. Когда мы уже добрались до одного из хвостовых вагонов, нас вдруг ошеломили дикий вопль десятков глоток.

— А-а-а-а!

От неожиданности Джим растянулся на мостках, а я присел. В то же мгновение над моей головой что-то резко и многократно со свистом рассекло воздух: «Жжих! Жжих! Жжих!» Это были телеграфные провода. Двигаясь к хвосту, спиной к паровозу, мы, конечно, не видели их.

Как и после падения между вагонами, я почувствовал холодок вдоль спины, когда опасность уже миновала. И я мысленно отметил странную способность переживать чувство страха не в момент самого происшествия, — тогда мысли в бешеном темпе работают только в одном направлении: как лучше преодолеть препятствие, — а спустя несколько минут, уже в безопасности.

Лежа на крыше товарного вагона, я невольно вспомнил, как когда-то, прочитав «Дорогу» Джека Лондона, завидовал ему и мечтал побродяжничать. По книжке, да ещё в детстве, это казалось таким увлекательным и романтичным! И вот теперь, уже не по доброй воле, мне пришлось испытать самому почти всё, что рассказано в «Дороге»... Правда, я ехал не по описанной Джеком Лондоном Канадской Тихоокеанской магистрали — Си-Пи-Ар, а по другой, параллельной ей и построенной немного позднее — Канадской Национальной железной дороге Си-Эн-Ар, но это была несущественная разница. Они отличались одна от другой только средней буквой в их сокращённых названиях... Как и Джеку Лондону, мне тоже пришлось прыгать с вагона на вагон и прятаться от полиции... А иногда всё происходившее со мной было так невероятно похоже на изображённое писателем, что если бы не я сам испытывал это, а слушал чей-нибудь рассказ, то обязательно решил бы, что мне пересказывают «Дорогу»... Но только в действительности воображаемая романтика оказалась горькой, тягостной и безысходно серой. Не было ничего привлекательного в возможности свернуть себе шею или остаться без ног ни за понюшку табаку. Не было ничего романтичного в перспективе мокнуть под дождём, замерзать от холода ночью на крыше или задыхаться от спёртого воздуха и жары в сетках для льда, прячась от полиции в пустых вагонах-холодильниках. Не было ничего радостного в том, что тебя поедают живьём тучи комаров, пока ты поджидаешь «красный пульман» где-нибудь за милю от станции. И не было ничего увлекательного в необходимости лежать в грязи товарного вагона, в измятой, изорванной одежде или вести образ жизни бездомного бродяги, вымаливая себе работу за обед на первой попавшейся ферме!

Небо над нами сияло — яркое, синее, чистое. Единственное облако, похожее на огромную белоснежную, раздутую ветром наволоку, медленно плыло навстречу и контрастно усиливало синеву. Погружённый в свои мысли, согретый весенним солнцем, я задремал под мерное постукивание колёс.

В этот день и в первую ночь, к счастью, больше не произошло ничего «интересного».

Без приключений, не считая «игры в прятки» с полицией, проехали мы 150 миль, ни разу не отстав от поезда. «Быки» гонялись за нами на каждой станции. Согнав хобо с крыши, они провожали «красный пульман» до тех пор, пока он не развивал такую скорость, при которой, по их мнению, посадка уже невозможна. Выбрав место, самое неудобное для вскакивания на ходу, и сделав машинисту знак дать полный ход, «быки» ловко спрыгивали на полотно. А опытные и ещё более ловкие хобо, отойдя от станции на милю вперёд и дождавшись пока с поезда удалится последний «бык», без труда вскакивали на «красный пульман»: скорость, полисменам казавшаяся пределом, для нас была нормальной посадочной скоростью. Следовало только не упустить момент прыжка полисмена. Через минуту иногда, действительно, уже бывало поздно, в особенности если попался ретивый машинист...

Но вскочить на подножку тормозной площадки было делом нетрудным. Тяжелей приходилось нам, когда в нужный момент её не оказывалось поблизости. Тогда оставалось одно из двух: или отказаться от попытки сесть, или постараться на ходу поезда открыть дверь товарного вагона, схватиться за боковую скобу и, подтянувшись на руках, забросить своё тело в вагон. Эта операция требовала мастерства и даже некоторой виртуозности, и я несколько раз был свидетелем неудачных прыжков.

Однажды у молодого хобо отрезало обе руки по локоть. В другой раз парня, неумело схватившегося за поручни, так рвануло и ударило лицом об угол вагона, что он замертво упал на землю. Подбежав к нему, мы увидели сплошное кровавое месиво вместо лица...

Чтобы избежать несчастий, мы, перед отходом состава прогуливаясь по станции вдоль поезда, старались предусмотрительно открыть двери у всех вагонов и даже приделывать проволочные стремянки к ним для облегчения посадки, но это удавалось далеко не всегда.

...Начался крутой подъём в Скалистые Горы. Наш «красный пульман» вошёл в тоннель, описал вместе с ним огромную восьмёрку и вышел из него почти в том же месте, но на сотню футов выше.

Горы были действительно скалистыми — лысые, почти лишённые растительности, каменные громады. Ни жилья, ни живой души. Камни. Скалы. Сизые, фислетовые, иногда бурые. На меня эта каменная пустыня производила гнетущее впечатление и почему-то ассоциировалась с мертвостью безлюдных лунных гор на фотографии в «Общедоступной астрономии»... Единственным напоминанием о человеке в этих местах была железная дорога.

Неожиданно она обогнула скалу, и мы увидели справа от себя глубокое ущелье, по дну которого бурно неслась мощная жёлто-грязная река. Это был Фрейзер. Дальше железная дорога шла по скалистой террасе вдоль ущелья. Одновременно нашим взорам предстала станция, на которую уже вкатил «красный пульман». За ночь хобо распозлились по разным вагонам. Мы сидели с Джимом вдвоём на крыше порожнего вагона-холодильника. Станция появилась так неожиданно, что мы не успели во-время соскочить с поезда и удрать от полиции. Нужно было немедленно спрятаться.

— Быстро, в сетки для льда! — вскричал Джим. С крыши спускались две такие сетки. Мы молниеносно скользнули в них, прикрыли за собой люки и погрузились в спёртый воздух и темноту. Сетка или клетка из голстой проволоки была так тесна, что я вошёл в неё, как кинжал в ножны.

Паровоз резко затормозил. Вагоны дёрнулись несколько раз, лязгая железом, и остановились. Первые несколько минут я чувствовал себя сносно. Но потом, от невозможности переменить положение, всё тело начало ныть.

В это время послышался топот сапог по крышам вагонов. Шаги безостановочно и уверенно приближались. «Пронесёт или не пронесёт?» Нет — не пронесло! Человек остановился над моей головой. Открылся люк, впустив свежий воздух и солнечный свет. Вне сомнений, какой-то мерзавец со станции видел нас.

— Приехали, джентльмены!

Надо мною, самодовольно улыбаясь, стоял «маунти» — красавчик из королевской конной полиции, в красном мундире и широкополой, сдвинутой на лоб шляпе, которую удерживал ремешок на затылке.

— Вылезай! Живее!

Такая же команда раздалась над головой Мак-Гро.

Полисмен сначала настаивал на уплате штрафа и грозил тюрьмой, но ему не трудно было псверить, что у хобо нет денег. Просмотрев телеграмму, полученную Джимом от матери, он, к нашему великому удивлению, отпустил нас. Его «доброта» объяснилась очень скоро — мы от него же узнали, что здесь не было тюрьмы. Весь посёлок состоял из шести домов, а «зайцы» насчитывались сотнями «Бык» проводил нас до грейдера, пообещав при следующей встрече лично свезти обоих в ванкуверскую тюрьму. На прощание он сказал подозрительно дружелюбным тоном:

— Почему бы вам, ребята, не путешествовать на автомобилях способом «хитч-хайкинг»? Это так просто — выходите на грейдер, поднимаете руку, и первая же машина вас подвезит до следующего населённого пункта или ещё дальше! Вы же знаете это лучше меня...

— Попробуем... — сказали мы.

— Желаю успеха!

С каждым нашим шагом грейдер всё более удалялся от железной дороги, поднимаясь в гору. Через несколько миль подъём окончился. Дальше грейдер шёл вдоль ущелья, параллельно железной дороге, по такой же террасе, вырубленной в скалах, но возвышавшейся над первой футов на сто. Эти террасы образовывали лестницу из двух колоссальных ступеней с абсолютно отвесными стенами, справа обрывающимися к реке.

— Странно! Уже часа полтора идём — и ни одной машины, Джим!

— Успокой свои нервы! — сказал Мак-Гро. — Не будет машин, вернёмся на железную дорогу.

...Мы прошли уже миль десять, но нигде не видели ни души. Только однажды заметили двух золотоискателей на противоположном берегу реки, пытающихся на

мыть золотой песок. Было жарко. Во рту пересохло. Хотелось пить. Справа, внизу, поблёскивала вода, целая река, дразнящая, полноводная и прохладная, но недосыгаемая, как луна. Первые пять миль мы на все лады проклинали подлеца полисмена. Однако вскоре так устали, что шли уже понуро и молча. Мы протащились ещё миль шесть, изнывая от жары и духоты, с трудом поддерживая в себе угасающую надежду на попутный автомобиль. Но машины как сквозь землю провалились, грейдер попрежнему был мёртв.

Вдали показался мост. Когда мы подошли к нему совсем близко, нам сразу стало понятно, почему полисмен был так любезен. Массивное деревянное сооружение лежало перед нами в развалинах. Это был однопролётный мост длиной футов в сорок. Его остатки — несколько стропил в два обхвата толщиной — торчали над глубокой пропастью, переломленные как спички и чудом повисшие на каких-то уцелевших волокнах. Одна-единственная балка, прямоугольная, надломленная по середине и взгорбившаяся своим надломом, продолжала соединять оба края пропасти.

Возвращаться назад, в объёты жандармов, было слишком далеко и малопривлекательно. Чем дольше мы рассуждали о прелестях обратной прогулки, тем прочнее нам казалась уцелевшая балка. Я осторожно попробовал её ногой — она была неподвижна. Как более лёгкий, я первым медленно пополз по ней на ту сторону. Десяток шагов до середины казался длиннее десятка миль. Я обливался потом, напряжённо прислушиваясь, не трещит ли балка, и стараясь не смотреть вниз. Этим десяти шагам не было конца. Время остановилось. Но после преодоления горбатого надлома по середине всё вошло в норму. С каждым мгновением расстояние до противоположной стороны становилось всё меньше. И наконец я благополучно ступил на землю.

Доктор Мак-Гро двинулся по моему следу. Но когда он уже подползал к середине, балка вдруг затрещала, подалась и начала оседать. Я в ужасе замер. Джим не двигался. Не знаю, сколько прошло времени... Балка осела дюйма на три в том месте, где взгорбился надлом, и снова застыла в неподвижности. Через несколько минут Джим, целый и невредимый, восторженно пожимал мне руку. А через секунду балка вновь затрещала и ещё осела, но так, что теперь надлом вывернулся горбом вниз.

Возбуждённые минувшей опасностью, мы бодрее зашагали вперёд. Внезапно за поворотом грейдера перед нами открылась лесистая ложбина. Где-то журчал родник. Мы переглянулись, повеселевшими глазами осмотрели всё вокруг, разыскали ручеёк, лёжа напились вволю обжигающей холодом воды и стали умываться. В это время из леса вышли два парня и направились в нашу сторону. Один, лет тридцати, был одет в заношенный до блеска смокинг, лопнувший на могучих плечах по швам; на серых брюках в ёлочку виднелись многочисленные заплатки. Его мужественное лицо с крупными чертами было очень привлекательным. Второй, помоложе, носил костюм лесоруба — рубаху, заправленную в бриджи, и сапоги на шнурках, на голенища которых спускались вывернутые, бывшие когда-то белыми, шерстяные носки. Его лицо выглядело измождённым, словно чахоточным.

— Хэлло, ребята! — приветствовал нас старший. — Я говорю Питу: парни из Ванкувера! Будь я проклят, если не встречал этого долговязого на митинге безработных в городе!

Лицо Джима расплылось в улыбку:

— Прав! Встречал! Дьявол, ведь это ты треснул «быка» кулаком по башке, когда тот забирал меня, вообразив, что я красный! Это то, что я называю нужный человек, в нужный момент, на нужном месте! Понимаешь, Борис, «бык» свалился со своих копыт! — рассказывал Джим. — Знакомьтесь, джентльмены!

Оказалось, мы попали на территорию одного из многочисленных «кемпов» — лагерей для безработных или, как их называют сами американские безработные, рабских лагерей. Наши новые знакомые повели нас к себе в «кемп». Был обеденный перерыв, и к лагерю со всех сторон стекались его обитатели.

На большой поляне с редкими деревьями, за изгородью из колючей проволоки,

было разбросано около десятка бараков. Издали бросался в глаза крохотный красный флажок над дверью одного из этих сараеобразных домов.

— Наш барак! — с гордостью сказал Пит, когда мы подошли поближе. Нашему с Джимом удивлению не было границ. На двери барака химическим карандашом кто-то старательно вывел здоровенные серп и молот.

— Мы у себя организовали первый барачный Совет, — пояснил Гарри (так звали парня в смокинге). — Это длинная история. Было много неприятностей. Администрация назначала старост — мы не подчинялись. Кончилось дело тем, что теперь имеется лагерный Совет. Сами управляем лагерем! Заставили администрацию считаться с собой. Конечно, приходится торчать здесь и довольствоваться той жратвой, которую нам дают, ну а в остальное начальство не суёт свой нос — отучили! — Гарри весело подмигнув нам и продолжал: — Знаете, когда ребята дружно держатся вместе, нас не легко сломить. С чего началось? Как это получилось? Видите ли, в лагере вспыхнула эпидемия. В нескольких бараках оказалось довольно много заразных больных. Мы просили администрацию изолировать их от здоровых, а администрация ответила, что это, мол, вам не курорт, нечего здесь фантазировать. А тут нам ещё работы не давали — просто вывезли из города в горы, боятся демонстраций безработных. Посадили за колючую проволоку. Руки от безделья зудят. Тысячи рук. А в Канаде есть к чему приложить руки. Ну вот хотя бы дороги строить. Так нет — кому-то это не выгодно. Кормят нас гнилой рыбой, всякой дрянью, деньги экономят — и себе в карман. Недовольных наказывают — слова не скажи! Ну, видите ли, мы сговорились между собою, выгнали старосту и навели свой рабочий порядок. Сначала у себя в бараке, а потом и во всём лагере. Начали с избавления лагеря от заразных больных. Потом потребовали работы — мы не паразиты. Да и от безделья здесь за пару месяцев совсем свихнёшься: ни книг, ни газет. Скучища! Потом и кухню в свои руки взяли...

— Добра́, однако, у вас администрация! — не выдержав перебил я, иронически улыбаясь.

— Чёрта с два! Пришлось крепко подраться. Они подослали шпика. Мы его узнали. Это была грязная крыса, кокаинист. Ночью его ребята накрыли и «в тёмную» — теперь внукам своим завещает не заниматься такими штуками! Начальник лагеря вызвал отряд полиции... — рассказывал Пит.

— Кое-кто пострадал, — подхватил его рассказ Гарри, — намяли бока, искали коммунистов...

— И у вас здесь есть коммунисты? — спросил Джим.

— А где их теперь нет? — сказал Гарри. — Полиция не вылезала отсюда месяц. Из нашего барака каждого в отдельности на допрос вызывали. Некоторым досталось. Разговор был с пристрастием. Вот Питу печёнки отбили, с тех пор он чахнет, никак поправиться не может. Всё допытывались: «Ты коммунист? Есть коммунисты? Кто Совет организовал?» Но ребята собрались как на подбор, почти все — заводские рабочие. Никто — ни звука... Настоящие мужчины! И будь я проклят, долговязый, — сказал Гарри Джиму, — если ты уже не догадался, что сержант, который так усердно допрашивал Пита, давно в госпитале и что его туда доставили на носилках...

— Ну, начальство, видишь ли, подумало-подумало, — сказал Пит, — и решило, что дешевле изолировать больных и занять нас какой-нибудь работой, чем держать здесь отряд полиции и доносить вышестоящим властям о беспорядках и своём неумении с ними справиться...

Мы попали в лагерь к обеду. Пит и Гарри зазвали Джима и меня в столовую, и дежурный, весьма кстати, кое-как накормил нас — в желудках наших уже давно была гнетущая пустота. Гороховый суп и отварная картошка показались нам необыкновенно вкусными.

— Попробовали бы бурду, которой нас кормили до перехода кухни в руки Совета, стошнило бы! — морщась, сказал Пит.

После обеда захотелось курить. У наших новых друзей курева не было. Поэтому недокуренная сигарета «Уинчестер», припасённая Джимом «про чёрный день», вы-

звала бурю восторга. Курили с упоением. Когда стало жечь пальцы, насадили окурки на острие булавок и продолжали по очереди прикладываться к нему, обжигая губы, пока не выкурили дотла.

Поблагодарив хозяев за тёплый приём, мы снова отправились в путь.

— Молодцы! — восхищённо проговорил Мак-Гро, когда мы остались одни. — Вот что значит боевой дух и организованность. Это искорки того пламени, которое вспыхнет когда-нибудь, чтобы очистить землю моей Америки от всякой хозяйской нечисти!..

Группа молодых обитателей лагеря обогнала нас и свернула в лес. В такт своим шагам ребята распевали переложённую кем-то на музыку старинную наивную сказку в стихах для детей самого младшего возраста — сказку о Мэри, у которой был маленький ягнёнок, всюду следовавший за нею по пятам...

И вдруг лихо грянул, дружно подхваченный сотней глоток, и эхом раскатился далеко по канадским Скалистым Горам импровизированный задорный припев к этой сказочке:

Hurray for Mary!
Hurray for little lamb!
Hurray for the bolsheviks,
That don't give a damn! ¹

8. РУКИ.

Со старым Фрэнком О'Брайен я познакомился в грязной харчевне под громкой вывеской «Ресторан Ориент» на маленькой станции «Серая лошадь» в Скалистых Горах, миль за пятьдесят от города Кэмлупса. Мы зашли туда с доктором Джимом Мак-Гро, чтобы истратить наши последние сенты, выпить по чашке кофе и согреться после бессонной ночи в горах.

Из лагеря для безработных, где нам удалось подкрепиться, мы вышли после обедённого перерыва. Знойный воздух был неподвижен, а издали казалось, что он струится от жары. Солнце стояло высоко в безоблачном яркосинем небе. Мы прошли миль десять по грейдеру вдоль железной дороги. Рельсы тускло поблёскивали в ста футах от нас. По ним, неистово грохоча, часто пробегали поезда. На подъёмах они замедляли ход и шли так тихо, что младенец мог бы легко вскочить на площадку любого вагона. Но разделявшая нас сотня футов была неизменно сотней футов по вертикали — железная дорога, как и прежде, проходила по террасообразному выступу скалы под нами, и спуск к ней был совершенно отвесным и гладким, как стена.

Вскоре грейдер свернул в сторону от железнодорожной трассы и перешёл в просёлок. Он тянулся по плоскогорью. Вокруг были камни и глина, и только кое-где торчали из земли кусты чахлого пыльного бурьяна. Вдоль дороги и чуть поодаль белели скелеты лошадей, рогатые черепа быков, а как-то раз мы наткнулись и на скелет человека.

— Это наделали гремучие змеи! Их здесь уйма. Смотри, вот и они! Только эти уже безвредны... — и Джим носком башмака подбросил высохшую серую шкуру. — Здесь заснуть — не проснёшься...

Мы прошли ещё миль пять. С каждым шагом усталость всё сильнее давала чувствовать себя. Мы шли всё медленнее и медленнее. Смеркалось. Раскалённые за день скалы щедро отдавали тепло. Вечерней свежести не было и в помине. Хотелось спать или хотя бы только прилечь на землю и вытянуть своё ноющее от утомления тело. Но из-за гремучих гадин мы не ложились. Мы не могли позволить себе даже присесть. И Джим, и я понимали — стоит опуститься на землю, как мы оба тотчас уснём. Крепились несколько часов. Потом всё стало безразличным. Веки отяжелели, на ходу слипались, и казалось — нет силы удержать их открытыми. В душе жило только одно-единственное, огромное, ежеминутно нарастающее, всеподавляющее же-

¹ Ура — Мэри!
Ура — ягнёнку!
Ура — большевикам,
Которым сам чёрт не страшен!

лание — спать, спать, спать. Каждые несколько минут то Джим, то я, сваливались на землю, как мешки с мягкой глиной. И когда падал один, сознание второго на минуту пробуждалось — он пускал в ход просьбы, уговоры, угрозы, кулаки, и кое-как нам удавалось преодолеть ещё сотню шагов...

С наступлением темноты воздух, наконец, посвежел. Дышать стало легче, но представлять ноги уже не хватало сил, и вот, наткнувшись на что-то твёрдое, я не сумел перешагнуть через препятствие и упал. К нашей радости это «что-то» оказалось рельсами железной дороги. Мы оживились, почувствовали прилив бодрости, и побрели по шпалам.

Только на рассвете, замёрзшие, голодные и совершенно изнемогающие, добрались мы до станции. Она была так мала, что залом для пассажиров служила комната шириной в пять и длиной в семь шагов. На станции мы не нашли ни души. В полутьмине шестого появился начальник. Как выяснилось из разговора, он исполнял здесь также и обязанности дежурного, телеграфиста, товарного и пассажирского кассира, весовщика, а заодно, кажется, ещё и грузчика, сторожа, дворника... От него мы узнали, что поезда тут останавливаются только раз в три дня, последний был вчера ночью, и следующий будет теперь через два дня. Увидев наше огорчение, он поспешил нас успокоить, объяснив, что по требованию, поднятием руки, можно остановить любой проходящий поезд и купить билеты у кондуктора. Бывает — удачливый золотискатель, саясь здесь в поезд, покупает билет в спальном вагоне прямо до Монреала и, пока пересечёт континент, пропивает в вагоне-ресторане все свои деньги. «Это хороший бизнес — компании выгодно!» — сказал начальник станции. Мы узнали также, что товарные поезда проходят здесь не замедляя хода, и поэтому возможность посадки на «красный пульман» вблизи от «Серой лошади» совершенно исключалась. Но узнали мы и другое — в нескольких милях восточнее начинается довольно крутой подъём... Это было главное.

Весь «город» у станции состоял из десятка деревянных дощатых домов. На одном из них, перекосившемся от дряхлости и омоложенном свежей оранжевой масляной краской, висела вывеска: «Ресторан Ориент». Сквозь летнюю дверь, представлявшую собой раму с натянутой на неё мелкой металлической сеткой от мух и комаров, до нас донёлся чей-то хриплый голос, и мы поняли, что в ресторане, несмотря на ранний час, уже есть посетители... Мы вошли.

Это была типичная захолустная харчевня. Зал был пуст. Столики с жёсткими диванами стояли в закрытых дощатых кабинах, расположенных рядами вдоль стен, как обычно в американских ресторанах. Заспанный китаец-хозяин, он же официант и повар, перетирал у стойки посуду. Грязная тряпка в его руках, очевидно, изображала салфетку.

В первой кабине слева, с открытой портьерой, заменяющей дверь, сидел за столиком единственный посетитель, который разговаривал сам с собой. Это был человек лет шестидесяти. Его узкие и короткие старомодные синие брюки слежались поперечными складками, которые выдавали их редкое праздничное применение; поверх белой рубашки без воротничка, с одиноко торчащей медной запонкой, на нём был красный свитер-кофта на пуговицах, связанный из толстой грубошёрстной нитки. Так по воскресеньям одеваются обычно пожилые рабочие на фермах в канадской провинции.

— Хо! Типичный случай отравления алкоголем, как сказал бы профессор Летбридж... Ранняя пташка... — еле ворочая языком, устало произнёс Мак-Гро. — Будни... Шесть утра... А старик уже готов, налился...

Старик действительно выглядел вдребезги пьяным. Но не это привлекло моё внимание. Я загляделся на его длинные и широкие в кости, граблеобразные, коричневые от весеннего загара руки, натруженные десятилетиями тяжёлой работы, узловатые, растрескавшиеся и мозолистые... Старик не мог с ними совладать — они нервно метались, не находя себе ни места, ни покоя, то появляясь на столе, то исчезая под ним... Старик опускал их в карманы, но тотчас с силой выдёргивал наружу, потом на мгновение задерживал их у себя на коленях, гневно сжимал в кулаки, а затем бессильно разжимал их, и тогда его руки безвольно повисали вдоль спинки стула...

Не обращая внимания на наш приход, он что-то бормотал себе под нос, кого-то ругал и словно требовал от батареи пустых пивных бутылок справедливости и сочувствия.

— Смеётесь! — вдруг обернувшись к нам, с горечью сказал старик, хотя мы вовсе не смеялись. — Молодые. Вам хорошо! Руки сильные. Работа, наверно, хорошая. Выпросили себе лишний выходной съездить в Кэмлупс погулять, а? С золотых приискоз, а?

— Лишний выходной?! — криво усмехнулся Джим. — Старик определённо острит... Нет, ты только посмотри, какой блестящий образец типичного английского юмора... За последний год у меня было 365 лишних выходных и абсолютно постоянное занятие — искать работу!.. Дайте нам пару кофе и поджаренный хлеб! — кивнул он хозяину. — Да, да, больше ничего... Расскажи ему, Бóрис, о наших золотых приисках...

И я рассказал старику, от усталости с трудом подбирая слова, о наших скитаниях по всей Канаде в бесплодных поисках работы; рассказал, как нас ссадил с поезда полисмен и «любезно» проводил на грейдер с разрушенным мостом; как мы побывали в лагере безработных, где были сотни молодых и сильных, но никому не нужных рабочих рук...

— Так вы думаете — я пьян? — сказал старик, выслушав мой рассказ. — Нет, старого Фрэнка О'Брайен не свалишь дюжиной пива, нет, сэр! Это просто нервы. Такой, понимаете, случай! Двадцать пять лет меня никто не видел пьяным! Скажи, Ли Сун-мо!

— Это ошнь плавда! Флэнк ошнь тикая, ошнь холошая шеловек, — одобрительно закивал хозяин, ставя нам на стол горячий кофе. — Ошнь лаботать. Совсем ошнь мала-мала гулять. Флэнк вчела-сегодня надо пить — пенсия!

— А, ну тогда всё ясно! — протянул д-р Мак-Гро. — У старика праздник: выслужил пенсию.

— Двадцать пять лет! Нет, сэр, вы только подумайте, шутка ли, двадцать пять лет терпеть обиды, оскорбления! Я терпел. Для чего? Я вас спрашиваю — для чего? Ну, зато теперь всё кончилось — оттерпелся! Вы видите жёлтое лицо Ли? А? Так вот, это самый белый человек в этом городе! Да-да, сэр! Не смотрите на цвет его кожи. Душа у него белая... благородная. А вот люди, которых я всегда считал белыми, на самом деле жёлтые, предатели и подлецы! — Кулак Фрэнка гневно опустился на стол, и посуда мелко задребезжала во всём ресторане. — Вам, ребятки, ничего не понятно, да? — И старик, начав издалека, рассказал нам причину своего появления в харчевне в такую рань.

— Сколько работ и специальностей пришлось мне переменить за первые двадцать лет самостоятельной жизни! — сказал Фрэнклин О'Брайен. — Сколько городов я объездил! Исколесил Штаты, Нью-Фаундленд, Канаду — всего теперь и не вспомнить. И везде одно и то же — вечно за тобой по пятам костлявая старуха-безработица бегаёт.

Приходилось работать и шахтёром, и ковбоем, и каменщиком, и плотником, и маляром, и штукатуром, и пекарем, и кузнецом, но чаще всего — чернорабочим. Вот только устроишься, как снова тебя на улицу вышвыривают: или работы кончилось, или локаут, или хозяин обанкротился.

...Едва начнёшь осваиваться с новой специальностью, скажем, маляра, — исчезают заказы. Идешь работу месяц-другой — не нужны маляры! Нужны плотники. А о ремесле плотника — никакого представления. Но выбора нет. Приходится называть себя плотником — три года, мол, работал, дело знаю! — иначе не возьмут. В тот же день форман увидит, что ты ни черта не смыслишь — выгонит. Но за день заплатить должны — уже день-два прокормиться можно. Так три-четыре места перемеришь — смотришь, немного подучился. Попадаешь на пятое место — там и две недели продержишься, пока заметят подвох. А на шестом месте ты и впрямь уже плотник, — говорил старик с невесёлой усмешкой. — Но только попривыкнешь, изучишь дело, поработаешь месяца два-три — кончилась работа. Не нужны больше плотники, нужны кузцыцы!. И всё начинается сначала..

...Но это ещё счастливые времена. А чаще — нигде не найти места! Тогда хоть совсем подыхай с голоду. Я силой отличался в молодости, — рассказывал О'Брайен. — На спор, один своим горбом корову поднимал! Руки были такие, что кузнечный молот игрушкой казался, — и старый рабочий положил свои огромные, всё ещё могучие руки на стол. — А ведь целыми годами нечем занять их было. Вот и думаешь — до чего же паршиво устроена жизнь: никому ты, Фрэнк, не нужен вместе со своими руками! Хоть и можешь ты ими землю обработать, урожай собрать, дворец выстроить, в общем — хоть гору своротить, а почему-то должен голодать! А рядом тот, кто никогда не работал, живёт в своё удовольствие и богатеет...

Фрэнк видел, что не он один страдает от такого устройства мира, и стал членом профсоюза, участвовал в забастовках, дрался со скебами — штрейкбрехерами. Почувствовал — когда рабочие действуют все вместе, заодно, они — сила и многого могут добиться.

Тридцать лет тому назад О'Брайен женился. Пошли дети. После трёхмесячной неудачной забастовки на шахтах в Пенсильвании жена начала упрекать Фрэнка в плохом отношении к детям. «Забастовки до добра не доведут, — говорила миссис О'Брайен, — о детях пора подумать... У тебя на первом плане профсоюз, товарищи, а дети от голода пухнут!..»

— Нет, ребята, скебом я не стал. Я никогда не был жёлтым, — тихо говорил: нам старик, и его лицо преображалось, становилось волевым и суровым, как у старого воина. — Мне хоть глаза выколи, а предателем я не сделаюсь. Но детей жалко стало — они у меня все трое болели, прямо гнить начали от фурункулов. Врачи говорили: от постоянного недоедания. Я это и без врачей понимал. А чем малышам можешь? У меня даже на лекарства денег нехватало, где там питание улучшать. Умер мой младший... Я долго думал — куда бы устроиться на солидное место, на постоянную работу, чтобы не дрожать перед каждым кризисом и пенсию на старость себе выслужить. Некоторые мечтали стать почтальонами, полисменами или пожарными. Кондуктор трамвая — тоже очень солидная должность. Всё это постоянная работа: никакой кризис, никакая безработица тебе не страшны! И пенсии получают...

Но полисменов я спокойно видеть не мог, особенно с тех пор, как они мне во время забастовки в Пенсильвании ребро сломали. Да и совесть мешала в такое дело соваться. А почтальоном или пожарным я бы пошёл. Но ведь на эти должности принимают только бывших солдат, с рекомендациями от их офицеров. А мне воевать не пришлось, слава богу...

Вот в это время я и узнал, что набирают рабочих на Канадскую национальную железную дорогу — Си-Эн-Ар. Нанялся и переехал сюда, в эту глушь. Железная дорога — тоже солидное предприятие. Здесь тоже пенсия. Двадцать пять лет отработал — пенсия! Я решил больше не дурить: никаких забастовок, как на шахтах, хватит! Буду заниматься своим делом, работать и растить детей. Работал я как лошадь! Хоть и платили здесь меньше, чем в Штатах, но зато работа была постоянная. И я знал — старость моя будет обеспечена. — О'Брайен тяжело вздохнул, достал из кармана старинный кожаный кисет, свернул сигарету из «бул-рош» — крошки табачного листа вроде махорки, — угостил нас и, с облегчением затаившись табачным дымом, продолжал рассказывать.

...Ему часто приходилось сдерживать свой горячий характер. Форман издевался как хотел. Заставлял работать по 16 часов, за двоих, ругался последними словами без всякой нужды. Требовал, чтобы О'Брайен каждую субботу, после получки, поил его пивом. О'Брайен всё терпел, всё безропотно сносил, зная, что каждый месяц, каждый день приближают его к пенсии.

— Мне не жалко было своих рук, если форману требовалось вырыть колодец или вскопать огород. Правда, хотелось мне его иногда задушить, — говорил Фрэнк, — или хотя бы расковырять его похабное рыло этими руками: при мне лез целоваться к моей миссис, обнимал её. Но я сдерживался, чтобы он меня не выгнал с работы. Отвращивался, будто ничего не замечаю, а сам — губы себе прокусывал. Легко ли?

«Пива!» — кричал форман, непрошенный вваливаясь ночью ко мне домой. И я как мальчишка бегал, разыскивал ночью пиво. И ещё должен был улыбаться, делать вид, что обрадован его вниманием. И я терпел все унижения, всё терпел. И заставлял себя улыбаться. И всё высчитывал: до пенсии осталось 20... 15... 10... 5 лет...

Потом мистера Джигса, старого формана, перевели в Кэмлупс, повысили. Сюда прислали нового, м-ра Моррисона. Этот не ругался, пива не пил. Он требовал хомбрю¹ и виски. Отказать нельзя — я лез в долги, а его поил.

Неделю тому назад новый форман мне говорит: «Готовь, старик, хомбрю — через месяц на пенсию!». И правда, оставалось ровно тридцать дней до двадцати пяти лет. Я ему: «Что там хомбрю! Джин будет! Я уже припас бутылочку доброго, старого ирландского джина. Отпразднуем как полагается!» Шутки ли, сэр: слушать и то долго и нудно, а терпеть двадцать пять лет каково? Я и сам понять не могу, как это я ни разу не съездил старого формана по его похабной роже? Щуплый. Ростом мне и до груди не доставал, а я ему покорялся! Откуда только набралось у меня столько терпения и... подлости! Ведь это же подло — делать вид, что не замечаешь, как лезут к твоей жене. И всё ради этой проклятой пенсии! Ну, теперь-то конец!

Вчера меня вызвал начальник станции. У него сидел рационализатор. Управление дороги прислало его рационализацию наводить. Прилизанный такой господин.

— Фрэнклин Ричард О'Брайен, — это начальник говорит мне, а сам смотрит на приезжего, — получите расчёт. Вы уволены. С работой не справляетесь.

Я ему спокойно (а у самого в горле пересохло):

— То есть, как расчёт? Мне двадцать три дня осталось до пенсии! Как же пенсия? Двадцать пять лет ведь справлялся. Вы же сами хорошо знаете. За двадцать пять лет ни одного замечания не получил...

Тут эта прилизанная тварь вмешивается:

— Двадцати пяти нет! Если бы было двадцать пять, то вы, разумеется, имели бы право на пенсию. Но двадцати пяти нет.

— Как же? — говорю я, а сам думаю: недоразумение... ишь, издевается, сукий сын. — Начальник может подтвердить — двадцать пять! И с чем это я не справляюсь? Давайте любую работу — сделаю не хуже молодого!

А он отвечает:

— Вы же сами сказали, что до двадцати пяти лет ещё двадцать три дня. Значит, только двадцать четыре года и триста сорок два дня. Значит, двадцати пяти ещё нет, и Компания имеет право вас уволить, если находит это нужным.

А я опять:

— А как же пенсия? Что теперь будет?

А он:

— Здесь не богадельня! Компания не может содержать престарелых, чтобы они дотянули до пенсии. Получите ваши деньги и убирайтесь отсюда!

Воспалённые красные глаза старика наполнились слезами. Голос дрогнул, захрипел и петухом сорвался на рыдающую ноту:

— «Убирайтесь отсюда!». Я заработал эту пенсию! С чем мне к моей миссис являться? Кому я теперь нужен? Никто не наймёт на работу... Нищий на старости лет... Нищий!.. Я не уходил. Я хотел добиться справедливости. Меня вытолкали вон полисмен... Как дальше жить? Что мне делать теперь?

Он долго молчал. Потом, вдруг стряхнув с себя оцепенение, ударил тяжёлой ладонью по столу. Стакан упал на пол. Слегка раскачиваясь и расправляя плечи, опираясь на руки, старик медленно поднимался во весь свой громадный рост. Пока он сидел, я и не предполагал, что он так высок!

— Это им даром не пройдёт! — гневным голосом глухо проговорил О'Брайен, качнув головой в сторону станции. — Подлые твари ещё вспомнят старого Фрэнка! Они у меня ещё поймут, что такое двадцать четыре года и триста сорок два дня покорности! Они ещё всё поймут, всё... всё...

И уходя, он протянул нам с Джимом на прощанье свои замечательные рабочие руки.

¹ Самогон.

9. ВОЗВРАЩЕНИЕ.

Пароходное агентство находилось в районе старого города, прилегающем к порту, в одном из тесных переулков Монреаля, сдавленных между Сент-Джеймс-стрит и Рю-де-Коммю. Оно уютилось в ничем не примечательном неопрятном помещении и с улицы выглядело, как пустующая и запущенная бакалейная лавка. Через грязные и пыльные стёкла витрины не без труда можно было рассмотреть засаленные, обтёртые спинами и локтями бесчисленных посетителей стены и стойки, которые были когда-то выкрашены масляной краской в оливковый цвет. Бросалось в глаза полное отсутствие какой бы то ни было рекламы — неотъемлемой принадлежности стен и витрин всех пароходных агентств. Снаружи не было даже и вывески. Однако любое агентство могло бы позавидовать популярности этой невзрачной конторы и оживлению, царившему в ней.

В Канаде это агентство было единственным в своём роде — кризис и безработица не ухудшали, а наоборот, улучшали его бойкий бизнес. Об этом агентстве знали и мечтали сотни тысяч безработных выходцев из Европы, рассеянных по всей стране от Атлантического до Тихого океана. Этим людям, обречённым на нищету и голод, оно казалось спасением ото всех бед. Оно воплощало в себе единственную возможность вернуться на родину из этой злосчастной Америки, расхвалившей своё пресловутое процветание, а на самом деле поражённой, точно проказой, всеми гнойными язвами жестокого кризиса и тщетно пытающейся вырваться из его мёртвой хватки.

Агентство в старом Монреале не продавало билетов на комфортабельные океанские лайнеры, пересекающие океан за четыре дня или неделями бороздящие южные моря по капризу богатых любителей тропической экзотики... Оно занималось наймом проводников скота на грязные торговые пароходишки — пловучие гробы, перевозящие коров и свиней в Европу. Уделом такого пассажира был в течение двух недель уход за скотом в море. Это агентство получало от пароходных компаний значительную мзду за каждого завербованного проводника. Когда-то, во времена «просперити», оно платило из этой суммы проводнику 40 долларов за работу и предоставляло ему бесплатный обратный билет на пассажирском пароходе, стоивший ещё 120 долларов. А теперь, возобновив вербовку и получая те же деньги от пароходных компаний, но пользуясь безработицей, монреальское агентство, сверх положенных ему комиссионных, оставляло себе и эти 160 долларов, причитающихся проводнику. Больше того, с каждого желающего плыть со скотом в Европу оно брало ещё 25 долларов, очевидно за удовольствие убирать коровий навоз во время приступа морской болезни...

После путешествия на крышах товарных поездов через весь американский континент от Тихого океана до залива Св. Лаврентия, после бесконечных мытарств в Скалистых Горах и прериях, я вошёл, наконец, в это учреждение, окрылённый надеждой вскоре вступить с его помощью на землю далёкой родины. Я бодро ждал своей очереди в прокуренной и заплёванной приёмной, переполненной безработными англичанами и шведами, французами и итальянцами, поляками и чехами.

После четырёх часов ожидания наступила желанная минута — меня вызвали в отделение за стеклянной перегородкой.

— Ваш паспорт, — произнёс сухопарый человек, закуривая сигару. — Вы русский?

Засунув толстую сигару в правый угол рта и приняв деловой вид, он надменным и решительным тоном заявил мне, возвращая паспорт:

— Сожалею. Столько желающих вернуться в Европу...

Карточный домик моих надежд, надежд вернуться, наконец, к человеческой полноценной жизни на Советской родине, уже много раз в эти тяжёлые годы рушился самым злосчастливым образом. Но я не мог привыкнуть к горечи этих постоянных разочарований! Да и как к ней можно было привыкнуть!

Я обошёл сотни капитанов всевозможных посудин, начиная с блестящих пассажирских теплоходов и кончая старыми ржавыми калошами под всеми флагами мира, не гнушался никакой работы, но всегда, как только дело доходило до моего паспорта, конец был одним и тем же... И вот снова я у разбитого корыта. И какой леший заставил меня возвращаться сюда из Ванкувера?

Но мне шёл 21-й год, и моё стремление вернуться домой до того, как я подохну с голоду за океаном, было таким неодолимым, а уверенность в конечном успехе столь непоколебимой, что и эта неудача не могла породить во мне отчаяния.

То, чего мне не удалось сделать в Ванкувере — выехать «зайцем», спрятавшись в трюме какого-нибудь судна, — было бы просто безрассудно пытаться осуществить здесь, в Монреале: прежде чем попасть в океан, пароход из Монреаля должен спуститься больше тысячи миль по реке и узкому заливу Св. Лаврентия. За это время меня легко бы обнаружили и спустили на берег.

После некоторых размышлений я решил попробовать снова поговорить с клерками в обычных пароходных агентствах: хуже не будет! Их множество существовало в Монреале, и особенно много попадалось на Крэйг-стрит. Я безрезультатно обошёл с десяток контор — одну за другой. Во всех царили тишина и покой. Посетителей не было. Никто не торопился покупать билеты для морского путешествия. Клерки скучали и поэтому терпеливо меня выслушивали, развлекаясь хоть этим в своём монотонном безделье...

Наконец, клюнуло! Владелец агентства вблизи вокзала Си-Эн-Ар соблазнился моими 25 долларами, сбережёнными с таким трудом. Через два дня я мог отплыть в качестве кочегара старого французского торгового судна, направлявшегося в Шербур. Нужно было только получить визу французского консула. Я с трудом разыскал его канцелярию среди бесчисленных торговых контор и промышленных фирм в длинном коридоре второго этажа одного из огромных зданий в деловом районе Монреаля.

Осмотрев мой паспорт, секретарь объявил, что он просрочен, а поэтому французское консульство не сможет дать мне визу. Уговоры и объяснения здесь не помогали.

— Продлите свой паспорт в советском консульстве, — сказал секретарь, — и всё будет в порядке!

Придавленный, точно тяжёлым грузом, медленно поплёлся я «домой» — в рабоче-фермерский клуб имени Максима Горького, где я уже несколько дней ночевал в подвале в обществе других безработных.

Продлить в советском консульстве! Ближайшее наше консульство в то время находилось в Лондоне. В конце прошлого года я уже посылал туда свой пятилетний заграничный паспорт на продление и просил помочь мне вернуться на родину. Продлив паспорт на шесть месяцев, консульство сообщило, что сможет отправить меня в Союз бесплатно на советском пароходе из Лондона. Но помочь мне добраться до Англии оно не могло — в Канаду не ходили наши пароходы. Продление паспорта заняло тогда две недели. Сейчас на это потребовалось бы не меньше времени.

Положение оказало себя безвыходным. Пароход меня ждать не будет. Все мои планы снова проваливались...

Я опять начал обходить пароходные агентства. Но безуспешно. То не было подходящих судов, то они не нуждались в рабочих руках...

Я уже был близок к настоящему отчаянию, когда однажды, в том самом подвале русского рабоче-фермерского клуба, где я ночевал, до моего слуха донеслась неожиданная новость... В Монреале, в Мак-Гиллском университете, будто бы находится в командировке советский учёный, ассистент академика Павлова — профессор Андреев. Товарищи в клубе говорили, что собираются пригласить профессора прочитать им лекцию о павловском учении.

На следующее утро, набравшись смелости, я бросился разыскивать профессора Андреева и действительно нашёл его в физиологической лаборатории университета. Он стоял у стола, на котором покоилась в станке подопытная собака. Это был высокий, хорошо сложенный, светловолосый человек с приятным, но несколько строгим лицом, лет тридцати пяти на вид.

Он выслушал мою просьбу о помощи и сказал, чтобы я пришёл завтра, а он тем временем постарается что-нибудь предпринять.

Так часто преследовали меня неудачи, так часто обманывали меня американские хозяева и чиновники, столько лжи и бездушия видел я за океаном, что даже теперь,

когда мне обещал свою помощь человек из Советской страны, наш русский учёный, я сначала недоверчиво отнёсся к его словам. Мне не верилось, что профессор что-нибудь для меня сделает. Но к вечеру какая-то безотчётная радость охватила меня. Я всё время вспоминал, с какой внимательностью товарищ Андреев расспрашивал меня о моих злоключениях, и вдруг почувствовал уверенность в том, что мои невзгоды подходят к концу.

На следующий день в назначенный час я был у него в лаборатории. Он сказал мне, что перетоворил с одним членом Общества Друзей Советского Союза, и тот обещал сделать всё, чтобы я смог попасть на пароход, отправляющийся прямо в СССР.

Вечером, по совету профессора Андреева, я отправился к этому человеку. Принял он меня как родного, заставил поужинать с ним, без конца расспрашивал о моей жизни здесь и в Советском Союзе. Он рассказал мне, что в Нью-Йорке открылось советское агентство «Интуриста». Туда-то он и решил немедленно обратиться с просьбой устроить меня рабочим на пароход.

Через два дня был получен ответ: по ходатайству агентства меня примет на работу капитан «Грипсхольма», шведского теплохода, отплывающего в Ленинград. «Грипсхольм» выходит из Нью-Йорка послезавтра и ещё через день зайдёт за пассажирами в канадский порт Галифакс, куда надлежит прибыть и мне... Для оформления документов я должен срочно отослать свой паспорт в Нью-Йоркское агентство «Интуриста», так чтобы он был получен там завтра...

До отхода в Нью-Йорк последней почты оставалось два часа. Этого времени было более чем достаточно, чтобы доехать от Белмонт-авеню, где жил мой новый знакомый, до почтамта.

Два последних дня в Монреале я жил в счастливой лихорадке... Товарищ из Общества Друзей Советского Союза выхлопотал мне льготный железнодорожный билет, и мои заветные 25 долларов были потрачены на проезд до Галифакса: на сей раз я уже не мог рисковать, путешествуя «зайцем», и ехал в пассажирском вагоне. При мысли, что я вдруг опоздаю к приходу «Грипсхольма», меня бросало в дрожь.

Один из товарищей по клубу Максима Горького — шофёр такси — бесплатно доставил меня на вокзал. Другие, сложившись, купили мне на свои скудные средства разной снеди в дорогу. Они провожали меня пожеланиями новой счастливой жизни на благо Советской страны. Жаль, что не было среди моих новых друзей старого друга Джима Мак-Гро — он уехал с большим отцом к родственникам на ферму... Вот кто порадовался бы за меня!

...В вагоне я до рассвета проговорил со своими попутчиками. Это были финны, лесорубы, большой группой, с семьями, направляющиеся в Советский Союз, в Карелию на постоянное жительство. Они вслух мечтали о новой жизни в Карельских лесах...

Утром мы проснулись в Галифаксе. Поезд стоял в тупике на пристани. Через полчаса на горизонте показался дымок, и вскоре к причалу подошёл двадцатитысячетонный «Грипсхольм».

Пассажиры устремились по белому трапу на палубу лайнера. Их вещи погрузили в огромную сетку и реей подняли на борт. Не чувствуя себя полноправным пассажиром, я дождался, пока схлынул людской поток и только тогда поднялся по сходням. У трапа на палубе стоял офицер, проверявший билеты. Я обратился к нему. Назвав себя, я сказал, что мои документы должны находиться у старшего помощника капитана, что по договорённости я буду работать на теплоходе до Ленинграда за бесплатный проезд. Швед плохо говорил по-английски и, очевидно, не понял меня. Он отрицательно качал головой.

— Нет, нет! — говорил он. — Нам не нужны никакие рабочие руки. Мы никого не нанимаем.

Все пассажиры уже были на борту. Погрузка закончилась. «Грипсхольм» предупредительно гудел. Я снова и снова пытался объяснить коренастому офицеру с багровым лицом, что мои документы на теплоходе и что я буду на нём работать, но

он только отмахивался от меня — пока ещё терпеливо — и неизменно твердил, что это ошибка, что ему ничего не известно.

Меня обдавало холодным потом. Я был уверен, что мои документы на корабле, как об этом сообщил «Интурист», а швед-офицер ничего не хотел понимать и всё отрицал. Вот-вот «Грипсхольм» уйдёт, уйдёт без меня!

Наконец, я надоел моему шведу. Он повернулся, чтобы уйти, и, очевидно, хотел приказать матросам прогнать меня вон с корабля. В это время в мегафон прозвучали слова команды — и трап стал медленно подниматься. Я схватил шведа за рукава и заорал на него во всё горло в последней попытке заставить его понять себя...

— А, За-вад-ски! — вскричал он. — Да, да. Это есть!

Когда я, взмокший от пота и счастливо улыбающийся, через минуту снова подошёл к офицеру, чтобы узнать о своих обязанностях, «Грипсхольм» уже отвалил.. Изумрудный просвет между его бортом и стенкой пирса с каждым мгновением становился всё шире и шире.

Стюард проводил меня на корму, в трюм, в матросский кубрик и показал мне мою койку.

Здесь было грязно, скученно и душно. Койки, устроенные в три яруса, вплотную примыкали одна к другой и походили на нары. В этом тесном помещении, площадью метров в десять, размещались двадцать один человек. Но сначала я всего этого не замечал. Я был счастлив. Впервые по-настоящему счастлив! Я возвращаюсь на Родину! Скоро я буду дома, буду учиться, буду со всем своим народом участвовать в великой стройке, о которой до сих пор я только читал или слышал... Мне хотелось петь и орать, как мальчишке, хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью, переполнявшей и распиравшей меня так, что я лопнул бы, если бы не излил хоть частичку её какой-нибудь живой душе. Стюард, которого звали Хелмар, молодой парень с хорошей улыбкой и добрыми глазами, знал всего с десяток английских слов, а я не знал ни одного шведского. Однако он понял, что я русский и радуюсь возвращению в Россию, и готов был разделить со мной эту радость. Наши койки висели рядом. Изъяснялись мы на пальцах, с добавлением некоторых, понятных обоим, английских слов. В кубрике мы были одни.

— Коммунист? — спросил он, тыча меня пальцем в грудь... Затем, приложив руку к сердцу и широко улыбаясь, гордо сказал о себе: — Коммунист!

Здесь внизу особенно сильно ощущался непрерывный гул работающих дизелей. Весь корпус корабля исходил мелкой дрожью от беспрестанной вибрации. Вначале казалось невероятным, что суп не разливается из тарелок, что люди способны разговаривать и даже писать. Но постепенно нервы привыкли к этому дребезжащему гулу, и он больше не вызывал раздражения. Он стал ощущаться просто как сплошной звуковой фон и даже не мешал слушать музыку на теплоходе.

...Я снова поднялся на палубу. Хелмар показал мне, как пройти к старшему помощнику капитана. Тот принял меня довольно любезно в своей маленькой, но роскошно отделанной полированным красным деревом и утопающей в коврах каюте. Я понял, что любезность старпома относится не столько ко мне, сколько к «Интуристу» и объясняется желанием поддерживать хорошие отношения с агентством, с которым его пареходная компания ведёт дела.

Мои документы были в порядке и хранились у него.

Он предложил мне выбрать дневную или ночную смену для работы. Я выбрал ночную, чтобы не торчать всё путешествие где-нибудь в трюме, а быть свободным днём, находиться на палубе и любоваться океаном.

Оказалось, что единственная работа, которую мне могут предложить, — это выполнение обязанностей санитаря в судовом госпитале. Но когда я узнал, что больные в этом госпитале сумасшедшие, честное слово, мне стало не по себе. Впрочем, моё самочувствие никого не интересовало.

Сумасшедшие были шведами и финнами, которых депортировало на родину американское правительство. Оно считало, что дешевле оплатить их переезд через океан, чем всю жизнь содержать этих людей в больницах.

На кормовой палубе особняком стояла двухэтажная рубка. На втором этаже располагалось наше отделение судового госпиталя в составе трёх кают. В средней помещалось шестеро тихопомешанных мужчин разных возрастов. В левой — буйнопомешанная женщина средних лет и спокойная шестнадцатилетняя девушка. В правой каюте, с зарешеченными иллюминаторами, находился буйнопомешанный мужчина лет сорока, атлетически сложенный великан.

Кроме меня, в ночной смене дежурил ещё один санитар, молодой швед, Роберт Содерхолм, который так же как и я работал на теплоходе за бесплатный проезд домой. В наши обязанности входило наблюдение за общим порядком и раздача больным завтрака, состоявшего из тарелки неизменной овсяной каши.

Мы являлись на дежурство к семи часам, после ужина. С нашим приходом оканчивались прогулки больных по мостику вокруг рубки. Все они беспрекословно возвращались в свои каюты, за исключением великана. Его водворяли на место не совсем обычным способом. Приходила хорошенькая сестрица и, улыбаясь, угощая его сигаретами и шоколадом, заманивала в каюту. В это время мы и штатные санитары уже стояли за тяжёлой дверью. Как только великан заходил в каюту и, усаживаясь напротив сестры, начинал мило с нею беседовать, она выпархивала на мостик, а мы в то же мгновение захлопывали и запирали дверь. В ярости что-то крича по-шведски, великан бился своим огромным телом в дверь, тщетно пытаясь высадить её плечом. Постепенно он затихал. Очевидно, кроме всего прочего, он страдал потерей памяти, потому что каждый день, в течение всего плавания, эта сцена повторялась с удивительной точностью. Снова приходила сестра, и снова великан, простодушно улыбаясь, радовался её приходу...

Ночи мы проводили в средней каюте с тихопомешанными. Это были спокойные люди, которые мирно беседовали между собою или с нами, играли в шашки, домино или карты и решительно ничем не проявляли своей ненормальности. Разговорившись, мы узнали, что всё это люди физического труда. Создавалось впечатление, что они, пожалуй, даже отдыхают здесь на теплоходе, отдыхают от своего каторжного существования в «процветающей» Америке, впервые в жизни не заботясь о собственном пропитании и не торопясь на работу. Их вещи были с ними, они регулярно совершали свой туалет и даже самостоятельно брились.

Трое из этих шести рассказали нам, в различных вариантах, примерно одинаковую историю. В Штатах умер богатый бизнесмен. Осталось наследство и два или несколько наследников. Рассказчик был в их числе. Чтобы приобрести право на его долю наследства, остальные родственники, побогаче, сговорившись между собою, объявили его сумасшедшим. А так как в Америке сколько угодно частных психиатрических больниц, то, заплатив врачу-боссу несколько дороже обычного, состоятельный мерзавец может без труда упрятать кого угодно в сумасшедший дом...

Хорошо узнав за пять лет американские нравы, я ни на минуту не сомневался в том, что всё это могло быть самой чистой правдой.

Шестнадцатилетняя девушка из левой каюты была тиха и застенчива. Она рассказала нам, что лишилась родителей, с которыми всю жизнь жила в Штатах: отец умер от туберкулёза, а мать погибла под автомобилем. Теперь единственный близкий человек у неё — это тётка, которая живёт в Швеции. Оставшись сиротой без всяких средств к существованию, девушка решила вернуться на родину своих предков. Но она никак не могла этого сделать, пока соседи не надоумили её притвориться сумасшедшей, чтобы таким образом добиться бесплатного проезда в Швецию.

Больше всего хлопот причиняла нам её соседка — пожилая финка. Началось с того, что она непременно хотела немедленно бежать в Хельсинки. Это было единственное слово, которое она произносила, но произносила она его очень выразительно и непрерывно, иногда тихо, иногда с воплем. Очевидно, она боялась, что мы не высадим её в Хельсинках, а завезём обратно в Америку, в ненавистные и враждебные ей края.

Когда утром, после первой ночи нашего дежурства, мы принесли ей овсянку и кофе, она, не обращая внимания на еду, сразу же попыталась выскочить из каюты

с душераздирающим криком «Хельсинки!». Она не обращала ни малейшего внимания на все наши объяснения и уговоры и бесконечно повторяла:—«Хельсинки! Хельсинки! Хельсинки! Хельсинки! Хельсинки! Хельсинки!..». Девушка, её попутчица, тоже ничем не смогла нам помочь. Попытки захлопнуть дверь, поставив тарелки на стол, чуть не закончились весьма плачевно. Она в мгновение ока несколькими прыжками достигла двери и схватила пальцами за косяк. Ещё мгновение — и мы раздробили бы ей пальцы. Пришлось провозиться с нею больше часа, прежде чем удалось закрыть каюту. Мы диву давались — откуда только у этой тшедушной женщины бралась такая сила...

Ночью нам не полагалось спать. За этим следил фельдшер, время от времени проверявший нас. Это был худой, как жердь, неприятный, сальный тип, с огромным кадыком, редкими белёсыми волосами альбиноса и прыщавым лицом. Он любил присесть к нам и, грязно смакуя подробности, похвастаться, как в некоторых европейских портах соблазнял девчонок парой американских чулок или банкой американских консервов. Наверное, сегодня эта гадина распинается в каком-нибудь западноевропейском «маршаллизованном» кабачке о пресъсходстве Америки над всем остальным миром...

Мы сразу же решили перехитрить эту «бледную спирохету», как окрестил его Роберт Содерхольм. Нарушая запрет, каждый раз под новым предлогом, мы запирали дверь нашей каюты, чтобы он не застал нас врасплох, и, чередуясь, спали, пока больные могли обойтись без нас.

Иногда мы подолгу просиживали с Робертом, вспоминая свою жизнь на родине и в Америке. Каждый из нас любил родную страну, любил её природу, леса и поля, моря и горы, обычаи и народ. Но в то время, как я возвращался в уверенности, что меня ждёт работа и учёба, что стоит мне захотеть — и я буду студентом технического института или университета, в уверенности, что я желанный сын своей матери-родины, — Роберт возвращался домой с затаённой грустью, зная, что его не ждёт на родине ничего хорошего, что любимая им Швеция встретит его, как встречает мачеха непрощенного и неожиданного пасынка, что он будет в тягость своим родственникам, влачащим жалкое существование в Стокгольме, что в лучшем случае ему удастся получить ничтожное пособие по безработице или унижительную помощь какого-нибудь благотворительного учреждения. И он завидовал мне, завидовал моей уверенности в завтрашнем дне.

В час ночи один из нас, для порядка, совершал обход по мостику вокруг рубки. Однажды при таком обходе я обнаружил, что обычно плотно задраенный иллюминатор женской каюты открыт и из него торчат голова и руки пожилой финки. Каким-то чудом прссунувшись в иллюминатор, она застряла в нём и теперь тихо стонала, всё ещё мучительно стараясь вылезти наружу. Мне пришлось разбудить Роберта, и вдвоём мы кое-как высвободили её и водворили на место. Потом изо всей силы мы затагнули вручную барашек крепления иллюминатора и с чувством хорошо исполненного долга отправились в свою каюту.

Через час я снова решил обойти рубку. К моему изумлению, финка снова наполовину вылезла через иллюминатор. Сила её поистине удесят�ерялась настойчивым желанием попасть домой в Хельсинки. На этот раз, вновь втащив её в каюту, мы уже не решились, задравая иллюминатор, положиться на собственные силы. Я побежал в машинное отделение, притащил оттуда большой французский ключ и так затакнул барашек, что потом меня, наверное, кто-нибудь проклинал, когда понадобилось его открыть.

В свободное от дежурства время мы никогда не уставали часами смотреть на кроткий и ласковый светловасильковый океан, так непохожий на океан в декабрьскую бурю, каким я видел его пятнадцатилетним мальчиком пять с половиной лет тому назад.. Мои попутчики-финны расспрашивали меня о жизни в Советском Союзе, живо интересуясь всеми подробностями. Однажды меня заметил в обществе пассажиров старпом. Когда я явился по его вызову, он сказал мне, что команде теплохода воспрещается смешиваться с пассажирами и поддерживать с ними знакомство. Мне это может не нравиться, но я обязан подчиниться. Я попытался убедить старпома,

что любой рабочий или матрос в свободное от службы время должен иметь право располагать собой по собственному усмотрению. Но старпом настаивал на своём, и я понял, что бесполезно говорить с ним о демократических правах на борту шведского корабля...

На восьмой день плавания «Грипсхольм» ошвартовался в Гетеборге, в самом большом порту Швеции. Я побывал на берегу, побродил по этому утопающему в зелени городу, насмотрелся на толпы шведских безработных, слоняющихся по портовым причалам в поисках какой-нибудь случайной работы. Странно было видеть на них котелки из твёрдого фетра, создававшие иллюзию благополучия и достатка. Изпод этих котелков на вас смотрели голодные ищущие глаза. Поверх сорочки без воротничка многие из безработных носили комбинезон — это была единственная верхняя одежда, ещё остававшаяся у них...

Мы простояли в Гетеборге сутки. Вечером я дежурил, а Хелмар получил на ночь отпуск на берег, чтобы навестить родных. Но мы так подружились с ним, что в 10 часов вечера он уже вернулся на теплоход и пришёл на мостик нашей рубки помочь мне в дежурстве. Его тёплому товарищескому отношению ко мне я был, очевидно, в значительной мере обязан своей великой стране. Это доля его любви к ней доставалась и мне, и я ещё и ещё разубеждался в силе хороших чувств, которые питали простые люди любой страны к моей родине, и гордился тем, что я русский, советский человек. Хелмар ушёл сейчас из дому, чтобы я не чувствовал себя одиноким в его стране. Он притащил бутылку шведского пунша, и мы распили её в честь нашей дружбы.

На следующий день, перед отходом «Грипсхольма», на пристани вдруг раздалось пение «Интернационала». В волнении я бросился к борту и увидел на берегу колонну рабочих с красными флагами и плакатами на шведском и на финском языках. Демонстранты выкрикивали приветствия. Сначала я не мог сообразить, чем вызвана эта демонстрация. Но когда «Интернационал» был подхвачен на палубе «Грипсхольма», всё стало ясным. Рабочие и безработные — шведы и финны — пришли в порт приветствовать финских лесорубов, направлявшихся в Советскую Карелию.

Порядок на пристани продержался всего несколько минут. А затем повторилась знакомая сцена, так много раз виденная мною в «демократической» Америке. Подкатили полицейские машины с оглушительно ревущими клаксонами и появились обычные «блюстители» порядка — полицейские, на этот раз шведские, в старомодных долгополых сюртуках и при шпагах. Они грубо разгоняли демонстрантов. Красное знамя попеременно переходило из рук рабочих к полиции и обратно. Потом вокруг знамени, брошенного кем-то из полицейских на землю, началась свалка, и в это время один из моих попутчиков-финнов, достав откуда-то красное полотнище и смастерив флаг, развернул его над бортом теплохода. Угасавшие было звуки «Интернационала» вновь бурно вспыхнули на берегу. С палубы теплохода на всех языках мира неслась ругань по адресу полицейских, мы требовали прекратить избивание демонстрантов.

Капитан поспешил отчалить, и под звуки «Интернационала» «Грипсхольм» отвалил от Гетеборгского пирса. И когда люди на пристани стали казаться едва различимыми игрушечными фигурками, а «Интернационал», ещё звучащий на берегу, скорее только угадывался, чем слышался, вдруг кто-то маленький в чёрном взобрался на вышку одного из подъёмных кранов в порту и развернул там отнятый у полицейских красный флаг. Как бы посылая нам последний привет и пожелание новой счастливой жизни в стране социализма...

После захода «Грипсхольма» в Копенгаген и Хельсинки я освободился от обязанностей санитаря — больные были спущены на берег — и теперь, сняв форменный китель с коронами на пуговицах, я почувствовал себя почти пассажиром. А когда в советских водах, вблизи Кронштадта, с нами поздоровался советский сторожевой корабль — я понял, что отныне стал снова свободным человеком и, наплевав на запрещение старпома, присоединился к группе моих попутчиков-финнов.

В Финском заливе, как назло, было по-осеннему пасмурно, поднялся шторм. Мы подошли к Кронштадту и остановились в нескольких милях от него часов в 9 утра

Навстречу нам, ныряя в волнах, шёл красный лоцманский катер с крупной белой надписью по всему борту: «Ленинград». Пассажиры высыпали на палубу, чтобы увидеть русских.

Я всё время не отходил от борта, боясь пропустить момент подъёма наших пограничников и лоцмана на борт «Грипсхольма». Вот-вот я услышу родную русскую речь! Как я мечтал об этой минуте — и, наконец, она пришла... Я пропустил обед из опасения, как бы пограничники не поднялись в моё отсутствие... Но шторм не утихал, и лоцманский катер всё никак не мог пристать к «Грипсхольму», который стоял, застопорив машины.

Наконец Хелмар почти насильно потащил меня в столовую. А когда минут через двадцать я снова поднялся на палубу, на капитанском мостике уже слышалась русская речь и ленинградский лоцман вёл «Грипсхольм» по Неве. Вскоре подошёл буксир, и дальше колосс в двадцать тысяч тонн водоизмещения безвольно потянулся за крохотным катером. Изредка в мегафон раздавалась русская команда. И было видно, как её тотчас выполнял экипаж буксира.

Скоро теплоход остановился у причала в Ленинграде, среди ещё более крупных океанских лайнеров.

И вот наступила минута, когда офицер-пограничник с тремя кубиками в петлице произнёс торжественные слова:

— Вы можете сойти на землю родины!

Денег у меня не было ни гроша. Он распорядился, чтобы меня отвезли в город бесплатно, на одной из машин «Интуриста».

Ступив на родную землю, я думал, что захохочу от радости. Я готов был целоваться со всеми, кто попадался мне навстречу: с таможенниками, которые проверяли мой жалкий багаж, с дворниками, подметавшими территорию порта, с шофёром, который вёз меня по улицам великого города...

Проезжая по Ленинграду, я видел много строящихся зданий — это были будущие жилые дома и корпуса новых заводов. Всё, что читал я и слышал об огромном размахе строительства на моей родине, о великих пятилетних планах — всё это в первую же минуту явёу встало перед моими глазами. Мне больше не придётся мятарствовать, бегать по газетным объявлениям наперегонки с сотней других безработных, скитаться без дела и голодать, бессмысленно расстрачивать молодые силы в поисках хоть какого-нибудь их применения...

Через несколько дней я был уже в Харькове, в кругу семьи и своих старых пионерских и школьных друзей. Все они за эти годы успели и поработать как следует и окончить техникумы или 2—3 курса разных институтов. Я отстал от них почти на 6 лет! Мне пришлось начинать учиться на рабфаке, а потом в институте, одновременно с братишкой, который был на целых пять лет моложе меня!

Высшее образование, которое за океаном является привилегией бездельников и богачей и недоступно рабочим и их детям, у себя, на советской земле, я получал не как одолжение, а по праву, принадлежащему мне по закону.

Испытав все «прелести» хвалёного «американского образа жизни», я научился во сто крат сильнее ценить и любить свою Родину, Советскую Родину, в которой никто не лишний и лучше и краше которой нет страны на всём белом свете!

Из экс-шофёра и безработного мойщика автомобилей я превратился в студента института, из бездомного бродяги — в полноправного и полноценного члена советского общества, строителя коммунизма.

Передо мною снова открылась дорога в светлое будущее.



ЗА МИР, ЗА ДЕМОКРАТИЮ!

Юр. КОРОЛЬКОВ

*

В НОВОЙ ГЕРМАНИИ

(Записки корреспондента)

Осуществлённые мечты.

В Трептове, неподалёку от памятника советским воинам, павшим при штурме Берлина, есть тихая, заросшая густыми клёнами улица, которая называется Ам Трептов парк. На ней стоит дом с небольшим палисадником, обнесённым железной оградой. В этом доме в небольшой и уютной квартире живёт семья замечательного коммунистического деятеля, вождя немецких трудящихся Эрнста Тельмана, погибшего в фашистском застенке в конце второй мировой войны. Его жена Роза Тельман с дочерью Ирмой и маленькой четырёхлетней внучкой Муникой поселились здесь вскоре после того, как их освободили советские воины из концентрационного лагеря в Равенсбрюке.

В квартире всё напоминает об ушедшем из жизни человеке, который посвятил себя борьбе за лучшее будущее немецкого народа, был верным другом Советского Союза и страстным, непреклонным борцом за мир. Портреты на стенах, семейные фотографии, альбомы, многочисленные письма, бережно хранящиеся здесь,— всё это навевает мысли о трагической судьбе Эрнста Тельмана, о его роли в борьбе немецкого пролетариата. Даже в тюрьме, куда гитлеровская банда бросила его сразу же после захвата власти, Тельман продолжал свою деятельность, продолжал свою упорную борьбу с фашизмом.

Роза Тельман, ныне уже пожилая женщина с открытым лицом и молодыми глазами, рассказывает о прошлом, вспоминает о человеке, верным спутником которого она была всю свою жизнь, с кем она делила все невзгоды суровой, полной героизма жизни революционера. Одно за другим перелистывает она письма Тельмана,— нет, не письма—копии писем, заботливо переписанные её рукой или рукой дочери. Гестаповцы изыали у неё всю переписку с мужем, боясь, что когда-нибудь эти письма станут достоянием немецкого народа. Палачи боялись Эрнста Тельмана даже в тюрьме, боялись его гневных, обличительных слов. Последние из писем датированы только 1937 годом.

В 1937 году в квартиру Розы Тельман ночью явились гестаповцы и потребовали у неё все письма, полученные ею из тюрьмы. В дальнейшем они ввели иной порядок—письма мужа ей больше не отдавались, она могла читать их только в гестапо, в присутствии фашистских чиновников. Когда Эрнст Тельман узнал об этом распоряжении, он отказался от переписки с родными. Можно представить себе, какова была воля этого человека, если в борьбе со своими тюремщиками он отказался от переписки с родными, принёс в жертву даже возможность редкого общения с близкими людьми.

А вот другие документы, написанные Тельманом в тюрьме. Тайком от своих тюремщиков писал он конспекты, делал записи своих мыслей. Даже в условиях самого свирепого террора германским коммунистам удалось поддерживать связь со своим, пленённым фашистами, вождём. На клочках бумаги, на обрывках газеты

писал он мельчайшим почерком свои указания, давал советы товарищам, ещё уцелевшим и ушедшим в глубокое подполье. Даже находясь в тюрьме, Эрнст Тельман продолжал руководить борьбой с фашизмом. Теперь часть материалов — два десятка тщательно пронумерованных тетрадей — хранятся в доме его семьи.

Как реликвию, показывает Роза Тельман копию обвинительного заключения фашистской прокуратуры, переписанную самим Тельманом. Эта копия сделана на листах старой бухгалтерской книги. Обвинительное заключение предназначалось для контрпроцесса против фашизма, который готовился за границей по типу контрпроцесса по делу Георгия Димитрова. Но гестаповцы не отважились на открытый суд над Эрнстом Тельманом. Этот список обвинительного заключения удалось переправить на волю значительно позже, когда в распоряжении немецких коммунистов-подпольщиков уже имелась другая его копия. Они смогли добыть его в фашистской прокуратуре на одну только ночь и за эту ночь от руки переписали все 260 страниц обвинительного акта.

Товарищи по борьбе неоднократно предпринимали попытки освободить Эрнста Тельмана из тюрьмы. Одна из таких попыток относится ещё к 1934 году. Был разработан детальный план побега Тельмана. Берлинская тюрьма Моабит, в которой он содержался, охранялась наиболее строго. Коммунистам-подпольщикам удалось связаться с тюремной охраной, найти среди людей, наблюдавших за Тельманом, человека, который согласился открыть тюремную камеру и под охраной надёжных людей, переодетых в форму гестапо, вывести Тельмана из тюрьмы, будто бы для поездки на очередной допрос. Много месяцев продолжалась эта подготовка к побегу. Эрнст Тельман был подробно информирован о проводимой подготовке через Розу Тельман, которая порой имела возможность встречаться с мужем в присутствии гестаповцев. Незаурядное мужество, выдержку и хладнокровие проявила эта женщина, выполняя задание партии.

Трагическая случайность — так, во всяком случае, казалось в то время — провалила организацию побега, разработанного с наивозможнейшей тщательностью.

В ночь побега, когда все были уже на своих местах, когда закрытая машина стояла неподалёку от моабитской тюрьмы, а в руках участников и организаторов побега уже находились ключи от тюремной камеры, вахмистр, связанный с подпольщиками, должен был сделать ещё одно последнее приготовление. Нужно было бесшумно отпереть камеру Тельмана. Для этого поздно вечером вахмистр капнул несколько капель масла в замочную скважину, чтобы замок не скрипнул в тот момент, когда будут отпирать железную дверь. Только одна лишняя капля просочилась из скважины. На двери появилось крохотное масляное пятно. Часовой, обходящий вскоре камеры, заметил его и поднял тревогу. Немедленно Эрнста Тельмана перевели в другой блок. Побег провалился.

Только много лет спустя удалось выяснить, что виной всему была не только лишняя капля масла, просочившаяся из замочной скважины. В Праге, в партийном центре германской компартии оказался провокатор, который в течение долгого времени работал на гестапо.

Одиннадцать с половиной лет провёл Эрнст Тельман в различных тюрьмах фашистской Германии. Незадолго до своей гибели он написал большое письмо одному из антифашистов — Иохиму Леману, сидевшему в той же тюрьме Баутцен, где долгое время находился и Эрнст Тельман. Этот замечательный документ удалось также переслать на волю, и теперь он хранится у Розы Тельман. Из него мы узнаём о последнем периоде жизни немецкого пролетарского борца. К сожалению, иных материалов не сохранилось. Сам Иохим Леман, который в семнадцать лет был арестован гестапо и только после войны вышел на волю, имел возможность иногда встречаться с Эрнстом Тельманом и сразу же после своего освобождения начал записывать воспоминания об этих встречах. Ему удалось написать всё, что он знал и видел. Больной, прикованный тяжёлым недугом к постели, он с трудом вёл свои записи. Когда его состояние несколько улучшилось, Леман повёз записи в Берлин, чтобы передать их Розе Тельман. В поезде у него похитили чемодан со всеми документами.

Восстановить их Леману уже не удалось. Его здоровье было подорвано многолетним пребыванием в тюрьме и вскоре он умер от туберкулёза, унеся в могилу свои воспоминания о последних годах жизни вождя немецких трудящихся.

Так письмо, написанное Леману, стало единственным сохранившимся документом об этом периоде жизни Тельмана.

Я позволю себе привести несколько выдержек из него.

«...Читая написанные тобой строки,— пишет Эрнст Тельман,— я хотел услышать твой голос, проникнуть в сущность твоего характера. Это очень трудная задача, требующая таланта и предварительной тщательной подготовки в области изучения человеческой психологии. Поэтому я буду говорить с тобой без обиняков, откровенно, говорить тем языком, на котором, разумеется, должен происходить разговор между братьями, друзьями и революционными борцами. Язык этот — политический и образный. Он твёрд и суров, но, несмотря на это, он пронизан глубокой любовью и большой теплотой, и он правдив... Правда не поддаётся фальсификации на длительное время, так как нет ничего непреложнее фактов. Помни всегда, что наша совесть чиста, она ничем не запятнана по отношению к трудящемуся немецкому народу. Она не отягощена военными преступлениями, империалистической разбойничьей политикой, тиранией, террором, диктатурой и насилием над совестью, ущемлением свободы и произволом, лжесоциализмом, фашистскими расовыми теориями, философствованиями розенберговского толка, заносчивостью, высокомерием, хвастовством и пр. Мы ничем не запятнаны...

...Конечно, и мы не являемся чистыми, непорочными ангелами. Мы также совершали в прошлом большие и порой серьёзные ошибки в области политики. Мы, к сожалению, кое-что упустили и недоделали из того, что нужно было сделать в сложном переплетении минувших исторических событий, чтобы преградить фашизму путь к государственной власти. Мы признали наши ошибки и открыто говорили о них в порядке самокритики. Мы исправили их и избрали новые пути в области политики, пропаганды и массовой борьбы. Но поскольку мы, однако, никогда не были представлены в германском правительстве и уж тем более не стояли у кормила правления в качестве единственной правящей партии, то тем самым смягчается наша вина перед немецким народом.

Этот факт и многое другое, в особенности же непрестанно приносимые нами жертвы в борьбе против фашизма, были и остаются большим плюсом нашей политики и привлекли к нам доверие масс...

...Та часть немецкого народа, которая была левой или примыкала к левым, питает доверие к нам и к нашей партии и надеется на лучшее будущее для Германии при дальнейшем прогрессе и движении вперёд социалистического Советского Союза.

...Теперь ты, вероятно, хотел бы узнать также кое-что о моей жизни в заточении. Не хватило бы большой книги, чтобы полностью описать все переживания и события. Поэтому я намерен отобразить лишь отдельные эпизоды и основные обстоятельства и ознакомить тебя с ними.

3 марта 1933 года я был арестован в Берлине, в комнате, которую снимал у одного инвалида войны. У него я останавливался обычно в Берлине. Отряд полицейских с револьверами в руках — 20 рядовых во главе с лейтенантом — вломился в квартиру, а затем ринулся в мою комнату. На меня надели наручники. Затем — в машину и в ближайший полицейский участок, а оттуда под охраной особой полицейской команды в берлинский полицей-президиум на Александер-плац Краткий допрос. Никаких показаний. 5 часов ожидания. Наконец я был водворён в камеру гамошней полицейской тюрьмы.

...23 мая 1933 года я был переведён в старый Моабит, в берлинский дом предварительного заключения. Два с половиной года я находился под следствием в предварительном заключении; в течение этого времени допрашивался четырьмя следователями, иногда по 10 часов ежедневно. Мне были предъявлены для ознакомления и представления объяснений все самые важные материалы руководства партии и её

организаций, которые использовались в качестве улики против меня. Сюда притащили и использовали при допросах все мои речи и статьи, материалы о всех заседаниях секретариата, Политбюро, Центрального Комитета и о других совещаниях, а также о наиболее крупных собраниях и митингах, где я выступал.

...Следователям, несмотря на всевозможные уловки и ложь, не удалось на протяжении всех допросов заманить меня в ловушку или вынудить меня стать предателем по отношению к моим соратникам и к делу коммунизма. При этом дело доходило часто до резких сцен и острых стычек, что затягивало допросы. После того, как следователи потерпели неудачу в своих попытках получить от меня нужные им признания, они прибегли к помощи гестапо.

...В январе 1934 г. четыре гестаповских чиновника в автомобиле доставили меня из Моабита в центральное гестапо (Берлин, Принц Альбрехт-штрассе). Прямо из машины меня провели в комнату, находившуюся на четвёртом этаже. Там меня встретили 8 гестаповских чиновников среднего и высшего ранга, которые издевательски подняли кулаки на манер приветствия «Рот Фронт».

Описать, что затем произошло в этой комнате на протяжении четырёх с половиной часов — от 5 до 9 часов 30 минут вечера, — почти невозможно. Ко мне были применены все самые жестокие методы принуждения, которые только можно себе представить, чтобы любым образом вынудить признания и получить данные о товарищах, которые были ранее арестованы, а также об их политических действиях. Гестаповцы начали с фамильярного тона, так как я знал некоторых из этих молодчиков ещё со времени существования политической полиции Зеверинга, — с уговоров и так далее, чтобы в ходе такой беседы что-нибудь выведать о ком-либо из товарищей или о чём-либо другом, что их интересовало. Этот манёвр не имел никакого успеха. Тогда последовало применение грубой физической силы. У меня были выбиты четыре зуба. Это также не дало никаких результатов.

Третьим актом был гипноз, который, однако, на меня не подействовал, — эта попытка разбилась о мою тогда ещё очень крепкую нервную систему. Хотя гипнозёр почти 45 минут производил вокруг меня свои манипуляции, я сохранял полное спокойствие и ясность мысли. Так прошло три с половиной часа. Однако кульминацией этой драмы был заключительный акт. С меня сорвали одежду. Два гестаповца положили меня поперёк табурета. Один из них принялся равномерно избивать меня тяжёлой плетью из кожи бегемота. От боли я несколько раз вскрикнул.

Тогда мне заткнули рот, и удары посыпались на меня градом. Меня били по лицу кулаками, по груди и спине плетью. Брошенный на пол, я лежал ничком, уткнувшись лицом в пол, и ни слова не отвечал на вопросы. Меня пинали ногами. Я всё старался закрыть лицо. Я изнемогал. Сердце начало сдавать. Я уже ничего не видел и не слышал. К тому же меня мучила такая жажда, что изо рта шла пена и я почти задышался. Будучи в полубморочном состоянии, я всё же не терял сознания, но и не чувствовал уже никакой боли и думал только о том, как избавиться от этой пытки.

Внезапно в комнату вбежал человек и шёпотом сказал, что уборщицы, как и другие присутствовавшие в здании люди, слышали громкие крики.

Он попросил быстрее кончать допрос. В 9 часов 30 минут вечера палачи кончили свою забаву. Мне перевязали полотенцем кровоточащие раны на голове, обернули разбитый затылок шарфом, приказали сесть на табурет, лицом к стене, пригрозив, что в случае, если я обернусь, будут немедленно стрелять. Два гестаповца направили на меня револьверы. Разумеется, я обернулся тотчас же, чтобы увидеть, что эти парни собираются делать со мной дальше. Но больше ничего не произошло. Из столовой вызвали официанта, который принёс им поесть и выпить. С состраданием он посмотрел на меня. Вслед за этим меня спустили на лифте в подвал и заперли там в тюремную камеру.

Через 8 дней в этом же помещении состоялся допрос, на котором присутствовало только два гестаповца, а ещё через сутки — второй допрос в присутствии трёх гестаповцев. Так как я не изменил своей тактики, мне пригрозили, что если я буду

вести себя так же и в дальнейшем, они не остановятся перед повторением недавно применённого метода до тех пор, пока я не изменюсь.

Вскоре после этого я в сопровождении четырёх гестаповцев, присутствовавших при моём избиении, был доставлен в Моабит. По дороге туда один из моих палачей набрался наглости и пригрозил, что если я во время процесса в имперском суде расскажу публично о том, чему я подвергался у них, то меня загонят в такое место, где уже заставят замолчать навеки. Я выслушал это молча и решил про себя ни за что не упустить такого случая.

... Примерно через полгода мне было вручено обвинительное заключение на 260 страницах. Во время ведения следствия в Берлине вместо существовавшего ранее государственного суда был учреждён так называемый «народный суд», где и должно было слушаться моё дело.

... С течением времени за рубежом был создан Комитет защиты Тельмана, в который вошли известные крупные деятели почти от всех слоёв мировой общественности, в том числе и высшие служители церкви. Этот комитет имел тогда большое международное значение.

... В 1938 году процесс был бы уже немислим... В большой политике, а также зачастую и в жизни человеческого общества случается иногда, что одна сторона слишком страстно желает ускорить процесс, в то время как другая не только боится его, но и считает наличие такого процесса политическим несчастьем.

Вот так и мой процесс, исходя именно из этих причин, к моему величайшему сожалению, не состоялся. Мне не суждено было пережить эту радость и этот грандиозный показательный судебный процесс. Наша партия и мои друзья с прискорбием должны были отказаться от победы, которую, бесспорно, принёс бы этот процесс.

... В центре крупных мировых событий, в накалённой политической атмосфере нынешнего времени и в текущей жизни трудового человечества находится и моя судьба. Но скольких наших храбрых социалистических соратников, пользующихся драгоценной свободой и выполняющих свой революционный долг, подстерегает сегодня, завтра или послезавтра непосредственная опасность. Если их застанут в момент их революционной деятельности, на них обрушится беспощадный удар. Революционная деятельность требует больших жертв. Это относится не только к нам, но и к другим. Но за что, во имя чего — этот вопрос интересует миллионы людей, ведущих сейчас жестокую и беспощадную борьбу, — этот важный исторический вопрос в той или иной мере волнует сейчас почти всё трудящееся человечество. В поле зрения этих исторических вопросов находится и моя судьба. Я не безродный человек. Я немец с большим национальным и вместе с тем интернациональным опытом. Мой народ, к которому я принадлежу, который я люблю, — немецкий народ, и моя нация, которой я горжусь, — немецкая нация, смелая, гордая и стойкая нация. Я кровь от крови, плоть от плоти немецкого рабочего класса. И потому, как сын революционного класса, я стал позднее его революционным вождём. Моя жизнь и труд были направлены только на благо трудящегося немецкого народа, мои знания, сила и опыт, моя деятельность — всё существо моё было отдано борьбе за будущее Германии, за победу социализма, за свободу, за новый расцвет немецкой нации. Как моряк, я побывал в Америке, Англии, посетил почти все крупные столицы Европы и другие уголки мира. Много видел, благодаря чему расширились мои познания, кругозор и жизненный опыт. На многих конференциях и международных конгрессах Коминтерна, в которых я участвовал, я встречался с выдающимися деятелями почти всех народов земного шара. Там я получил возможность изучить и подробно ознакомиться с обычаями, нравами, языками, политической, социальной и революционной жизнью различных народов мира. Жизнь и бытовые условия немецких рабочих, служащих и чиновников, мелких кустарей и ремесленников, трудового крестьянства, а также интеллигенции известны мне благодаря большому жизненному опыту. 22 года я работал чернорабочим во многих отраслях промышленности.

Мученичество, которое я принял на себя ради великих идеалов социализма XX века, — не единичное явление, не изолировано, не оторвано от немецкого народа: оно разделяется многими и многими безымянными узниками (к которым принадлежишь и ты, мой дорогой товарищ по судьбе) и находит отклик в мощном многомиллионном движении, которое охватило и вдохновило все народы социалистического Советского Союза и во многих странах мира нашло своё идеологическое и организационное распространение.

Ввиду этих фактов и в теснейшей связи как с политическими, так и с военными событиями современности, речь о которых пойдёт не здесь, а в особой главе, может быть сделан вывод относительно моей будущей судьбы.

Никто не может предсказать, что будет завтра или послезавтра со мной. Мы не можем знать, не причинят ли мне, как это часто случалось, новых неприятностей и страданий. Но разве отпустят меня так просто вновь в большой мир прямо из тюремных стен?

Нет! Добровольно они этого не сделают. Вероятен один исход, как ни страшно и ни горько здесь о нём говорить. А именно: при продвижении Советской Армии, в связи с ухудшающимся общим военным положением национал-социалистский режим сделает всё возможное, чтобы объявить Тельману мат. В такой обстановке гитлеровский режим не отступит ни перед чем, чтобы заблаговременно устранить Тельмана, то есть удалить его или прикончить раз и навсегда. Только исторически необходимая самопомощь может принести здесь иную развязку, которая послужит на пользу всему революционному движению».

Как велика была трагедия этого негибаемого борца, который страстно ждал приближения Советской Армии, ждал освобождения своего народа от гнёта фашизма и в то же время был глубоко уверен, что победоносное развитие событий приближает его собственную гибель!

Через несколько месяцев после того как Эрнст Тельман написал это письмо, он был злодейски, гайным образом умерщвлён фашистами во дворе крематория концентрационного лагеря Бухенвальд. Менее чем через год родина Тельмана, народ его были избавлены от засилья фашизма. Но только в одной части Германии — в восточной части её немецкий народ дошёл по тому пути, о котором мечтал Эрнст Тельман.

Один из создателей германской коммунистической партии, руководитель немецких трудящихся, Эрнст Тельман в своих многочисленных статьях, речах, в письмах из тюрьмы завещал немецкому народу крепить вечную дружбу с великим Советским Союзом, решительно бороться за мир, против поджигателей войны, за построение новой, свободолюбивой, демократической и независимой Германии.

В 1941 году, когда гитлеровские полчища стояли под Москвой и Ленинградом, упоённые своей победой гестаповцы пришли в камеру Тельмана. Они уже торжествовали победу. С злорадством и издевкой сказали они своему непокорному пленнику: «Ну, что скажешь теперь? Советская Россия уничтожена! Красная Армия разбита!»

В ответ на это Тельман гневно ответил: «Сталин свернёт Гитлеру шею!»

Тельман верил в Советскую Россию.

На протяжении всей своей жизни, будь то в борьбе с фашизмом, ещё до захвата Гитлером власти, или в тюремной камере, Эрнст Тельман звал немецкий народ к дружбе с Советской Россией, призывал к борьбе за мир, против поджигателей войны. Именно в мирном, демократическом развитии Германии видел он лучезарное будущее своей страны, своего народа. Он неустанно стремился к осуществлению единства рабочего класса, к созданию монолитной и сплочённой партии, которая смогла бы взять на себя великую миссию руководства борьбой немецкого рабочего класса за избавление трудящихся от капиталистического гнёта.

Тельман неоднократно бывал в Советском Союзе. Последний раз он посетил его в 1932 году. Он был величайшим другом советской страны и эту дружбу завещал немецкому народу.

«В нашей антифашистской борьбе, — писал Тельман в годы напряжённых схваток с германской реакцией, — мы чувствуем себя теснейшим образом связанными с меж-

дународным пролетариатом, ибо борьба против фашизма — это в то же время борьба в защиту Советского Союза».

«Как и прежде,— продолжал он,— вся политика Советского Союза — это неизменная политика мира. Сейчас, пожалуй, представилась наибольшая возможность открыть глаза самым широким массам, в особенности социал-демократическим рабочим, на роль советской державы, как оплота мира».

В то же время, обращаясь к немецкой молодёжи, он говорил:

«Мы обязаны со всей резкостью втолковать массам, что империалистическое вооружение и милитаризация Германии отнюдь не означают облегчение, а, наоборот, повлекут за собой ещё более жестокое усиление каторжного режима и всяческого порабощения и удушения трудящихся. Наш долг показать массам, что по желанию буржуазии вся Германия должна превратиться в казарму, в котэрой трудящиеся немцы обязаны будут маршировать по команде господствующих классов».

Последний легальный плакат, выпущенный германской компартией, предупреждал немецкий народ: «Гитлер — это война! Война — это разрушение Германии!»

В последний момент, уже в январе 1933 года, Тельман ещё раз обратился к социал-демократам с призывом о совместной борьбе против гитлеризма. И на этот раз правые социал-демократические вожди остались верными своей предательской роли. Они отказались вести борьбу с фашизмом. В результате их предательства Гитлер захватил власть.

Уже находясь в тюрьме и отлично понимая, какую опасность миру несёт сговор международной реакции с германским фашизмом, Тельман тайно писал из заключения по поводу мюнхенского соглашения:

«Самый сложный и вместе с тем самый жгучий вопрос общей ситуации теперь, после мюнхенской сделки и её результатов, несомненно состоит для Советского Союза, как и для всех антифашистов, в организации борьбы за мир. Всюду и везде народам должно быть ясно, что мы подлинные враги империалистической войны и только мы настоящие друзья мира...»

С какой силой и поныне звучат эти слова, когда всё прогрессивное человечество борется с поджигателями новой войны!

Тельман видел залог успешной борьбы немецкого рабочего класса в создании пролетарской партии нового типа. Непревзойдённым образцом в этом отношении он считал партию большевиков в России. Он настойчиво изучал историю революционного движения в России, историю Всесоюзной Коммунистической партии. Он сознавал, что создать партию нового типа можно только в условиях беспощадной борьбы с оппортунизмом в рабочем движении, только разоблачая предательскую роль правой социал-демократии.

Товарищ Сталин дал высокую оценку Центральному Комитету германской компартии, во главе которого стоял Эрнст Тельман. В 1926 году товарищ Сталин говорил: «Нынешний ЦК германской компартии сложился не случайно. Он родился в борьбе с правыми ошибками. Он окреп в борьбе с «ультралевыми» ошибками. Он не является поэтому ни правым, ни «ультралевым». Это есть ЦК ленинский. Это есть та самая руководящая рабочая группа, которая нужна теперь германской компартии»¹.

Эрнст Тельман мечтал увидеть Германию свободной и демократической страной, живущей в мире со своими соседями. Борьбе за это он посвятил всю свою жизнь. Ему не суждено было дожить до того времени, когда начнёт осуществляться то, что было целью его жизни. Только после того как Советская Армия, выполняя свою освободительную миссию, разгромила германский фашизм, демократические силы немецкого народа получили возможность претворить в жизнь идеалы Эрнста Тельмана, осуществить мечты немецких прогрессивных деятелей многих поколений.

7 октября 1949 года в столице Германии — Берлине произошло событие, которое товарищ Сталин назвал «поворотным пунктом в истории Европы». В тот день по требованию немецкого народа было провозглашено создание Германской демократи-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, том 8, стр. 110.

ческой республики. Немецкий народный совет, на основе массовых выборов созданный для борьбы за национальное единство, объявил себя временным правительством Германской демократической республики. Ещё через несколько дней, 11 октября, Народная палата и Палата земель на совместном заседании единодушно избрали президентом республики соратника Эрнста Тельмана и признанного руководителя немецких трудящихся — семидесятилетнего Вильгельма Пика. В торжественной тишине первый президент принял присягу на верность республике.

— Я клянусь, — произнёс он, — что все мои силы посвящу на благо немецкого народа, что буду соблюдать конституцию и законы республики, выполнять мои обязанности со всей добросовестностью и относиться по справедливости к каждому.

С момента принесения присяги президент принял на себя обязанности главы государства.

Самая молодая участница заседания, Марго Фейс, поднялась на трибуну. Она преподнесла президенту огромный букет цветов и сказала:

— В этот час миллионы молодых немецких граждан приносят вам, первому президенту, свои поздравления. Мы навсегда сохраним верность Германской демократической республике и вам, нашему президенту. Мы станем беречь свою республику от всех покушений со стороны поджигателей войны, будем неустанно бороться за единство нашей родины.

Эти слова немецкой девушки, одетой в синюю блузу, звучали как клятва, как символ единства всех поколений — пламенной юности и мудрой зрелости.

В то время как в зале заседаний происходили выборы первого президента республики, окрестные улицы заполнялись многотысячными толпами людей. Сотни тысяч берлинцев, жителей других городов и селений с нетерпением ждали решения своих избранников. А когда молниеносно распространилась весть, что президентом республики избран старейший деятель германского революционного движения Вильгельм Пик, когда он сам появился перед народом, его встретили восторженными возгласами приветствий. В открытой машине, в сопровождении почётного эскорта народной полиции, президент проехал по запруженным людьми берлинским улицам. Машина двигалась медленно, приветствия в честь провозглашённой республики и её президента сливались в мощный торжественный гул, который перекатывался по берлинским улицам и площадям. Машина президента, усыпанная цветами, остановилась на Унтер ден Линден, около университета. Президент поднялся на сооружённую здесь трибуну и обратился с краткой речью к населению столицы.

Когда стемнело, над толпами демонстрантов всдыхнули десятки тысяч факелов, море огней лилось мимо трибуны, на которой стоял президент Вильгельм Пик, окружённый политическими и государственными деятелями демократической республики. Около миллиона людей приняло в тот день участие в демонстрации. И долго ещё на улицах, разукрашенных национальными флагами, раздавались приветственные возгласы в честь республики, в честь президента, в честь великого друга народов товарища Сталина.

Немецкий народ взял в свои руки судьбы Германии.

А ещё через два дня по всей Германии разнеслась весть — товарищ Сталин прислал приветственную телеграмму президенту республики Пикку и премьер-министру Гротеволлю.

С глубоким удовлетворением читал немецкий народ искренние слова приветствия вождя народов.

«Образование Германской демократической миролюбивой республики, — говорилось в телеграмме товарища Сталина, — является поворотным пунктом в истории Европы. Не может быть сомнения, что существование миролюбивой демократической Германии наряду с существованием миролюбивого Советского Союза исключает возможность новых войн в Европе, кладет конец кровопролитиям в Европе и делает невозможным закабаление европейских стран мировыми империалистами».

Митинги в связи с получением телеграммы товарища Сталина показали, с какой благодарностью воспринял немецкий народ эти простые и тёплые слова дружбы.

Создание Германской демократической республики стало возможным в результате глубоких демократических преобразований, осуществлённых здесь в минувшие послевоенные годы. Немецкий народ с ещё большей энергией стал создавать новую, демократическую и миролюбивую Германию, основа которой была заложена после разгрома фашизма, когда в Германии начали осуществляться идеи вождя немецких трудящихся Эрнста Тельмана, идеи, за которые он отдал свою жизнь.

Земля народу.

Тройенбритцен, что лежит на пути из Берлина в Лейпциг, мало чем отличается от сотен тихих немецких городков и селений с установившейся размеренной жизнью, замيراющей с наступлением сумерек и оживающей ранним утром. Островерхне крыши из красной черепицы, крохотные садики с расцветающими яблонями, крестьянские дворы, сложенные из грубого камня, булыжная мостовая. Столетиями стоят иные хижинки, тесно прижавшись друг к другу. Здесь не видно следов минувшей войны, она как будто пощадила селение. Но сколько бедствий принесли войны жителям Тройенбритцена!

В центре посёлка, неподалёку от кирхи, раскинулось зелёное сельское кладбище. Мы завернули как-то сюда по дороге в Лейпциг и были изумлены открывшейся перед нами картиной. Это не было кладбищем в обычном понимании слова. Лежали мсгильные плиты с именами погибших, но могил не было. Солдаты этой деревни умирали во Франции в франко-прусскую войну. Умирали в Польше, на Балканах, под Верденом и на Сомме в войну 1914—18 гг. Они погибали в последнюю войну снова в Польше и на Балканах, во Франции и Бельгии. Гибли на полях Украины, под Москвой и Сталинградом. В память о каждом солдате, павшем на чужбине, жители Тройенбритцена ставили на своём кладбище могильную плиту с именем и местом смерти солдата. Сотни таких плит поставлены на кладбище в Тройенбритцене. Иные поросли бурозелёным мхом — и на них трудно разобрать надписи, другие сохранились лучше — и можно прочесть: где, в каких странах умирали солдаты этого немецкого селения.

На протяжении ста лет германская армия во всех войнах дралась только на чужой территории. На чужой земле, на чужих морях, в чужом небе умирали немецкие солдаты, умирали всюду, куда бросала их германская военщина.

В Тройенбритцене я познакомился со зрителем этого своеобразного кладбища — городским садовником Герихом. Шестьдесят лет выращивал он и лелеял растения, украшал цветами землю. Он в совершенстве владел этой мирной профессией, но и ему пришлось провести несколько лет в окопах. Это было вскоре после того, как правые социал-демократы проголосовали в рейхстаге за военные кредиты. Вольдемар Герих — садовник и рядовой социал-демократ, ставший солдатом, впервые задумался тогда о путях, которыми веди его носке и шейдемань. Герих отошёл от социал-демократов, многие годы был беспартийным и только на склоне лет, совсем недавно, вступил в Социалистическую Единую партию. Он нашёл единственно правильный для себя путь, по которому идёт германский народ, — путь борьбы за мир, за единство страны, за демократизацию жизни.

За три четверти века, прожитые на земле садовником, он хорошо понял, что несли войны его односельчанам, да и всему немецкому народу. 14 солдат из Тройенбритцена погибли в франко-прусскую войну. 159 односельчан Гериха были убиты в первую мировую войну. Сотни мужчин Тройенбритцена погибли в последнюю войну, затеянную Гитлером. Среди них были и внуки садовника.

Теперь старик ухаживает за общественным парком, приводит в порядок кладбище, где на могильных плитах высечены имена погибших солдат из Тройенбритцена. Каждая война уносила всё больше и больше жизней его односельчан. Что же принесёт очередная война, если во-время не остановить поджигателей?! Потому и избрал садовник новый путь, потому так уверенно говорит он о дружбе с Советским Союзом, в котором видит оплот мира и опору в строительстве новой жизни.

Здесь же на кладбище встретил я пожилую крестьянку с подростком-сыном.

Судьба Герты Шлимме похожа на судьбу всего немецкого народа. Дед — Иозеф Беркель — погиб во Франции восемьдесят лет тому назад. Отец — Эрхард Беркель — убит на Балканах в первую мировую войну. Муж её — Альберт Шлимме — в 1943 году не вернулся из восточного похода. Им всем обещали землю в чужих краях — нашли они там свои могилы. А земля была здесь, рядом, за деревенской околицей. Получила её Герта Шлимме — внучка, дочь и жена обманутых солдат. Это было в 1945 году, когда впервые в истории деревни Тройенбритцен сюда пришли иностранные войска. Счастье Герты, что это была советская оккупационная армия. Советские люди поддержали немецких крестьян в борьбе их за землю. В октябре 1945 года во всех провинциях восточной части Германии началось проведение земельной реформы. Сбылись пророческие слова Фридриха Энгельса, который писал:

«Все крупные землевладения немецкого дворянства, особенно к востоку от Эльбы, составлены из награбленной крестьянской земли. И если эту землю у грабителей отнимут, то они ещё не вполне получают по заслугам»¹.

В тот год октябрь был не осенью, а весной немецкого крестьянства. Сами крестьяне выдвинули требование провести земельную реформу, ликвидировать вековую несправедливость, царившую в немецкой деревне. Требование крестьян о разделе помещичьей земли поддержал блок антифашистских партий во главе с компартией Германии. Закон, принятый немецкими демократическими органами в начале октября 1945 года, гласил:

«Демократическая земельная реформа является неотъемлемой национальной, экономической и социальной необходимостью.

Земельная реформа должна обеспечить ликвидацию феодально-юнкерских и крупных землевладений и положить конец господству в деревне юнкеров и крупных помещиков, ибо это сословие всегда было одним из главных источников агрессии и захватнических войн против других народов.

Посредством земельной реформы должна быть осуществлена вековая мечта безземельных и малоземельных крестьян о передаче в их собственность помещичьей земли».

Таков был закон. На его основе конфисковали земли военных преступников, юнкеров и помещиков. У гробзауэров были конфискованы излишки земли, превышавшие сто гектаров. В собственность крестьян перешли также площади военных аэродромов, артиллерийских полигонов, учебных лагерей и городков. Земли передавались крестьянам со всеми постройками, живым и мёртвым инвентарём.

За полученную землю новые владельцы должны были уплатить немецким самоуправлениям по одной-полторы тонны зерна за каждый гектар. Для оплаты предоставлялась рассрочка на десять лет. Переселенцам, батракам и безземельным крестьянам установили ещё более льготные сроки — они имели право погасить свою задолженность в течение двадцати лет.

Немецкая аграрная реформа стала всенародным делом. В деревнях создали свыше десяти тысяч полномочных комиссий по разделу земли. В комиссиях работало 50 тысяч человек. Три четверти их составляли батраки и малоземельные крестьяне. Реформа не только передавала землю крестьянам, но и подорвала в корне экономическую базу прусских юнкеров, дворянско-помещичьего сословия, германской военной. Раздел земли был одновременно и борьбой за мир. Ведь германские милитаристы извечно черпали руководящие кадры для своей армии из прусского юнкерства.

К началу проведения земельной реформы 120 тысяч новых крестьян, в большинстве переселенцы с польской территории, не имели домов и хозяйственных построек. Приказом Советской Военной Администрации в Германии им было разрешено использовать в своих хозяйственных целях помещичьи усадьбы, замки, не имеющие исторической ценности, а также здания военных заводов, казармы, аэродромные постройки и прочее. В итоге среди прочих построек было разобрано около восьмисот военных объектов. Таким образом, осуществление земельной реформы способствовало также и демилитаризации Германии.

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, том XVI, ч. I, стр. 241.

В советской оккупационной зоне к концу 1947 года — к открытию Лондонской конференции Совета Министров Иностранных Дел — демилитаризация была закончена. Уничтожено было 15 тысяч оборонительных сооружений, 182 военных аэродрома, 800 тысяч тонн боеприпасов, 20 тысяч тонн ракетных снарядов «ФАУ-1» и «ФАУ-2», 4 500 тяжёлых орудий береговой и корабельной артиллерии, 20 тысяч полевых орудий, больше двух тысяч зенитных установок и тысяча боевых самолётов. Для уничтожения этого военного имущества гитлеровской армии было израсходовано 30 миллионов килограммов взрывчатки.

В архивах министерства сельского хозяйства Германской демократической республики сохранились документы и отчёты о проведении земельной реформы. Вот несколько справок и цифр из этих документов.

Перед войной сельское население Германии составляло 18,2 процента всего немецкого населения. Германское сельское хозяйство было основным источником продовольственного снабжения страны. Больше 62 процентов земли — почти 47 миллионов гектаров — использовалось для сельскохозяйственных целей. В результате строительства военных аэродромов, артиллерийских полигонов и других военных объектов посевные площади сократились на два миллиона гектаров. К началу второй мировой войны валовый сбор зерновых культур сократился в Германии на девять процентов.

Имущественные отношения в немецкой деревне характеризовались тем, что из пяти миллионов землевладельцев довоенной Германии почти 60 процентов владельцев имели карликовые участки, не превышавшие двух гектаров, к тому же на худшей земле. Получалось, что в распоряжении этого подавляющего большинства крестьян находилось всего лишь 5,5 процента всей земельной площади. В то же время кучка помещиков, составлявшая всего лишь четыре тысячных сельского населения, владела 25 процентами всех земельных угодий.

Земельный голод в немецкой деревне был так велик, что крестьяне вынуждены были арендовать у помещиков более пяти миллионов гектаров.

Ещё более разительным было положение в восточной части Германии. Здесь на долю половины сельского населения приходилось 3,5 процента земли. А крупные землевладельцы, составлявшие всего две тысячных населения, были собственниками 20 процентов земельной площади.

Декретом о проведении земельной реформы в советской оккупационной зоне Германии было конфисковано тринадцать с половиной тысяч поместий — более трёх миллионов гектаров. Это составило 39 процентов полезной площади всей земли. В отдельных провинциях процент конфискованной земли был ещё выше. Так, в Мекленбурге было изъято в фонд земельной реформы 45,4 процента всех земельных площадей.

Батраки, переселенцы, малоземельные крестьяне подали около 400 тысяч заявлений с просьбой наделить их землёй. Аграрные комиссии разобрали все эти заявления, и подавляющее большинство их было удовлетворено. Землю получили 544 тысячи хозяйств, или два миллиона человек.

Все старые кадастровые книги, узаконившие помещичье землевладение, были повсеместно уничтожены.

Новые крестьяне помимо земли получили 50 тысяч помещичьих лошадей, 130 тысяч голов крупного рогатого скота, 200 тысяч овец. В общественное пользование — через комитеты Крестьянского общества взаимопомощи — было передано более шести тысяч тракторов, 5,5 тысячи молотилок, тысяча локомотивов, 60 тысяч плугов, 27 тысяч жнеек. Крестьяне получили в кооперативную собственность около тысячи различных мастерских, девятьсот сельских кузниц, сто мельниц, сыроваренные и маслобойные заводы, лесопилки и другое помещичье имущество.

Через два года после проведения земельной реформы я побывал в земле Мекленбург, истари считавшейся оплотом германской реакции и феодальных порядков. В своё время Бисмарк так говорил об этой немецкой провинции:

«Если на земле наступит конец света, то я поеду в Мекленбург. Там во всём — и в жизни и в событиях — отстают от современности на пятьдесят лет».

Как нелепо теперь звучало это утверждение Бисмарка!

В Мекленбурге, так же как и в других землях советской оккупационной зоны, наступил «конец света» для правящих классов, для юнкерства, для немецких феодалов-помещиков. Далеко шагнул Мекленбург в области социальных реформ. Миллион гектаров земли передано здесь батракам, переселенцам и малоземельным крестьянам. С лица земли стёрты многие усадьбы и замки мекленбургских баронов. А помещикам-одиночкам, не сбежавшим на запад, строго-настроено запретили жить ближе, чем в радиусе пятидесяти километров от их бывших поместий.

Вместе с капитаном-артиллеристом Багориным, агрономом советской районной комендатуры, мы приехали в деревню новых крестьян — Зеедорф. Должности районных агрономов были утверждены в штатах всех советских комендатур. Мой спутник, в прошлом воронежский агроном, вспоминал о родных чернозёмных полях, делился надеждами на то, что скоро ему удастся вернуться домой, рассказывал о своей работе. Человек, который пришёл дорогами войны в Германию, занимался здесь севооборотами, добывал минеральные удобрения, заботился о строительстве домов для новых крестьян, думал, где достать гвозди, как наладить работу лесопильного завода. Он гордился своими успехами, искренне огорчался неудачами. Его голова была переполнена массой всевозможных больших и малых забот. В термин «оккупационной работы», которой занимался капитан Багорин, вкладывалось совершенно другое, чем в Западной Германии, наше, советское понятие. Здесь, на чужбине, советский офицер был прежде всего наставником, советчиком людей, избавленных от засилья фашизма.

Капитана огорчало, что ему не удаётся наладить в районе выращивание карпов в прудах и развить пчеловодство. Он жаловался, что «народ здесь тяжеловат на подъём», когда дело идёт о больших, смелых мероприятиях, требующих совместной работы.

— Не привыкли они ещё сообща жить, — сетовал капитан. — Не то что наши, воронежские! Все тут норовят в одиночку, всяк по-своему.

Мы ехали по узкой дамбе меж двух широких озёр. Багорин снова вспомнил о своей идее искусственного разведения карпов.

— Вы только взгляните, какие богатства! Рыбы здесь можно развести столько, что хоть всю Германию корми. Ну, ничего, я их заставлю ещё и мёд и рыбу есть!

Сказал он это сердито, но фраза прозвучала так смешно, что оба мы расхохотались.

— Теперь ещё ничего, — продолжал капитан, — а вначале — и смех и грех. Помню, раз отремонтировали два трактора. Их у юнкера взяли. Собрали в селе собрание, говорю — надо трактора в Комитет крестьянской взаимопомощи передать, — а немцы ни в какую! Давайте, говорят, жребий метнём. Кто вытянет, тому и трактора. Сколько труда пришлось положить, чтобы отговорить их! Теперь сами благодарят!

Но скептицизм капитана, привыкшего всё сравнивать с привычными ему воронежскими масштабами, не всегда был справедлив. В мыслях немецкого крестьянина за эти годы произошёл необычайный поворот. Это можно было видеть на примере деревни Зеедорф. Мы приехали туда к вечеру и остановились около приземистого серого замка, в котором ещё жили многие крестьяне-новосёлы.

Эта деревня выросла на месте юнкерского имения Карла Пранге. Бургомистр сельской общины Арно Буш, старый крестьянин с обветренным, испещрённым морщинами лицом, одетый в белый, грубо тканый пиджак, провёл нас в замок. В обширном сводчатом зале на стенах ещё развешаны были портреты старых владельцев замка. Здесь теперь помещалось общинное самоуправление. Около картины, изображавшей охоту, висел на стене под стеклом документ, написанный чётким готическим шрифтом.

— Это, — сказал Буш, — акт о передаче земли в нашу собственность. Мы получили тысячу четыреста моргенов. Раньше землёй владел один Пранге, а теперь её вполне хватило на сорок хозяев.

Старик Арно Буш долго рассказывал о том, как батраки и переселенцы устраивают здесь новую жизнь.

В контору зашёл кузнец Карл Мирцво. Он, так же, как и Арно Буш, переселился сюда из Верхней Силезии. Приехал в деревню районный бургомистр Винкельман. Подошли ещё несколько крестьян, которые также приняли участие в беседе.

Нелегко было переселенцам обжить новую землю. Крестьянам пришлось выдержать тяжёлую борьбу с жестоким, озлобленным врагом, которого не знали, не видели, но во всём чувствовали его сопротивление. Сначала пошли слухи, что помещик Карл Пранге скоро приедет из английской зоны, прогонит и накажет всех, кто поселился на его земле. Потом, через два дня после того как крестьяне получили акт на передачу им поместья, вдруг среди ночи вспыхнул пожар. Сгорели все надворные постройки, сгорел скот — много коров, двадцать три лошади, свиньи, овцы. В огне погибли сено, зерно, инвентарь, переданный новым крестьянам вместе с имением Пранге.

Немного времени спустя так же неожиданно начался мор — кто-то заразил скот. Погибла половина всех коров, уцелевших от пожара. Потом с пастбища угнали пятнадцать телят. Невидимый враг старался разрушить хозяйство, а крестьяне не сдавались. Они крепко держались за полученную землю. Правда, не все. Трое новосёллов пришли в самоуправление и сказали, что они отказываются от земли. Погрузив свой скarb на подводы, они уехали в город искать работы.

Новые крестьяне продолжали обживать помещичью землю. Деревенский мастеровой Пауль Ольдманс подобрал брошенный трактор, отремонтировал его. Трактор стал его собственным, но крестьяне договорились, что пользоваться им будут сообща. Через Комитет крестьянской взаимопомощи получили скот, взяли семенную ссуду и с весны начали работать на своей земле. Буш сказал, что в деревне уже 33 рабочих лошади, 46 коров и молодняк.

Первую зиму крестьяне — 168 человек — жили в помещичьем замке. С весны 1946 года на холме около поместья стали подниматься кирпичные стены крестьянских домов. Каждый мог получить долговременную ссуду в шесть тысяч марок. Кирпич брали с пожарища или ездили на соседний аэродром, где советская коммандатура разрешила брать строительный материал, разбирать ангары, казармы, убежища. К осени семь семейств уже переселились в собственные дома. Заканчивалась постройка ещё четырёх крестьянских дворов. Получили участки и остальные крестьяне. С весны решили разбирать помещичий замок. Для жилья он неудобен, а кирпича хватит чуть ли не на всех новосёллов.

Об этом рассказывал кузнец Мирцво.

— Пусть и духа здесь от Пранге не останется, — сказал он. — Строить деревню будем заново. Ходят у нас слухи, будто Пранге хочет навеститься к нам в гости. Что ж, тайком, может быть, и приедет, пусть глянет. На месте его замка скоро картошку посадим. Не узнает, не найдёт он своего поместья!.

Крестьяне почувствовали себя полными хозяевами земли и поместья. Поселились они здесь надолго, навсегда. Уже зеленели побеги молодых фруктовых деревьев, посаженных в прошлом году, под огороды осушают заболоченный участок около озера. Общество крестьянской взаимопомощи обещало дать лесопилку. Лес свой есть. Теперь только строить и обживать новую землю.

Мы долго говорили с крестьянами об их новой жизни. Деревня Зеедорф не является каким-либо исключением. Бургомистр Винкельман сказал, что в их Шверинском районе 26 деревень, из них 11 новых. Крестьяне здесь получили 16 тысяч моргенов — 4 тысячи гектаров пашни, лугов, леса. Всё это принадлежало помещикам — барону фон Эрцен, Бергмайеру и другим. А всего в мекленбургской провинции по земельной реформе наделы получили более ста тысяч крестьянских семей. Теперь в Мекленбурге на 69 тысяч старых крестьянских хозяйств насчитывается 74 тысячи новых дворов, новых крестьянских семей, получивших земли помещиков.

Уже начинало смеркаться, когда мы отправились осматривать деревню Зеедорф. Всюду виднелись следы новой стройки. Штабелями лежал кирпич с затвердевшей

на нём известью, брёвна, доски, железные балки, взятые из блиндажей, листы гофрированного железа с полевого аэродрома. Кучи глины лежали рядом со скирдами ещё не обмолоченного хлеба. Крестьянина-новосёла Эмиля Мительштет мы встретили у молотилки. С помощью соседей он молотил рожь. Молотилку дали ему на одни сутки. Чтобы не терять времени, крестьяне решили молотить ночью при электрическом свете. Мительштет всю жизнь батрачил у Пранге. Теперь он самостоятельный хозяин. Его спросили — как он живёт. Вместо ответа Эмиль указал на венок из дубовых листьев, поднятый над стропилами ещё не достроенной крыши.

— Я всю жизнь мечтал о таком венке, — сказал он. — Его сплела моя жена, и я сам поднял венок над моим новым домом. Что же мне теперь ещё нужно? Разве я уйду теперь с этой земли?

Венки я увидел и над другими домами. В Германии есть старинный народный обычай — украшать стропила ещё не достроенных новых домов такими венками. Их поднимают над кровлей после того, как возведут стропила. Венок — символ благополучия и достатка. В венки вплетают разноцветные ленты, платки, которые хозяин дарит после тем, кто помог ему строить новый дом.

Мы побывали и у Яна Вильшевского. Только недавно он перешёл в новый дом. Хозяин с гордостью показал своё жилище, провёл во двор, где в тёплом хлеву стояли две его лошади и корова.

— С востока мы уехали вместе с братом, — сказал крестьянин. — Я остался здесь, брат решил жить в английской зоне. Он пишет мне, что работает батраком. У него нет даже козы. А у меня — смотрите сами.

Осматривая бывшее поместье Пранге, где теперь поселились новые крестьяне, я вспомнил о другом помещице имени — барона фон Финке, в американской зоне, которое незадолго перед тем я посетил. Крупный мюнхенский банкир и видный нацист, Финке имел около трёх тысяч моргенов земли. Американский контрольный офицер сообщил, что это имение отобрано у помещика и подлежит разделу по земельной реформе. Официально всеми шестью именьями Финке управлял его опекун, назначенный американской администрацией. Опекун или директор поместий Финке — герр Эйлерс — прежде жил где-то здесь в Мекленбурге и управлял поместьем графа Базевитца. Землю Базевитца разделили, отдали крестьянам, управлять было нечем, и Эйлерс перекочевал в американскую зону. Встретились мы с ним в охотничьем домике, в гостиной, украшенной рогами оленей и чучелами кабанов. Под каждым охотничьим трофеем стояла подпись — кто, когда и при каких обстоятельствах убил зверя. Каждая подпись заканчивалась неизменной фразой: «Застрелен в собственных лесах господина фон Финке».

Коротконогий, с квадратным лицом и такой же квадратной фигурой, управляющий был затянут в кожаные краги и бриджи. Он походил на жокея, только что возвратившегося с проминки лошадей. Представился Эйлерс как директор-опекун имений «по американскому назначению». Он сообщил, что в бывшем имении Финке сейчас насчитывается 330 голов крупного рогатого скота, тридцать лошадей и одиннадцать тракторов. Обрабатывают землю 210 батраков, которые в большинстве своём переселились в Баварию из восточных областей, отошедших к Польше.

Когда разговор зашёл о судьбе бывшего владельца поместий, Эйлерс изобразил на своём лице скорбь и горестно ответил, что барон теперь живёт очень бедно, разбит параличом, всё у него отобрали, и ютится он с большой семьёй в двух тесных комнатёнках неподалёку отсюда. Мы решили посетить и помещика, тем более что Финке жил в нескольких километрах от охотничьего домика — в центральной усадьбе.

Самого барона мы не застали — «разбитый параличом», он ушёл на послеобеденную прогулку. Поговорить мы могли лишь с его младшим, семнадцатилетним сыном. Короткая тирольская курточка и кожаные штаны до колен выдавали в нём коренного баварца (совсем недавно сепаратисты из баварского ландтага издали закон, по которому всем не-баварцам, под страхом уголовной ответственности, запрещалось носить баварские кожаные штаны).

Молодой барон учтиво предложил нам осмотреть центральную усадьбу. Он провёл нас в огромную двухэтажную виллу, заставленную богатой мебелью. Здесь

было по меньшей мере полтора десятка просторных комнат, не считая многочисленных служб для дворни. Желая похвастаться своей осведомлённостью в делах отца, наследник барона сказал, что все шесть имений принадлежат им, а американцы только формально и временно назначили опекуном их собственного и преданного управляющего господина Эйлерса. В личном их распоряжении находится сейчас около сорока батраков, но папа говорил, что обещали передать и остальных.

Один из этих сорока батраков работал в саду около барского дома. Мы разговорились с ним. Его фамилия Тилле. Он переселился с Одера и вот уж второй год работает здесь. Это был представитель тех людей, которым запрещено носить баварские штаны, человек, которого баварские сепаратисты вместе с другими переселенцами требуют изгнать из пределов Баварии.

Тилле зарабатывает 18 марок в неделю, обслуживает он помещика, но так же, как и его товарищи, получает жалованье от... американской администрации.

Так закончилось наше посещение «бедного» помещика барона Финке, живущего в американской зоне.

Вскоре я встретился с бывшим тогда министром сельского хозяйства Баварии доктором Баумгартеном. Позже он стал лидером «баварской партии». Разговор шёл о земельной реформе и продовольственных затруднениях. По мнению министра, реформу можно было осуществить только года через два-три. Сначала нужно построить дома для новых крестьян — не могут же они жить под открытым небом! Следует приобрести для них скот, инвентарь. Всё это тоже очень сложно, и ещё не известно, откуда взять средства. Доктор выдвигал ещё какие-то причины, но потом выяснилось, что по всей Баварии разделу подлежит всего около 40 тысяч гектаров — один процент всей баварской земли. Это вместо 39 процентов земли, конфискованной в советской оккупационной зоне.

Я напомнил Баумгартену, что на основе их же статистических данных (министр в начале беседы любезно предложил каждому из нас только что изданный справочник по баварскому сельскому хозяйству) свыше полутора миллионов гектаров — одна треть всей полезной земли Баварии — принадлежит крупным помещикам. Вель только один Турн-унд-Таксис владеет в Регенсбурге поместьем в 25 тысяч гектаров.

Наш собеседник заявил, что это «устаревшие» цифры, и перевёл разговор на другую тему.

Примером того, как осуществлялась земельная «реформа» в Баварии, может служить также и история с владениями кронпринца Рупрехта. У этого претендента на баварский престол после войны конфисковали его поместье. Собственно, не отобрали, а купили. Восьмидесятилетнему кронпринцу из народных средств выплатили огромную сумму. Рупрехт получил деньги и остался в своём поместье. Потом Рупрехта решили восстановить в правах собственности. Кронпринц не остался в накладе от земельной «реформы» — у него остались и замок, и деньги.

По тому же справочнику, преподнесённому нам баварским министром, можно было выяснить, что в Баварии продолжается дальнейшая деградация сельского хозяйства, начавшаяся ещё при нацизме. Только за год посевы в Баварии сократились на сто тысяч гектаров. За тот же период в советской оккупационной зоне посевные площади возросли на 450 тысяч гектаров. Почти половину баварской земли — 43 процента — здесь хищнически используют под пастбища. За последний год пастбища увеличились ещё на 250 тысяч гектаров за счёт земли, пригодной к посевам.

Московская сессия Совета Министров Иностранных Дел приняла согласованное решение закончить проведение земельной реформы к концу 1947 года, то есть к очередной лондонской конференции. События показали, что к этому времени в Западной Германии ничего не было сделано для проведения реформы. Помещики попрежнему сидели в своих замках, приютив там и своих коллег, бежавших из советской оккупационной зоны. Американские власти не заинтересованы в восстановлении немецкого сельского хозяйства. Послевоенный продовольственный кризис привёл к голоду среди рабочих и переселенцев в Западной Германии, но он давал большие прибыли американским хлеботорговцам.

Не изменилось в этом отношении положение на западе Германии и поныне.

Пять лет спустя.

Летом 1950 года, уже после провозглашения демократической республики, я ещё раз побывал в немецкой деревне и смог наблюдать, какие изменения произошли здесь после аграрной реформы, после того, как советские оккупационные власти целиком передали немецкому народу государственное управление своей страной. Эти изменения были огромны. Они характеризовали дальнейшие процессы закрепления аграрной реформы, дальнейшие демократические преобразования, осуществляемые самим немецким народом. На этот раз я поехал в провинцию Саксония-Ангальт, расположенную в западной части Германской демократической республики.

Немецкий крестьянин, которого мы встретили в бывшем помещицком имении Варнеке, носил фамилию — Шэфенихт. Жил он, как и десяток других новых крестьян, в самом имении, пахал землю, принадлежавшую ранее Варнеке, свой скот держал в сараях помещика и чувствовал себя здесь полным хозяином.

Почти сорок долгих лет работал Пауль Шэфенихт в батраках у помещика Варнеке. Здесь, у того же помещика работал и его отец. Потомственный батрак родился здесь, вырос, но, кроме угла в людской, неоплатных долгов да единственной козы на всю семью, никогда и ничего не имел.

Вот уже пятый год ведёт Пауль самостоятельное хозяйство. Во время аграрной реформы вместе со старшим сыном получили они пятнадцать гектаров земли, общество крестьянской взаимопомощи дало им корову, жеребёнка. С этого и начал вести самостоятельную жизнь новый крестьянин на земле помещика Варнеке. Нужно было видеть, с какой удовлетворённой гордостью водил нас крестьянин по обширной усадьбе, где, точно крепостные бастионы, возвышались каменные сараи, хлевы, службы, оставшиеся после помещика.

В глухую саксонскую деревеньку Вайвиц мы приехали через пять лет после того, как земля во всей восточной части Германии перешла в собственность немецких крестьян. На примере этой деревни, на примере Пауля Шэфенихта и многих других крестьян можно было совершенно отчётливо видеть, как, в каком направлении развивается сельское хозяйство Германской демократической республики.

Труженик земли, для которого ещё в недавнем прошлом была проблемой покупка детских чулок, теперь, получив принадлежавшую ему по праву землю, выбился из вековой нужды. За эти годы батрак стал владельцем собственного хозяйства. Теперь в его хлевах, доставшихся ему от помещика, десяток овец, две коровы, лошади, домашняя птица, а землю его обрабатывают тракторы машинопрокатной станции, расположенной в том же имении. Правда, на психологию немецкого крестьянина влияют совершенно противоречивые факторы. В его сознании происходят любопытные процессы. В результате демократических преобразований он получил землю и возможность обзавестись хозяйством, но он уже стал собственником, и это индивидуалистическое чувство проявляется в нём порой весьма наивно. Пауль Шэфенихт за всю свою жизнь никогда не имел своих сбережений, но он всегда знал, что личный счёт в банке, сберегательная книжка является неким символом собственности и независимой самостоятельности. И теперь, хотя Пауль Шэфенихт имеет наличные деньги, он всё же предпочитает в уплату за обработку земли выписывать чек на имя машинопрокатной станции. Бухгалтерия прокатной станции расположена здесь же, в помещицком доме, а в сберегательную кассу нужно ехать в город. Но Пауль Шэфенихт всё же едет. По мере надобности он облачается в праздничный наряд, отправляется в город и, переполненный чувством собственного достоинства, торжественно выписывает чек на оплату своих расходов. По его мнению, это выглядит куда солиднее, чем платить наличными прямо в кассу прокатной станции. Новый крестьянин глубоко уверен, что именно такой метод расчётов соответствует поведению самостоятельного хозяина...

С другой стороны — черты нового. Пауль Шэфенихт, так же как сотни тысяч немецких крестьян, начинает убеждаться, что экономически наиболее выгодно обрабатывать свои гектары с помощью машинопрокатных станций. Эти станции, возникшие впервые весной 1949 года, необычайно быстро завоевали огромную популярность

среди деревенского населения. Машинопрокатные станции явились тем новым, что характеризует теперь немецкую деревню, что закрепляет успехи земельной реформы, проведённой пять лет тому назад.

Собственно говоря, машинопрокатная станция и была целью нашего посещения глухой саксонской деревеньки Вайвиц. По пути в Эйзенах, где в те дни проходил всегерманский крестьянский съезд, мы спросили крестьянина, работавшего на поле, где здесь ближайшая машинопрокатная станция. Крестьянин, по существующему здесь обычаю, очень подробно, со всеми деталями рассказал, как проехать в посёлок, и через полчаса мы остановились у массивных ворот вайвицкой машинопрокатной станции, одной из пятисот двадцати четырёх станций, открытых в прошлом году на территории Германской демократической республики. Их возникновение сильно подорвало эксплуататорские элементы в немецкой деревне. С самого начала своего существования машинопрокатные станции на одну треть снизили расценки на обработку земли по сравнению с частными владельцами машин. Во многих районах больше половины всей крестьянской земли теперь обрабатывается уже с помощью машинопрокатных станций.

В Вайвице, где мы остановились, станция обслуживает двадцать окрестных деревень. В её распоряжении находится 30 тракторов, 22 молотилки, столько же сеялок, плуги, бороны и другой сельскохозяйственный инвентарь. Всё это по индивидуальным договорам предоставляется местным крестьянам. Но станции эти оказывают помощь крестьянам не только сельскохозяйственными орудиями и машинами. Они всё больше и больше становятся проводниками нового, демократического влияния, очагами культуры в немецкой деревне. Кроме инженера-механизатора и агронома, в штатах МПС предусмотрена должность заместителя директора по культурным вопросам. В Вайвице, например, при машинопрокатной станции в помещицком особняке открыт Дом культуры, создан кружок самодеятельности, который часто выступает в соседних деревнях. При станции работают спортивные секции, есть передвижная библиотека, с помощью городских предприятий, взявших шефство над прокатной станцией, в деревнях читаются лекции, доклады, проводятся вечера в клубе.

Сначала, когда машинопрокатная станция только возникла, многие крестьяне относились к ней с недоверием. Проявлению этого недоверия несомненно способствовала вражеская пропаганда. Американские радиостанции, западные реакционные газеты распространяли лживые слухи о том, что вся земля, обработанная станциями, перейдёт в собственность народных имений, что всех крестьян насильно объединят в колхозы и обязательно отберут весь скот.

Весна 1949 года в немецкой деревне была знаменательна тем, что в эти месяцы впервые вышли на крестьянские поля тракторы машинопрокатных станций. В те дни на стенах домов, в магистратах и других общественных организациях можно было видеть плакаты, которые привлекали всеобщее внимание. На плакатах выделялись две даты — 1942 и 1949 годы. На первой части плаката были изображены фашистские танки, рвущиеся к Сталинграду, к тракторному заводу. На фоне цифры 1949 изображён тот же Сталинград; с тракторного завода выходят вновь тракторы. Большая партия таких тракторов была направлена весной этого года в Германию.

Первыми инструкторами, которые обучали немецких трактористов вождению советских машин, были советские танкисты. Под стенами города-героя громили они германский фашизм, а через семь лет солдаты армии социалистического государства прокладывали первые борозды на мирных немецких полях, показывали немецким крестьянам, как нужно обращаться с могучими стальными конями, прибывшими из Советского Союза. Трактор стал символом мира.

В те дни мне пришлось быть свидетелем того, как встретили немецкие крестьяне первые прибывшие тракторы. Это было в Грейфсвальдском районе. На машинопрокатной станции толпа крестьян с любопытством разглядывала только что снятые с железнодорожных платформ советские машины. Здесь были знаменитые «СТЗ-НАТИ», «Универсал-2», «КЛ-35».

Из советской комендатуры прибыла группа солдат во главе с рядовым Петром Вавиловым Комсомолец из Подмоскovie, скрывая волнение, сел за трактор. Он был

уверен в отечественной технике, но машины прошли долгий путь,— кто знает, что могло случиться с ними в дороге. Что, если трактор не заведётся, закапризничает, не пойдёт или остановится на глазах многочисленных зрителей — немецких крестьян, собравшихся со всей округи? По-мальчишески закусив губу, тракторист нажал на рычаг, дал газ. Машина грузно тронулась с места.

В сопровождении крестьян машина вышла на поле. Бургомистр деревни показал участок, который нужно вспахать. Прицепив трёхкорпусный плуг, Вавилов сделал первый круг. Трактор шёл легко, и комсомолец решил увеличить нагрузку. Подцепили ещё двухкорпусный плуг. Следом за первым трактором шли ещё два «Сталинградца». Через час с небольшим всё поле в несколько гектаров было покрыто ровными и глубокими бороздами. Крестьяне ходили следом, брали в руки свежие комья земли, измеряли глубину вспашки и удовлетворённо кивали головами.

Но неожиданно произошло какое-то замешательство. Владелец поля что-то взволнованно говорил, указывал на пашню, обращался к другим крестьянам. Вскоре выяснились и причины возникшего замешательства. Советские комсомолцы, привыкшие к иным масштабам, по недоразумению запахали и участок двух соседних крестьян. Те решили, что произошло это неспроста и будто бы теперь они должны обрабатывать землю.

Комсомолцы, закончив опытную пахоту, удовлетворённые и гордые своей работой, уже осматривали машины, когда к ним подошла группа крестьян, и владельцы участка наперебой начали объяснять, что они не хотят состоять в колхозе. Солдаты-трактористы долго не могли понять в чём дело, наконец кто-то из крестьян на ломаном русском языке растолковал причину возникшего недоразумения. Пётр Вавилов пробормотал что-то о серости и темноте крестьян, которые «имеют отсталую индивидуальную психологию», снова сел за трактор и точно по линейке провёл плугом глубокие борозды, восстановив перепаханые межи. Недоразумение было устранено. Через несколько дней обученные солдатами немецкие трактористы начали весеннюю пахоту.

Осенью того же года многие крестьяне обратились за помощью в машинопрокатные станции, а следующей весной, например, вайвицкая машинопрокатная станция обрабатывала уже две трети земли окрестных крестьян. Трактористы едва управлялись, чтобы удовлетворить все заявки крестьян, хотя многие из них выполняли планы пахоты на 150—200 и даже 270 процентов.

К началу 1950 года в Германской демократической республике все МПС располагали семью тысячами тракторов. Через несколько месяцев их было уже 12 тысяч. Промышленность республики стала выпускать свои тракторы на новом, специально построенном тракторном заводе.

Народ — хозяин.

Время иностранного корреспондента в значительной степени проходит в разъездах. Встречи с людьми, знакомство с фактами, происходящие события вызывают самые различные впечатления. Корреспондент становится свидетелем резких социальных контрастов. Особенно разительны они в послевоенной Германии, где перекрещиваются, сталкиваются самые противоречивые силы, где происходит борьба демократии и реакции.

Вскоре после одной из поездок по американской зоне мне пришлось побывать в Саксонии, входящей в советскую оккупационную зону. Для поездки я выбрал район Цвикау — рядовой саксонский район, расположенный на самой границе с Бизонией.

Район Цвикау можно не торопясь проехать из конца в конец в течение часа. Типичные саксонские городки, тихие и несколько чопорные, с неизменными аллеями лип и каштанов на главных улицах, перемежаются здесь с такими же тихими, по-немецки сентиментальными деревнями. Иные городки носят следы минувшей войны — целые кварталы загромождены безлюдными руинами, другие стоят, как сто лет назад, война не коснулась их совершенно. Перед глазами открывалась гипичная картина

жизни восточногерманской провинции. Здесь сочетались и отживающее прошлое и ростки нового, демократического уклада. Но то было отнюдь не мирное сосуществование подорванного в своей основе реакционного прошлого и укрепляющейся демократической нови. Борьба, порой неприметная внешне, происходила всюду. То, что происходило здесь, в Цвикау, во многом было характерным и для других районов, земель советской оккупационной зоны.

До войны в районе Цвикау насчитывалось более восьмисот различных промышленных предприятий. Первое время после разгрома фашизма почти все они остановились. Одни были разрушены или повреждены бомбардировками, другие закрылись, лишённые сырья. Все военные заводы были демонтированы. То, что называется ликвидацией военного потенциала, здесь осуществлено полностью. В Цвикау не сохранилось ни одного военного предприятия, а многие заводы и фабрики, принадлежавшие военным преступникам, перешли в народную собственность. Ими стали управлять сами немецкие трудящиеся. В районе Цвикау я обнаружил совершенно необычное по сравнению с Бизонией явление — все восемьсот предприятий, за очень малым исключением, уже работали и давали мирную продукцию.

В Цвикау я побывал на многих народных предприятиях. Их существование, как новой формы собственности, пожалуй наиболее ярко раскрывало те процессы последовательной демократизации, которые происходили в советской оккупационной зоне. Наряду с осуществлением земельной реформы социализация крупной немецкой промышленности явилась становым хребтом всех демократических преобразований, которые проводились на основе неуклонного выполнения потсдамских решений.

Правда, все народные предприятия Цвикау носили старые названия. Попрежнему существовали заводы «Хорьх», «Шуман-верке», «Карл Шмельцер» и многие другие. Но от старого на заводах остались одни только вывески. Переименование заводов и замена фабричных марок может отразиться на сбыте, — немецкий покупатель в своей массе крайне консервативен. Поэтому старые названия сохраняют как фабричные марки, издавна знакомые потребителям. Так во всяком случае объяснили мне непонятное советскому человеку противоречие между названием и внутренним содержанием народных предприятий. Потому, например, автомобильный завод в Цвикау, ставший народным предприятием, продолжал носить имя военного преступника Хорьха...

Ещё летом 1946 года, по предложению демократических организаций, в некоторых землях советской оккупационной зоны был проведён народный плебисцит о судьбе предприятий военных преступников. Состоялся такой плебисцит и в Цвикау. Огромное, подавляющее большинство населения высказалось за передачу этих заводов в собственность народа. В Цвикау насчитывалось 84 таких предприятия. Их старые владельцы бежали на запад, в Бизонию. Немецкий трибунал, заочно судивший их здесь же в городе, строго-настрого запретил всем местным фашистам-промышленникам занимать в городе какие бы то ни было руководящие должности.

Среди заочных подсудимых был и старик Хорьх — владелец крупнейших автомобильных заводов и гитлеровский виртшафтфюрер — военхозяйственный руководитель района. Хорьх был упорен в своей жадности и ненависти. Он строил душегубки и военные транспортёры, делал торпеды и снаряды. На его заводах работало шесть тысяч иностранных нсвольников. Уже в конце войны он передал гитлеровскому правительству собственное изобретение, которое давало возможность использовать для вождения танков безногих инвалидов. Утверждённый проект не увидел света. Конец войны был концом преступлений Хорьха. Виртшафтфюрер сбежал в Ганновер, где спокойно живёт и по сей день.

Советские оккупационные власти, строго выполняя четырёхстороннее соглашение о демилитаризации, полностью демонтировали военные предприятия Хорьха в Цвикау и разрешили открыть на их месте новый завод, работающий для мирных целей.

Сначала управление заводом принял на себя комитет профсоюзов. Потом утвердили директора. Им стал техник-конструктор Бимек. Его заместитель — бывший слесарь Юнгханс. На заводе не осталось ни одного старого руководителя. Начальниками цехов выдвинули рабочих-антифашистов — слесаря Циппеля, столяра Синрайха, токаря Шенгера. С подбора кадров руководящих работников началась демократиза-

ция завода. После плебисцита «Хорьх» стал народным предприятием. С какой гордостью рассказывали новые руководители о своих первых успехах. В этой гордости за своё предприятие звучало новое отношение к труду, к народной собственности.

Производительность труда на заводе возросла по сравнению с предыдущим годом больше чем вдвое. Она продолжала повышаться из месяца в месяц. Меньше чем за год средняя выработка на каждого рабочего увеличилась в полтора раза.

Рабочие начали с малого — ремонтировали автомашины, делали кухонную посуду. Они разыскивали по округе все мало-мальски пригодные станки, откапывали их среди руин, чистили, ремонтировали, восстанавливали. На заводе было установлено свыше четырёхсот таких станков. В цехах не только ремонтировались старые автомашины, но и делались грузовики новой конструкции. Они уже курсируют по дорогам Саксонии. Их можно видеть на угольных шахтах и других народных предприятиях. Заводские конструкторы разработали проект нового дизельмотора и готовились к испытанию опытного образца, который в скором времени предполагали сдать в серийное производство.

Новая форма собственности — народная собственность — рождала и новое отношение к труду. На смену жестокой конкуренции явилось производственное содружество родственных народных предприятий. Зарождалось движение народного соревнования. Рабочие «Хорьха» стали обмениваться рационализаторскими предложениями с авторемонтным заводом в Хемнице. На самом же заводе соревнование было только в зачаточном состоянии. Никто не знал, как наладить его практически.

На бывшем военном предприятии «Цвикауэр машиненверке», также в своё время демонтированном, начали строить компрессоры для угольных шахт. Успехи этого завода были ещё более разительны, чем успехи «Хорьха». Здесь рабочие также восстановили и сделали сами полтораста станков. За два года своего существования они достигли половины старой производственной мощности завода. Одно это уже являлось несомненным и крупным успехом. Но главное в другом — коэффициент использования механизмов увеличился в восемь раз по сравнению с довоенным.

Всё это были только сухие цифры и факты, но какие огромные преобразования были видны за колонками цифр, которые демонстрировали мне новые руководители предприятий!

Я побывал ещё на одном народном предприятии — на вагоностроительном заводе «Шуман-верке». В отличие от упомянутых выше заводов, он сохранился таким же, каким был до войны. Когда-то, много лет тому назад, «Буш-концерн», куда входил этот завод, запретил строить здесь новые вагоны. У руководителей концерна были свои соображения — они устраняли конкурентов. После длительного перерыва завод, ставший народной собственностью, снова начал делать вагоны. Но главным образом «Шуман-верке» занимался пока ремонтом. Только в минувшем году здесь отремонтировали полторы тысячи вагонов. Мне показывали разбитые, бесформенные вагоны, похожие на груды металлического лома, которые на заводе возвращают к жизни. Тогда я вспомнил, что в западных зонах американские власти под самыми различными предлогами запрещают не только строительство новых, но и ремонт старых вагонов на немецких предприятиях. Вместо этого 20 тысяч товарных вагонов по баснословной цене предполагалось импортировать из Америки.

Стоит подробнее остановиться на демократических преобразованиях в области промышленности, осуществлённых в советской зоне.

Во время войны — в 1944 году почти шестьдесят процентов промышленности, размещённой на территории, ставшей впоследствии советской оккупационной зоной, принадлежало германским монополистам. Фирмы Сименса, Маннесмана, Хенкеля и некоторых других, составляя четыре процента всего количества предприятий, давали половину всей выпускаемой продукции. После войны, в результате проведённого отчуждения крупных промышленных предприятий в пользу немецкого народа, из сорока тысяч предприятий национализировали три тысячи фабрик и заводов. Эти народные предприятия стали давать сорок процентов всей промышленной продукции советской зоны. Было обобществлено 99 процентов горнорудной промышленности, 54 — металлургической, 41 — машиностроения, 33 — электропромышленности, 35 — хи-

мии, 32 процента текстильного производства. В народную собственность перешли почти все железные дороги, шахты и все другие предприятия Флика, 59 предприятий Сименса, заводы Маннесмана, Хенкеля и других немецких магнатов.

Но осуществление демократических преобразований в советской зоне изменило не только имущественные отношения и социальную структуру восточной части Германии. На примере того же района Цвикау можно было увидеть, как укреплялся демократический строй, устанавливались иные порядки, отличные от порядков в Бизонии. В Мюнхене мне пришлось беседовать с директором городской криминальной полиции. Не разобрав вначале, что перед ним советские журналисты, он откровенно рассказал и подтвердил это висящими на стене диаграммами, что с приходом американских войск преступность в городе возросла в пятьдесят раз, а проституция — по меньшей мере в десять.

По сведениям же полицейпрезидента Цвикау, во всём районе преступность за год сократилась в три раза. Это объяснялось, в частности, тем, что здесь в полиции не осталось ни одного старого полицейского, ни одного офицера гитлеровской армии. Все до единого служащие полиции были набраны из рабочих-антифашистов. Интерес представлял также и характер преступлений. Подавляющее большинство их совершают преступники, проникающие из западных зон. Пользуясь межзональными пропусками западных военных властей, сюда пробирались не только уголовники, спекулянты, но и политические преступники, шпионы и диверсанты.

Стало известно, что объединение немецких промышленников, возникшее снова после войны в американской зоне, издало секретную директиву о проведении актов саботажа и диверсий на народных предприятиях советской зоны. Незадолго до нашего приезда в Цвикау здесь был арестован некий Бенфор. Он имел задание поступить на одно из народных предприятий, наблюдать за четырьмя заводами и организовывать там подрывную работу. Арестованный показал, что его направила группа промышленников, бежавших из советской зоны. В засылке этого диверсанта принимали участие также и американские разведчики, они передали ему «на расходы» 10 тысяч марок. После осуществления диверсий ему обещали выплатить ещё 30 тысяч немецких марок.

Был арестован также и руководитель текстильной фабрики «Юнг унд Сименс» в Цвикау Андре Бергман. Он хотел вывезти в западные зоны оборудование и готовую продукцию предприятий. Возглавлял группу преступников некий доктор Шмидт, который приехал в Цвикау по межзональному пропуску.

Полицейским органам ещё не всегда удаётся раскрыть или предотвратить преступление. Как-то ночью к небольшому лесопильному заводу, расположенному близ границы, подошли несколько грузовых машин, среди которых были и американские «студебеккеры». Владелец лесопилки погрузил всё оборудование завода на машины и под покровом ночи переехал в американскую зону. Так было совершено похищение целого завода.

Несколько позже была раскрыта большая организация спекулянтов и диверсантов, орудовавших в текстильной промышленности. Они дезорганизовывали рынок, срывали работу предприятий, вывозили оборудование, сырьё и готовую продукцию в западные секторы Берлина и оттуда в Бизонию.

Нельзя не связывать с деятельностью засылаемых диверсантов случаи неожиданных пожаров, возникающих на народных предприятиях. Только за один год такие пожары причинили народным предприятиям района Цвикау ущерб в один миллион марок.

Большую помощь демократической полиции в её борьбе с организаторами саботажа и спекулянтами оказывают сами немецкие трудящиеся.

Чёрный рынок стал в Западной Германии неотъемлемой частью любого города, посёлка или деревни. На этом рынке можно купить всё что угодно — от пирожков с вареньем до акций немецких военных заводов. В Мюнхене торгуют даже бланками заграничных паспортов с готовыми визами для проезда в Испанию.

Чёрный рынок стал настоящим бичом трудового населения. На потайные базары стекаются десятки тысяч тонн зерна, тысячи голов скота, готовая продукция фабрик.

Чёрный рынок совершенно дезорганизовал нормированное снабжение населения Бизонии. Недаром во время массовых забастовок против дороговизны и продовольственного кризиса одним из основных требований демонстрантов и забастовщиков было требование организовать общественный контроль над распределением продовольствия и товаров широкого потребления. Забастовщики требовали сурово наказать спекулянтов, изгнать матёрых фашистов из органов снабжения.

Требования трудящихся Западной Германии так и остались без ответа. Да иначе и не могло быть. Трудящиеся устранены там от борьбы с шиберами-спекулянтами, а среди королей чёрного рынка подвизаются не только местные спекулянты. В Бизонии орудуют международные шайки спекулянтов-оптовиков, торгашей и авантюристов. Одни поставляют через бельгийскую границу американские сигареты, другие скупают золото и бриллианты, третьи специализируются на перепродаже хлеба и другого продовольствия. Даже западногерманские газеты вынуждены были время от времени сообщать о том, что в крупных спекуляциях бывают замешаны сотрудники военной администрации, в том числе полковники и даже генералы.

Общественный контроль, участие в борьбе с различными спекулянтами, — о чём только мечтают трудящиеся Западной Германии, — широко осуществлялся в советской оккупационной зоне.

В Галле — центре земли Саксония-Ангальт — меня познакомили с работником земельного правления профсоюзов, который занимал не совсем обычную должность. Товарищ Михоэлис возглавлял в профсоюзах работу групп народного контроля. Это была ещё совершенно новая отрасль в деятельности немецких профсоюзов, но уже несколько цифр, приведённых моим собеседником, показывали, какое значение имеет народный контроль, какой популярностью он пользуется у населения.

В Саксонии-Ангальт работало уже свыше четырёхсот постоянно действующих групп народного контроля. Это, не считая, примерно, сотни комиссий, выполняющих отдельные задания профсоюзов по контролю над распределением и производством.

Товарищ Михоэлис рассказал мне историю возникновения групп общественного или народного контроля. За несколько месяцев перед тем на крупнейшем предприятии «Буна-верке» по инициативе рабочих возникли первые добровольные группы общественного контроля. Начали они с того, что занялись проверкой частных продовольственных лавок и магазинчиков, расположенных вокруг завода. Контролёры-рабочие следили за качеством продуктов, следили за тем, чтобы не расхищались нормированные товары частными владельцами магазинов. Это было начало. Но очень скоро выяснилось, что контроль нельзя ограничивать только проверкой мелких лавочек. В комиссии общественного контроля стали приходиться с жалобами домашние хозяйки, рабочие завода сообщали о замеченных ими беспорядках. Жизнь подталкивала группы народного контроля к расширению функций. Вокруг групп объединялись активисты, возникали новые группы не только на «Буна-верке», но и в других районах, на других заводах.

Через несколько месяцев в группах народного контроля Саксонии-Ангальт уже работали полторы тысячи человек. Группы опирались на тысячи добровольцев-помощников. Происходило любопытное явление — в стране, где долгие годы подавлялось всякое проявление коллективизма, где фашизм растлевал людей, прививая им идеи «фюрерства», безоговорочного подчинения всевозможным блок- и гаулейтерам, — под влиянием демократических реформ возникало движение всенародного контроля, росло чувство ответственности за судьбу народного хозяйства в целом. Это была одна из деталей перевоспитания немецкого народа.

Служащие одного из частных мебельных магазинов Магдебурга сообщили в группу народного контроля, что их хозяин держит у себя дефицитные станки, которыми сам не может пользоваться. Группа, созданная при городском комитете профсоюза деревообделочников, действительно обнаружила у владельца магазина несколько дисковых пил, строгальные и сверлильные станки. Одновременно народные контролёры установили, что хозяин продаёт мебель по завышенным ценам. Обо всём этом они сообщили в земельную промышленную палату, которая предложила владельцу либо самому использовать механизмы, либо продать их соседнему дерево-

обделочному заводу. Что же касается незаконного повышения розничных цен, то по требованию группы народного контроля владельца оштрафовали на шестьсот марок.

В другом городке — Эйслебене — в профсоюз швейников поступило сообщение о том, что хозяин швейной фабрики Шталь собирается якобы закрыть предприятие, так как у него нехватает сырья. Несколько десятков швей могли остаться без работы. Группа народного контроля с помощью рабочих фабрики установила, что хозяин присваивает себе сотни метров ткани, обманывает поставщиков сырья. Комитет профсоюза внёс предложение в промышленную палату отобрать у хозяина фирмы патент на право производства. Палата согласилась с предложением рабочих и передала швейную фабрику местному кооперативу.

Таких примеров немало. В Вейсенфельсе народные контролёры обнаружили тайные склады кожевенных изделий и добились, чтобы эти товары были переданы для распределения среди населения. В Деличи во время проверок в тридцати случаях были обнаружены серьёзные злоупотребления, которые потом были устранены.

Группы народного контроля не стали ограничиваться только сферой торговли и распределения. Они начали вмешиваться в проверку качества продукции народных предприятий, следить за выполнением программы, вносить предложения по улучшению производства. В атмосфере широкой демократии трудящиеся советской зоны оккупации не останавливались и перед тем, чтобы вступить в спор с высшими инстанциями. В Деличи группа народного контроля обнаружила у владельца торговой фирмы «Георги» большой тайный склад мануфактуры. Товары конфисковали и передали для распределения населению, а владельца фирмы привлекли к судебной ответственности. Но суд ограничился только штрафом. Тогда профсоюз обжаловал приговор в Земельный суд. Этот суд вообще оправдал подсудимого. Оказалось, что в органах юстиции засели старые реакционеры-чиновники, которые уже не раз выгораживали и покрывали спекулянтов. Народные контролёры и работники профсоюза не остановились на полдороге. Они обратились за помощью в демократическую печать. В нескольких газетах появились статьи о спекулянтах и их защитниках. Трудящиеся городка Деличи использовали демократические права и добились своего. Дело оптового торговца-спекулянта передали на новое рассмотрение, и он понёс заслуженное наказание. Одновременно и земельные судебные органы были очищены от укрывавшихся там реакционных чиновников.

В течение одного месяца мне довелось посетить и Бизонию и города советской оккупационной зоны. Как велика и принципиальна была разница в событиях, происходивших в одно и то же время в двух частях Германии, разделённой зональной границей!

Глюк-ауф!

Через несколько месяцев после того, как в 1948 году в западной и в восточной частях Германии почти одновременно прошли финансовые реформы, принципиально различные по своему содержанию, я побывал в некоторых землях советской оккупационной зоны. В те дни с запада попрежнему шли мрачные вести. Новые тысячи безработных каждый день заполняли биржи труда многочисленных городов Бизонии. Только за первые две недели после финансовой реформы число безработных возросло там на 530 тысяч человек. Это были официальные цифры.

В поисках заработка тысячи обездоленных людей кочевали из города в город, искали применения своему труду. Но у безработных отнималось их последнее право — свободно передвигаться по Западной Германии, искать заработка в соседних провинциях. Теперь они обязаны были оставаться там, где настигла их безработица. Американская идея федерализма приняла столь уродливые формы, что трудовому населению фактически запрещалось переезжать из одной земли в другую. Федерализм отбрасывал людей на сотню лет назад — к феодальным крепостническим порядкам. Министерство внутренних дел земли Гросс-Гессен опубликовало распоряжение по поводу лиц, «незаконно перешедших границы земли». В Гессене насчитывалось пятьдесят тысяч таких «нарушителей» лоскутных границ. В своей собственной стране

люди превращались в бесправных изгнанников. Им сокращали и без того мизерные пайки, на них не распространялось даже куцее трудовое законодательство. Гессенское министерство изыскивало пути и возможности выселения этих пятидесяти тысяч безработных, которые пересекли границу земли в тщетных поисках заработка.

Совсем иное положение было в землях восточной части Германии. Я снова побывал в земле Саксония-Ангальт, которая на большом протяжении граничит с англо-американской зоной. Последовательная демократизация уже дала свои первые успехи. Здесь не было даже и намёка на те бедствия и тяготы, которые шесли рабочие, кустари, ремесленники по ту стороны зональной границы.

В самом начале проведения денежной реформы Немецкая экономическая комиссия, созданная ещё раньше для руководства экономикой советской зоны, разослала во все земли письмо с просьбой немедленно сигнализировать о всех, даже единичных, случаях увольнения рабочих или ликвидации предприятий в связи с проведением финансовой реформы. В Галле — центре земли Саксония-Ангальт — мне дали справку: за все эти месяцы нигде не было уволено ни одного рабочего, не закрылось ни одно, даже самое маленькое предприятие. Банкротства, разорения, массовая безработица, принявшая на западе масштабы стихийного бедствия, не коснулись Саксонии-Ангальт, так же как и других земель Восточной Германии. Волна бедствий остановилась у зональной границы.

И уж если что-либо отрицательно влияло на экономическое развитие земли, то не безработица, а систематическая нехватка рабочей силы. В месяц реформы — в июне, когда безработные на западе начали заполнять биржи труда, здесь, в Саксонии-Ангальт, послали на работу больше трёх тысяч металлистов, полторы тысячи горняков, а всего в том месяце на предприятия было направлено 29 тысяч рабочих различных профессий. К началу 1946 года в Саксонии-Ангальт на всех предприятиях земли было занято немногим больше одного миллиона рабочих и служащих. К 1 июля 1948 года, то есть уже после финансовой реформы, число рабочих и служащих составило здесь почти один миллион девятьсот тысяч человек. Таким образом, за полтора года заводы, фабрики и кустарные предприятия, расширив своё производство, вовлекли в промышленность около девятистот тысяч рабочих. Но дефицит рабочей силы не уменьшался. За полгода до реформы здесь нехватало 37 тысяч рабочих, а через три месяца после реформы на предприятиях земли было 47 тысяч вакантных мест.

Только на горнорудное предприятие, носящее старое название «Мансфельд АГ», за полтора года направили через биржи труда девять тысяч рабочих. Во время моего посещения на этом народном предприятии было занято тридцать тысяч человек — почти столько же, что и до войны. После реформы всё ещё требовалось 1800 горняков.

Близ старинного немецкого городка Мерзебург находится один из крупнейших химических заводов «Лейна-верке». На завод было сброшено во время войны несколько десятков тысяч бомб. На нём было демонтировано или разрушено всё оборудование, имевшее военное значение. Теперь на заводе снова работало 28 тысяч человек. Завод восстановлен на мирной основе и снабжает искусственными удобрениями всю Восточную Германию. По сравнению с предыдущим годом производство удобрений возросло почти в полтора раза. Даже после того, как англо-американские власти, начав блокаду восточной части Германии, совершенно прекратили поставку кокса, запасных частей и другого имущества, завод всё же не снизил уровня своего производства.

Побывал я и на соседнем заводе «Буна-верке». Тогда на западе уже был опубликован приказ Клея о запрещении производить буну — искусственную резину. Приказ знаменовал дальнейшее закабаление Бизонии, новые барыши американским монополистам. Завод «Буна-верке» в Саксонии-Ангальт продолжал развиваться и непрестанно увеличивал выпуск мирной продукции. Мы беседовали здесь с немецкими специалистами, которых американцы угнали с завода. Первоначально весь этот район был занят американскими войсками. Отходя на новую демаркационную

линию, американцы увезли всех специалистов, стремясь обезглавить завод. Они увезли с собой всю техническую документацию, ценнейшую аппаратуру и больше пяти миллионов килограммов бумы — плоды почти годового производства завода.

Когда немецкие специалисты узнали, что их завод начинает восстанавливаться, многие из них бежали из американского лагеря в Розенталле, куда их поселили после принудительного отъезда с завода. Среди них был доктор Нелис, ставший потом директором завода, главный технолог Молл, начальник исследовательской лаборатории Байерс и многие другие. Они стали во главе многотысячного рабочего коллектива.

В Мерзебурге сохранился старинный замок местного барона. В нём теперь разместились отделы городского магистрата. Но рядом с замком, напоминая о старом, высится блиндажеподобная клетка с толстыми железными прутьями. В клетке сидит старый ворон, который должен искупать грехи какого-то своего предка. Полтора или два столетия тому назад барон приказал казнить своего слугу за то, что тот похитил его семейный перстень. Слугу живым зарыли в могилу, оставив на поверхности одни только руки. Вскоре после казни перстень обнаружился в вороньем гнезде. Его похитил ворон. Барон решил быть «справедливым». В замковой церкви он водрузил плиту с изваянием застывших в судороге рук, а ворона — похитителя перстня — приказал навечно заточить в клетку...

За минувшие столетия сменилось несколько поколений воронов в клетке и баронов в замке. Ворон, заточённый в клетку, должен был напоминать жителям города о торжестве «справедливости». Но справедливость восторжествовала только спустя много лет. Потомок самодура-барона бежал из замка на запад. Замок перешёл к потомкам казнённого слуги. Стали они хозяевами и других замков. Год назад в распоряжении земельного правления объединения профсоюзов было пять санаториев и домов отдыха, расположенных в бывших замках, в которых отдыхало и лечилось около девяти тысяч рабочих. Теперь стало девять санаториев. В них за год побывало уже свыше 35 тысяч трудящихся. Всё это, не считая здравниц и санаториев, которыми владеют органы социального страхования и отдельные крупные предприятия. Кроме того, земельное правительство приняло решение передать трудящимся ещё 36 замков и курортных гостиниц для рабочих курортов и санаториев. Я видел некоторые из них. Старинные средневековые замки, обнесённые рвами, роскошные залы и многочисленные службы, большие фруктовые сады перешли в народную собственность. В одном из десяти замков графа Штольберга, которого называли хозяином Гарца, открылся дом отдыха учителей. В замке графа фон Шуленберга, где прежде жило всего семь человек, просторно разместились полтора десятка отдыхающих. Открылись санатории и во дворце крупнейшего немецкого помещика Венцеля, в замке военного преступника и владельца авиационных заводов Раутенбаха.

Всё это были только детали новой жизни одной немецкой провинции, расположенной в Восточной Германии. С годами, месяцами всё больше и больше новых черт появлялось в землях восточной части Германии.

Есть у немецких шахтёров традиционное приветствие — «Глюк-ауф!», которым обмениваются они, спускаясь под землю. В нём заключается пожелание успеха, счастливого подъёма, возвращения на поверхность. Двадцать шесть лет изо дня в день слышал забойщик Геннеке это приветствие от своих товарищей. Но был ли он счастлив, забойщик Геннеке, который знал и часто повторял сам по слову, родившемуся в глубине шахты: «В забое счастья не ищут»... Адольф Геннеке из посёлка Эльсниц в Саксонии оставался рядовым, неизвестным шахтёром. Так было до туманного октябрьского утра 1948 года, когда директор шахты, Мельхорн, в прошлом такой же рядовой шахтёр, просидевший долгие годы в фашистском концлагере, крепко пожал Геннеке руку и сказал: «Глюк-ауф!».

На этот раз в приветствиях товарищей звучало нечто большее, чем обычное пожелание счастливого возвращения. Геннеке спускался в шахту, чтобы первым в Германии установить рекорд высокой производительности.

Он и сам, пожалуй, не особенно верил, во всяком случае сомневался, что сможет достичь уж очень большого успеха. Ведь все эти послевоенные годы только двадцать процентов шахтёров его участка выполняли норму. А самое большее, чего удавалось добиться отдельным шахтёрам, это выдача на-гора полутора норм установленной добычи угля. Правда, Геннеке рассчитывал, что если всё иметь под руками, если заранее подготовить забой и не отвлекаться во время работы, можно достичь значительно больших успехов — может быть, даже двухсот процентов. Потому накануне Геннеке спускался в лаву, долго говорил там со штейгером, с машинистом, который управляет транспортёром. Сам принёс лес для крепления забоя. Но всё же сомнения не покидали шахтёра. Прежде чем окончательно решить задуманное дело, он говорил о своих сомнениях и в производственном совете, и с председателем местной организации Единой социалистической партии.

И ещё одно смущало шахтёра: как отнесутся к его затее другие рабочие. Испокон веков считалось, что повышать выработку — это значит давать барыши хозяину. Правда, их шахта стала народным предприятием, но ведь рядом стоит завод, который принадлежит старому хозяину. Таких частных предприятий ещё много по всей округе. Поймут ли люди разницу, правильно ли оценят его поступок?..

Сомнения шахтёра даже усилились, когда он, спустившись в забой, узнал, что ночью по неизвестным причинам произошло короткое замыкание и все механизмы остановились. Кто знает — была ли это простая случайность или кто-то умышленно повредил проводку. Накануне вечером Геннеке вместе с электриком осмотрел провода, моторы, — всё было в порядке. Шахтёр-новатор не мог разгадать причин аварии, которая срывала его работу. Больше часа ушло на то, чтобы проверить ещё раз механизмы, найти и устранить повреждение, но к обеденному перерыву Геннеке, прикинув на глаз свою выработку, понял — рекорд будет установлен.

В конце смены, когда Геннеке, закончив работу, проверил крепления и в полном порядке сдал забой другой смене, произвели замер дневной выработки шахтёра. Трижды измеряли количество нарубленного Геннеке угля. Проверяли трижды и не верили. Такого ещё не было на шахте имени «Карла Либкнехта»! За смену Геннеке дал 380 процентов норм!

Для нас, советских людей, перевыполнение норм, производственные рекорды стали обычным явлением. Давно прошли времена, когда Никита Изотов, Алексей Стаханов были новаторами-одиночками, зачинателями ударного и стахановского труда. Но надо знать условия, обстановку послевоенной Германии, чтобы понять огромное, революционизирующее значение примера Геннеке для немецкого рабочего класса, для развития экономики советской оккупационной зоны. Само это явление, инициатива рядового горняка могла родиться только в результате серьёзных социальных преобразований и демократизации всей жизни.

С шахтёром Геннеке мы встретились через две недели после его рекорда. Без преувеличения можно сказать, что за это время он стал одним из наиболее популярных людей в Германии. О нём писали в газетах, печатали его портреты, но главное, нашлись уже тысячи его последователей. Директор шахты Мельхорн, бывший забойщик и политзаключённый гитлеровских лагерей, тот, что провожал Геннеке в шахту, с гордостью показал нам сводку выполнения плана. В первой половине октября, день за днём, добыча угля отставала от плана, но уже через несколько дней после Геннековского рекорда общая добыча шахты превысила сто процентов. Ещё лучших успехов добился участок, где работал Геннеке. После установленного им рекорда шахтёра назначили инструктором подземных работ. Через несколько дней товарищи шахтёра Ландман, Кусбаумер, Шонхор, Мюкша дали более трёхсот процентов выработки. Девяносто процентов всех рабочих участка стали перевыполнять дневные нормы. Люди поверили в свои силы.

Когда Геннеке устанавливал свой рекорд, он не гнался за материальной выгодой. Шахтёр хотел только на своём примере показать возможность повышения производительности труда на народном предприятии, доказать, что дело это реальное и достижимое. В день рекорда он заработал всего 48 марок, ибо на шахте до того не

существовало прогрессивной оплаты. Но сумма дневного заработка Геннеке так убедительно говорила о необходимости пересмотреть всю систему оплаты труда передовых рабочих, что немедленно возник вопрос о введении прогрессивной сдельщины на шахтах. Это в свою очередь дало новый стимул для развития движения Геннеке или «Геннеке-беверунг», как его стали называть в Германии.

Всего несколько дней удержал за собой рекорд эльсницкий шахтёр Адольф Геннеке. Через неделю на соседней шахте «Моргенштерн» («Утренняя звезда») забойщик Пауль Гюнтер дал 608 процентов плана. Он работал на одной из наиболее глубоких шахт в Европе — на глубине 1150 метров, при температуре, достигающей 35 градусов. Дневной заработок шахтёра при сдельной оплате выразился уже в 363 марках, при обычном заработке в 15—16 марок.

Я побывал в шахтёрском посёлке в домике Гюнтера. На стене его комнаты, на самом почётном месте красуется диплом рекордсмена, выданный Гюнтеру шахтным управлением. В дипломе было сказано:

«За выдающиеся производственные достижения, которые способствуют выполнению двухлетнего плана, с признательностью и пожеланием счастья вручается этот диплом нашему товарищу Паулю Гюнтеру».

Я спросил его, как он добился своего рекорда.

— Мне помог в этом Геннеке, — ответил он, — здесь нужен пример, вдохновенье и опыт..

Гюнтер, как и Геннеке, проработал под землёй больше двадцати лет. У него был опыт, но не было примера и вдохновения. Всё это пришло позже. Вдохновение в труде, пример передовых, так же как и диплом, возводящий повседневный труд шахтёра в образец доблести, — всё это черты нового, рождённого демократическим укладом жизни.

Через несколько месяцев после установления первого производственного рекорда движение, возникшее в недрах земли, в глубине шахты, принадлежащей народу, распространилось на все народные предприятия советской зоны. В Штральзунде на судовой верфи два кузнеца — Гнитцлер и Меркель дали в смену почти полторы тысячи головок болтов, выполнив норму на 600 процентов. Сварщики Тиссен и Кортц дали 320 процентов нормы.

На этой верфи у проходных ворот я обратил внимание на замечательный щит, искусно сделанный местными столярами. На щите висели доски с рельефно вырезанными на них именами геннековцев судовой верфи. Примечательно было и другое. Фамилии геннековцев различных профессий висели под разными гербами старых немецких производственных цехов. Столяры, металлисты, такелажники вырезали на доске почёта старинные цеховые гербы своих профессий. На смену фамильным гермам баронов и графов, сброшенным с ворот их родовых замков, появлялись гербы труда древних немецких цехов. В старые, давно забытые гербы теперь вкладывалось новое содержание. Труд становился гордостью рядовых немецких людей.

Вскоре на одной из сессий Народного Конгресса в Берлине выступал шахтёр Геннеке. Он выступал первым — по докладу председателя Немецкой экономической комиссии Генриха Рау. Геннеке сказал примерно то же, что говорил он на митинге около шахты, поднявшись из забоя в день своего рекорда.

— В Западной Германии спрашивают, — сказал он, — о рецепте, который даёт нам возможность перевыполнять нормы. Ответ простой. Нужно рурские шахты передать в руки народа, как это сделали в советской зоне.

Слушая выступление Геннеке, я вспомнил свой разговор с одним из горняков Рура. В глубине забоя, на шахте около Дюссельдорфа, я спросил его, почему так медленно повышается добыча угля в Рурском бассейне. Шахтёр, не скрывая озлобления, ответил:

— Пока наши шахты находятся в руках старых хозяев, мне нечего об этом говорить и думать. С меня хватит и других забот.

Действительно, именно в изменении социальной структуры заложены причины экономических успехов предприятий советской оккупационной зоны. Двухлетний план

развития хозяйства зоны, выдвинутый по инициативе Социалистической Единой партии, предусматривал общий рост промышленного производства зоны до 81 процента к уровню 1936 года. Развитие геннековского движения было только частью борьбы за выполнение этого народнохозяйственного плана. Но и здесь немецкому трудовому люду пришлось столкнуться с реакционными силами.

Шахтёр Геннеке ежедневно получал десятки писем и телеграмм со всех концов Германии. Ему писали восторженные письма и горняки других шахт, и немецкие школьники, и крестьяне, и рабочие заводов и фабрик. Но среди этих сотен писем встречались другие, анонимные письма, полные злопыхательства и прямых угроз. А ночью, вскоре после его рекорда, кто-то побил стёкла в квартире Геннеке. Раздавались угрозы и по адресу других активистов-производственников. Реакция, чувствуя силу народного подъёма, пыталась затормозить это движение.

В конце декабря маршал Соколовский отметил особым приказом новые успехи шахтёров и энергетиков. Угольная и энергетическая промышленность советской зоны оккупации досрочно выполнила годовой план.

«Большую роль, — говорилось в приказе, — в досрочном выполнении заданий угольной и энергетической промышленности сыграло зародившееся в угольной промышленности движение активистов за высокую производительность труда — последователей забойщика Геннеке».

Среди фамилий руководящих работников немецкой промышленности, которым маршал объявлял благодарность, стояло имя простого шахтёра — забойщика Адольфа Геннеке.

А ещё через несколько дней Геннеке получил письмо из Советского Союза от знатного советского шахтёра Алексея Стаханова. Узнав из газет о достижениях немецкого горняка, Стаханов поздравлял его с успехом. В конце своего приветствия он писал: «Ещё раз сердечно жму руку вам и вашим последователям, количество которых, я уверен, будет расти».

Теперь, когда в новой Германии говорят «Глюк-ауф!» — в этом шахтёрском приветствии звучит нечто новое — пожелание успеха и общего подъёма.

Своими руками.

Прошёл почти год с того времени, как в германской столице состоялся знаменательный акт провозглашения демократической республики. Что же произошло за эти месяцы в восточной части Германии, в каком направлении развивались здесь народные силы, как поднимается из руин страна, избравшая демократический путь строительства? Какие изменения в настроениях, психологии происходят в немецком народе в результате гигантских социальных преобразований всех минувших послевоенных лет?

Автору этих строк представилась возможность наблюдать развитие Германии в послевоенные годы, сопоставлять, сравнивать пути развития на западе и востоке этой страны, лежащей в «центре» Европы, который по воле фальсификаторов оказался в самой глуши, в европейском захолустье среди болот и пустошей Саксонии. Любопытства ради я посетил эту глухомань, где в безлюдном районе стоит аляповатая дощатая каланча на перекрестии невидимых меридианов и параллелей. Чванливые европейские политики, географы-фальсификаторы проявили вопиющее невежество, «упутив» одну деталь, что Европа простирается до Уральских хребтов, что Советская Россия занимает основную часть европейского континента. Собственно, это уж не только проявление невежества, а скорее мелкое жульничество, совершённое в угоду современным дикарям, чтобы потрафить их чванливому зазнайству. Центр Европы, и не только географический, а культурный, давно уж переместился далеко на восток, на территорию Советского Союза. Но до сих пор, как архаический пережиток, стоит эта каланча, символизируя чванство и тупость европейской реакции. Судьба жестоко поиздевалась над невеждами. Устанавливая каланчу на месте мнимого центра Европы, они не поняли, в каком юмористическом положении оказались кич-

ливые «знатоки» географии. «Центр» Европы оказался в такой глуши, в таких дёбрах, что к нему невозможно ни пройти, ни проехать. Оставив машину где-то на просёлочной дороге, мы долго пробирались по невылазной грязи, пока не добрались до этого «центра». Могу засвидетельствовать — я был в «центре Европы». Дикая глушь! Здесь пасутся кабаны и дикие козы...

Нет, говоря о Германии, стоящей в центре Европы, надо подразумевать не географическое, а политическое перекрестие. Здесь, в Германии, сталкиваются силы дряхлеющей, отживающей свой век международной реакции и расцветающая, крепнущая сила нового, демократического строя. Новые центры возникают повсюду — не условные, а реальные, знаменующие собой новую эпоху. Одним из таких центров и является народная стройка Зоза, возникшая на отрогах Рудных гор в Саксонии, неподалёку от пресловутого «центра» Европы.

Веками саксонские крестьяне, живущие здесь, испытывали недостаток воды. Каждый год, когда в летнюю пору высыхали ручьи, жители начинали жестоко страдать от недостатка воды. Ковшами вычерпывали они стоячую воду в не высохших ещё водоёмах, поили скот, возили за много километров воду в свои деревни Мечта о воде сливалась у крестьян с мечтами о новой жизни. Ещё на заре нового века — лет сорок тому назад — возникла здесь идея построить искусственную запруду, собрать в гигантской котловине вешние воды, заставить многочисленные ручейки течь в перегороженную долину. Проект был разработан, но он недвижимо лежал в продолжение сорока лет. Ни правительство кайзера, ни деятели Веймарской республики, ни фашистская клика и не думали о воде для саксонских крестьян, живших в Европе, как в безводной пустыне. Деньги нужны были для броненосцев, танков, для вооружения. Германские милитаристы признавали одну только заповедь: «пушки вместо масла».

В прошлом году весной в Лейпциге проходил конгресс немецкой демократической молодёжи. Двести тысяч юношей и девушек собрались на Троицу в этот город. Была демонстрация, много флагов, по вечерам горели тысячи факелов. Улицы были запружены молодёжью. На стадионе, в присутствии десятков тысяч зрителей, спортсмены немецких земель соревновались в силе и ловкости. Это было красочное и яркое зрелище. Но больше всего из тех дней лейпцигского слёта запомнился один, на первый взгляд совершенно неприметный, эпизод. В конце слёта на просторной лейпцигской площади выступал советский ансамбль песни и пляски Военно-Воздушных сил. Вечерело, погода испортилась, моросил дождь, но тысячи людей, наполнивших площадку, не расходились. В передних рядах, у самой эстрады, среди гостей собралась группа бойцов демократической Греции. Здесь была девушка-македонка в грубых солдатских башмаках и защитной одежде, был рядовой боец и лейтенант в форме греческой демократической армии. Они приехали с фронта в горах у Граммоса по приглашению немецкой молодёжи. После концерта мы отправились вместе в гостиницу, с трудом пробираясь сквозь густую толпу. Внезапно из толпы молодёжи выбрался немецкий юноша, торопливо отцепил свой значок Союза свободной немецкой молодёжи и приколот его к гимнастёрке греческого солдата. Он пожал ему руку и произнёс только одно слово — «Дружба!», произнёс он это слово по-русски, с сильным акцентом, и так же внезапно исчез в толпе. Немецкий юноша приветствовал греческого борца за свободу русским словом «дружба». В поступке немецкого юноши не было ни тени иронии. В его смущении и торопливости сквозил порыв чувств, искренности, дружбы. В его поведении отразилось то новое, что характеризовало глубокие изменения в сознании немецкой молодёжи, столь долго развращавшейся фашизмом.

В те дни в Лейпциге конгресс Союза свободной немецкой молодёжи принял решение взять на себя строительство плотины в Рудных горах, соорудив её методом народной стройки. Спустя год я побывал на этом строительстве в Зоза. От Цвикау мы ехали просёлочной дорогой, которая непрерывно поднималась в гору, извивалась в долине Мульды среди крестьянских полей. Ещё издали до слуха стали доноситься глухие взрывы — это в каменном карьере рабочие взрывали скалы для постройки

плотины. От карьера, минуя высокий холм, тянулась к плотине подвесная канатная дорога. Вагонетки, гружённые камнем, бесшумно скользили где-то вверх на стальных нитях, издали похожих на паутину. С директором стройки товарищем Кирстен, много лет просидевшим в фашистском концлагере, мы проехали по дну будущего искусственного озера к самой плотине. Здесь, в гранитной теснине, которая, точно ворота, замыкает обширную котловину, уже началась кладка плотины высотой в шестьдесят метров. Она даст возможность накопить более шести миллионов кубических метров воды. По стальным трубам вода устремится в долины, в немецкие деревни, разбросанные далеко внизу.

За минувший год уже многое здесь изменилось. Тысячи людей со всей Германии перебивали на строительстве, помогая сооружать огромную плотину. Иные приезжали на две-три недели, другие—на воскресные дни, но многие из молодых строителей, захваченные романтикой строительства, остались в Зола на постоянную работу. Вот и теперь, собравшись в клубе своего рабочего городка, который первые строители называли «Комсомольском», безусые ветераны рассказывают об истории своей стройки.

Тогда, после конгресса в Лейпциге, пришли они в скалистое ущелье, где не было ни жилья, ни людей. Сами начали строить бараки. Стояла холодная дождливая погода, и негде было просушить одежду после трудового дня. Как-то у костра, когда было особенно холодно и тяжело, кто-то из ребят, кажется Густав Леман, достал из рюкзака книжку. Она называлась «Как закалялась сталь». Книга с первых же страниц захватила молодых строителей. Каждый вечер после работы собирались они у костра и читали до глубокой ночи. Потом в честь Павла Корчагина создали бригаду, названную его именем. Стойкость русского комсомольца стала примером для немецкой молодёжи, пришедшей на стройку. Потом кто-то рассказал о подвиге советских комсомольцев, построивших в тайге целый город—Комсомольск-на-Амуре. Тогда и решили назвать свой городок «Комсомольском».

Инженеры, приехавшие на строительство плотины, скептически качали головами и говорили, что работы здесь хватит на несколько лет. Директор Кирстен убеждал их, что воду нужно дать через полтора, от силы через два года. В ответ инженеры иронически спрашивали:

— Господин Кирстен, вы хотите пропагандой строить плотину?..

Им были незнакомы темпы, которые предлагал директор.

Это было больше года тому назад. Теперь изменились и местность и люди. В глухом ущелье уже поднимается плотина. На закладку её приехал заместитель премьер-министра Вальтер Ульбрихт. Он торжественно замуровал в её основание металлическую ампулу, в которую строители вложили проект плотины, текст конституции республики и слова «Гимна демократической молодёжи». Нынешней осенью, к началу пятилетки, плотина будет в основном закончена.

А на соседней стройке— в Гранцале, которая является частью общего строительства Зола, ещё прошлой осенью удалось дать населению первую воду. В ноябре, когда в горах по ночам термометр опускался до 15 градусов ниже нуля, всё уже было готово для пуска воды. Оставалось только засыпать траншеи, по которым тянулись массивные трубы. Вечером, в канун торжественного пуска воды, когда со всех окрестных деревень должны были съехаться на праздник тысячи людей, один из инженеров, осматривая в последний раз трубы, обнаружил серьёзное повреждение.

Неизвестный диверсант повредил трубу, по которой через несколько часов под большим давлением должна была хлынуть вода. Следы своего преступления он искусно замаскировал, и снаружи ничего не было заметно. До торжества пуска оставалось меньше двенадцати часов. По аварийной тревоге поднялись строители на ликвидацию повреждения. При свете факелов они работали всю ночь. Чтобы заменить разбитую трубу, пришлось разбирать целый участок трассы. За час до начала митинга, когда первые участники торжества уже съезжались на строительство, трубы полностью были приведены в исправность. Ровно в назначенное время заслоны, преграждавшие доступ воде, были открыты. Воду дали населению, преступники не достигли своей цели.

В тот же день удалось обнаружить следы преступников, организаторов диверсии. В то время, когда на плотине происходил митинг, американская радиостанция в Берлине «Рнас» передала сообщение, что на строительстве плотины в Гранцале совершена диверсия, в результате которой построенный водопровод надолго вышел из строя. Диверсанты были настолько уверены в успехе преступления, что ради «оперативности» поспешили сообщить по радио о катастрофе в тот момент, когда она должна была произойти. Своей торопливостью они с головой выдали и себя и свою агентуру.

События минувшей ночи насторожили строителей. Многие километры труб ещё не были засыпаны землёй. На протяжении всей трассы молодёжь установила круглосуточную вахту. День и ночь охраняли строители плоды своего труда от покушений американских диверсантов. Трое суток по всей трассе горели костры, около которых грелись люди, вызвавшие добровольно охранять народное имущество. Мороз в те дни доходил уже до двадцати градусов. Охрану сняли только после того, как последний метр труб был плотно засыпан землёй и утрамбован.

В горах южной Саксонии полным ходом идёт восстановление ещё одной — старой мюльднбергской плотины. В общей сложности все эти сооружения, осуществляемые методом народных строек, в ближайшее время в избытке обеспечат водой более двухсот тысяч жителей окрестных районов.

На обратном пути, в районе Цвикау, наше внимание привлекли сотни людей, густой цепью шедшие по полям. Время от времени они нагибались, что-то подбирая с земли. Мы остановились у ближайшей группы. Крестьяне и школьники проводили тщательный осмотр полей, на которых внезапно появился опаснейший вредитель — колорадский картофельный жук. Внезапное массовое появление этого вредителя в районе Цвикау вызвало большую тревогу среди населения. Весь урожай картофеля мог оказаться под угрозой прожорливого вредителя. Крестьяне рассказали, что произошло в их районе в последние недели. Вот только один из рассказов — крестьянина Фридриха Энгерта из Лангенхессена — очевидца американской диверсии.

— В понедельник 22 мая, — сказал он, — был я на своём участке, который получил по земельной реформе. Участок мой лежит около железной дороги на высоком месте, и отсюда хорошо видно всё вокруг. Под вечер, часов около шести, я обратил внимание, что со стороны Цвикау к нашему селению летит самолёт. Летел он на высоте 200—250 метров от земли. Сам я во время войны служил на аэродроме, и самолёт привлёк моё внимание. Долетев до нашего селения, он сделал петлю и пролетел как раз над моим полем. Потом он снова вернулся, и таким образом я дважды мог его видеть. Это был двухмоторный самолёт. Летел он так низко, что моя дочка сказала: «Смотри, папа, самолёт сейчас заденет за фабричную трубу!» Самолёт этот видели и другие крестьяне нашей общины. А на другой день мы нашли картофельных жуков как раз в тех местах, где пролетал самолёт.

Это одно из свидетельств очевидца американской диверсии. Эти самолёты летали над немецкими полями, заражая их опасным вредителем.

В самом Цвикау — крупном промышленном центре, жуков и даже их личинки находили в самом центре города на крышах, подоконниках, на улицах. Известно, что колорадский жук живёт на картофельных полях, питается картофельной ботвой и никак не может подняться на высоту четырёхэтажного дома или поселиться на асфальтовой мостовой. Как правило, эти находки совпадали с контрабандными полётами американских самолётов. В своей звериной ненависти к демократии американские поджигатели переходят к самым крайним мерам для осуществления своей подрывной работы. В течение одного дня я слышал достоверные свидетельства очевидцев об американских диверсиях в самых различных отраслях немецкого народного хозяйства — на строительстве Зоза и на крестьянских полях.

В эту поездку по Саксонии мне представилась возможность побывать на бывшем заводе Флика в городе Риза, неподалёку от Дрездена. В старой Германии концерн немецкого магната Флика владел многими десятками металлургических предприятий. Он был одним из главных поставщиков тяжёлого вооружения для фашистской армии

Гитлера. Не последнее место в системе этого преступного концерна занимал сталепрокатный завод в Риза. Здесь строили наиболее ответственные детали подводных лодок, изготавливали оборудование для танков, орудийные лафеты, снаряды и другие военные материалы.

Генеральные штабы западных держав отлично знали, какую продукцию выпускает металлургический завод Риза. Нередко в районе появлялись эскадрильи англо-американских бомбардировщиков. Они варварски разрушили старинный немецкий город Дрезден с замечательными памятниками национальной культуры, разбили жилые кварталы Лейпцига, уничтожили другие саксонские города. Но за все годы войны ни одна американская бомба не упала на фликовские заводы ни в Риза, ни в Гредице, расположенном в пятнадцати километрах. Капиталы англо-американских дельцов, вложенные в концерн Флика, надёжно предохраняли эти заводы от авиационных налётов, куда надёжнее, чем любая противовоздушная оборона. Американцы не трогали заводы, хотя те и работали на фашистскую армию.

Ещё и сейчас на заводском дворе в Риза в гудах лома, предназначенного для переплавки, можно видеть изуродованные корпуса танков, разбитые лафеты, бронетранспортёры, стальные солдатские каски — остатки продукции, которую во время войны производил концерн Флика. Новые хозяева — трудящиеся Германской демократической республики — основательно вычищают все остатки фашистского наследия. И если говорить языком сравнений — вся демократическая республика в наши дни походит на мартеновский цех, в печах которого плавится старое, уходящее в прошлое. И как бы ни бесновалась реакция, как бы ни пыталась она тормозить развитие республики, инициатива немецкого народа отливается в прочные формы нового, демократического строя. Своими руками создаёт Германская республика свою мирную экономику, бросая в мартены всё, что уцелело ещё от фашизма.

На заводы Риза мы приехали 22 июня — в годовщину вероломного нападения германской военщины на Советскую Россию. В этот день во всех городах и посёлках, встречавшихся на нашем пути, можно было видеть приспущенные флаги, дровки, увитые крепом, — знак траура, объявленного в этот день по всей республике. То же самое было и в Риза. А во дворе завода около проходных ворот висела стенная газета, посвящённая этой мрачной годовщине. Газета открывалась статьёй с заголовком: «Чёрный и позорный день в немецкой истории».

Теперь всё чёрное и позорное — в прошлом. Трудящиеся республики идут по мирному пути развития, по пути вечного содружества с народами демократического лагеря. Только на примере одного народного предприятия в Риза можно видеть, каких успехов достигла республика, избрав единственно правильную дорогу в будущее.

Мы ходили с заводским инженером Херде по всем цехам, по всей территории народного предприятия, и главное, что бросалось в глаза, что было основным в настроении, царящем на заводе, — это уверенность в своём будущем, подъём творческой инициативы немецкого рабочего, ставшего хозяином своей судьбы. Даже в поведении, в разговорах людей завода можно подметить то новое, что характеризует их отношение к труду, к общественной собственности. Старик вахтёр, внимательно проверяя в проходной документы, извиняется за свою придирчивость и объясняет это тем, что «теперь время такое, гляди да гляди за американцами». Совсем недавно в масляных баках обнаружили здесь воду с песком — малейший недосмотр мог бы причинить огромный ущерб народному предприятию. Рабочие сами вынуждены беречь свой завод от проникновения заморских диверсантов. Профсоюзные организации ежемесячно проводят «день бдительности», в который устраивают цеховые собрания.

В мартеновском цехе первый рабочий, с которым мы встретились, был литейщик Гоффман. Он сразу же завёл разговор на тему, видимо особенно волновавшую его. Ещё год-два тому назад разговор обычно вращался вокруг продовольственных затруднений, карточек, пайков. Сейчас немецкий рабочий говорил о недостаточной мощности оборудования, об электрокранах, которые не приспособлены к такой нагрузке и тормозят выполнение плана. Шуточное ли дело — мартеновские печи дают теперь в полтора раза больше металла против установленной проектной мощности.

Бригадир сталеваров Шенебон с гордостью показал табель, из которого было видно, что его, Шенебона, бригада вот уж третий месяц держит первенство в соревновании сталеваров. Он делится своей заветной мечтой — побывать в Москве на заводе «Серп и молот», чтобы изучить метод скоростной плавки. И снова фраза:

— Теперь нам нужно вон сколько стали. Сколько ни варим — всё мало. От американцев её ждать нечего.

Так повсюду. И каждый из работников завода считает своим долгом обратить внимание посетителей на то, что всё сделано здесь своими руками, начиная вот от этих мартеновских печей и кончая сложным фрезерным станком, который нашли в гудах металлолома и восстановили на самом заводе.

Действительно, всё, что предстало перед нашими глазами здесь на заводе, было сделано руками самих заводских рабочих, инженеров. Сразу же после окончания войны во всей Восточной Германии фликовские заводы, производившие орудия истребления, были полностью демонтированы. Строго выполняя потсдамские решения, советские оккупационные власти демонтировали на заводе Риза все станки и машины, производившие военную продукцию. Но советские власти предоставили возможность трудящимся Риза построить на месте военного завода другое, мирное предприятие. В этом было принципиальное отличие советской оккупационной политики от политики англо-американских властей, которые, нарушая свои обязательства, сразу начали уничтожать мирную промышленность в Западной Германии, демонтировать заводы своих конкурентов, сохраняя в неприкосновенности военные предприятия.

В напряжённом труде немецких рабочих возрождался металлургический завод. Бригады слесарей разыскивали по всей округе в развалинах уцелевшие станки, восстанавливали их, приводили в порядок. Ровно два года тому назад вступила в строй первая мартеновская печь. Её построили своими силами, на своём заводе. Это была первая решающая победа заводского коллектива. Американские власти запретили поставлять оборудование из Западной Германии. Рабочие города Риза сами освоили строительство мартеновских печей. Через полтора года в сталелитейном цехе стояло уже шесть мартенов.

Давно ли, после завершения демонтажных работ, иные скептики предлагали сажать на заводской территории картофель: пусть-де хоть какая-нибудь польза будет от замершего навсегда предприятия.

Инженер Херде, который рассказывал мне об этих давно отошедших в прошлое настроениях, широко обводит вокруг рукой, указывая на гудящие цехи, на трубы, на снующие локомотивы.

— Я должен признаться, — сказал он, — что вы — русские — покорили многих наших инженеров своими темпами, хваткой, размахом. Ваша техника и ваши методы влияют и на убеждения. Мы перенимали советские темпы и методы. Вот они, результаты — мы вправе гордиться ими.

Действительно, за два года завод был полностью восстановлен на совершенно иной, мирной основе. Меньше трёх месяцев потребовалось заводскому коллективу для того, чтобы установить трубопрокатный стан и начать — впервые в Восточной Германии — производство цельнотянутых труб. Здесь, в этом цехе, трудящиеся одержали ещё одну победу в борьбе с американскими реакционерами, пытавшимися голодной блокадой задушить мирное экономическое развитие демократической Германии.

В прокатном цехе восстановлен недавно пролёт, который назвали «Стан мира». соседний пролёт, восстановленный силами заводской молодёжи, стал называться «Пролёт молодёжи».

Об этих успехах и победах с гордостью говорят теперь на заводе. Без плана Маршалла, без кабалы американских ростовщиков-банкиров, здесь, как и во всей республике, трудовой люд успешно создаёт свою тяжёлую промышленность, собственную базу для развития всего народного хозяйства. Демократическая республика сейчас никому не должна ни единого пфенига, в то время как жители Западной Германии в результате навязанной им «помощи» оказались в неоплатном долгу. Задолжен-

ность боннской «республики» американским ростовщикам уже превышает 15 миллиардов марок. Это не считая 12 миллиардов долларов, которые американцы самоуправно выкачали из Западной Германии в форме скрытых репараций.

Теперь завод в Риза, ставший одним из крупнейших металлургических предприятий республики, уже прочно стал на ноги и даёт мирную продукцию. В общей сложности на заводе занято десять тысяч рабочих, включая и строителей, которые сооружают новые цехи. Рядом с заводской территорией уже поднимаются трубы нового сталеплавильного цеха. Ещё несколько недель тому назад здесь был глухой пустырь, а сейчас сотни рабочих кладут фундамент, воздвигают стены нового здания. Это одна из строек первой пятилетки Германской демократической республики, но ещё в этом году первая мартеновская печь досрочно даст первую плавку.

Для нового завода здесь же в цехах обучаются кадры рабочих.

Строители начинают расчищать площадь и для другого — трубопрокатного цеха.

Сталепрокатный завод в Риза может служить характерным примером успешного развития всей мирной экономики демократической республики. В 1950 году народные предприятия стали давать около 70% продукции всей промышленности республики. Ещё два года тому назад, по инициативе Социалистической Единой партии, был принят двухлетний план развития народного хозяйства. Составители плана намечали в 1950 году поднять выпуск продукции до 81 процента довоенного уровня. Однако уже первый год выполнения двухлетнего плана превысил все самые оптимистические предположения. Промышленность Германской демократической республики в 1949 году превысила первоначальные намётки двухлетнего плана — она стала давать 85 процентов довоенной продукции.

Ещё большие успехи в развитии экономики республики наблюдались в следующем, 1950 году, который является годом завершения восстановительного периода в Германской демократической республике. В итоге выполнения двухлетнего плана промышленность республики превысила довоенный уровень производства. Особенно больших успехов достигла добывающая и тяжёлая промышленность. Так, добыча в горной промышленности превысила довоенную на сорок процентов, а химическое производство дало ещё большие результаты, превысив на шестьдесят процентов довоенный выпуск.

Почти вдвое против плана снизилась себестоимость продукции народных предприятий.

За перечнем сухих цифр виден рост творческой инициативы немецких трудящихся, их напряжённое стремление повысить благосостояние своей страны. Причина всех успехов в конечном счёте свелась к тому, что за минувшие два года неизмеримо возросла производительность труда, далеко оставив позади все прежние намётки двухлетнего плана. То, что можно было наблюдать в Риза на сталепрокатном заводе, присуще и другим предприятиям республики. Народное соревнование, движение активистов производства, зачинателем которого был саксонский шахтёр Адольф Геннеке, многочисленные бригады качества, бригады молодёжи, другие формы проявления творческой инициативы трудящихся, и в первую очередь немецкого рабочего класса, дали возможность добиться таких успехов, о которых не смеют и мечтать люди Западной Германии.

Успехи в развитии мирной экономики приносят уже первые плоды и в области улучшения благосостояния немецкого населения. Только в течение 1948 года фонд заработной платы увеличился на 26 процентов. В текущем году заработок трудящихся возрос ещё на 15 процентов. Неуклонному росту благосостояния трудового населения Германской демократической республики противостоит обнищание рабочего класса, принявшее катастрофические размеры в Западной Германии. На том же заводе Риза в прошлом году построено было сто тридцать новых квартир для рабочих. В них поселились активисты производства — слесарь Эбергарт, сталевар Гертнер, токарь Бошек и многие другие. К осени заканчивается строительство ещё ста квартир. А по плану, разработанному на пятилетку, около завода вырастет новый

и благоустроенный посёлок, в котором будет тысяча двести квартир для рабочих и технической интеллигенции завода.

Ранней весной правительство республики приняло развёрнутый закон о труде. Но прежде чем поставить его на утверждение Народной палаты, премьер-министр Отто Гротеволь пригласил к себе активистов производства, представителей профсоюзов, женщин-работниц, молодёжь, чтобы ещё раз посоветоваться с ними о новом законе. Впервые в германской истории важнейший закон обсуждался с участием самих рабочих. Он утвердил права рабочего класса в республике, права, за которые боролись многие поколения трудового народа. Закон, вступивший в силу 1 мая 1950 года, обеспечивает право на труд каждому жителю демократической республики, право на отдых, бесплатную медицинскую помощь на предприятиях, охрану труда, непрерывное улучшение материального положения трудящихся.

То, что ныне подтверждено законом, ещё раньше было осуществлено на сталепрокатном заводе в Риза. Давно введено здесь горячее питание рабочих сверх установленных продовольственных норм. В распоряжении металлургов Риза есть своя поликлиника, два дома отдыха, детский сад, женщины получают равную оплату с мужчинами за равный труд.

Всё это только первые результаты демократизации, итоги первых, непрерывно развивающихся экономических успехов республики, успехов, которых добились немецкие трудящиеся своими силами, своими руками.

Дружба побеждает!

Весной 1950 года в Берлине состоялся слёт демократической немецкой молодёжи, на котором присутствовало семьсот тысяч юношей и девушек, собравшихся со всех концов Германии. По старой немецкой традиции, в дни Троицы молодёжь Германии всегда устраивала длительные экскурсии, выезжала за пределы своих городов. В своё время в Берлине на Троицу происходили слёты союза «Красных фронтовиков», организатором которых был Эрнст Тельман. Год назад в честь конгресса Союза свободной немецкой молодёжи в Лейпциге состоялся слёт, в котором принимало участие более двухсот тысяч человек. В этом году демократическая молодёжь решила провести общегерманскую встречу молодых борцов за мир, чтобы продемонстрировать свою волю к миру, единству и демократии.

Величественное зрелище представляла собой в те дни германская столица. Ещё за несколько дней до слёта в Берлин начали прибывать первые делегации молодёжи. С утра и до ночи слышались на берлинских улицах песни, играли оркестры, под звуки фанфар и дробь барабанов шли с вокзалов всё новые и новые колонны участников слёта. Они приезжали из Саксонии, Тюрингии, Мекленбурга, из городов Западной Германии. Полтораста экстренных поездов и много тысяч грузовых машин и автобусов доставляли в Берлин молодых сторонников мира.

Жители германской столицы радушно встречали посланцев демократической молодёжи. Все участники слёта получили у берлинцев квартиры, для общежитий им предоставили школьные помещения, клубы. На эти дни в распоряжении молодёжи были все берлинские театры, стадионы, парки, кино, бассейны, водные станции. С самыми мирными намерениями собиралась немецкая молодёжь на свою общегерманскую встречу. Она решила провести демонстрацию против войны, за вечную дружбу с Советским Союзом и странами народной демократии.

Но именно этого и боялись американские провокаторы, жаждущие превратить эту молодёжь в своих наёмных солдат, в пушечное мясо. Поэтому, как только немецкие демократические силы начали готовиться к слёту, почти одновременно оживился и лагерь реакции. Ещё за несколько недель до слёта некий высокопоставленный представитель американского правительства недвусмысленно пригрозил, что против участников слёта в западных секторах Берлина будут выставлены пулемёты и танки. Первоначально в печати не было названо имя автора заявления. Затем выяснилось, что этим представителем американских правящих кругов был... министр иностранных

дел Ачесон. Мирную встречу немецкой молодёжи, юных пионеров сей дипломат, которому более приличествует мундир фельдфебеля, умудрился преподнести, как злокозненный план коммунистов организовать восстание и с помощью школьников изгнать американские войска из западного Берлина. Встречу молодёжи реакционеры использовали для разжигания психоза войны. С лёгкой руки американского министра иностранных дел началась серия провокаций, в которой принимали участие все силы реакции — от жандармерии до продажных журналистов.

В те дни жители Грюневальда, в американском секторе Берлина, могли, например, наблюдать прелюбопытную картину манёвров американских оккупационных войск. Учения проходили в присутствии и под наблюдением главнокомандующего американских войск в Европе генерала Хайнди. Одна часть берлинского гарнизона изображала защитников «демократии», другая представляла толпу «безответственных элементов», которая, по замыслу организаторов учений, проникла со стороны восточного сектора для захвата американской штаб-квартиры в Берлине. Первая и наиболее многочисленная группа вооружённых с ног до головы солдат располагала танкетками, тяжёлым автоматическим оружием, а вторая группа не имела никакого вооружения и злокозненной агитацией стремилась заманить на свою сторону защитников американской штаб-квартиры. Для этой цели американская солдатня на разные голоса кричала защитникам генерала Хайнди: «Го хом!», «Го хом!» («Идите домой!»). «Безответственные элементы» распевали специально разученные слова русской песни в американском исполнении — «Вольга, Вольга, мат родная...»

Под доблестным руководством главнокомандующего Хайнди американские солдаты не поддались на агитацию и оттеснили «иностранные части» к границам восточного сектора города.

После происшедших событий берлинские остряки, чтобы рассмешить собеседников, с удовольствием рассказывали о стратегическом искусстве американского главнокомандующего, проявленном им на месте «исторической» битвы в Грюневальде.

Воспользовавшись шумихой, поднятой западной печатью вокруг общегерманской встречи молодёжи, американские власти увеличили на несколько тысяч штаты берлинской полиции. Руководство обороной принял на себя американский штаб во главе с комендантом Тэйлором. Полицейские части он усилил американскими танками, пожарными машинами и военно-полевой жандармерией. А комендант английского сектора генерал Борн сообщил журналистам реакционных газет, что в Западной Германии стоит наготове целый батальон английских солдат, которые в любую минуту будут доставлены на самолётах в Берлин.

Все эти демонстративные приготовления делались для того, чтобы запугать немецкую молодёжь, заставить её отказаться от намерения принять участие в массовой демонстрации в защиту мира.

Свою лепту в эту грязную провокационную затею внесли и жёлтые газетчики американской ориентации. Перед самым слётом демократическая пресса разоблачила одного из таких провокаторов. Редактор гамбургского иллюстрированного журнала «Штерн» Гельмут Принц направил своему берлинскому фотокорреспонденту задание, в котором он требовал заранее подготовить снимки к слёту молодёжи. Письмо этого редактора-поджигателя и фотокопия его были опубликованы во всех берлинских газетах. Гельмут Принц предлагал своему сотруднику срочно, ещё до начала слёта, выслать в Гамбург разоблачительные фотографии. В письме был изложен подробный перечень тем — демонстранты разбивают витрины, дерутся с полицией и т. п.

В дни, предшествующие слёту, раскрылись и другие провокации, вплоть до переодевания уголовных элементов и полицейских в синюю форму членов союза Свободной молодёжи для организации провокационных инцидентов на улицах. В борьбе против немецкой демократической молодёжи единым фронтом выступили все реакционеры — от американского министра до берлинских уголовников. Однако им не удалось запугать сторонников мира. Именно в период подготовки к общегерманской встрече молодёжи в ряды союза вступило около трёхсот тысяч новых членов. В рядах этой юношеской организации объединилось к моменту слёта 55 процентов всей молодёжи Германской демократической республики.

В воскресенье 28 мая рано утром, едва забрезжил рассвет, по всему Берлину разнеслись торжественные звуки фанфар, зовущие немецкую молодёжь на демонстрацию юных защитников мира. Вскоре со всех концов города — из Кепеника, Панкова, Вайсензее — отовсюду по направлению к Люстгартену двинулись мощные колонны юношей и девушек, одетых в синие блузы. Во всех районах демократической части города остановилось движение городского транспорта. Молодёжь запрудила все улицы. Со знамёнами, лозунгами, транспарантами, огромными портретами товарища Сталина и руководителей Германской демократической республики сплошным потоком потекли колонны к центру города. Здесь, на площади Люстгартен, во время митинга немецкая молодёжь восторженно приняла текст приветственной телеграммы Генералиссимусу Сталину, в которой участники слёта от имени всей немецкой молодёжи заверили вождя народов в том, что заморские поджигатели новой войны никогда не добьются того, чтобы превратить молодёжь Германии в пушечное мясо для борьбы с Советским Союзом и странами народной демократии.

Едва закончился митинг в Люстгартене, как высоко в небе над головами собравшихся разорвалась первая сигнальная ракета. Потом вторая, третья... Одна за другой взвивались они к облакам, и перед глазами восхищённых зрителей раскрывались ослепительно белые парашютики, поддерживавшие в воздухе разноцветные национальные флаги Германской демократической республики. Ещё взрыв ракеты — и над площадью, точно алый цветок, распускается государственный флаг Советского Союза. Новые взрывы ракет раздаются в вышине — и новые флаги — международной федерации молодёжи, демократических стран, Союза свободной немецкой молодёжи — плывут в воздухе над головами десятков тысяч аплодирующих демонстрантов.

Тем временем на площадь Люстгартен вступила первая колонна демонстрантов. Откуда-то взмывают вверх сотни голубей. Они кружат над площадью, поднимаются всё выше и выше, наконец исчезают за кровлями зданий.

Двумя колоннами, по двадцать человек в ряд, идёт молодёжь Германии. Портреты Сталина, Тельмана, Пика, Гротволя, Ульбрихта, знамёна, древки, овитые гирляндами цветов, снова портреты и снова тысячи развевающихся знамён плывут через площадь, мимо трибун.

Демонстранты, подняв над головами руки, в такт музыке бьют в ладоши и дружно скандируют: «Фройндшафт!», «Фройндшафт!» («Дружба!», «Дружба!»). Это слово вошло уже в быт. Немецкая молодёжь употребляет его вместо приветствия при встречах друг с другом.

Только по одним лозунгам, которые несли демонстранты, можно было видеть, с какими настроениями пришла немецкая молодёжь на свой всегерманский слёт.

«Политика Сталина — политика мира», — несли лозунг демонстранты Тюрингии.

«Долой политику американских колонизаторов!», «Борьба за единство, борьба за мир!», «Мы против оккупационного статута!».

В течение многих часов проходили демонстранты через Люстгартен. Шли молодые саксонские горняки, требуя отвода оккупационных войск. Мекленбургские крестьяне призывали к борьбе за единую Германию. Различные лозунги плыли над головами участников слёта, но чаще других повторялся один лозунг: «Вечная дружба с Советским Союзом — основа мира».

Во второй половине дня площадь заполнила молодёжь Западной Германии. Англо-американские власти отказались выдать её представителям межзональные пропуска. Но молодёжь была невысокого мнения о законности такого распоряжения, она сломала зональные рогатки и влилась в колонны демонстрантов. Колоннами подходили юноши и девушки к зональной границе, и полицейские не решались остановить эту лавину. Из Западной Германии приехало на слёт в Берлин более тридцати тысяч человек.

Молодёжь Баварии, Гессена, Сверхного Рейна — Вестфалии заполнила Люстгартен. Эти юноши и девушки также призывали укреплять дружбу с советской страной, требовали прочного мира, отмены оккупационного статута. Но в их лозунгах были и другие мотивы. Молодёжь Западной Германии требовала прекращения

демонтажа мирной промышленности, прекращения колониального грабежа, а гамбургцы несли лозунг: «Янки, убирайтесь домой и захватите своих марионеток — Шумахера и Аденауэра!».

Так проходило официальное открытие слёта молодёжи в Берлине. Через два дня, в ночь на тридцатое мая, молодёжь ещё раз собралась на площади в Лютсгартене. Сотнями тысяч горящих факелов озарились Лютсгартен и все прилегающие улицы. Юные сторонники мира организовали факельное шествие в честь своего общегерманского слёта. Величественное зрелище представлял Лютсгартен, залитый морем колышущихся огней. Немецкая молодёжь ещё раз клялась, что она навечно связана нерушимыми узами дружбы с демократическим лагерем мира и никому не позволит вовлечь её в преступную авантюру, затеваемую англо-американскими поджигателями войны.

Далеко за полночь, с факелами и знамёнами, под дробь барабанов и звуки сводных духовых оркестров расходилась немецкая молодёжь с ночного митинга. Многие делегации прямо с Лютсгартена отправились на вокзалы. Какое восторженно-счастливое, праздничное оживление царило в эти часы на улицах ночного Берлина! Многие из делегатов Западной Германии после факельного шествия выехали на машинах и автобусах в сторону зональной границы. А через несколько часов их, ещё взволнованных пережитыми днями слёта, полных радостными впечатлениями, на зональной границе встретили дубинками западногерманские полицейские. Германо-англо-американская реакция мстила передовой немецкой молодёжи за то, что она открыто выступила за мир, за дружбу с Советской державой.

Невероятно дикие сцены разыгрывались в те дни на протяжении всей зональной границы. Снова напрашивается сравнение — жестокая массовая расправа с немецкой молодёжью могла походить только на изуверства фашистских громил в самые худшие времена гитлеровского господства.

В городе Гельмштате, расположенном по ту сторону зональной границы, участников слёта встретила банда фашиствующих молодчиков, поддержанных местной полицией. Хулиганы и дебоширы набрасывались на молодёжь, срывали с участников слёта синие блузы, отнимали знамёна, жгли эти знамёна и блузы посреди улицы. Юношей и девушек забрасывали камнями, травили собаками. И тем не менее более двух тысяч молодых борцов за мир, построившись в колонну, с пением «Интернационала» прошли к вокзалу по улицам города, отбиваясь от наскоков фашиствующих хулиганов. На ходу были созданы импровизированные группы самообороны, которые охраняли молодёжь до тех пор, пока не подошли автобусы и участники слёта смогли покинуть Гельмштат.

Подобные происшествия происходили и на других участках зональной границы. Полиция и военная жандармерия устроили настоящую охоту за молодёжью. Многие подростки, девушки и юноши были жестоко избиты при аресте. Одним из первых пал двенадцатилетний мальчик, которому полицейские сломали позвоночник. Ребёнок, который ещё несколько часов тому назад шёл через Лютсгартен с факелом и цветами, с песней и призывами к миру, в безнадежном состоянии отправили в больницу.

В различные больницы были доставлены и другие участники слёта, получившие тяжёлые сотрясения мозга, ранения, нанесённые полицейскими или их собаками, которыми травили молодёжь, возвращавшуюся из Берлина.

В районе Любека у зональной границы полиция задержала более десяти тысяч участников слёта. Сплошные цепи полицейских, взявшихся за руки, преградили дорогу. Полицейские части были усилены английскими броневиками. Молодёжи было предъявлено требование пройти поголовную регистрацию и направиться на длительный «карантин» в концентрационные лагеря, подготовленные специально к моменту возвращения молодёжи из Берлина. Эта провокация была заранее подстроена западными властями. Ещё в начале слёта реакционная печать распространила лживое сообщение о том, что в Берлине в связи со слётом вспыхнула острая эпидемия тифа. Но провокаторы заранее разоблачили себя, ещё до этого сообщения построив специальные концентрационные лагеря. В одном только Шлезвиг-Гольштейне было организовано пять таких лагерей.

Тысячи юношей и девушек, прибывших на зональную границу, с возмущением отвергли полицейское требование о регистрации. Они расположились у самой границы на «нейтральной» полосе и решительно потребовали пропустить их домой. Почти двое суток находилась молодёжь в полицейской осаде, в подкрепление которой из Гамбурга прибыл полицейский полк, экстренно сформированный для расправы с молодёжью по приказу гамбургского бургомистра, правого социал-демократа Брауэра. Этот предатель стал знаменит не только формированием карательного отряда. Ещё перед слётом он объявил, что каждый доносчик может получить двести марок за выданного им полиции демократа.

Но и дополнительные полицейские части не помогли сломить упорство молодых сторонников мира. Они продолжали настойчиво требовать открытия зональной границы и беспрепятственного возвращения в родные города и посёлки. Население окрестных селений всячески поддерживало молодёжь. Было доставлено продовольствие, привезли воду, откуда-то появились палатки, солома. Тем временем повсеместно нарастала волна протеста и возмущения. Под давлением этих протестов и стойкости молодёжи полиция вынуждена была открыть границу. Правда, полицейские потребовали, чтобы участники слёта шли без знамён и песен, якобы для того, чтобы «не нарушать порядок в Любеке». Молодёжь отвергла и это требование. С развёрнутыми знамёнами, с пением «Гимна демократической молодёжи», с возгласами приветствий в честь руководителей Германской демократической республики десять тысяч юношей и девушек прошли сквозь расступившийся строй полицейских и колоннами вступили в город Любек. Это была победа демократической молодёжи Западной Германии над силами реакци!

Прошёл примерно месяц после берлинской встречи молодёжи, когда в Германской демократической республике произошло ещё одно событие, явившееся новым вкладом немецкого народа в дело мира. 6 июля десятки тысяч жителей пограничных районов Польши и Германской республики были свидетелями и участниками знаменательной демонстрации мира и дружбы между народами этих стран. В этот день немецкая правительственная делегация во главе с премьер-министром Отто Гротеволем прибыла в польский пограничный городок Згоржельце для подписания договора о германо-польской границе по Одере — Нейсе. Одновременно из Варшавы приехала польская делегация во главе с премьер-министром Юзефом Циранкевичем. Подписание договора происходило на основе успешных переговоров, закончившихся незадолго перед этим в Варшаве.

Ещё по пути к польской границе немецкое население, узнав о проезде правительственной делегации и целях её поездки, вышло встречать своего премьера. Во всех местечках и деревнях, лежащих на пути делегации, стояли толпы народа, приветствуя и одобряя этот шаг своего правительства, направленный на укрепление дружбы с польским народом. С цветами и национальными флагами, длинными шпалерами выстроились женщины, дети, молодёжь, крестьяне, демонстрируя свою волю к миру, стремление вечно жить в дружбе с соседней демократической Польшей.

Знаменательная встреча, положившая конец многовековой вражде двух народов разжигаемой былыми правителями этих стран, произошла на берегу реки Нейсе. По наведённому мосту, разукрашенному гирляндами цветов, немецкая делегация прошла на противоположный берег. Здесь в честь прибывших гостей был выставлен почётный караул солдат польской армии, которые салютовали премьеру Германской республики. Военный оркестр исполнил немецкий и польский национальные гимны. После взаимных приветствий, в сопровождении многотысячной толпы польских и немецких трудящихся обе делегации направились в згоржельцкий Дом народной культуры, где и состоялась торжественная церемония подписания соглашения о демаркации нерушимой границы мира по линии Одер—Нейсе.

В то время как происходил акт подписания соглашения, вокруг Дома культуры всё росла и росла толпа польских и немецких трудящихся, которые бурно выражали удовлетворение действиями своих правительств. Непрестанно раздавались возгласы

на польском и немецком языках с призывом к миру и дружбе, здравницы в честь товарища Сталина. «Покой!», «Фриден!» («Мир!») — разносилось по всей площади, и этот клич подхватывали десятки тысяч людей, собравшихся из окрестных городков, деревень, расположенных по обоим берегам пограничной реки.

Подписание соглашения о демаркации границы завершилось грандиозным митингом под открытым небом на польском берегу Нейсе. Здесь собралось пятьдесят тысяч польских и тридцать тысяч немецких трудящихся. Бурными овациями встретили присутствующие речи премьер-министров Юзефа Циранкевича и Отто Гротеволья.

— Одной из предпосылок мира, — сказал Гротеволь, — является дружба между Польшей и Германией. Линия Одер—Нейсе является нерушимой границей мира, ибо мир между нашими народами является предпосылкой мира во всей Европе. Подписав этот договор, мы положили начало новой эпохе мирного содружества Германии и Польши.

Долго ещё после митинга не расходились люди на площади Згоржельц. Добрые соседи двух государств делились впечатлениями, пели песни, а когда стемнело — на берегу вспыхнули факелы, с которыми пришли на польский берег тысячи немецких жителей. По обе стороны реки мерцали сотни огней — это участники встречи мира расходились по своим домам и кварталам. То, что было намечено в Потсдаме пять с лишним лет тому назад, что вызвало потом неистовую свистопляску реакции, — установление мирной границы, — стало вечным и непреложным законом. Демократические силы Германии и Польши нашли общий язык мира и дружбы.

В заключение этих записок хотелось бы остановиться ещё на одном событии, которое имеет решающее значение для будущего развития демократической и миролюбивой Германии. 20 июля в Берлине, в присутствии четырёх тысяч делегатов и гостей открылся третий съезд Социалистической Единой партии Германии. Происходил съезд в огромном зале зимнего спортивного стадиона, который построили к своему слёту члены Союза свободной немецкой молодёжи. Среди гостей здесь были представители двадцати пяти братских партий во главе с делегацией Советского Союза, которую возглавлял секретарь Центрального Комитета ВКП(б) М. А. Суслов. Были здесь Тольятти, Дюкло, Поллит, Циранкевич и многие другие представители и руководители рабочего движения различных стран мира.

Среди двух с лишним тысяч гостей, присутствовавших на съезде, было 1200 представителей из Западной Германии во главе с председателем коммунистической партии Максом Рейманом. Таким образом, делегаты и гости партийного съезда из Западной Германии представляли собой весь рабочий класс, все прогрессивные слои трудящихся Германии. Этот съезд принял важнейшее решение о пятилетнем плане развития народного хозяйства республики, который был передан на рассмотрение правительства Германской демократической республики.

Мы не будем подробно останавливаться на съездовских докладах и речах, подводивших итог пройденного пути, намечавших этапы дальнейшего развития республики на основе пятилетнего плана. Лейтмотивом всех выступлений была идея борьбы за мир, демократию и социализм. Именно здесь, в Берлине, в центре Германии, страны, где в напряжённой борьбе сталкиваются силы демократии и реакции, особенно сильно звучало слово — мир. Ведь только накануне съезда на берлинских улицах западного сектора произошла свирепая расправа поджигателей с борцами за мир. Около десяти тысяч активных сторонников мира отправились в тот день в кварталы западной части города для сбора подписей под Стокгольмским Воззванием. Англо-американские и французские власти не посмели открыто запретить сбор подписей — слишком велики симпатии миллионов людей к этому благородному делу. Оккупационные власти империалистических держав выдали даже специальную лицензию на право сбора подписей под Воззванием, но одновременно они подготовили очередную провокацию. Мобилизованы были тысячи штуммовских полицейских, тысячи платных погромщиков, одетых в полосатые жёлто-коричневые безрукавки. Наготове стояли сотни полицейских грузовых автомобилей. Все эти силы реакционеры бросили на борьбу с защитниками мира. Хотя сбор подписей назначен был на вечер, в после-

рабочее время, но усиленные наряды полиции патрулировали ещё с утра по улицам города. Оцеплены были все вокзалы городской железной дороги, станции метро, трамвая. Испытывая панический страх перед нарастающим сопротивлением, поджигатели решили во что бы то ни стало не допустить сбора подписей, преградить дорогу сторонникам мира в рабочие кварталы западного Берлина. Уже в послеобеденное время полиция начала проводить поголовную проверку документов у всех пассажиров городского транспорта и пешеходов. Начались массовые аресты всех, кто имел документы, полученные в восточной части города. Резиновыми палками, кулаками людей загоняли в грузовые машины и увозили в полицейские участки.

Тем временем тысячи борцов за мир всё же начали сбор подписей. В этой работе принимали участие представители всех слоёв населения, жители всех секторов города. Здесь были рабочие и домохозяйки, студенты и профессора, виднейшие немецкие учёные, актёры, писатели. Около разрушенной церкви Гедехтнискірхе близ Курфюрстендамма собрались инвалиды войны. Здесь было много слепых, потерявших зрение в войну, безрукие, безногие инвалиды. Они привезли с собой написанный от руки плакат: «Здесь инвалиды последней войны собирают подписи против атомной бомбы». Как только начался сбор подписей, немедленно явился наряд полиции в полторы сотни человек и начал разгонять толпу прохожих, собравшихся вокруг инвалидов. Слепых и калек толкали в спины, пинками заставляли разойтись или силой волокли в соседние переулки.

В сборе подписей принимал участие профессор Берлинского университета филолог Штайниц. У него был плакат: «Профессор Штайниц собирает подписи под Стокгольмским Воззванием». На углу Блейбтрейштрассе профессор мирно беседовал с прохожими, когда к нему внезапно подскочил здоровенный громила в американзированной полосатой форме штурмовика. Растолкав собравшихся вокруг филолога людей, он заносчиво крикнул профессору:

— Эй ты, убирайся отсюда, иначе мы переломаем твои учёные кости!.

Профессор Штайниц удивлённо посмотрел на хулигана и спокойно предложил ему принять участие в беседе. Он сказал ему:

— Давайте поговорим по-деловому, ведь дело идёт о мире.

Распоясавшийся дебошир ответил:

— Давай поговорим! — и с размаху ударил профессора кулаком в лицо.

Профессор Штайниц упал на тротуар. Из рта у него полилась кровь. Когда профессор пытался подняться, хулиган начал пинать его ногами.

Заслуженный деятель немецкой культуры, который только несколько дней тому назад присутствовал в качестве почётного гостя на торжествах в честь двухсотпятидесятилетия немецкой Академии наук, лежал избитый на панели западного сектора Берлина. Подоспевшая штурмовская полиция произвела арест. Но арестован был не погромщик, а профессор-филолог, которого уволокли в ближайший участок.

Арестован был и другой немецкий профессор — физик Гавеманн, пользующийся широкой известностью не только в Германии, но и за её пределами. Профессор Гавеманн — председатель берлинского комитета борцов за мир, также был участником недавних юбилейных торжеств Академии наук. По указке американских носителей «культуры», учёного с мировым именем заковали в наручники и бросили в тюрьму. Перед полицейским участком, куда доставили профессора, собралась толпа берлинцев, требуя освобождения арестованных. В ответ штурмовцы схватили ещё двадцать человек, протестовавших против неслыханного произвола.

Среди других профессоров, арестованных в западном секторе Берлина во время сбора подписей, были биолог Панцер, историк Лоланд, проректор университета Байерн, немецкий драматург и режиссёр Вагенгейм, арестованный вместе с женой — актрисой Инге Вагенгейм, известный врач Гог и многие другие представители немецкой науки, культуры, искусства.

Всего в тот день было арестовано свыше тысячи трёхсот борцов за мир. Массовые облавы, охота за сборщиками подписей продолжались до глубокой ночи. Этим неслыханным, варварским побоищем управляли американские сотрудники военной

администрации, которые разъезжали в полицейских автомобилях, оснащённых полевыми радиоустановками.

События этого дня вызвали глубокое возмущение делегатов партийного съезда. Французская делегация, во главе с Дюкло, обратилась с протестом к французскому коменданту. Федерация французских профсоюзов прислала съезду телеграмму, изъявляя солидарность с арестованными сторонниками мира. Нарастали возмущение и волна протестов в других странах. Под влиянием этих протестов реакционеры вынуждены были выпустить арестованных на свободу. Это была новая победа демократического лагеря.

В один из дней участников съезда СЕПГ явилась приветствовать делегация молодёжи. С развевающимися знамёнами, с цветами молодёжь заполнила все проходы и обширную трибуну перед столом президиума. Тысячи юношей и девушек вошли в зал для того, чтобы засвидетельствовать съезду свою преданность делу мира и демократии. Молодёжь приветствовала съезд от имени почти двух с половиной миллионов членов юношеской организации, объединённых под синими знамёнами союза.

Восторженно встретили делегаты и гости слова девушки-ткачихи Ильзы Вольтер, которая от имени рабочей молодёжи крупнейших предприятий и строек республики заявила о решении большой группы молодёжи в честь партийного съезда вступить в Социалистическую Единую партию, о решении навсегда связать свою судьбу с партией, с борьбой рабочего класса.

Горячо и взволнованно говорила девушка о симпатии, дружбе немецкой молодёжи к Советскому Союзу, о чувстве любви к великому Сталину. В этот момент сквозь бурю оваций послышались слова: «Фройндшафт зигт!» («Дружба побеждает!»). Слова эти подхватил весь зал. Тысячи людей скандировали в такт аплодисментам:

— Фройнд-шафт зигт! Фройнд-шафт зигт!

Под эти возгласы молодёжь покинула зал. Заседания съезда продолжались, но постепенно удаляясь, в зале слышались эти призывные и утверждающие слова о всепобеждающей дружбе. Это шла молодая, новая, единая и демократическая Германия, рождающаяся в борьбе с реакцией.

Рождающаяся и побеждающая!

Прошло ещё несколько месяцев. Наступило 15 октября 1950 года — день всенародных выборов в Германской демократической республике. В этот день ровно в восемь часов утра звуки фанфар, заводские сирены, передачи по радио во всех городах и посёлках республики возвестили о начале выборов. Блок всех демократических партий и организаций под лозунгами национального фронта выступил на выборах с единым списком кандидатов. Выборы проходили под знаком борьбы за мир, за единую демократическую Германию, против гнусных происков международной реакции.

Немецкий народ, выполняя свой гражданский долг, единодушно отдал свои голоса кандидатам блока демократических партий. В истории Германии ещё не было такого массового и поистине всенародного подъёма, не бывало такого единодушного участия в выборах. Почти 99 процентов всех избирателей приняло участие в голосовании. Более двенадцати миллионов немецких мужчин и женщин при тайном голосовании, вопреки бешеной пропаганде с запада, высказались за избрание кандидатов. Это было полное признание и одобрение политики временного правительства Германской демократической республики — политики мира и дружбы с соседними народами, политики мирного развития германского народного хозяйства и активной борьбы за национальное единство Германии.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

С. МАРШАК

★

ЗАМЕТКИ О МАСТЕРСТВЕ

«...Когда форма есть выражение содержания, она связана с ним так тесно, что отделить её от содержания — значит уничтожить самое содержание; и наоборот: отделить содержание от формы — значит уничтожить форму...»

В. Белинский.

Ко мне, как и к другим литераторам, обращается немало пишущих людей с вопросом: что такое поэтическое мастерство и как ему научиться.

Многие просят даже порекомендовать какое-нибудь руководство по стихотворному искусству.

Такого руководства, к сожалению, а может быть и к счастью, нет.

Но мне кажется, что мы, профессиональные литераторы, могли бы общими усилиями помочь своим корреспондентам — а заодно и читателям — хоть отчасти разобраться в вопросах поэтического мастерства, поделившись с ними мыслями и наблюдениями, которые накопились у каждого из нас во время собственной работы и при изучении творчества других поэтов.

В этих «Заметках» я и попытался собрать воедино кое-какие свои мысли, а также выводы из прочитанного мною.

Естественно, что в качестве примеров и образцов я беру по преимуществу тех поэтов, у которых учился сам.

I

О ПРОЗЕ В ПОЭЗИИ

У Чехова есть рассказ «На святках». Старуха Василиса пришла в трактир к хозяйкиному брату Егору, про которого «говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить, как следует».

«— Что писать?» — спрашивает Егор.

«— Не гони!» — отвечает Василиса: «— Небось, не задаром пишешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо.

— Есть. Стреляй дальше».

«— ...мы живы и здоровы, чего и вам желаем от господ... царя небесного...

— ...царя небесного... — повторила она и заплакала.

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах... сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей! Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!..»

«— Чем твой зять там занимается?» — спросил Егор.

— Он из солдат, батюшка... В одно время с тобой со службы пришёл...

...Егор подумал немного и стал быстро писать.

«В настоящее время,—писал он,—как судьба ваша через себе определила на Военное Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисциплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военного Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цивилизацию Чинов Военного Ведомства».

«Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову...»

«И поэтому Вы можете судить... какой есть враг Иноземный и какой Внутренний. Первейший наш Внутренний Враг есть: Бахус».

«Перо скрипело, выделявая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки...»

А старик, Василисин муж, прослушав письмо, доверчиво кивал головой и говорил:

«— Ничего, гладко... дай бог здоровья. Ничего...»

Егор, изображённый в чеховском рассказе, — равнодушный писарь, «сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком».

Но так легко поставить на его место некоего литератора примерно такой же комплекции. Народ просит его, человека, владеющего пером, выразить всё то, чего «не поместить и в десяти письмах», а он преспокойно выделяет на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки.

Народ, умный, терпеливый и вежливый народ, читает, бывало, такую мудрёную «цивилизацию Чинов Военного Ведомства» и подчас только головой кивает:

— Ничего, гладко... дай бог здоровья. Ничего...

Правда, в наше время народ — уже не тот. Его не обманешь витиеватыми фразами и писарскими завитушками. Да и молчать он, пожалуй, не станет, если почувствует пошлость, которую чувствовала уже безропотная Василиса.

Но всё же чеховский рассказ не потерял своей действенности, своей сатирической горечи и до сих пор.

Донны ещё многие мысли и чувства народа не ложатся на бумагу, не входят в литературную строку. У нас и сейчас ещё не совсем вышли из моды каллиграфические завитушки.

И в наши дни есть ещё немало людей, которые не считают поэтическими стихи Некрасова и родственных ему наших современников, то есть стихи, где нашли себе место многие житейские происшествия, и смерти, и свадьбы, и длинные зимы, и длинные ночи.

А ведь наличием этой прозы в стихах, в повестях и романах измеряется поэтическая честность, поэтическая глубина, ею измеряется и художественное мастерство.

Может ли быть мастерство там, где автор не имеет дела с жёсткой и суровой реальностью, не решает никакой задачи, не трудится, добывая новые поэтические ценности из житейской прозы, а ограничивается тем, что делает поэзию из поэзии, то есть из тех роз, соловьёв, крыльев, белых парусов и синих волн, золотых нив и спелых овсов, которые тоже в своё время были добыты настоящими поэтами из суровой жизненной прозы?

Правда, этот готовый поэтический набор, которым пользуются литературных дел мастера, то и дело меняется. В одну эпоху это — роза, в другую — лапоть, в третью — синий платочек.

Но из-за плеча такого литератора, какой бы моды он ни придерживался, всегда выглядывает тот же писарь — «сытый, здоровый, мордастый, с красным затылком», набивший руку грамотей, который «может хорошо писать...».

Есть особое писарское высокомерие, которое ставит превыше всего своеобразие и шегольство росчерка. Иной ради этого росчерка даже перевернёт страницу вверх ногами, чтобы удобнее было вывести на ней последние, самые замысловатые завитушки. Такому профессионалу кажется, что содержание — только повод для того, чтобы показать, как искусно он «владеет пером».

Целые поколения стихотворцев воспитывались на том, что главное в их деле заключается в своеобразии писательского почерка, являющегося самоцелью, а не естественным результатом вполне сложившегося мировоззрения, характера, отношения к действительности.

И не так-то легко отказаться от такой привычки работать «на холостом ходу».

Не одному поколению поэтов прививалось смолоду убеждение, что поэтический словарь существенно отличается от словаря прозаического, что поэзия представляет собою своего рода легковой транспорт, не предназначенный для перевозки слишком больших грузов, которые полагается возить прозе.

Бог создал мир из ничего.
Учись, художник, у него! —

писал когда-то беззаботный поэт-декадент.

Но ведь и чеховский Егор стряпал своё письмо из ничего, — вернее, из той «словесности», которою начинили ему голову в казарме. Поэтому-то его ровная и «гладкая» писарская строка не вмещала никакого подлинного материала, была глуха к живому голосу живых людей.

Так бывает и с поэзией.

Мы знаем целые периоды в её истории, когда она страдала особой профессиональной глухотой. В таких случаях у неё вырабатывался свой собственный, весьма ограниченный и условный, непереводаемый словарь. Правда, она не отказывалась подчас говорить и о жизненных явлениях — или, вернее сказать, называла их по имени, но всё, чего бы она ни касалась — жизнь, смерть, любовь, война, — превращалось у неё в словесную игру.

Особенно ощутимо это было во дни испытаний и потрясений, — таких простых и грубых, как засуха, голод, изнурительная война, не оправданная необходимостью защищать отечество.

Не было ли похоже на лихое сочинение чеховского Егора некое письмецо — тоже от имени деревенской бабы, но почему-то в стихах, за подписью известного поэта? Появилось оно во время войны 1914 года и называлось «Запасному — жена».

Какие же чувства простой русской женщины-солдатки отразили стихи поэта?

...Если ж только из-под пушек
Станешь ты гонять лягушек,
Так такой не нужен мне!
Что уж нам господь ни судит,
Мне и то утехой будет,
Что жила за молодым.
В плен врагам не отдавайся,
Умирай иль возвращайся
С гордо поднятым лицом...

Так и пишет эта бой-баба: «С гордо поднятым лицом».
И дальше:

...Бабы русские не слабы,—
Без мужей подымут бабы
Кое-как своих детей,
Обойдутся понемногу,
Люди добрые помогут,
Много добрых есть людей...

Напрасно вы стали бы искать в этих стихах, в самом их ритме боль разлуки, тревогу за близкого человека. А ведь такие чувства отнюдь не противоречат подлинному, не квасному патриотизму.

...Обойдутся понемногу,
Люди добрые помогут,
Много добрых есть людей...

Какая же такая баба уполномочила поэта написать это разудалое письмо своему «запасному» во дни тяжёлой и очень непопулярной в народе войны 1914 года?

Впрочем, вряд ли сам автор отдавал себе ясный отчёт в том, что пишет. Стихи были изготовлены к случаю, по моде своего времени, по условным её законам и, в сущности, представляли собою стилизацию, литературную подделку под якобы «народную», солдатскую песню. А стилизация как бы снимает с автора ответственность за содержание.

По правде сказать, только кажется, что снимает. Пусть читатели не протестуют, а народ, от имени которого пишется такое послание, до поры до времени молчит или говорит недоумённо:

— Ничего, гладко...

Но приходит час, и вся фальшь, прикрытая условностью, модой, выступает наружу, и никакая стилизация не служит ей оправданием.

Если бы даже не осталось других доказательств непопулярности в нашей стране империалистической войны 14-го года,— в этом можно было бы легко убедиться, перелистав сборники военных стихов того времени.

Об отечественной войне 1812 года говорят нам стихи Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Дениса Давыдова, Лермонтова.

Памятью о Севастопольской кампании навсегда остались в нашей поэзии немногословные, но глубокие строчки Некрасова, Тютчева.

Больше сказать эти поэты не могли, связанные царской цензурой.

А война 1914 года породила множество холодных, плоских, легковесных, псевдонародных, глубоко-штатских стихов.

На глянцевиной бумаге, на страницах, украшенных фотографиями в альбомных овалах, печатались стихи какой-то дамы Е. В. Минеевой о казаке Козьме Крючкове, который

На резвой лошади, бряцая храбро шпагой,

«разбил на-смерть» одиннадцать врагов.

И тут же — стихи в псевдорусском колокольном стиле, озаглавленные «О, Русь!» и подписанные почему-то экзотическим псевдонимом «Маугли».

В бранной порфире царица сермяжная —
Русь — это ты!.. —

писал таинственный господин Маугли.

Впрочем, плохие и плоские стихи всегда появлялись — в любые времена.

Но за всеми этими «сермяжными индусами» и дамами-любительницами шли пёстрой вереницей, как ряженные на святках, известные профессиональные поэты, не отказавшиеся даже в эти трагические дни от обычной своей позы, от привычного грима.

Только мастерства в их стихах было меньше, чем в мирное время. Ведь мастерство неотделимо от содержания. Оно повышается или понижается в зависимости от того, что именно человек мастерит.

Недаром же Маяковский — тогда ещё очень молодой и по-юношески задорный — обнаружил пустоту, безличие и однообразие батальных стихов того времени, склеив одно стихотворение из трёх четверостиший разных и различных поэтов («Поэты на фугасах», 1914).

Фёдор Сологуб, который в мирное время цедил, как ликёр, то философски-мечтательные, то скептические, то эротические строки стихов и прозы, оказался в это время автором бойких куплетов, приведённых выше («Если ж только из-под пушек станешь ты гонять лягушек» и т. д.).

Томный М. Кузмин тоже освежил свою лирику стихами на военные темы, написанными в изысканно-небрежной, нарочито-простодушной манере.

Небо, как в праздник, сине,
А под ним кровавый бой.
Эта барышня — героиня,
В бойскауты идёт лифт-бой...

И фатоватый, развязный, усвоивший тон всеобщего любимца, которому всё позволено, Игорь Северянин выступил с жизнерадостными военными «поэзами»:

...Они сражаются в полях,
Сегодня — люди, завтра — прах...

Казалось бы, большие исторические события, потребовавшие от народа так много жертв, должны были наполнить поэзию гневной, горячей прозой, какою полны были стихи Некрасова о войнах его времени:

Брошены парады.
Дети в бой идут.
А отцы подряды
На войска берут...

Дети, вас надули
Ваши старики:
Глиняные пули
Ставили в полки!

И в последнюю царскую войну солдат надували и предавали, а поэты — большинство поэтов — предпочитали жить в поэтической дали и писать этак со стороны, по-«земгусарски» об окопах, кровавых боях, пушках и лазаретах. И всё это было так же бездушно, так же мало отражало мысли и чувства миллионов людей, как писарская «цивилизация Чинов Военного Ведомства».

Достаточно положить рядом поэтические хрестоматии, посвящённые двум мировым войнам — империалистической 1914 года и Великой Отечественной, — чтобы преисполниться высокой и законной гордостью за нашу советскую поэзию, неотделимую от своего народа и воевавшую вместе с ним.

А много ли честных и живых стихотворных строчек оставила нам последняя война императорской России?

Очень немного.

Пожалуй, только буйно-протестующие строчки Маяковского, который с первых же дней восстал против этой войны и отчётливо увидел её виновника — «рубль, вьющийся золотолапым микробом».

А из множества стихов, написанных поэтами старшего поколения, искренне и достойно звучат до сих пор разве только стихи Александра Блока, на первый взгляд такие неожиданные для автора «Незнакомки» и «Снежной маски».

Петроградское небо мутилось дождём,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.

В этих строгих и прозаических с виду стихах, похожих по ритму на баллады, которые поют в вагонах, была простая, житейская правда и предчувствие великих, грозных событий.

...Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей всё несло к нам ура,
В грозном клике звучало: Пора!..

Александр Блок и Владимир Маяковский — поэты очень различные по возрасту, темпераменту, характеру дарования и мировоззрению.

Маяковский стал первым поэтом нашей советской эпохи. Блок завершает собою поэзию дореволюционную.

Но их роднит то, что оба они в эти исторические дни много и напряжённо думали, знали цену поэтическому слову, понимали ответственность поэта перед временем и народом. Оба они далеки от всего, что было в литературе узко-профессионального, высокомерно-«писарского».

Среди их современников было не так уж мало талантливых поэтов и способных стихотворцев.

В эту пору достигли своего творческого расцвета тонкий и точный художник Иван Бунин, искусный мастер стиха Валерий Брюсов.

И совсем незадолго до того умерли, оставив после себя учеников и последователей, большие русские поэты: в 1892 году — Фет, в 1897 — Аполлон Майков, в 1898 — Яков Полонский.

Как же случилось, что поэзия в последние предреволюционные десятилетия утратила свою власть над читателем?

Мы хорошо помним имена популярных в то время и даже любимых тогдашними читателями поэтов. Но разве можно сравнить их идейное влияние с влиянием современных им прозаиков — Льва Толстого, Короленко, Чехова, Горького?

А ведь ещё в некрасовские времена, когда жили и работали такие гиганты русской прозы, как тот же Лев Толстой, Тургенев, Достоевский, Салтыков-Щедрин, — поэзия не уступала прозе, а делила с ней роль идейного руководителя, выразителя чувств, «властителя дум». Поэзия — конечно, в лучших её образцах — была так же содержательна, интересна и толкова, как лучшая проза.

На это могут возразить, что далёкое прошлое всегда представляется нам в каком-то ореоле. Но ведь Некрасов уже при жизни стал народным поэтом и занял, преодолев сопротивление многих скептически к нему относившихся литераторов, прочное место наряду с великими поэтами, уже окружёнными ореолом вечной славы.

«Вы на публику имеете влияние не менее сильное, нежели кто-нибудь после Гоголя», — писал Некрасову Чернышевский в 1856 году.

А когда на похоронах Некрасова Достоевский назвал его имя рядом с именами Пушкина и Лермонтова, послышались молодые голоса: — Нет, выше!

Конечно, не это восторженное восклицание, прозвучавшее у открытой могилы, определяет удельный вес и значение Некрасова в нашей поэзии.

Вокруг его имени ещё долго кипела борьба — да и доньше она не совсем утихла. Но стихи Некрасова проникли в народ безмянной песней — «Коробушкой», «Кудеяром-атаманом», «Тройкой», стали достоянием каждого мало-мальски грамотного человека, вызвали к жизни множество поэтов-самоучек, вошли в обиход людей самого разного возраста.

Школьники твердили наизусть: «Ну, пошёл же ради бога...» и «Мороз-воевода дозором...»

Студенты пели: «Видь на Волгу... чей стон раздаётся...»

Так оно и должно было случиться.

На общенародное признание имеет право только умная и зрелая поэзия, которая, как и проза, охватывает разнообразные области жизни и решает серьёзные задачи.

А когда поэзия выходит из графика движения, когда она оказывает-ся вне времени, её незаметно переводят на запасный путь.

У неё могут быть свои любители, но она перестаёт быть чтением.

У поэтов, проделавших на своём веку какую-то работу, а не живших в литературе «на всём готовом», всегда есть точный адрес и точная дата их жизни и работы.

Этим адресом не может быть вселенная.

Мы все живём во вселенной — об этом забывать не надо, — но, кроме того, у каждого из нас есть более простой и определённый адрес — страна, область, город, улица, дом, квартира.

Наличие такого точного адреса может служить критерием, позволяющим отличить подлинно великую поэзию от претенциозной и поддельной.

Точный адрес был и у Шекспира, и у Пушкина, у Чехова, Горького и Маяковского.

А вот какой-нибудь Габриэль д'Аннунцио давал читателю такие координаты:

«Вселенная, мне».

По этому адресу ещё труднее найти человека, чем по адресу, указанному Ванькой Жуковым:

«На деревню дедушке».

На узкий круг людей многозначительный вселенский адрес может произвести впечатление, но ведь книги — и проза и стихи — держат экзамены. подвергаются испытанию и проверке чуть ли не каждый год, и всё то, что неполноценно, рано или поздно проваливается, не выдерживает испытания временем. Обнаруживается подоплёка поддельной книги, проступает её схема — скелет.

И если Шекспир, Данте, Сервантес, Пушкин, Гоголь живут долго, то это не значит, что они переходят из десятилетия в десятилетие, из века в век без экзамена. Нет, они тоже проверяются временем и блестяще выдерживают испытания.

Впрочем, мысль о бессмертии или даже о литературном долголетии не должна особенно беспокоить литераторов. Всё равно сие от них не зависит.

А вот честное, неравнодушное отношение к своему времени, к своим современникам, к своему народу — таково главное условие подлинной поэтической работы.

Вряд ли весьма модный при жизни поэт Владимир Бенедиктов мог предвидеть, что его невинные стишки о кудрях покажутся потомкам (да и умным современникам) не только смешными и нелепыми, но и возмутительными по своей бестактной игривости.

Кудри девы-чародейки,
Кудри — блеск и аромат,
Кудри — кольца, струйки, змейки,
Кудри — шёлковый каскад!
...Кто ж владелец будет полный
Этой россыпи златой?
Кто-то будет эти волны
Черпать жадною рукой?..

Потомок вправе спросить: «Позвольте, а когда были написаны эти стишки?»

И узнав, что они были «дозволены ценсурой» в год смерти Пушкина, ещё более обидится на поэта Бенедиктова — не столько за это совпадение, сколько за то, что и после Пушкина оказалось возможным появление в печати таких домашних, альбомных стихов.

Бестактность их — не в любовной теме. Тема эта вполне уместна и законна в романе и в повести, в драме и в поэме, а в лирических стихах — и подавно.

«Поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли», — говорил Чернышевский.

Однако в поэзии, которая является не частным делом, а достоянием большого круга читателей, народа, даже любовная лирика, выражающая самые сокровенные чувства поэта, не может и не должна быть чересчур интимной. Читатель вправе «присвоить» эти стихи, отнести их к себе, к своей любви. Только тогда лирические стихи ему понятны и нужны. В противном же случае они превращаются в альбомные куплеты, неуместные на страницах общедоступной книги или журнала.

Сколько поколений повторяло вслед за Пушкиным замечательное четверостишие:

...Тогда изгнанием и могилой.
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть лёгкий шум её шагов...

Но кому какое дело до сложных чувств стихотворца Бенедиктова к некой замужней особе:

Так, — покорный воле рока,
Я смиренно признаю,
Чту я свято и высоко
Участь брачную твою;
И когда перед тобою
Появлюсь на краткий миг,
Я глубоко чувство скрою,
Буду хомоден и дик...

Но в часы уединенья,
Но в полуночной тиши —
Невозбранного томленья
Буря встанет из души...
И в живой реке напева

Молвит звонкая струя:
Ты моя, мой ангел-дева,
Незабвенная моя!

Стихотворный ритм верно служит настоящему поэтическому чувству. Но с какой откровенностью выдаёт он пошлость лихого гитарного перебора:

Ты моя, мой ангел-дева,
Незабвенная моя!

Ту же пошлую легковесность и бестактность находил Маяковский в лирических излияниях некоторых современных ему стихотворцев. Вспомните «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им».

Но дело не только в публичном выражении домашних и не всегда почтенных чувств.

Время предъявляло и предъявляет свой счёт поэтам значительно более крупным и подлинным, чем, скажем, Владимир Бенедиктов.

В «Дневнике писателя» Достоевского есть любопытные строчки, посвящённые знаменитому стихотворению Фета «Шопот, робкое дыханье».

Как известно, в этом стихотворении совсем нет глаголов, а есть только существительные с некоторым количеством прилагательных.

У Пушкина, в противоположность Фету, то и дело встречаются строфы, состоящие почти сплошь из глаголов:

«Иди, спасай!» Ты встал — и спас..

Или:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнишь волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Тут ни одного прилагательного; зато как много действия — непрерывная цепь глаголов.

Глаголы, великолепные, энергичные, действенные, пронизывают всё описание Полтавской битвы, и только в одном четверостишии, где напряжение боя достигает своей высшей точки, существительные постепенно, в сомкнутом строю, вытесняют глаголы.

Швед, русский — колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет.
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Но ведь это — прерывистая, взволнованная речь. В ней естественно сгрудились в одном месте подлежащие, в другом — сказуемые; в третьем сказуемые вовсе исчезли, как это случается в устном взволнованном рассказе.

Другое дело — стихи Фета «Шопот, робкое дыханье...».

Никакой лирический, любовный восторг не проявился бы в таком длинном поезде существительных (двенадцать строчек, два десятка подлежащих без единого сказуемого).

Но суть дела не в этой поэтической причуде.

Вот что пишет Достоевский по поводу упомянутых стихов Фета.

Полемизируя с теми, кого он называет «утилитаристами» (то есть сторонниками общественно-полезного искусства), и, видимо, желая объяснить себе и другим их точку зрения, он предлагает читателям такую нарочито-экстраординарную ситуацию:

«Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; дома разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял... Жители толкаются по улицам, в отчаянии, поражённые, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живёт в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского Меркурия (тогда всё издавались Меркурии). Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить известия о погибших, о пропавших без вести и проч. и проч. И вдруг — на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:

Шопот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слёзы,
И заря, заря!

Да ещё мало того: тут же, в виде послесловия к поэмке, приложено в прозе всем известное поэтическое правило, что тот не поэт, кто не в состоянии выскочить вниз головой из четвёртого этажа...

Не знаю наверно, как приняли бы свой Меркурий лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трели соловья накануне слышались под землёй такие трели, а колыхание ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать —

В дымных тучках пурпур розы...

или

Отблеск янтаря,

но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни»...

Надо сказать, что не лиссабонцы и не «утилитаристы», а сам Достоевский — может быть, даже вопреки своим намерениям — подверг суровой казни «знаменитого поэта» и его стихи о шёпоте и робком дыхании. Он уничтожил эти хрупкие стихи, идилические и благополучные, показав их в пылу полемики на трагическом фоне лиссабонского землетрясения и сопоставив грозное колыхание земли с «колыханьем сонного ручья».

Конечно, землетрясения случаются не так часто, и пожалуй, очень немногие лирические стихи могут выдержать аккомпанемент подземного гула и грехота разрушающихся зданий!

Но безусловно справедливо в этом рассуждении одно.

Любая строфа или строчка поэта появляется не в пустоте, не в отвлечённом пространстве, а всегда на фоне большой народной жизни, на фоне многих событий или хотя бы «пронсшествий», о которых собралась рассказать в своём несостоявшемся письме чеховская Василиса.

И совершенно справедливо назван в этом рассуждении поступок поэта (там так и сказано: поступок) небратским.

Небратскими, несоциальными были многие строчки Фета, Аполлона Майкова, Щербины.

«Братскими» были стихи и проза Пушкина, великодушного, щедрого, верного народу поэта.

«Братскими» были стихи и повести Лермонтова, стихи, песни и сатиры Некрасова.

Вспомните лермонтовское простое, ничем не прикрашенное, уже близкое к толстовскому, описание битвы под Гихами:

...И два часа в струях потока
Бой длился; резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь;
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть,—
И зной и битва утомили
Меня,— но мутная волна
Была тепла, была красна...

И дальше:

...Уже затихло всё; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струёю дымной по камням,—
Её тяжёлым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал...

Беспощадно-реалистическое изображение боя не мешает высокому взлёту мысли поэта.

За медленными, тяжёлыми и густыми, как испарения крови, строчками следуют стихи:

...Тянулись горы, и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек...
Чего он хочет?.. Небо ясно,
Под небом места много всем,—
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он... Зачем?..

Эти мысли и до сих пор приходят в голову простому человеку — в том же ритме, в той же естественной последовательности.

Недаром народ так бережно удержал в памяти правдивые строки Лермонтова и не сохранил слишком «поэтичных» стихов Бенедиктова.

На что ему нужны писарские выкрутасы и упражнения в каллиграфии!

В своё время Фет написал язвительные стихи, обращённые к псевдо-поэту. Как известно, он метил в Некрасова.

Молчи, поникни головою,
 Как бы предств на страшный суд,
 Когда случайно пред тобою
 Любимца муз упомянут!

На рынок! Там кричит желудок
 Там для стоокого слепца
 Ценней грошовый твой рассудок
 Безумной прихоти певца...

Но напрасно Фет взывал к суду.

Время по-своему рассудило спор между так называемым «грошовым рассудком» Некрасова и «безумной прихотью» Фета.

Правда, наша поэзия навсегда сохранит мягкую, музыкальную, прихотливую лирику Фета:

...Ряд волшебных изменений
 Милого лица...

Сохранит фетовские стихи о русской природе, по поводу которых Тютчев писал:

Иным достался от природы
 Инстинкт пророчески-слепой:
 Они им чуют, слышат воды
 И в тёмной глубине земной..

Великой матерью любимый,
 Стократ завидней твой удел:
 Не раз под оболочкой зримой
 Ты самое её узрел..

Лучше не скажешь о свежести, непосредственности и остроте фетовского восприятия природы. Его стихи вошли в русскую природу, стали её неотъемлемой частью.

Кто из нас не бережёт в памяти чудесных строк о весеннем дожде:

Две капли брызнули в стекло,
 От лип душистым мёдом тянет,
 И что-то к саду подошло,
 По свежим листьям барабанит.

Или о полёте бабочки:

Ты прав: одним воздушным очертаньем
 Я так мила.
 Весь бархат мой с его живым миганьем —
 Лишь два крыла...

У редкого художника найдёшь такой проникновенный пейзаж:

И путь заглох и одичал.
 Позеленелый мост упал
 И лёг, скосясь, во рву размытом
 И конь давно не выступал
 По нём подкованным копытом...

Это тоже — поэзия, добытая из прозы, а не взятая из готового поэтического арсенала.

И всё же язык Фета — не язык народа. Поэт исключил из своего словаря всё, что казалось ему житейским, грубым, низменным. Природа, любовь, сложные и тонкие чувства — вернее, ощущения — вот предмет его поэзии.

Александр Блок, ценивший Фета, но видевший сознательную ограниченность его поэзии, говорит в одной из своих статей:

«Вот так, как написано в этом письме, обстоит дело в России, которую мы видим из окна вагона железной дороги, из-за забора помещичьего сада, да с пахучих клеверных полей, которые ещё Фет любил обходить в прохладные вечера, при этом «минуя деревни».

Впрочем, у Фета есть стихи и о деревне. Но речь в них идёт, в сущности, не о деревне, а о «деревеньке» — то есть об имении, усадьбе.

На страницах фетовских стихов нет не только некрасовских, но и пушкинских прозаизмов — вроде:

...Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконо́м,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живёт, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет...

Или:

Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по балтийским волнам
За лес и сало возит нам...

Самого себя Фет называет «природы праздным соглядатаем».

А природа у него — точно в первый день творения: кущи дерев, светлая лента реки, соловьиный покой, журчащий сладко ключ. В этом мире есть своя таинственная жизнь.

День бледнеет понемногу.
Вышла жаба на дорогу...

...Различишь прилежным взглядом,
Как две чайки, сидя рядом,
Там, на взморье плоскодонном
Спят на камне озарённом...

Если назойливая современность и вторгается иной раз в этот замкнутый мир, то она сразу же утрачивает свой практический смысл и приобретает характер декоративный.

Вот как, например, отразилась в поэзии Фета железная дорога, которую при его жизни проложили среди русских полей, лесов, болот.

И серебром облиты лунным,
Деревья мимо нас летят,
Под нами с грохотом чугунным
Мосты мгновенные гремят.

И как цветы волшебной сказки,
Полны сердечного огня,

Твои агатовые глазки
С улыбкой радости и ласки
Порою смотрят на меня.

Здесь отлично сказано и про «мгновенные мосты», и про деревья, облитые лунным серебром (про глазки, сказки и ласки — хуже). Но Фета и в голову не приходило, что о железной дороге можно писать не только с пассажирской точки зрения.

Долг строителям дороги заплатил за него, пассажира первого класса, и за его спутницу с агатовыми глазками другой русский поэт — Некрасов.

Некрасовская «Железная дорога» тоже начинается с того, что за окном вагона мелькают родные места, залитые лунным сиянием. И даже рифма в одной из первых строф та же, что у Фета: «лунным — чугунным».

Но говорится в этих стихах совсем о другом.

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать...

...Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Конечно, в некрасовских стихах гораздо меньше лёгкости и внешней красоты, чем в одноимённых стихах Фета. Они жёстче, грубее.

Но поэтичными их делает сила воображения, значительность мысли и чувства. А это отражается в энергии и своеобразии стиха.

В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели стоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотёсцов, ткачей..

И не так страшны в этой реалистической балладе призраки мертвецов, обгоняющие лунной ночью поезд, как точные, неприкрашенные образы живых строителей дороги.

...Волосом рус,
Видишь, стоит, измождён лихорадкой,
Высокорослый, больной белорусс.

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках;
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах...

Даже «колтун» попал в стихи! Это вам не «агатовые глазки».

Незачем было Достоевскому переносить Фета в восемнадцатый век, в Лиссабон и показывать ему там ужасы землетрясения. Картина постройки железной дороги в некрасовские и фетовские времена достаточно трагична, чтобы служить разительным контрастом «Шопоту, робкому дыханью...»!

Но не для того, чтобы напугать или разжалобить читателя, была написана Некрасовым «Железная дорога». Стихи эти суровы и трезвы. Посвящённые детям, они зовут растущих людей к действию, к деятельности. Они говорят о будущем, когда народ, который «вынес и эту дорогу железную»,

Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся — ни мне, ни тебе.

Но может быть, стихи Некрасова, перегруженные публицистикой, даже какой-то хроникой событий, в конце концов оказались газетной однодневкой, зажигательной прокламацией и утеряли с годами жар чувства, остроту мысли, новизну стиля? Может быть, они давно стали достоянием литературного архива, между тем как стихи Фета, — говоря его же собственными словами, — «золотом вечным горят в песнопении»?

Нет, это не так.

Современный ценитель поэзии найдёт, пожалуй, больше поэтической неожиданности и своеобразия в словаре, в ритме некрасовской «Железной дороги», чем в «Железной дороге» Фета.

Трудно и даже невозможно сравнивать стихи, написанные разными поэтами в различной манере и стиле, но нынешнему читателю некрасовская поэма, вероятно, попросту покажется интереснее. Перед его глазами возникает в мельчайших подробностях целая эпоха с меднолицыми, «присадистыми» подрядчиками и босыми мужиками, строителями первой чугунки.

В этом-то и заключается преимущество жизненной, правдивой поэзии, которую многие из современников обычно упрекают в излишних «вульгаризмах», в нарушении условных поэтических приличий.

Она живёт долго и сохраняет свою питательность для многих и многих поколений.

И каждое поколение находит в ней что-нибудь новое, ускользнувшее от внимания прежних читателей, ибо подлинная правда сказывается и в крупных, заметных с первого взгляда, подробностях и в самых мелких, едва уловимых деталях. Да и крупное открывается со временем в новом свете.

Некрасов, честный и трудолюбивый литератор, получивший звание поэта от самого народа, не слишком заботился на своём веку о чистоте поэтических риз, бывал в самых глухих закоулках жизни, среди самого разнообразного люда. Такой пассажир не первого, а третьего или даже четвёртого класса может рассказать современникам и потомкам много любопытного и поучительного.

II

О СТИХЕ РАБОТАЮЩЕМ И ПРАЗДНОМ

О том, какая судьба ожидает поэзию Некрасова в будущем, существовало в своё время немало предсказаний.

«...я убеждён, что любители русской словесности будут ещё перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя г. Некрасова покроется забвением»...

«...я убеждён: его (Некрасова. — С. М.) слава будет бессмертна... вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов».

Первое из этих двух утверждений принадлежит И. С. Тургеневу (письмо к редактору «С. Петербургских Ведомостей». 1870 г., январь).

Второе — Н. Г. Чернышевскому (письмо к А. Н. Пыпину. 1877 г., август).

Потомкам предстояло решить, кто из них прав.

Три четверти столетия, которые лежат между нами и этими предсказаниями, — вполне достаточный срок для их проверки.

Как же рассудило время?

Время решительно стало на сторону человеческой и народной, умной и сердечной некрасовской поэзии, широко охватывающей жизнь, далеко заглядывающей вперёд.

Отдав должное поэтическим заслугам Фета и Полонского, бережно отобрав их лучшие стихи, оно всё же признало победителем Некрасова.

В чём же его победа? В том, что для народа поэзия Некрасова стала своей, народной, и послужила ему оружием в борьбе; в том, что она питала и питает не одно поколение поэтов, столь различных меж собой, как, например, Добролюбов и поэты «Искры», Блок и Маяковский.

Может ли сравниться с его значением и влиянием поэзия Фета и Полонского?

Овладевая русским стихом, всеми его богатствами и возможностями, молодые поэты не могут пройти мимо огромного и сложного поэтического хозяйства Некрасова.

Они не могут не оценить в должной мере подвиг поэта, который после Державина, Жуковского и Крылова, после Пушкина и Лермонтова создал свой собственный, вполне современный стих, нашёл свой ритм и строй речи, вобравший всё своеобразие этих трудных переломных десятилетий, зазвучавший всеми их голосами.

В этом строе речи сочетается плавная народная песня с устным пёстрым говором, высокая поэтическая традиция с газетной злободневностью.

Какая сила и какое искусство нужно поэту, который всегда имеет дело с неподатливым, новым, разнообразным, впервые входящим в поэзию материалом!

Если эстеты разных толков не видят этого мастерства, тем хуже для них. Это доказывает только, что они не понимают стихов, не умеют вглядываться и вслушиваться в стихи.

Как у любителей изысканной кухни, так называемых «гурманов», гордящихся своим прихотливым вкусом, на самом-то деле вкус притуплен острыми приправами, небо и язык **обожжены** всякими пряностями, так и литературные гурманы, пресыщенные поэзией, слышат только трескучую «музыку персидского шаха»¹ и глухи к оттенкам слова.

А Некрасов требует от своего читателя очень тонкого внимания и слуха; он — один из тех поэтов, которых нельзя читать глазами, про себя. В его стихах звучит голос, человеческий голос, то обличающий, то лирический, то характерный, жанровый.

Вспомним — Бозио. Чванный Петрополь
 Не жалел ничего для неё.
 Но напрасно ты кутала в соболь
 Соловьиное горло своё...

И тот же поэт пишет:

— Государь мой! Куда вы бежите?
 «В канцелярию; что за вопрос?
 Я не знаю вас!» — Трите же, трите

¹ Рассказывают, что один из персидских шахов больше всего оценил в концерте разноголосый шум настраиваемых инструментов.

Поскорей, бога ради, ваш нос!
 Побелел! — «А! весьма благодарен!»
 — Ну, а мой-то? — «Да ваш лучезарен!»
 — То-то! принял я меры... «Чего-с?»
 — Ничего. Пейте водку в морозы —
 Сбережете наверно ваш нос,
 На щеках же появятся розы!

По стихам Некрасова люди многих последующих поколений будут знать живую интонацию его современников — всех этих председателей казённых палат, процентщиков, акционеров, странников, коробейников, деревенских баб, детей, стариков...

В своё время Крылов и Грибоедов умели передавать стихом любой оттенок голоса, мужского или женского. Строфа была для них как бы голосовой лестницей, и они отлично знали, на какой ступеньке и даже на каком месте этой ступеньки находится та или иная интонация и высота голоса говорящего лица.

«Соседушка, мой свет!
 Пожалуйста, покушай».
 — «Соседушка, я сыт по горло».

Вторая фраза, несомненно, произнесена человеком, у которого демьянова уха подступила уже к самому горлу.

А вот жеманная фраза светской кумушки:

Я удавилась бы с тоски,
 Когда бы на неё хоть чуть была похожа!

Грибоедов запечатлел разговорную манеру своего времени так, как будто приложил к тексту комедии ноты. Мы слышим хриплый, точно сдвоенный высоким воротником мундира, бас полковника Скалозуба, тенорик Молчалина («В мои лета не должно сметь своё суждение иметь»), голоса графини-бабушки и графини-внучки, реплику заботливой Натальи Дмитриевны:

Ах! мой дружок!
 Здесь так свежо, что мочи нет,
 Ты распахнулся весь, и расстегнул жилет.

Мы навсегда запоминаем немногословные вопросы озабоченной княгини-матери по поводу Чацкого:

— От-став-ной?..
 — И хо-ло-стой?

и даже величавую однострочную реплику лакея с крыльца:

— В карете барыня-с, и гневаться изволит.

Но умение пользоваться стихом для передачи характерной речи так естественно у поэта-драматурга и баснописца.

У других же поэтов, эпических и лирических, оно наблюдается реже.

Однако Пушкин, создавший образцы чуть ли не всех возможных в поэзии видов и жанров, обнаружил непревзойдённое мастерство и в этой области.

Сколько разнообразия в ритме, в темпе, в характере речей и коротких реплик, которые мы находим на страницах его поэм, драматических сцен, баллад и стихотворных повестей — в «Борисе Годунове» и в «Графе Нулине», в «Каменном госте» и «Домике в Коломне», в «Евгении Онегине» и в стихах «Стамбул гяуры нынче славят».

По-разному, по-своему говорят у него старики и молодые, мужчины и женщины, русские и поляки, испанцы и англичане, люди различных времён, классов, сословий.

Как непохож строгий и бесстрастный монолог старого монаха Пимена —

Описывай не мудрствуя лукаво
Всё то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей...

на речь другого старика — непоседливого, озабоченного, суетного мельника («Ох, то-то все вы, девки молодые!»).

Даже те действующие лица, которым поэт уделил всего две-три строчки, успевают полностью проявить свой характер.

Вспомните пристава в корчме на литовской границе. Григорий читает царский указ:

«И царь повелел изловить его...»
Пристав. И повесить.
Григорий. Тут не сказано повесить.
Пристав. Врёшь: не всяко слово в строку пишется. Читай:
изловить и повесить.

Уже в этих двух фразах — весь царский пристав, — и, пожалуй, не только годуновского, но и более позднего времени.

Вы скажете: этот отрывок написан прозой. Да, но такой прозой, которая органически входит в стихи, спорит с ними и дополняет их.

А как запечатлели стихи Пушкина — может быть, первый и единственный раз в поэзии — голос ребёнка.

Мы явственно слышим высокий, безмятежный от неведенья жизни, детский голосок в реплике русалочки (внучки старого мельника):

Тот самый, что тебя
Покинул и на женщине женился?

и в другой её наивной и спокойной реплике:

А что такое деньги — я не знаю...

Так служит поэту гибкий, послушный, работающий стих.

После Пушкина и Лермонтова только у Некрасова он вновь обретает силу, жизненность, предельную выразительность, то есть те свойства стиха, которые позволяют поэту брать на себя разнообразные и ответственные задачи наравне с великими мастерами прозы.

Некрасов уловил множество различных человеческих голосов, сохранив для нас не только интонации, но даже и тембр голоса «десятипудового генерала», молодого коробейника, коммерческого воротилы Зацепы, который говорит в «Современниках» по поводу одного сомнительного прожекта:

Ново... странно... до дерзости смело...
Преждевременно, смею сказать!

К. И. Чуковский был прав, когда, полемизируя с хулителями Некрасова, писал о могучей песенной стихии, преображающей в поэзию то, что ранее считалось прозаическим.

Но песня Некрасова — не кольцовская песня. Она — сложная, многоголосая. В ней звучит то хор, то отдельные голоса. Широкая мелодия сменяется речитативом и, наконец, совсем преодолевается характерным говором или повествованием.

Ритм не убаюкивает поэта. В самых напевных его стихах то и дело встречаются строчки, полные суровой жизненной прозы, глубокого драматизма.

Вот однообразные бабьи причитания. Потерявшая сына старуха изливает своё горе перед соседкой:

Ветер шатает избёнку убогую,
Весь развалился овин...
Словно шальная пошла я дорогою:
Не попадётся ли сын?

Взял бы топорик — беда поправимая —
Мать бы утешил свою...
Умер, Касьяновна, умер, родимая, —
Надо ль? топор продаю.

Этот тихий, вырывающийся из напева, вопрос сильнее и страшнее всех слёзных материнских жалоб и причитаний.

И дальше:

Кто, как доносится тёплая шубушка,
Зайчиков новых набьёт?
Умер, Касьяновна, умер, голубушка, —
Даром ружьё пропадёт!

Правдиво и человечно переплетаются здесь и спорят между собой материнская печаль с неизбежными житейскими заботами — «топор продаю», «даром ружьё пропадёт»...

Это и есть проза, питающая подлинную поэзию и отличающая её от поддельной.

У нас ещё встречаются люди, которые из любви к оригинальности в сотый раз повторяют банальнейшую фразу о том, что некрасовская поэзия прозаична, полна уныло-крестьянского однообразия, неуклюжа, тяжела.

Об этой мнимой «тяжести и неуклюжести» некрасовского стиха с исчерпывающей полнотой сказал Чернышевский: «Тяжестью часто кажется энергия».

Некрасов писал много и в самых различных жанрах в ту пору, когда тонкие ценители поэзии предпочитали небольшие томики тщательно отобранных, накопленных за многие годы стихов. Об одном из таких сборников говорит Фет:

Но муза, правду соблюдая,
Глядит, и на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

И в самом деле, томик Тютчева, о котором идёт здесь речь, мал да дорог. Многие сборники лирических стихов его современников, вместе взятые, не перевесят одного его стихотворения.

Однако из книг лучших поэтов того времени — Тютчева, Фета, Полонского, Алексея Толстого, Майкова, тоже вместе взятых, — мы меньше узнаём о чувствах и событиях эпохи, о жизни русского народа, города, деревни, чем из деятельной, щедрой и отзывчивой поэзии Некрасова. На дороге, которую он сам прокладывал, у него бывали срывы, неудачи. Это видели самые горячие его почитатели. Как верно и сердечно говорит о его случайных неудачах тот же Чернышевский, критик строгий и требовательный, но такой осторожный и чуткий в обращении с поэзией и с поэтами. Он пишет Некрасову:

«Есть ли у Вас слабые стихотворения? Ну, разумеется, есть. Почему и не указать их, если бы пришлось говорить о Вас печатно? Но собственно для Вас это не может иметь интереса, потому что они у Вас — не более как случайности: иногда напишется лучше, иногда хуже, — как Виардо иногда поёт лучше, иногда хуже, из этого ровно ничего не следует, и она ровно ничего не выиграет, если ей скажут, что 21 сентября она была хороша в «Норме», а 23 сентября в той же «Норме» не так хороша — она просто скажет: значит, 23 сентября я была не в голосе, а 21 сентября была в голосе»...

Некрасову не всегда удаётся согреть и расплавить жаром своей поэзии великое множество событий и явлений, с которыми он имеет дело, но если оглядеть всё его наследство, то окажется, что прозаичен он только в самом лучшем и благородном смысле этого слова. Не теряя достоинства, серьёзности и толковости устной речи, стих его поёт и не нуждается в музыке, чтобы стать песней.

Как хороший певец, Некрасов так искусно владеет дыханием, что может в любой строфе развернуть весь диапазон человеческого голоса от его верхов до самых низов, от высокого, заливистого тенора до густого, низкого баса.

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.

Ой, беда приключилася страшная!
Мы такой не знавали вовек:
Как у нас — голова бесшабашная —
Застрелился чужой человек.

... И пришлось нам нежданно-негаданно
Хоронить молодого стрелка,
Без церковного пенья, без ладана,
Без всего, чем могила крепка...

Это — простой рассказ о деревенском событии, а какая полнозвучная соловьиная трель слышится в простых и широких строчках:

... Как у нас — голова бесшабашная —
Застрелился чужой человек...

Некрасов много писал о деревне. Но разве можно считать его только деревенским, крестьянским поэтом? Ведь он, в сущности, первый певец города — большого, уютного промышленного города, который мы знали до революции.

Люди бегут, суетятся.
Мёртвых везут на погост...

Еду кой с кем повидаться
 Через Николаевский мост...

... Огни зажигались вечерние,
 Дул ветер и дождик мочил,
 Когда из Полтавской губернии
 Я в город столичный входил...

Это не тот Петербург, который мы видели с Невского проспекта, с набережных. Ко временам Некрасова Питер повернулся другой своей стороной — Разъезжей, Ямской улицей, Сенной площадью, городскими предместьями, не барскими особняками, а доходными домами и трущобами.

И так различен ритм в деревенских и городских стихах Некрасова. Как же можно говорить об однообразии его стихов?

Даже в пределах одного и того же стихотворного размера вы найдёте у него множество далёких друг от друга оттенков.

Вспомните «Кому на Руси жить хорошо».
 Птичка защищает своё гнездо с птенцами:

Так быстро, быстро кружится,
 Что крылышки свистят!..

И тем же размером написаны прозвучавшие на всю Россию строки:

Порвалась цепь великая,
 Порвалась — раскочилась:
 Одним концом по барину,
 Другим по мужику!..

Поэт такого масштаба и разнообразия имеет право на свою школу, которая может и должна существовать и развиваться в течение многих столетий. А ведь в 1958 году исполнится всего лишь восемьдесят лет со дня смерти этого большого русского поэта!

Напрасно пели да и сейчас ещё поют ему отходную люди, полагающие, что литературные стили меняются так же быстро, как фасоны дамских шляп и платьев.

«Как тальи носят?» — «Очень низко,
 Почти до... вот до этих пор.
 Позвольте видеть ваш убор...
 Так... рюши, банты... здесь узор...
 Всё это к моде очень близко»...

У Некрасова есть чему поучиться многим поколениям поэтов.

Он умеет создавать образ человека, своего современника, ровно ничего о нём не рассказывая, а характеризуя его только его же собственными речами. И тут обнаруживается, какие богатейшие драматургические возможности таятся в стихе — в размере, в ритме, в голосовой шкале строфы. Редкий драматург достигает той выразительности, какой достиг Некрасов.

Несколько коротеньких реплик создают у него не только характер, но даже и внешний облик действующего лица.

Припомните разговор двух петербуржцев:

— Государь мой! Куда вы бежите?
 «В канцелярию; что за вопрос?..»

По этим отрывистым, не известно кому принадлежащим фразам мы легко можем представить себе обоих участников диалога.

Оба они — чиновники не слишком высокого класса (иначе бы они не ходили пешком), но и не слишком низкого (об этом свидетельствуют их степенные обороты речи). Один из них, — тот, который заблаговременно «принял меры» против мороза, — ведёт себя несколько более развязно; другой держится солиднее, официальнее. Крещенский мороз не позволяет им долго застывать на месте, отчего весь разговор ведётся в бодром и быстром темпе и сопровождается притопываньем.

Мало того, мы можем точно определить по стилю и характеру разговора и эпоху и место действия.

А между тем автор даже не назвал своих действующих лиц, не обмолвился о них ни единым словом, если не считать последней ремарки, воссоздающей перед нашими глазами пронизанную холодом петербургскую улицу.

Усмехнувшись, они разошлись,
И за каждым извозчик помчался.
Бедный Ванька! Надеждой не льстись,
Чтоб сегодня седок отыскался...

За автора красноречиво и убедительно говорит его стих — размер, ритм, словесный отбор и строй речи, определяющие интонацию, высоту и тембр голосов всех действующих лиц.

Но не только в разговорах, где два голоса оттеняют друг друга, но и в монологах некрасовских персонажей вы с первых же слов ощущаете, что за человек перед вами, каков его возраст, социальное положение, какую жизнь он прожил.

Разве не ясна до мельчайших подробностей фигура рассказчика в отрывке из «Кому на Руси жить хорошо»:

Адмирал-вдовец по морям ходил,
По морям ходил, корабли водил,
Под Ачаковым бился с туркою,
Наносил ему поражение,
И дала ему государыня
Восемь тысяч душ в награждение...

Тут есть и характерный стариковский говор, и голос, и жест. А ведь я привёл всего только шесть строк из этого безупречного по мастерству рассказа в стихах.

Надо быть замечательным трагическим актёром, чтобы донести до публики знаменитое стихотворение «Филантроп».

В течение многих десятилетий декламаторы патетически читали этот монолог, лишая рассказчика всякого характера. Они изображали честного, благородного, обиженного людьми и судьбой человека, который гневно обличает лицемерного благотворителя, лжелиберального штатского генерала.

Декламаторам и в голову не приходило, что следует обратить внимание на словарь, ритм, обороты речи в этом привычном для них стихотворном тексте. Иначе бы они, прежде всего, заметили, что человек, от имени которого они произносят монолог, излагает трагические обстоятельства своей жизни крючковатым канцелярским слогом:

Частью по глупой честности,
Частью по простоте...

Они заметили бы, сколько в его словах самоунижения («пропадаю в неизвестности, пресмыкаюсь в нишете»), как много хмельного шутовства в самых горьких его признаниях. Уж одни причудливые, почти озорные рифмы так убедительно говорят об этом:

Тёр и лоб, и переносицу,
В потолок косил глаза,
Бормотал лишь околёсицу,
А о деле — ни аза!..

Сложный трагический образ возникнет перед глазами читателя, который чутко прислушается к языку, ритму, рифмам некрасовского стихотворения.

Некрасов стоит в ряду таких бытописателей-гуманистов, как Гоголь, Диккенс.

Он умеет заставить говорить самого бессловесного человека.

Сколько рядовых, но незаурядных людей проходит по страницам его эпопеи «Кому на Руси жить хорошо», по его своеобразным стихотворным очеркам — таким, как стихи «О погоде» или «Современники».

В стихах Некрасова нет той гармонии, тех стройных архитектурных пропорций, которыми отмечена поэзия Пушкина. Но ведь и времена были другие. В сущности, не такой уж значительный период отделяет «Евгения Онегина» и «Повести Белкина» от стихов Некрасова, романов Достоевского и Толстого, а какая пропасть разверзается между этими годами! Всё ломалось, перестраивалось тогда в России — и в деревне и в городе; одни общественные слои отживали, другие приходили им на смену, третьи пробивались к жизни, четвёртые давали знать о своём существовании глухими подземными толчками. Всё менялось, менялась и литература.

Поэзия Некрасова похожа на половодье, на разлив большой и могучей реки. Он ли не любил природу с её покоем и тишиной, он ли не знал её! Но верный сын народа, он стал в эту трудную пору поэтом суровой правды, поэтом борьбы, и главная его тема — не камышовые заросли, не лес, не рассветы и закаты, не вальдшнепы и тетерева, а народ, человек, множество человеков.

Есть у него, как и у Фета, стихи о дожде.

Не те стихи о холодном питерском дожде, в которых говорится:

На солдатах едва-ли что сухо,
С лиц бегут дождевые струи,
Артиллерия тяжко и глухо
Подвигает орудья свои...

Нет, о тёплом, благодатном дожде на просёлочной дороге.

Начинается стихотворение со строчек, мирных и свежих, как и самый летний дождик.

Вот и Качалов лесок,
Вот и пригорок последний.
Как-то шумлив и лёгок
Дождь начинается летний.

И по дороге моей
Светлые, словно из стали,
Тысячи мелких гвоздей
Шляпками вниз поскакали...

Редко у кого вы найдёте такое чистое, верное и смелое описание природы. Стихи эти — спокойные, сосредоточенные — будто взяты из лирического дневника, будто написаны поэтом для себя, а не для других (и потому-то так дороги всем другим — многому множеству читателей).

Вряд ли автор заботился об аллитерациях, но как светятся капли дождя в строчке:

Светлые, словно из стали...

Однако Некрасов чужд фетовской идиллии. В этом же стихотворении он говорит не только о невинном летнем дожде, но и о весьма трагических событиях на той же самой земле, по которой поскакали «тысячи мелких гвоздей».

В Ботове валится скот,
А у солдатки Аксиньи
Девочку — было ей с год —
Съели проклятые свиньи;

В Шахове свёкру сноха
Вилами бок просадила —
Было за что... Пастуха
Громом во стаде убило.

Ну, уж и буря была!
Как ещё мы уцелели!
Колокола-то, колокола —
Словно о Пасхе гудели!..

Изумительный по своей мощи стих «Колокола-то, колокола» выбивается из стихотворного размера. Но ведь и события, о которых идёт речь, тоже «выходят из ряда вон»!..

Большие — не эгоистические, не субъективные — чувства и мысли дали Некрасову то счастье, которое не так-то часто выпадает на долю поэта. Стихи его льются потоком, а не падают редкими, хотя и полными каплями, как это было в современной ему лирике, у лучших из поэтов, ибо худшие готовы были писать много и плохо.

Вольным потоком лилась поэзия Пушкина, Лермонтова, а после них наступило время прекрасных, но небольших по размерам лирических стихотворений и довольно слабых поэм. Поэты как бы переходили от смелой тактики манёвренной войны, в которой армия пользуется наступательным порывом для захвата возможно большего пространства к приёмам позиционной, окопной войны. В их работе над стихами уже не чувствуешь большого разбега, нет строчек и строф, высланных далеко вперёд и сторвавшихся от предшествующих, ещё не вполне законченных, наскоро набросанных строф, как это было в черновиках, в первоначальных вариантах пушкинских поэм.

А наших дней изнеженный поэт
Чуть смыслит свой уравнивать куплет.

Те же поэты, которые, подобно Майкову, пытались писать большие поэмы, писали их вяло, холодно, безжизненно, книжно.

Говорят, когда ювелир Бенвенуто Челлини, который был мастером миниатюры, создал статую крупных размеров, его современники-скульпторы отзывались о ней с тонкой иронией:

— Какая большая статуэтка!

То же получалось у поэтов-эпигонов, которые незаконно считали себя продолжателями пушкинской традиции. Длинное стихотворение не есть поэма, длинный рассказ — не повесть и не роман.

Эпигоны пытались жить в просторной пушкинской квартире, но заковать, обставить и обогреть её было им нечем. И жили они в этом великолепном особняке, перегородив его дощатыми стенами и обогрешая временками.

А Некрасов в своей поэзии — у себя дома.

Стих его послушен ему и не кажется одеждой с чужого плеча. Вы не можете представить себе «Филантропа» или «Власа», написанного другим размером.

В армяке с открытым воротом,
С обнажённой головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой.

Некрасовский стих то едок и язвитель, то нежен, то плавлен, то шероховат, но вы его всегда узнаете.

Он вольно дышит и заливается трелью в песенных размсрах, а как выразительно передаёт он шаткую поступь старика.

Кто-то говорит типографскому рассыльному Минаю: «Да, пора бы тебе на покой».

А Минай отвечает строго, с хриповатой одышкой:

«То-то нет! говорили мне многие,
Даже доктор (в тридцатом году
Я носил к нему Курс Патологии):
«Жить тебе, пока ты на ходу!»

И ведь точно: сильнее нездоровится,
Коли в праздник ходьба остановится.
Ноет спинушка, жилы ведёт!
Я хожу уж пол-века без малого,
Человека такого усталого
Не держи — пусть идёт!..»

После этих слов явно слышишь стремительные и неустойчивые шаги, короткое, тяжёлое, старческое дыхание.

В последних трёх строчках монолог старика Миная достигает необыкновенной силы. Характерная бытовая речь приобретает вес мудрой и горькой народной пословицы. Перед нами уже не рассыльный Минай, а человек в самом большом смысле этого слова.

Такие стихи оправдывают существование стихов.

Они являются лучшим ответом на столь часто возникающий у вполне здравомыслящих людей вопрос:

— Зачем, собственно, пишут стихами? Ведь никто же на свете стихами не говорит.

«Писать стихи — это всё равно, что пахать и за сохой танцевать. Это прямо неуважение к слову», — сказал как-то Лев Толстой по поводу полученного письма со стихами.

Суровые, гневные слова великого мастера прозы несомненно справедливы, если отнести их к стихам безжизненным, бессодержательным, к так называемой «рубленной прозе».

Но ведь ценил же Толстой поэзию Пушкина.

А Горький, вспоминая своё первое юношеское впечатление от пушкинских стихов, говорит:

«Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать её было неловко» («В людях»).

В сущности, замечания Толстого и Горького, при всей их видимой противоположности, одинаково убедительны. Но первое относится к плохим стихам, второе — к хорошим.

Вероятно, хорошие стихи научили многих прозаиков писать хорошую прозу.

Другое дело — стихи, в которых рифма и размер, а заодно и поэтические образы служат только внешними украшениями.

Условная, размеренная рифмованная речь кажется весьма странным и даже нелепым способом выражения мыслей, если стих перестаёт работать, если он ничего не даёт слову — ни выразительности, ни энергии, ни темперамента.

А у Некрасова даже такой прозаизм, как упомянутый Минаем «Курс Патологии», не превращает стихов в прозу, не лишает их огромной силы поэтического воздействия.

Кстати, не будь Некрасова, вряд ли бы этот «Курс Патологии» нашёл себе место в поэзии, как не могла поместиться в писарском письме корова, которую Василисе пришлось продать из-за нужды.

Если стих живёт не праздной жизнью, а работает, он выдерживает огромный груз прозаического житейского материала, ничуть не теряя своей поэтичности и музыкальности.

Разве потеряло бы письмо Василисы к дочке материнскую теплоту и нежность, если бы писарь допустил в него корову и длинные зимы и длинные ночи?

В противоположность своему герою-писарю, автор рассказа — Чехов не тратит ни одной лишней капли чернил на красивый росчерк, на каллиграфию, на музыкальность и поэтичность.

А получается и правдиво и музыкально.

«...мы живы и здоровы, чего и вам желаем от господ... царя небесного...»

— ...царя небесного, — повторила она и заплакала».

Проза такой чистоты ничуть не менее поэтична, чем хорошие стихи.

С другой же стороны, мы знаем в литературе много случаев, когда и рассказы, и повести, и стихи впадают в ту прозу, которая стоит за пределами искусства, то есть в прозу, лишённую чувства и воображения, неорганизованную, не подчинённую никакому ритму, не знающую словесного отбора.

В этой статье я чаще всего обращаюсь за примерами к Некрасову, так как его стихи, взявшие на себя труднейшую задачу — претворить новый, прозаический, жизненный материал в песню, в балладу, в поэму, дают нам возможность представить себе, до чего широки границы смелой и живой поэзии, до чего велик её диапазон.

Поэзия Некрасова, освобождённая от рутины, от привычных канонов, нашла для себя не стесняющую, не ограничивающую её форму. Поэзия эта позволяет себе быть простой и вразумительной, ёмкой и содержательной, как лучшая проза, да к тому же ещё обладает и своими особыми преимуществами.

Стихи умеют быть лаконичными, как пословица, и подобно пословице глубоко врезаться в память. Они способны передавать самые разнообразные интонации и темпы. Согласованные с дыханием, они могут подниматься до самых верхов человеческого голоса и спускаться до шёпота. Сквозь прозрачную их форму ясно проступает рисунок мысли со всем, что в ней последовательно или противоречиво, едино или многообразно.

В стихах есть размеренная поступь; поэтому-то стихотворная стопа так хорошо передаёт движение, действие, работу

Вспомните строчку из «Полтавы»:

...Волнуясь, конница летит...

И тем же четырёхстопным ямбом изображён балетный танец в «Евгении Онегине»:

То стан совьёт, то разовьёт,
И быстрой ножкой ножку бьёт.

А как помогает энергичный и действенный стих выбраться из тесной бочки царевичу Гвидону:

Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы тут на двор окошко
Нам проделать?» молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Какая проза так явственно изобразит попятный ход Невы во время наводнения:

Но силой ветра от залива
Переграждённая Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова...

Подлинная, проникнутая жизнью поэзия не ищет дешёвых эффектов, не занимается трюками. Ей недосуг этим заниматься, ей не до того. Она пользуется всеми бесконечными возможностями, заложенными в самом простом четверостишии или двустишии, для решения своей задачи, для работы.

Это целиком относится к пушкинским стихам. То же можно сказать и о стихах Некрасовских.

Стихотворная фраза у Некрасова строится так естественно, все паузы, все знаки препинания настолько чётко обозначены в ней, что любой школьник напишет его стихи под диктовку, не слишком ошибаясь в расстановке точек и запятых.

Однажды, в студёную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.

После «был сильный мороз» — точка. После «гляжу» и «лошадка» — запятые. Это определено ритмом.

А как ясно чувствуется неверная ритмическая запятая в известных стихах Плещеева:

И смеясь, рукою дряхлой гладит он...

Получается: «Смеясь рукою».

Некрасов — не только мастер песни, но и мастер устного рассказа, вольного, почти беллетристического повествования.

Казалось бы, правильный, классический стихотворный размер меньше всего соответствует, а скорей даже противоречит естественному, живому рассказу. Недаром многие известные актёры, в стремлении к естественности, всячески пытались сгладить, скрасть рифму и ритм при чтении стихов.

Однако же таким поистине народным поэтам, как Иван Андреевич Крылов, удаётся найти тот верный, соответствующий дыханию лад, при котором стихи, отнюдь не превращаясь в прозу, умеют рассказывать, повествовать, с первых же строчек привлекая внимание слушателя, обещая ему любопытнейшую историю.

У мельника вода плотину прососала... —

так, неторопливо, с настоящим аппетитом опытного рассказчика начинает Крылов свою знаменитую басню.

Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть квартет... —

с такой неожиданной и небывалой ситуации начинает он другую свою басню. Только потому, что мы бесконечно привыкли к ней, она не поражает нас. Однако мы до сих пор слышим в ней живой голос доброго и лукавого мудреца, исподволь начинающего своё повествование.

Но у Крылова стихотворный размер — свободный, басенный, разговорный. А Некрасов пользуется самым строгим, правильным размером и всё же достигает необыкновенной живости рассказа.

И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок,
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах.. а сам с ноготок!

Как много места отведено в двух строчках большим сапогам, овчинному полушубку, большим рукавицам — и как мало места занимает в них сам мужичок с ноготок. Потому-то он и кажется нам таким маленьким — с ноготок.

Только в устном рассказе, сопровождаемом жестами, возможна такая выразительность.

Явственно и чётко звучат на морозе два голоса. Но вот в разговор врывается гулкий стук топора. И вместе с ним в нашем воображении возникает зимний лес.

В лесу раздавался топор дровосека...

Мы чувствуем звонкий морозный воздух и в раскатистом окрике, которым «мужичок с ноготок» подбадривает свою лошадейку.

«...Ну, мёртвая!..» — крикнул мялюточка басом..

Эти слова и в самом деле сказаны басом. Они занимают такое место в четверостишии, на котором голос естественно опускается до низких нот.

Однако дело не в отдельных эффектах. Весь этот замечательный рассказ полон такой любовью к русской природе, такой прелестью зимнего дня, что мы запоминаем на всю жизнь

И снег, до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь...

Вместе с автором мы любимся — с лёгкой и ласковой усмешкой, но очень уважительно — маленьким, степенным рабочим человеком, мерно шагающим по лесной тропе.

Противники Некрасова не раз — и при жизни поэта, и после его смерти — упрекали его в демагогии, в неискренности. Но если мы даже оставим в стороне утверждения самого Некрасова и будем искать косвенных улик за него или против него в самых звуках его стихов, в их ритмах, интонациях, оборотах речи, — всё это ещё красноречивее скажет нам о любви поэта к родине, к народу, к людям труда, чем его собственные показания.

Но для того, чтобы услышать подлинный голос Некрасова, надо очень бережно, с пристальным вниманием вслушиваться в его строчки. Внешняя простота, доступность его стихов позволяют иной раз верхоглядам утверждать, что они читали, знают, изучили некрасовскую поэзию досконально. А лучшие чувства Некрасова — его неистощимая нежность к человеку, к родной природе — лежат не на поверхности. Это — суровый, мужественный поэт, и добраться до глубины его души не так уж легко.

Есть много людей, противопоставляющих «чистую» поэзию Пушкина «тенденциозной» Некрасовской. А между тем Некрасов не так уж далёк от Пушкина. Они граничат между собой не только косвенно — через Лермонтова. У них есть и непосредственная граница.

Не Пушкин противостоит Некрасову, а обоим им противостоят поэты-эпигоны. И Пушкин и Некрасов враждебно и презрительно относились к какому бы то ни было салонному жаргону. И Пушкин и Некрасов писали на подлинном народном языке.

А поэты-эпигоны разных периодов литературы то и дело впадали в кастовый жаргон, соответствующий литературным вкусам ограниченной социальной верхушки.

Поэзия, оторвавшаяся от жизненной прозы и потерявшая связь с общенародным языком, перестаёт быть поэзией.

На полях черновой рукописи одного из очень поэтичных и в то же время очень прозаичных стихотворений Некрасова («Уныние») есть запись, сделанная рукой поэта:

«Сравнение — поэзия, картина — поэзия, событие может быть поэтично, природа — поэзия, чувство — поэзия, а мысль — всегда проза, как плод анализа, изучения, холодного размышления — но следует ли из этого, что поэзия должна обходиться без мысли? дело в том, что эта мысль-проза в то же время — сила, жизнь, без которых собственно и нет истинной поэзии.

И вот из гармонического сочетания этой мысли-прозы с поэзией — и выходит настоящая поэзия, способная удовлетворить взрослого человека — и в этом задача поэта».

Некрасов написал эти слова на полях черновика, очевидно, только для себя — беглым, торопливым почерком. Но их следует помнить. Без драгоценной прозы, дающей стихам «силу, жизнь», не может быть истинной поэзии. И только при наличии такой прозы поэзия может занять принадлежащее ей по праву место в жизни и в литературе. Это доказано примером Пушкина, Некрасова, Маяковского.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГОВАРД ФАСТ

★

ЛИТЕРАТУРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Писатель, публицист, общественный деятель Говард Фаст известен всему миру как активный борец против американского фашизма — за мир и демократию во всём мире. Тем же пламенным борцом предстаёт Говард Фаст в своей новой книге «Литература и действительность», опубликованной в 1950 году, где он выступает как критик и теоретик литературы.

В книге Фаста не всё бесспорно. Но её значение — в боевой направленности и целеустремлённости, в смелой постановке и принципиально верном решении важнейших вопросов, в том числе центральной проблемы современной прогрессивной литературы капиталистических стран, — вопроса о социалистическом реализме.

Книга Фаста займёт своё место в истории американской литературы как первая серьёзная попытка критика-коммуниста проанализировать американскую литературу и наметить пути её дальнейшего развития.

Ниже мы публикуем сокращённый перевод этой книги.

★

Посвящается памяти Ральфа Фокса и Кристофера Кодуэлла, которые знали, что литература неотделима от борьбы за освобождение человека, и которые отдали свою жизнь в защиту этого знания, сражаясь за свободу Испании и человечества против Франко и против фашизма.

Все литературные школы, стили и направления как в прошлом, так и теперь возникли на основе определённого отношения писателя или группы писателей к объективной действительности. Как бы эти литературные школы и направления ни называли себя, для определения их сущности достаточно установить отношение писателя к действительности.

Применение любых других критериев только запутывает вопрос и порождает философские системы, в которых неясность и невежество возведены в принцип. Этот запутанный и грязный клубок нелепых мыслей нелегко разобрать, но если этого не сделать, не вытащить каждую грязную нить на дневной свет, нам не остановить того процесса разложения американской литературы, который столь очевиден в наши дни. В обществе, раздираемом противоречиями, задыхающемся в хаосе своей экономики и ищущем в чудовищной мировой войне средство своего спасения, литература — в большей своей части, — естественно, не может быть здоровой. Литература Америки — художественная и критическая — больна, тяжело больна; только общий подъём прогрессивных сил может излечить её. Можно с уверенностью сказать, что этот подъём уже начался, и поэтому весьма своевременно исследовать природу болезни, для того чтобы лечение стало осмысленным и целеустремлённым.

Наибольшее место в этих заметках отведено проблемам отношения литературы к действительности, а также значению реалистического метода, как средства правдивого изображения жизни.

Я вполне отдаю себе отчёт в том, что этот очерк — всего лишь начало разработки этих проблем; но кто-то должен положить начало. Взаимоотношение литературы и действительности — насущный вопрос современности; мы живём в эпоху, когда всё человечество должно определить своё отношение к действительности, и писатель должен идти в первых рядах, а не плестись в хвосте; его задача — раскрывать существо действительности широким народным массам, в этом его искусство и его слава. Ибо

сама природа его ремесла позволяет ему выражать сокровенный смысл человеческих надежд и страхов, страданий и побед. Но для этого он должен видеть реальный мир, а не призрак мира.

Весьма близко к вершине «навозной кучи культуры» — как я когда-то несколько неделикатно назвал современную реакционную культуру — восседает Франц Кафка, один из самых почитаемых богов на диковинном Олимпе, воздвигнутом так называемыми «новыми критиками» и их троцкистскими коллегами. Сегодня в Америке Франца Кафку высоко ценят и много читают; в десятке толстых альманахов и журналов ему курят фимиам, а его ходульная проза превозносится, как достойный подражания образец. Для нас она тоже несомненно интересна, ибо среди творцов призрачного мира, мира насмешки и издевательства над человечеством, Кафка занимает весьма видное место. Стоит приглядеться к тому, что вознесло его так высоко.

Чуть ли не больше всех произведений Кафки в Америке известен его роман под названием «Метаморфозы», в котором очень подробно рассказывается, как немецкий коммивояжёр однажды утром проснулся и обнаружил, что он таракан.

Хотя роман Кафки написан с претензией на сатиру, он отличается от произведений сатириков прошлого тем, что у Кафки приём превращается из средства в самоцель, то есть автор изображает сатирическую ситуацию не фигурально, а буквально. Кажется, что автор, взявшись за перо, сам уверовал в реальность фантастического мира, созданного им. Приведу первые два абзаца романа:

«Очнувшись однажды утром от тяжёлого сна, Грегор Замса обнаружил, что он превратился в огромного паразита.

Он лежал на спине, твёрдой как броня, и, приподняв немного голову, мог видеть выпуклость своего огромного коричневого брюшка, разделённого на членики. Одеяло не держалось на этой гладкой возвышенности, и ножки Грегора, такие жалкие и тонкие по сравнению с их прежними размерами, беспомощно шевелнулись перед его глазами».

По этому отрывку можно судить о том омерзении, которое вызывает роман Кафки, и омерзение это как раз и достигается буквальным изображением ситуации. Каковы бы ни были намерения Кафки, он написал не сатиру. Сатира — это использование иронии, насмешки и сарказма для разоблачения тирании, порока, глупости, тупоумия; тем самым сатира неотделима от действительности. Но Кафка в своём романе и не думает заниматься разоблачениями; он хочет доказать только одно: люди определённой породы так похожи на тараканов, что нет ничего удивительного, если в одно прекрасное утро они проснутся и обнаружат, что превращение совершилось на самом деле. И на протяжении всего романа, в котором напромождено множество подробностей из жизни человека, ставшего тараканом, Кафка снова и снова доказывает эту мысль.

У читателя книга Кафки вызывает чувство омерзения и тошноты. Но какова была цель автора? Он просто решает уравнение: человек равен таракану, ценность первого равна ценности второго, они равнозначны и взаимозаменяемы, — и вот перед нами вся убогая философия «новых критиков», «новых поэтов», «авангарда» из «Партизан ревью».

Но философия отчаяния, отвращения к себе и к жизни, проповедь мистицизма и презрения к общественной деятельности не возникают самопроизвольно. Формула: человек равен таракану — только один из пунктов широкой программы правящего класса, которая сводится к преднамеренному запугыванию и искажению объективной действительности. Хотя в литературе и стараются прикрыть эту неблагоприятную деятельность пышной терминологией, но по существу она ничем не отличается от деятельности мистера Буллита, бывшего посла США во Франции, заявившего в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, что, по его предположению, русские, когда они особенно голодны, едят своих детей.

Как бы ни были различны побуждения Буллита и Кафки, политический смысл их деятельности один и тот же. и оба, каждый на свой лад, содействуют разрушению американской культуры. Мы не можем оценивать литературу, учитывая только стили-

стическую виртуозность и эмоциональность изложения; мы должны применять более широкие и в то же время более точные критерии; нашим мерилом может быть только правда.

Едва ли какое-либо другое явление современной жизни так затемнено, окружено фантастическими представлениями, опошлено дешёвым снобизмом, как творческий процесс. В капиталистическом обществе писателей эксплуатируют так же, как любую другую категорию трудящихся, но, в силу специфики своего ремесла, они поддаются легче обману, чем принуждению. По своему финансовому положению писатель равен мелкому писцу, но так как перо его может оказаться в тысячу раз более опасным, чем перо писца, то для него создан некий мистический мир, мир сиовидений, в котором он царит духом превыше всех, хотя и с пустым кошельком.

Разумеется, исключение составляют те писатели, которые продались монополистическому капиталу и стали его наёмными агентами — претендуют ли они на художественность, как Кеннет Роберт; опошляют и вульгаризируют ли Библию, как Урслер и Дуглас; пишут ли претенциозные и скверные сценарии, как Бен Гехт, или отказываются от какой-либо претензии на художественность и историческую правду, превращаясь в угодливое орудие реакции, как Артур Шлезингер, доказавший это своей последней наспех и плохо написанной книгой «Жизненный центр». От вершины до подножья всей этой навозной кучи, от Артура Шлезингера до Говарда Рашмура, поставщика яда из «Джорнал Америкен», действует нисходящая шкала щедрой оплаты — в зависимости от мастерства и степени бесстыдства, на которое готов пойти писатель.

Из этого призрачного мира действительность по необходимости изгоняется; действительность — опасна: она порождает беспокойство, настойчивое желание определить истинную природу борющихся сил, она таит недовольство, которое может вспыхнуть ярким пламенем, и, прежде всего, требует партийности, ибо правда, как это будет показано ниже, всегда партийна.

И тот, кто пишет по указке хозяев сегодняшней Америки, неизбежно покидает путь познания истинного мира и оказывается на окольных путях, которые в полном смысле слова ведут в никуда. Тем самым писатель выключает себя из жизни, а так как где нет жизни, там есть смерть, то он естественно приходит к патологическому воспеванию смерти. Возьмём, к примеру, стихи мистера Плущика, одного из наших «новых поэтов», которого столь восхваляют «новые критики». Мистер Плущик сравнительно мало известный «новый поэт», но я выбрал именно его, потому что он только что выпустил сборник своих стихов — «Аспекты Протея». В этом сборнике мистер Плущик с милой улыбкой заявляет:

Слово ища, вплотную к молчанию —
Ибо речь, как и жизнь, это бред бытия —
Скоро дойдёшь до сплошного ничто,
Последней личины того, чем обманут.

Слово без запаха, цвета, без формы,
Бесплотное на ощупь, без вечного тиканья,
Сердца-часов — манит упорно:
Ждёт тебя бытие, последняя, первая жизнь.

Эти строки, — там, где они имеют какой-то смысл, — напоминают философию четырнадцатилетнего подростка, изложенную в очень плохих стихах. Если вы помните, Марк Твен в «Томе Сойере» приводит сочинение школьницы Среднего Запада, в котором та же самая философия выражена в прозе, звучащей не более наивно, чем стихи мистера Плущика. Принимая во внимание юный возраст автора и то, что викторианская традиция тогда ещё не была преодолена, это не так уж плохо. Школьница Марка Твена заявляла в сочинении, которое она действительно написала, а потом разрешила использовать в «Томе Сойере»:

«Но с течением времени она обнаруживает, что под этой блестящей внешностью скрывается суета сует; лезть, когда-то пленявшая её душу, теперь только раздражает; бальные залы потеряли для неё своё очарование; с расстроенным здоровьем и

озлобленным сердцем она бежит прочь, уверившись, что светские удовольствия не могут удовлетворить стремлений её души.

Я вовсе не собираюсь избирать Плуцника мишенью для своих нападок — тем более, что я его совсем не знаю, но вздор, который он пишет, повторяют десятки других «новых поэтов». Весьма показательно, что книга стихов Плуцника опубликована не какой-нибудь частной поэтической лавочкой, а большим и солидным издательством Харпер, и что именно по поводу этих стихов критик из «Нью-Йорк таймс» счёл возможным сказать: «он (Плуцник) разрабатывает одну из самых старых поэтических тем с большой силой, ярким своеобразием и подлинной свежестью».

Я должен сказать, что если это свежесть, то я никогда не слышал запаха тухлой макрели; кроме того, я хотел бы задать вопрос критику из «Таймса» и редактору издательства: подумали ли они о том, что Плуцник — взрослый человек, а не подросток? Если не подумали, то куда девалось их художественное чутьё? Как они относятся к реальному миру, где жизнь — не «бред бытия», а гордое, славное, волнующее и блистательное движение вперёд, где люди борются и умирают за свободу и счастье, где люди стремятся познать, строить, творить?

Это, конечно, в высшей степени риторический вопрос. Ни Плуцник, ни критик из «Таймса», ни редакторы издательства не оригинальны в своём отношении к жизни. Они зашли в тупик, куда всех приводит отказ от действительности.

Тот же критик из «Таймса» утверждает о другом современном поэте — Джоне Персе, что он «создал великую поэму из ничего», и приводит такие стихи:

Я строил на пустоте, на бегущей воде, на
зыбучем песке.
Я буду лежать в цистернах и трюмах
пустых кораблей,
Я буду лежать во всех пустотах, где
осязает величие.

Поэма поистине создана из «ничего», и в ней столько же величия, как в детской прибаутке «Бэ-э-бэ-э, чёрный барашек».

Все стихи «новых поэтов» под стать приведённым, и все они полны пошлости, третьесортного пессимизма, их так же неловко читать, как непристойные стишки на стенах уборных. Даже если бы эти глупые и плохо сделанные стихи представляли собой исключение, о них стоило бы поговорить. Но дело в том, что они далеко не исключение, напротив, они типичны для современной буржуазной поэзии и прекрасно выражают отношение многих и многих писателей к действительности. Это и есть отказ от движения вперёд и от всякого действия, который так хорошо согласуется с мистическими представлениями о творческом процессе, якобы по необходимости уводящем от объективного мира. То, что это «индивидуалистическое» творчество — попросту беспомощный детский лепет, повидимому, никого не смущает, и это вполне понятно, ибо критерии, как и само искусство, определяются действительностью.

Но дело не только в поразительно плохой поэтической форме, трафаретности и ходульности этих стихов. Растленность мысли, неясность, беспредметный пессимизм, навязчивая идея смерти — в расцвете молодости! — отстранение от всякой действительности, — всё это ясно показывает, как отказ от жизни неизбежно приводит к разложению искусства.

Это разложение отнюдь не ограничивается рамками литературы; поэзия выражает его непосредственно и наглядно, но в наши дни оно, в той или иной мере, проявляется во всех областях американской культуры, его гнилостный запах слышен и в романах, и в кинофильмах, в журналах, в радиовещании и телевизионных передачах.

Нигде это разложение не проявилось так явно и гнусно, как в присуждении премии Библиотеки Конгресса фашистскому поэту Эзре Паунд, стихи которого, как выразился Луи Унтермайер на конгрессе сторонников мира в Нью-Йорке в 1949 году, «исключительно плохи со всех точек зрения».

Только тот, кто видит правду жизни, может создать произведение искусства, — и литература расцветает или гибнет соответственно этой способности. Фашизм всегда

начинает с наступления на правду. И если писатель не борется с фашизмом в открытом бою, не оказывает ему сопротивления, он тем самым приносит в жертву своё искусство. Неким абстрактным творческим процессом нельзя подменить живую действительность.

Мы видели, что «новые эстеты» двумя путями отходят от действительности. Первый путь был указан в прошлом поколении Францем Кафкой: это смесь неприкрытого презрения к человеку, равнодушия и моральной деградации, приводящая к уравнению человека и таракана. Второй путь, по которому идут «новые поэты», начинается с отрицания жизни и неминуемо приводит к патологическому восхвалению смерти. В обоих случаях отход от действительности сопровождается упадком литературного творчества, даже если его оценивать, как этого хотят «новые поэты», только с точки зрения формы. Ясность мысли теряется и в конце концов вовсе исчезает; уровень мастерства снижается; пошлость становится законом; иррациональность — высшим достоинством; всякое действие исключается.

Эти явления можно наблюдать не только в узких литературных кружках, но в несколько иной форме и в литературной продукции, рассчитанной на широкую публику. Поскольку рядовой читатель не приспособлен к претенциозной чепухе «новых поэтов» — и очень скоро отбросил бы прочь подобную мазню, не желая тратить на неё редкие часы досуга, — его кормят той же гнусной стряпнёй, только в более привычной посуде. Влиятельные книжные клубы пичкают его литературой особого рода, повествующей о мире, которого никогда не было и быть не может; в кино показывают картины либо сентиментальные до идиотизма, либо столь грубые, проникнутые таким презрением к человеку и отрицанием всякой морали, каких не знала даже «раса господ» Третьего рейха. Театр пытается прикрыть убожество содержания совершенством техники; но, как мы уже видели на примере поэзии, формальное мастерство при убогости содержания исчезает с поразительной быстротой. Радио и телевидение даже и не претендуют на художественность.

Всё это нужно понять и объяснить; а объяснить это можно, только определив отношение литературы к действительности. Художник, отрицающий связь между литературой и жизнью, легко становится добычей фашизма; тот, кто эту связь понимает и признаёт, не только содействует борьбе демократических сил, но и спасает свой талант от гибели. В этом вопросе не должно быть никакой путаницы из-за названий и терминов. Дело не в ярлыках, которые так любят присваивать себе реакционеры, а в реальных фактах, в жизненной правде.

Правда — это важнейшее оружие писателя, но разве она не доступна каждому писателю? Безусловно, нет. Даже наиболее ревностные защитники нашей так называемой «свободной прессы» вряд ли назовут её источником правды, и партийность правды никогда не была столь ясно продемонстрирована, как на суде над руководителями коммунистической партии. На Фоли сквер в Нью-Йорке федеральный суд предъявил обвинение методу диалектического материализма, представляющему собой средство постижения действительности; пятилетнее заключение и крупные штрафы ожидали каждого, кого суд уличил бы в применении этого метода. Можно сказать с полным правом, что этот судебный процесс — существенная часть общего наступления американской реакции на правду, и это наступление, по своему смыслу, весьма напоминает решение, в своё время принятое нашими рабовладельцами: подвергать смертной казни каждого, кто осмелится обучать негров грамоте. Образование — это средство постижения действительности, то есть правды. Правда — всегда угроза для тирании и реакции; поэтому в сегодняшней Америке правда под запретом.

Творческий процесс — это обобщение, а не копирование. Писатель должен отбирать факты, он не может просто перечислять их. Независимо от степени таланта, он может создать произведение искусства, только если он поднимает действительность, отбирает из массы несущественных деталей то, что составляет жизненную правду. Эта правда не может быть абстрактной, статичной, окончательной. Будь это

так, мы жили бы в мире абсолютного статус-кво, в мире без движения, надежды, развития и прогресса. Правда познаётся только исторически, с учётом прошлого и будущего каждого явления.

Посмотрим, к примеру, как может отразиться в литературе такое событие, как стачка. Трудно представить себе инстинктивную, неосмысленную реакцию писателя на факт забастовки, если иметь в виду не бумагомарателя, который за всю свою жизнь не делал попыток что-либо осмыслить. Киноаппарат мог бы запечатлеть забастовку, как некую абстракцию, но это не будет ни искусством, ни правдой. Чтобы создать произведение искусства, забастовку нужно рассматривать, как часть исторического процесса, — и тогда отношение к ней писателя вряд ли может быть нейтральным.

Для владельца завода стачка — это противозаконное посягательство на его собственность и доходы. Для рабочего и его семьи стачка — вопрос жизни и смерти. Для местной газеты стачка — общественное бедствие. Для некоторых потребителей — неудобство; и так далее и тому подобное. Само собой разумеется, правда — не яблоко, которое может сорвать каждый прохожий. Правда на той или на другой стороне, и для того, чтобы писатель мог установить, в чём правда, он должен выбрать ту или другую сторону. Правда партийна, правда не нейтральна.

В качестве другого примера посмотрим, как трактуется в современной литературе негритянский вопрос. Между издевательскими карикатурами Октавуса Рой Коэна и героическими портретами Ширли Грэхем лежит целая пропасть; могут ли оба они говорить правду? Может ли негр в одно и то же время быть невеждой, отсталым дикарём и человеком мужественным, умным, талантливым? Достаточно ли непосредственного восприятия, чтобы обнажить корни угнетения негров? В своей книге «Освобождение негров» Гарри Хейвуд говорит:

«Негритянский вопрос в Соединённых Штатах по своему происхождению аграрный. Он затрагивает проблему угнетённого крестьянства, живущего в условиях издольщины, под кнутом надсмотрщика, долгового рабства, хронического земельного голода и личной зависимости, то есть в условиях плантаторской системы, пережитка рабовладения... Рабовладельческое варварство в центре «просвещённой» капиталистической культуры двадцатого века — вот суть американской «расовой проблемы».

Это не общепризнанный взгляд на причины угнетения негров в Америке; это специфически марксистская точка зрения. Однако разве эта точка зрения не приводит к правильному пониманию сущности негритянского вопроса? И может ли писатель, который отрицает, что негры в Америке живут на положении колониального народа, в условиях национального гнёта, создать реалистическое произведение, какие бы он ни показывал факты из жизни негров?»

Негритянская писательница Эйн Петри в своей книге «Улица» с симпатией описывает жизнь одной негритянской семьи в Харлеме, негритянском квартале Нью-Йорка. Честная и талантливая писательница, она тем не менее не смогла справиться со своей темой, потому что у неё нехватало исторического понимания её. Она стремится к всесторонней обрисовке своих героев, но терпит неудачу, так как не видит в жизни своих героев ни проблеска надежды. В той же мере, в какой писательница грешит против жизненной правды, она грешит против художественной формы.

Более частный пример можно привести из первого тома автобиографии Ричарда Райта «Чёрный мальчишка». Ричард Райт рисует в этой книге непривлекательный образ своего деда, которого он не любил и не понимал. Райт упоминает мимоходом о том, что старик всегда клал возле своей постели заряжённое дуплетное ружьё, чтобы быть готовым, если снова начнётся Реконструкция. Райт пишет об этом с презрением. Но это бросает тень не на образ его деда, а на самого автора. Каким прекрасным и трогательным предстаёт этот воинственный старый негр, который так твёрдо верит в освобождение своего народа, что ни время, ни страдания не могут поколебать его веру! И как много в этой страстной вере одного старого негра правды о страданиях и надеждах всего негритянского народа! Именно так, в историческом освещении, нужно писать правду, и именно это историческое понимание подвергается ожесточённейшим

нападкам со стороны американской реакции. Стоит отметить, что Ричард Райт, который некогда сам был членом коммунистической партии США, стал ренегатом и занял безопасное местечко в лагере врагов коммунизма и Советского Союза. Но, дезертировав из армии борцов за свободу, он утратил всё своё писательское мастерство, с чём убедительно свидетельствуют его последние произведения.

Ни один человек не может оставаться в стороне от великой, всеобъемлющей правды наших дней, и ни один писатель не может создать верного портрета своего героя, если сам не постигает этой правды.

Действительность сегодняшнего дня неповторима; она преемственно связана с действительностью вчерашнего дня, так же как сама она преемственно будет связана с завтрашним днём, но тем не менее она не принадлежит ни вчерашнему, ни завтрашнему дню.

Меняется действительность и должны меняться критерии; нет и не может быть вечных критериев.

Тот факт, что в Советском Союзе классическая литература издаётся и читается больше, чем в любой другой стране, не противоречит этому, ибо в Советском Союзе классическое наследие оценивается в свете классовой борьбы, на основе исторического материализма — материалистическая критика возрождает всё лучшее, что было создано в прошлом.

Человечество никогда не забудет Прометея; в то время, когда рабство будет только далёким и печальным воспоминанием, образ Спартака попрежнему будет глубоко волновать сердца. Хорошо сказал об этом В. И. Джером в своей книге «Роль культуры в изменении мира»:

«Разоблачая смысл «воскрешения» Киркегарда, Кафки, Гейдэггера и им подобных, мы ни в коем случае не отворачиваемся от литературной традиции. Мы, марксисты, бережно храним всё жизненное, что есть в культуре прошлого. Мы не должны отказываться по-доктринёрски от всего достойного. Мы стоим на несокрушимом фундаменте человеческих знаний, науки, литературы, искусства, которые были созданы не только при капитализме, но и ранее — в феодальном и рабовладельческом обществах. Мы ценим великих людей прошлого за тот вклад, который они внесли в дело человеческого прогресса, и не используем их исторически обусловленную ограниченность для сужения горизонта сегодняшнего общества. Мы, вслед за Марксом и Лениным, подчёркиваем преемственность культурного развития.

Эта преемственность достигается путём диалектического метода критического анализа, который определяет, что нужно принять, и что — отбросить. И потому в наше культурное наследие входит всё то, накопленное веками, что способствует расширению человеческого понимания действительности, всё, что содействует развитию общественного сознания по пути прогресса. И потому борьба за культурное наследие неотделима для нас от борьбы за будущее достойное народа. В нашей борьбе мы должны сохранить всё лучшее, что было создано в прошлом.

Ленин говорит: «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства».

Марксисты считают, что вся история, дошедшая до нас в письменных источниках, начиная с зары цивилизации, есть история борьбы классов. Они считают, что классовая борьба может быть научно объяснена, и история её разделена на три исторические фазы — рабовладельческую, феодальную и капиталистическую, и в каждой из них отношение между классами определяется уровнем производительных сил; они считают, что капитализм уступит место социализму, высшей стадией которого

является коммунизм, и что конец классовому угнетению будет положен рабочим классом, единственным классом, который способен, освободя себя, раз и навсегда освободить человечество от всех зол классовой эксплуатации. Марксисты считают, что этот конец тому, что Энгельс называл предисторией человечества, будет положен под руководством коммунистической партии — партии рабочего класса — во всех странах мира.

Если вся история, дошедшая до нас в письменных источниках, есть история классов, то вся литература, кроме литературы социалистического общества, есть классовая литература. Поскольку господствующей идеологией каждой страны является идеология господствующего класса, то, естественно, большая часть литературы в этой стране должна отражать эту идеологию. Это не значит, что при капитализме не может быть литературы протеста: напротив, капитализм порождает обширную литературу, выражающую протест непосредственно или иносказательно — в форме сатиры. Но она не может быть господствующим направлением в литературе капиталистического общества.

Альберт Мальц в своей статье «Писатель — совесть народа» говорит:

«В истории литературы преобладают те писатели, которые в своей жизни и творчестве проявляли сострадание и любовь к людям, а не те, которые относились к ним с цинизмом; преобладают писатели, которые открыто примыкали к передовым, даже зачастую радикальным общественным движениям своего времени. Они не составляют всей истории литературы, но определяют её основную тенденцию. Иначе и быть не может. Писатели, как все люди, отзываются на страдания других людей. Каким же материалом должен пользоваться писатель, как не жизнью своих ближних? И если сердце у него отзывчивое, ум пылкий, взгляд зоркий, то как может он уклониться от изображения несовершенного мира или вырвать из своего сердца стремление улучшить его?»

Это сказано горячо и искренне; однако это только отчасти верно. Было множество писателей как в Америке, так и в других странах, которые «проявляли сострадание и любовь к людям», но они никогда не определяли основную тенденцию в литературе развитого капитализма, и сейчас их чрезвычайно мало. Было бы правильнее сказать, что литература современной Америки определяется писателями, которые проявляют любовь к всемогущему доллару и сострадание к собственной шкуре.

Я не знаю, насколько отзывчиво их сердце и пылкий их ум, но я хорошо знаю, что их произведения — будь то романы, пьесы, кинофильмы или радиопередачи — за небольшими исключениями, не имеют никакого отношения к действительному миру, в котором они живут, и к правде о тех силах, которые действуют в этом мире.

Хотя в прошлом современного капиталистического общества гораздо больше писателей, чем сейчас, пыталось войти в соприкосновение с действительностью, они всегда были в меньшинстве — мятежниками, которых всегда гнали и всегда преследовали, в той или иной форме. Альберт Мальц был бы ближе к истине, если бы он сказал, что книги этих писателей, несмотря на их сравнительную малочисленность, не только остаются жить, но с течением времени побеждают литературный хлам, — как случилось с «Железной пятой», которую до сих пор читают и переиздают, в то время как «По его стопам», которая в год выхода в свет разошлась в десятки миллионов экземпляров, ныне всеми забыта.

«Иначе и быть не может, — говорит Мальц, — писатели, как и все люди, отзываются на страдания других людей. Каким же материалом должен пользоваться писатель, как не жизнью своих ближних?»

К несчастью, это не так легко и не так просто. Иначе американская литература не превратилась бы сегодня в стоячее болото. Речь идёт не только об использовании жизни своих ближних в качестве материала, а о том, чтобы видеть эти жизни в свете реальной действительности. Этим и отличается искусство от сентиментального вздора, который выдаётся в радиопередачах, кинофильмах и романах за изображённые жизни.

Я отнюдь не хочу сказать, что сегодня действительность постигнуть труднее, чем это было в прошлом; но мы имеем дело с новой действительностью. Мы живём в исто-

рическую эпоху конца классового общества. Речь идёт не о новом эксплуататорском классе, который борется против дряхлого, отжившего правящего класса; не о прогрессивном капитализме, борющемся за уничтожение феодализма. Речь идёт о рабочем классе, который, взяв в свои руки государственную власть и ведя за собой широкие народные массы, покончит — раз и навсегда — с классовым обществом. Речь идёт не о каком-то неопределённом будущем, которое придёт через десять или пятьдесят лет, — это будущее уже живёт в настоящем.

Посмотрите на ход истории за тридцать два года, прошедшие после 1917 года. До этого нигде на земле не было социалистического государства. Сегодня 220 миллионов в Советском Союзе и 60 миллионов в Восточной Европе живут при социализме или в условиях перехода к социализму. Многомиллионный китайский народ идёт к социализму под водительством своей коммунистической партии. Национально-освободительное движение на Малайском полуострове, в Индонезии, в Индии, в Греции возглавляется коммунистами. Во Франции и Италии коммунистические партии — крупнейшие партии этих стран. Свыше 20 миллионов¹ людей являются активными членами мирового коммунистического движения, сотни миллионов идут за ними.

Если три десятилетия тому назад ни террор, ни вооружённая мощь империализма не могли уничтожить марксистов, то теперь победа марксистов неизбежна. Из всех исторических эпох — эпоха капитализма самая короткая по той простой причине, что противоречия, которые раздирают его, — вопиющи. И основным, непреложным фактом современности является то, что капитализм уходит со сцены истории и на смену ему приходит бесклассовое общество.

Такова действительность наших дней, и определяет её могучий Союз Советских Социалистических Республик. Советский Союз существует, и никакая сила на земле не может изменить факта его существования. Тридцать лет тому назад Линкольн Стеффенс, посетив СССР, сказал: «Я видел будущее; оно прокладывает себе путь». Теперь можно сказать: «Я видел будущее — оно неизбежно».

Смысл ненависти к Советскому Союзу и к коммунизму — в отрицании этого будущего. Враги Советского Союза и коммунизма — смертельные враги литературы и всякого искусства — не только потому, что они представляют реакцию, но и потому, что они отрицают то основное, что определяет социальную действительность современности.

Становится всё яснее и яснее, что сегодня нельзя постигнуть действительности, не встав открыто в ряды антифашистских сил. Кампания, начатая после войны американским империализмом против Советского Союза, против стран народной демократии, против национально-освободительного движения колониальных народов, неопровержимо доказывает, что правда может быть только на одной стороне. Когда была провозглашена доктрина Трумэна и начал действовать план Маршалла, когда атомная бомба стала новым «золотым стандартом» Америки и началась проверка «лояльности» государственных служащих, когда Америка вступила на гибельный путь фашизма — с Атлантическим пактом в одной руке и атомной бомбой — в другой, — американская культура окончательно превратилась в зеркало империалистической реакции. И в ней больше нет места ни для правды, ни для действительности.

Здесь я считаю нужным коснуться вопроса о реалистическом методе в литературе и сделать попытку определить, что подразумевается под буржуазным реализмом и социалистическим реализмом.

Литературные критики, как и всякие критики, зачастую ограничиваются тем, что на всё нашивают ярлыки; они любят названия, этикетки и категории, большие школы и маленькие школки. Одного они называют экзистенциалистом, другого натуралистом, третьего гуманистом, четвёртого сюрреалистом — и так далее и тому подобное, до бесконечности. Такой, по общему мнению, многогранный и «глубокий» анализ есть на деле всего лишь уловка, служащая для того, чтобы избежать ответственно-

¹ Приводимые автором в этой части статьи цифры неточны. (Примеч. ред.).

сти за самостоятельное и логическое мышление. Это напыщенная фразёрская тарбарщина, с помощью которой действительность подменяется магическими и мистическими формулами. О таких писателях В. И. Джером писал в своей книге «Роль культуры в изменении мира»:

«Буржуазия стремится поставить себе на службу культурные силы якобы на внеклассовой основе. Стремясь скрыть от масс истинные взаимоотношения между культурой и обществом, правящий класс маскирует обман паутиной псевдофилософской фразеологии. В литературу — и искусство вообще, — где форма играет такую большую роль, буржуазная лжефилософия проникает легче, чем в другие области культуры. Необходимость создать идеологическое оправдание умирающему общественному строю и усиливающееся наступление марксистской критики во всех областях современной жизни и мысли заставляют буржуазию всё с большим рвением проповедовать идеализм, прикрывая его двусмысленными, компромиссными «нейтральными» философскими теориями, как-то: прагматизмом, инструментализмом, логическим позитивизмом и так далее».

В применении к литературе можно сказать, что писатели, которые не способны, не хотят или боятся вступить в борьбу с действительностью, уводят своё творчество прочь от жизни и превращаются, говоря словами Ильи Эренбурга, в фабрику снов. Но никогда искусство не создавалось из снов; великое и непреходящее искусство всегда было отражением реальной действительности, обобщённой и преобразованной гением художника.

Нет иного метода, кроме реалистического, которым можно создавать подлинное искусство.

Писатель должен отбирать факты. Этот отбор фактов из широкого полотна жизни, в итоге которого на бумагу наносятся строчки слов, и есть то, что в литературе называется творческим процессом. Этот процесс отбора определяется художественным чутьём, вкусом, стилем и — прежде всего — мировоззрением писателя.

Ни один писатель не повторяет природы; это невозможно. Писатель, который возьмёт на себя задачу проследить хотя бы один день человека — воспроизвести на бумаге всё, что случилось с этим человеком за этот день, всё, что занимало его мысли, всё, что он видел, пробовал, ощущал, заметил, всё, что он сказал, всё, что он вспомнил, — такой писатель изведёт сотни листов бумаги и не закончит свой труд; а если бы он и довёл свою работу до конца, то это было бы не произведение искусства, а незначительное и бессмысленное крохоборчество.

Реализм не имеет ничего общего с упрощённым, механистическим подходом к искусству, вытравливающим из него всё живое во имя бескрылого лжереализма. Реализм — не оправдание для отсутствия таланта или технической беспомощности. Реализм — это не копание крота в земле; не подмена богатого и красочного народного языка трескучим и бессмысленным жаргоном бульварных газет; не кандалы, одеваемые «левыми» на искусство; не подмена художественного чутья догмами, стихов — виршами, вдохновенного творчества — готовыми образцами. Реализм — это не полмечта творческого замысла ни суммированием фактов, ни механическим отбором их. Реализм не враг любви, нежности, чувства, — он скорее слуга их.

Реализм — это отражение в литературе самой жизни. Это лестница, ведущая к звёздам, дорога к такому искусству, которого человек никогда не знал и о котором никогда не мечтал. Может ли быть писатель столь близоруким, чтобы сомневаться в том, что человечество, построив себе такое лучезарное будущее, о котором люди не смели и думать, создаст литературу, достойную славных побед человека?

Поэзия современной Америки «пысканна» и пустозвонна, такова же и критика. Но если мы от поэзии обратимся к прозе, от прозы к театру, затем к кино и радио — мы всюду найдём тот же упадок в ещё более явной и грубой форме.

Печатается роман, и издатель ещё до выхода его в свет объявляет в «Паблшерс уикли», что появление этой книги будет событием; она уже избрана каким-нибудь книжным клубом; на её рекламу отпущено десять тысяч долларов; её будут всячески продвигать; она будет одной из первых в «бест-селлерах». В результате подобной рек-

ламы большинство критиков—а иногда и все буржуазные критики—начинают наперегонки славословить эту книгу. Каждый критик хочет обскакать своих соперников, и каждый следующий берёт тоном выше, ибо известно, например, что Клифтон Фэдимэн способен назвать данный роман величайшей книгой нашего времени, как он неоднократно и делал в отношении других книг. Слова вроде «чудесно», «превосходно», «блестяще», «монументально» и т. д. потускнели и потеряли всякий смысл. Такие штампы, как «достоинное внимания произведение» уже никого не устраивают. Все лихорадочно ищут новых слов для прославления низкопробного, порнографического, псевдоисторического бреда — всего того, что наводняет сегодня книжный рынок Америки. Всякое представление о качестве исчезает.

Например, издатель очередной книги из бесконечного потока псевдо-историко-религиозных сочинений о Христе и его современниках так рекламирует своё издание на страницах «Нью-Йорк таймс»:

«Американским читателям предлагается роман о Варраве и его страстном трагическом признании Христа; это величайшее воссоздание библейской истории, признанное канадскими критиками «благородным, мудрым, просветлённым, высокохудожественным», превзошедшим даже «Большого рыбака».

Куда уж дальше! «Большой рыбак» — пошлый и вульгарный роман об одном из апостолов, оскорбительный для каждого религиозного человека, — занимает второе место в списке «бест-селлеров» и превозносился в таких же выражениях.

В этом безумии есть своя система. Критика, который перешеголяет других в славословии, вероятно, будут цитировать в больших рекламах; а тот, кого цитируют, — тот и известен. Кроме того, издатели, отпускающие большие деньги на рекламу, не любят осуждающей критики, — разумеется, если речь идёт не о произведении прогрессивного писателя или коммуниста. С помощью «Клуба лучшей книги за месяц» и другими способами, приносящими богатство и славу, создана целая иерархия некритикующих критиков. Их задача состоит не в том, чтобы понимать литературу, а в том, чтобы торговать ею; этим они и занимаются.

Но в основе всего этого лежит понижение уровня культуры, отрыв её от действительности.

Правящий класс Америки, быстро фашизируясь, пытается переделать всю американскую культуру по своему образу, который никак нельзя назвать привлекательным. Основное содержание социальной действительности нашего времени — переход к социализму, являющийся величайшим благом, которое когда-либо было известно человечеству, — с помощью бешеной пропаганды объявляют злом; но так как неизбежная гибель капитализма чувствуется во всех сторонах жизни даже здесь, в Америке, то все стороны жизни стали ненавистны американскому правящему классу. Запрет распространяется на самую жизнь, и литературу заставляют отказаться от единственного источника своей силы.

Может ли художник быть реалистом в таких условиях, и каким должен быть реализм в нашей литературе? Этот вопрос надо решить, исходя из критериев, прочно связанных с жизнью. Для этого мы должны не только отвергнуть, но беспощадно разоблачать лживые, извращённые критерии, действующие в современной Америке, — как в утончённой атмосфере литературных журналов, так и в более грубом мире издательств, делающих «большой бизнес».

Одно из самых неправильных толкований реализма состоит в том, что вся проблема сводится только к проблеме формы, — содержание же полностью игнорируется. Ничто так не запутывает этот вопрос, как подобное проявление формалистического взгляда на литературу, вульгаризирующего самое понятие «реализм». Реализм — это извлечение из массы фактов объективной правды, воплощение её как в общем замысле, так и в деталях; это вовсе не вопрос стиля или формы, избранных писателем. Если же стиль, форма, техника — назовите как угодно — используются для прикрытия внутренней пустоты и отсутствия знания жизни, — сама форма неизбежно разрушается. Нигде это не проявилось так наглядно, как в творчестве Ирвина

Шоу, писателя чрезвычайно плодовитого, сумевшего почти во всех своих многочисленных книгах обойти молчанием проблемы действительности. Начав с правдивой пьесы «Похороните мёртвых» и рассказа «Моряк с «Бремена», в котором он показал жестокость и произвол фашизма, Ирвин Шоу, повидимому, обнаружил, что его умение сплести диалог и стилистическая виртуозность принесут больше дохода, если он будет творить как бы вне времени и пространства. Из-под его пера выходят рассказы за рассказом, пьеса за пьесой, большой военный роман, но чем ничтожнее становится содержание, тем быстрее разрушается форма. Так как он пишет о людях без истинного понимания их, то ему всё труднее и труднее становится выражать надежды, страхи, самую речь живых людей. Это очень жаль, потому что Ирвин Шоу обладает большим талантом и той зоркостью, о которой говорил Альберт Мальц. К несчастью, этого мало, и если Ирвин Шоу не обратится к реальному миру, в котором он живёт, то он неизбежно вступит на тот путь бесплодия, по которому уже идёт Стейнбек.

Единство формы и содержания — один из наиболее сложных моментов теории реализма. Здесь также есть большая опасность впасть в вульгаризацию, так как совершенно неверно, что содержание автоматически определяет форму. Такой писатель, как Ирвин Шоу, — виртуоз литературной формы, но техническое мастерство — ещё не искусство, и одним техническим мастерством нельзя создать художественного произведения. Конечно, не подлежит сомнению, что художественное произведение немислимо без определённой степени технического мастерства; но техника, так же как и понимание действительности, может находиться на разном уровне. И тех, кому в наивысшей степени присущи оба эти качества, мы называем гениями.

Марксисты не отвергают формы, ибо если бы они это сделали, им пришлось бы отвергнуть искусство. Мы отвергаем только подмену содержания формой, идеализацию формы, мелочное, невежественное преклонение перед ней, создание некоего мистического культа формы; это мы отбрасываем категорически. Мы считаем, что форма не имеет права на существование отдельно от содержания, так же как человеческая кожа не может жить и дышать, если за ней не скрываются мышцы, нервы и кровь человека.

Никогда ещё в истории английской и американской литературы симптомы формализма не были столь разительны, как в последнее десятилетие. Было бы наивным упрощением воображать, что какие-то реакционеры собираются на совещание и решают, что надо ввести формализм; так же наивно было бы думать, что скольконибудь значительное число реакционеров вообще понимают проблему формализма. Им не нужно понимать, что такое формализм, для того чтобы приветствовать его, и изгонять и преследовать реализм; ибо жизнь сама подсказывает им это. Именно потому, что буржуазный строй породил рабочий класс, который неизбежно уничтожит этот строй, — в реализме таится угроза для правящего класса; с ростом сил социализма угроза увеличивается, поэтому на реализм накладывается запрет. Формализм действует как одурманивающее средство и в «новой поэзии», и в новых «бестселлерах», и в той мерзости, которую Голливуд выдаёт за кинофильмы. Формализм, настойчиво увлекая от жизни, ослабляет силы сопротивления народа, стремится запутать народ и, разрушая искусство, разрушает одно из сильнейших средств, которым народ может познавать правду.

Формализм — это не только литературная проблема; если бы это было так, художник и гражданин могли бы существовать отдельно. Невозможно представить себе Торо-писателя отдельно от Торо-гражданина; то же можно сказать о Брайенте, Эмерсоне, Уитмене, Лондоне, Франке Норрисе и многих других. Именно в том и состоит сущность формализма, что он неуклонно стремится оторвать художника от гражданина. А писатель, переставший быть гражданином, неизбежно перестаёт быть художником.

Современный американский писатель — за немногими исключениями — в своей личной жизни, в работе, в политической деятельности хочет только одного: доказать, что он не коммунист, что он мыслит не по-коммунистически, а это обычно означает,

что он вообще не мыслит. Недавно видный американский писатель сказал о Уильяме Сарояне: «он пишет о бедных для богатых». Эти слова полностью подходят и к Джону Дос-Пассосу, одному из «бывших коммунистов», характерной фигуре для нынешней подхалимствующей перед капитализмом американской интеллигенции.

Дос-Пассос много лет тому назад причислял себя к прогрессивным писателям; с тех пор он проделал весьма показательный и типичный путь политического ренегатства и творческого вырождения. Его последняя книга «Большие планы» посвящена рузвельтовскому «новому курсу». Вся книга пронизана бешеной, патологической ненавистью к деятелям нового курса; даже малейшие признаки прогресса приводят Дос-Пассоса в ярость. Американская реакция, католицизм, средневековое мракобесие, замешанные на самом откровенном фашизме, нашли путь к сердцу мистера Дос-Пассоса, — и даже некоторые консервативные критики не без труда переварили его новое произведение. Пришлось сознаться, что Дос-Пассос написал прескверную книгу.

Вспомним о творчестве Эрскина Колдуэлла тридцатых годов: «Акр господа бога» — талантливая книга, несмотря на все её недостатки; нельзя было написать такую книгу, оставаясь в стороне от прогрессивного движения. Тогда художник и гражданин были ещё слиты воедино, что и привело к слитности формы и содержания.

Примерно в то же время Колдуэлл написал рассказ «Кэндимен Бичэм» — о рабочем-негре, который в конце недели с получкой в кармане отправляется в город, чтобы повеселиться со своей девушкой и немного выпить. Колдуэлл хорошо описывает здоровье и силу этого человека, его энергию и жизнерадостность. Негр приходит в город, заходит в кабачок — и тут шериф, без всякого повода, убивает его. В картине этой нелепой трагической смерти Колдуэлл сумел передать веру негра в конечную победу, в растущие силы негритянского народа. Тогда, разрабатывая свою тему, Колдуэлл достигал большого мастерства. Теперь даже буржуазные критики, не отличающиеся особой взыскательностью, называют его последние книги макулатурой. Дело не в том, что Колдуэлл потерял свой талант, — он потерял связь с действительностью. И только в том случае, если он повернется лицом к новой действительности наших дней, он сможет создавать полноценные книги вместо того, чтобы колотить по барабану.

Одно из коренных различий между истинным реализмом и поверхностным «реализмом» состоит в том, что первый всегда есть результат борьбы, а второй есть отказ от борьбы. Даже в лучшие времена правда никогда не висела, как зрелый плод, дожидаящийся, чтобы кто-нибудь сорвал его. Правду завоевывают и всегда будут завоевывать, о каком бы обществе ни шла речь; меняется только форма борьбы. Сегодня писатель должен в полном смысле слова с бою брать действительность, потому что тот буржуазный реализм, который был возможен не так давно, становится сегодня всё более и более ограниченным. Ныне в литературе появилась новая сила — социалистический реализм, и уже ясно, что он создаст новую литературу — на основе нового мировоззрения, — которая требует новых критериев.

Социалистический реализм ещё только рождается, и пока видны только первые его побег. Но уже пришло время изучать его, ибо эти побег обещают могучее дерево.

Между буржуазным реализмом и реализмом социалистическим — коренное различие. Первый ограничен тесными рамками, второй — безграничен в своих возможностях. Здесь следует особенно подчеркнуть, что дело не в партийной принадлежности писателя, а в его мировоззрении — в самом широком смысле этого слова.

В «Американской трагедии» Теодор Драйзер показал жизнь и мораль американской мелкой буржуазии в двадцатые годы. В этой книге, написанной с исключительной добросовестностью, которая всегда отличала его творчество, с острой наблюдательностью, которой нет ни у кого из других американских писателей, с глубокой любовью к народу и вниманием к его страданиям, — Драйзер всё же не смог до конца преодолеть свои идеалистические взгляды. Он изобразил жизнь среднего класса; он исследовал её; за низменными чувствами и побуждениями своих героев он сумел разглядеть человеческую душу. Он проследил внешние обстоятельства, управляющие

их жизнью, но он не сумел познать правду в её связи с прошлым и будущим, раскрыть классовый смысл этих обстоятельств; поэтому его книга ограничена.

Но это ни в какой мере не умаляет значения Драйзера как писателя, ибо в классовом обществе все великие художники подобны Прометею: скованные, они борются всей силой своего гения против уз мещанства, опутывающих их. Снова и снова, словно изголодавшиеся по свободе рабы, идущие за Спартаксом, они вырываются за узкие рамки своего времени — и узнают, что будущее, которое они искали, ещё не пришло.

Но сегодня это будущее уже существует, и начало социалистическому реализму уже положено.

Писатель, который пользуется методом социалистического реализма, видит процесс изменения мира во всей его совокупности. Человек может быть не только продуктом классового общества, но и общества социалистического. Прошлое, настоящее и будущее существует не только в одном мире, но и в рамках одной нации. Все явления жизни связаны между собой непрерывным процессом действия и противодействия. Из него нет исключений, и для него нет готовых формул. Пролетарская литература черпает материал не только из жизни пролетариата, как это понималось в тридцатые годы некоторыми ограниченными сектантами; напротив, писатель с пролетарским мировоззрением должен рассматривать все стороны жизни, как материал для своего творчества.

Как материал, но не как цепи. Ибо социалистический реализм пользуется новыми критериями и выводит их из новых этических норм. Хорошо то, что ведёт человека к лучшей жизни, что облегчает его спадания и приближает освобождение от страданий, что служит делу уничтожения страха, неуверенности, жестокости, массовых убийств, голода, болезней, эксплуатации. При этом желание уничтожить зло — а это и является основой новой этики — не абстрактный идеалистический гуманизм, а практическое руководство к действию. Человек должен достигнуть лучшей жизни не в другом мире, но здесь, на земле.

Под этим углом зрения всё должно быть подвергнуто проверке. Вся прошлая история должна быть пересмотрена. Старый кодекс морали, делающий героев из убийц, святых из дураков, кумиров из сводников, философов из трусливых лакеев, власть имущих, — должен быть уничтожен. Шовинизм, которым отравлена наша культура, должен быть разоблачён, как идеологическое средство эксплуатации человека человеком.

Новые оценки должны возникнуть на основе нового гуманизма, который объёмлет всё человечество. Прекрасны слова Максима Горького:

«Гуманизм революционного пролетариата прямолинеен. Он не говорит громких и сладких слов о любви к людям. Его цель: освободить пролетариат всего мира от позорного, кровавого, безумного гнёта капиталистов, научить людей не считать себя товаром, который продаётся — покупается, сырьём для фабрикации золота и роскоши мещан. Капитализм насилует мир, как дряхлый старик — молодую, здоровую женщину, оплодотворить её он уже не может ничем, кроме старческих болезней. Задача пролетарского гуманизма не требует лирических изъяснений в любви, — она требует осознания каждым рабочим его исторического долга, его права на власть, его революционной активности, особенно необходимой накануне новой войны, затеваемой капиталистами против него — в конечном счёте.

Гуманизм пролетариата требует неугасимой ненависти к мещанству, к власти капиталистов, его лакеев, паразитов, фашистов, палачей и предателей рабочего класса, ненависти ко всему, что заставляет страдать, ко всем, кто живёт на страданиях сотен миллионов людей».

Вот новое мерило, которым должен пользоваться писатель, стремящийся правдиво отразить сегодняшний мир.

Казалось бы, абсурдно отрицать классовую основу литературы. Однако именно такую позицию занимает сегодня подавляющее большинство американских критиков. Это легко понять, если вспомнить, что основная линия реакционной американской

пропаганды — это отрицание классовой основы общества вообще и существования американского рабочего класса в частности. Американские критики никогда не выказывали склонности к независимому мышлению, и было бы странно, если бы они проявили его в этом случае.

Но что бы ни случалось американская критика, литература Америки — это классовая литература. Профессор Дж. Д. Бернал в статье, напечатанной в английском журнале «Модерн Куотерли», говорит:

«Согласно ходячему мнению, наука по своей сущности политически нейтральна, и факт есть факт, кто бы и с какой целью его ни открыл. Но история науки показывает, что это верно только в отношении частных случаев. Понимание взаимосвязи между фактами, их значения, возможности использования их в борьбе с природой зависит от общих теоретических предпосылок. Последние, в свою очередь, обуславливаются философскими и религиозными традициями, изменяющимися в соответствии с существующими политическими и экономическими условиями».

Это одинаково справедливо и для науки и для литературы. К познанию действительности ведёт не гладкий и не лёгкий путь — не дорога, залитая электрическим светом и снабжённая указателями. Это — поход в неизведанные области, где на непроторённых путях такое множество чудес, какого ещё не знал мир; но эти пути писатель должен прокладывать в борьбе, с мужеством и верой.

Хороший пример такого мужества мы находим в творчестве молодого уэльского писателя Гвина Томаса.

В своём романе «Листья на ветру», вышедшем в 1949 году, Томас описывает первые стихийные выступления уэльских рабочих сталелитейных заводов. Несмотря на серьёзные недостатки, эта книга представляет большой шаг вперёд по пути к реалистическому пониманию истории.

Томас исходит из предпосылки, что если уэльские рабочие в 1830 году действительно несли в себе ростки могучего движения рабочего класса, утверждающего в наши дни социализм, то сознание своей миссии уже тогда потенциально должно было жить в них. Другими словами, Томас, описывая борьбу уэльских рабочих, к их пониманию мира прибавил своё. Это и есть правда в своей самой глубокой сущности, так же как подлинная правда о движении Спартака — не в обречённости этого восстания, а в тех нитях, которые связывали его уже тогда с будущим освобождением человечества (этот метод я попытался приложить к своему собственному творчеству: всю правду о Гидеоне Джексоне, герое «Дороги свободы», нельзя увидеть в свете только его личной трагической гибели. Поэтому я стремился показать в его судьбе будущее освобождение — и ныне ещё не осуществлённое — негритянского народа).

Однако для художника нет какого-то единственного пути к реализму. Для Томаса таким путём были история и фольклор его родного Уэльса; в Америке молодые прогрессивные писатели обращаются к иному материалу и используют его по-иному. Путь к правде лежит через глубокое понимание описываемых событий; без такого понимания всякие стилистические украшения приводят только к формализму.

Александр Сакстон, один из наиболее талантливых наших молодых прозаиков, также сделал сознательную попытку применить метод социалистического реализма. Но он сделал это на основе традиции Марка Твена и Теодора Драйзера, используя обыденную речь современной Америки.

Роман Сакстона «Большая среднезападная» рассказывает о жизни железнодорожных рабочих с 1912 по 1941 год. Действие происходит в чикагском депо одной из больших западных железных дорог. В центре романа — жизнь трёх рабочих семейств; герои романа — голландец Дэйв Спаас, полька Стефани Ковяк и негр Мак-Адамс. Автор рисует сложный образ Дэйва Спааса, железнодорожного рабочего, бывшего моряка, ветерана батальона Линкольна, ныне члена коммунистической партии, работающего в низовой партийной организации в течение трёх лет, предшествовавших нападению на Пирл Харбор.

Автор искусно нарисовал полотно жизни этих трёх семейств, но в центре его внимания — показ борьбы Дэйва Спааса за сплочение рабочих-железнодорожников.

Перед читателем проходит широкая панорама жизни чикагских железнодорожных рабочих во второй половине тридцатых годов. Однако излишняя усложнённость фабулы, характеров героев и композиции романа — крупный недостаток книги Сакстона. В своём желании использовать как можно больше нового и актуального материала, он перегрузил свой роман и не справился с формой. Тем не менее большая заслуга Сакстона в том, что он, впервые в нашей литературе, создал полнокровный и жизненный образ положительного героя-коммуниста. Создание образа коммуниста — центральная проблема нашей литературы, и каждый, кто брался за эту задачу, знает, какие трудности сопряжены с выполнением её.

Уже в двадцатых годах, когда начали появляться первые произведения, посвящённые пролетариату, стало ясно, какие огромные препятствия должны преодолеть писатели прогрессивного лагеря, взявшие на себя задачу нарисовать образ коммуниста, ибо коммунист в одно и то же время обыден и исключителен, уязвим и несокрушим. В тридцатых годах было предпринято немало попыток создать правдивый образ коммуниста, но ни одну из них нельзя считать удавшейся.

Не существует универсальных учебников литературного творчества; писатель, подобный Сакстону, волей-неволей должен создавать свой собственный. Нужно отдать должное Сакстону: ему удалось то, чего не удавалось никому в нашей литературе, так как он сознательно и смело положил в основу конфликта кардинальные противоречия современной жизни — противоречия между социализмом и капитализмом. А выбор темы — решающий момент в создании реалистического произведения, он даёт направление всему творческому замыслу.

Каждый писатель, который в наше время, спасая свою шкуру, отворачивается от противоречий жизни, который вслед за продажной американской прессой видит в слове «коммунист» ругательство и делает вид, что коммунисты не существуют, — обречён на бесплодие.

Писатель, который в наше время хочет создать произведение искусства, должен уметь постигнуть правду во всех исследуемых им областях жизни, и в каждой области он должен установить, как описываемые им факты соотносятся со всем историческим процессом. При этом его задача не только в том, чтобы показать правду, но и в том, чтобы разоблачить ложь. А если учесть, как много соткано лжи в окружающем нас мире, то станет ясно, как это трудно.

Я же говорю, что писатель может достигнуть полного успеха, но он должен дерзать: он живёт в исторический момент, когда классовое общество уступает место бесклассовому; он стоит перед задачей, самой трудной из всех, которые когда-либо стояли перед писателем. Поругание, которому подвергается культура при фашизме, по своим масштабам несравнимо ни с чем в прошлом; и стремление правящего класса капиталистического общества сковать культуру формализмом — о чём я говорил ранее — становится особенно настойчивым в последней стадии капитализма, при империализме. Это происходит именно потому, что наступил последний час, конец, гибель, и капитализму уже не на что надеяться.

Приведём высказывание Джона Соммервилля о натурализме из его книги «Советская философия»:

«Фотографический реализм или натурализм в искусстве аналогичен формальной логике в науке, или механистическому материализму в философии. Он видит только явления, и не видит процесса их изменений. Он как бы останавливает действительность и тем самым лишает её жизни, убивает её. Он собирает детали, но теряет из виду целое, за деревьями не видит леса. Ничего целостного, только обрывки. Это слепой эмпиризм, бесплодная статика».

Это очень хорошо сказано, и если мы ещё вспомним, что натурализм есть оборотная сторона формализма, то поймём, какие огромные препятствия современная реакция ставит на пути художника.

Такие писатели, как Гвин Томас и Александр Сакстон, берут на себя задачу не только увидеть лес, но и расчистить его.

Ни один человек, даже Геракл, не может расчистить лес голыми руками, а тем паче такой лес, который насадил монополистический капитал. Социалистический реализм нельзя рассматривать вне связи с существованием социализма. Это не значит, что метод социалистического реализма может существовать только внутри географических границ Советского Союза; как раз наоборот — Советский Союз является определяющим моментом в том качественном изменении мира, которое делает социалистический реализм возможным. Это, казалось бы, так ясно, что и не требует особых доказательств. Выше я говорил, что основной и решающей реальностью нашего времени является переход от классового общества к бесклассовому; и Советский Союз сыграл в этом переходе бессмертную и славную роль. Поскольку метод социалистического реализма возник, как отражение этой новой, величественной действительности, его взаимосвязь с существованием социализма очевидна. Нельзя говорить о социалистическом реализме, не говоря об СССР, о советской морали, о советской литературе.

Поэтому каждый, кто понимает значение связи литературных критериев с критериями этическими, поймёт, какие глубокие нравственные проблемы стоят перед современным писателем. Поистине, мораль — это соль творческого процесса, и моральные оценки так органически вплетены в ткань литературного произведения, что мы подчас не замечаем этого. Без моральных оценок литература не может существовать; замечает это или не замечает художник, моральные критерии — это и есть тот цемент, которым он скрепляет разрозненные факты, отобранные им из широкой панорамы жизни. Другими словами — масштаб, значение, ценность его творчества зависят в большой степени от его позиции в вопросах морали. Я хочу особенно подчеркнуть, что этические мерки не есть нечто субъективное, они — отражение объективной действительности, раскрытие этой объективной действительности в динамике общественных отношений людей.

Это ещё раз подтверждает тот факт, что социалистический реализм возможен только потому, что существует Советский Союз. Ибо основой морали социалистического реализма является практика социалистической морали.

Здесь я хотел бы сказать о том специфическом отражении, которое нашёл в литературе английский правящий класс. Даже в Америке конца девятнадцатого века литература не была свободна от влияния британского мифа о превосходстве англосаксонской расы, а в наше время те американские писатели, которые отрываются от реализма, всё больше и больше оказываются во власти этого мифа.

Если я подчёркиваю империалистическую роль Великобритании, это отнюдь не значит, что я занимаю враждебную позицию по отношению к английскому народу, который ныне полной ценой расплачивается за свой кровавый, пропахший нафталином правящий класс. И пусть никто не подумает, что современный американский империализм является орудием или младшим партнёром английского империализма. Как раз наоборот. Английский лжесоциализм — только маска, за которой скрываются агенты уолл-стритовской шайки, имеющей в своём распоряжении такую империю, такие средства эксплуатации и такие богатства, о которых Великобритания никогда и не мечтала. Империализм доллара столь же пропитан кровью и слезами, как и «благородство» английских колонизаторов киплингвской эры.

Сущность мифа, созданного английским правящим классом, — в утверждении своей «праведности»; разумеется, этим занимается любой эксплуататорский класс, но никогда ещё это не делалось столь успешно в течение столь долгого времени, как в Англии; и ни один правящий класс не создавал себе столь тщательно разработанной системы легенд, как миф о богоданном превосходстве, которым окружили себя англо-саксы. И никогда ещё это так полно не отражалось в литературе.

С точки зрения социалистической морали, существование любого эксплуататорского класса безнравственно и представляет собой зло. Богатство, беспечность, изящество, воспитанность, образованность, учтивость — всё это выжато из рабочих своей страны и колониальных полурабов. Крикетные поля, загородные виллы, тенистые парки — и их американские эквиваленты — это островки, построенные на

человеческих костях среди морей крови и слёз. Английский правящий класс, как сказал У. И. Б. Дюбуа, приобрёл экономическое господство при помощи одного из самых жестоких и бесчеловечных дел современности — работорговли в Африке; это такая грязная страница истории, какой мир не знал до фашизма. За этим последовало невиданное до сего времени истребление колониальных народов; организованное убийство зулусов, вооружённых только копьями; убийство почти безоружных суданцев; массовое умерщвление индийцев; отравление опиумом миллионов китайцев; порабощение жителей Соломоновых островов; поголовное уничтожение обитателей Тасмании; зверская эксплуатация населения половины Африки; варварская расправа с боровшимися за освобождение Индии сипаями; организация голода в Бенгалии, унёсшего десятки миллионов людей; резня в Бирме; война против буров, и так далее и так далее — без конца.

Я не хочу сказать, что английский правящий класс имеет монополию на низость и безнравственность, или, что эти качества присущи англо-саксам и делают их более способными к зверской жестокости, чем другие народы; это скорее результат того, что английский правящий класс первым вышел на колониальный рынок. Англичане пришли первыми, но за ними по пятам шли другие европейские государства; Америка положила основу своему богатству невиданной резнёй, учинённой над индейскими племенами, и рабовладельческой системой — в девятнадцатом веке и на своей собственной территории! Ей не надо было учиться эксплуатации — ни колониальных народов, ни своего собственного, — но английский правящий класс окружил мировую кровавую бойню ореолом «добра», «превосходства» и «рыцарства». Этому мы учились у англичан; мы следовали за ними, подражали им, и ныне мы превзошли их. У нас были другие условия, наша колониальная экспансия протекает по-другому, но сегодня мы целиком и полностью переняли у англичан миф о превосходстве англосаксонской расы.

Вспомним, как отразилась в литературе гигантская бойня, которая знаменовала собой создание Британской империи. В конце прошлого века наш наиболее самобытный писатель Марк Твэн опубликовал в «Северо-Американском обозрении» очерк «Человеку, ходящему во тьме», в котором писал:

«Трест «Дары цивилизации» — это первосортное предприятие, если управлять им разумно и осмотрительно. Такое дело может принести куда больше денег, территории, власти и прочих благ, чем любая из существующих азартных игр».

В то же самое время Редьярд Киплинг, которого нельзя назвать иначе, как нравственным уродом, смог написать во славу империи — и как это нравилось! — следующий кровожадный бред:

Всех этих нищих, чёрт поberi,
Мы били, словно щенят.
А когда вышел последний заряд,
В ход пустили приклад.
Чёрт поberi!
Не стой на пути —
Томми знает, что значит штык и приклад.

Это бессмысленное прославление бойни, психология гаулейтера, выраженная в «бравых» стихах английского поэта, — не монополия ни Киплинга, ни его современников. В то время, когда Марк Твэн — при всей своей трагической оторванности от борьбы американского рабочего класса — сумел разглядеть, сколько грязи и крови скрывается за ореолом славы британского и американского империализма, появилась целая литература английского империализма, которая ставила на голову все представления о морали и закладывала литературно-идеологическую основу англосаксонского неофашизма наших дней.

Кажется неправдоподобным, что во времена Киплинга этот бесконечный поток идиотического лепета вызывал так мало протеста; но это объясняется огромным влиянием, которое оказывала литература английского правящего класса, его идеология на литературу на английском языке.

В повести «Ким», которую часто называют его лучшим произведением, Киплинг предвосхищает историю, подменяя любовь к своему отечеству и к своему народу —

подобострастием перед «Великой империей», восхваляя шпионаж в её пользу, как высшую человеческую добродетель.

Как я уже сказал, если бы литературная деятельность Киплинга была единственной в своём роде, она не представляла бы такого интереса, но он только самый голосистый среди многих ему подобных. Во всей литературе того времени мы находим отражение той же извращённой морали. Огромную популярность завоевал появившийся в ту пору новый герой: Рэфлс, вор-джентльмен, взломщик сейфов. Обладая разумом молодой обезьяны и моральными устоями сводника, он покоряет сердца, — все его пороки превращены автором в добродетели. Мы далеко ушли от Робина Гуда, героя крестьянских восстаний. Рэфлс тоже отбирает деньги у богатых, но он презирает бедных и не даст им ни одного гроша из своей добычи. Его «моральное возрождение» вполне логично совершается в англо-бурской войне, где он состязается в подлости с юным Уинстоном Черчиллем.

Английская поэзия к этому времени успела прийти от Китса, Шелли и Вордсворта к империалистическим виршам Теннисона и писаниям откровенных человеконенавистников, подобных Бриджесу, которые затопили всё, что было в ней честного, гуманного и подлинно художественного. На смену таким великим романистам, как Диккенс, Теккерей, появляется Голсуорси. Когда в литературу пришёл Сомерсет Моэм, считалось общепризнанным, что только отпрыск английского правящего класса, который довёл до совершенства хладнокровную жестокость, может быть героем «высокохудожественной» литературы. И даже Герберт Уэллс, когда он пишет о приказчике или мелком служащем, становится снисходительным до тошноты. Даже Стивенсон, с его огромным талантом и умением создавать правдоподобный вымышленный мир, почти не в состоянии наделить добродетелями не-аристократа. «Низок тот, кто низко рождён», — это стало литературным кредо, и целая орда бездарностей развивает эту философию в тысячах книг.

От Джона Бэкан до Мориса Хьюлет, Донна Бирна и Джилберта К. Честертон — и так далее, до отвращения — течёт мутный поток благоговейной писанины, где на все лады превозносится добродетель высокого рождения, принадлежность к той касте избранных, которые, распустив паруса, плыли к славе и богатству по рекам крови. Те, кто, завоевывая мир, никогда не задумывался над справедливостью, ханжески прикрываются принципом «честной игры». Это лицемерное «джентльменство», отражаясь в литературе — будь то «изысканный» Оруэлл или слабоумный Мэзон, — распространено от Гринвич-Вилэдж до Сиднея в Австралии и до Голливуда в Калифорнии.

А всего только сто лет прошло с тех пор, как Шелли с такой горечью и гневом писал свою «Оду свободе»:

О, пусть бы вольные могли втоптать
В прах имя «царь», как грязное пятно
Страницы славы, или написать
В пыли, — чтоб было сглажено оно,
Занесено песком, как след змеи.
Оракула внятна вам речь? —
Возьмите ж свой победный меч —
Как узел гордиев то слово им рассечь.
Хоть слабое, шипы вонзив свои
В бичи и топоры, что род людской
Страшат, — оно скрепит их, как ничьи
Усилья б не могли: тот яд гнилой,
Жизнь заразив, гангреной может сжечь.
Когда придёт пора, ты удостои
Стереть главу червя сама, своей пятой.

О, пусть бы мудрые — огнём лампад
Широкой мысли — отогнали тьму,
Чтоб, съёжась, имя «жрец» обратно в ад
Отправилось, вновь к месту своему...

(Перевод В. Д. Меркурьевой).

Призыв Шелли прозвучал не напрасно; и мудрые засветили огонь таких лампад, каких человечество не знало в прошлом; наступило начало конца для чудовища,

которое так долго обескровливало человечество, обращало во зло всё, что было доброго в человеке и разрушало его лучшие мечты. Почувствовав приближение конца, хозяева умирающего мира создали литературный фашизм, отражающий его агонию; и цементом, скрепляющим эту литературу, послужило извращение даже тех этических норм, которые они некогда провозглашали, хотя и не следовали им.

И ныне тот писатель, который хочет вырваться из круга извращённой морали, должен по необходимости принять новую мораль, мораль социалистическую. Советская мораль стала в наши дни необходимым оружием писателя.

В Америке литературный фашизм принял другую форму, чем в Англии, но сущность его та же. Англичане слишком искушённые мастера эксплуатации, чтобы предать анафеме Шелли, но «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена недавно был изгнан из нью-йоркских школ по настоянию католических кругов.

Мораль «высокого рождения» вряд ли привилась бы в Америке, где ещё не забыты представления о рождении нашей страны в революционной борьбе против касты английских империалистов; однако та же человеконенавистническая сущность, та же извращённая этика были достигнуты другим путём. Под влиянием английской литературы Америка провела свою собственную рационализацию подлости и обмана в литературе. Мы позаимствовали у англичан нужные нам приёмы, придали им национальную окраску — и достигли той же цели. Наш правящий класс никогда не считал нужным рядиться в тогу благородства; он жесток, груб, циничен и самонадеян; он пугает атомной бомбой; на современную Англию он смотрит пренебрежительно, как на обессиленного младшего партнёра; он не признаёт никаких тонкостей, ему важны только результаты. Так же он подходит и к литературе.

Он требует от литературы того же, что и правящий класс Англии, но, хотя цель одна и та же, путь к этой цели — иной. По английским понятиям, «низшие классы Англии» состоят из людей неполноценных, но кротких и терпеливых; люди других наций тоже неполноценны — в меньшей или в большей степени; и английская реакция, и наша в равной мере унижают человека, с той только разницей, что англичане считают его тварью смиренной, а мы — тварью буйной. В обоих случаях все понятия о морали поставлены на голову. Добро становится злом, зло превращается в добро. Так же, как Кафка приравнивает человека к таракану, мораль правящего класса США приравнивает человека к животному, отнимает у нас всё доброе, благородное, великодушное и мудрое, оставляя нам взамен пресловутое материальное благосостояние, которое существует по большей части в рекламах, а не в жизни рабочего класса. Появился новый «сверхчеловек» — не по крови, каким его изобрёл немецкий фашизм, а некий ублюдок, в котором вывернутая наизнанку демократия сочетается с философией стиральных машин и автомобилей. По испытанному английскому образцу, любая антидемократическая гнусность совершается «во имя демократии». Все с таким трудом завоеванные права человека отбираются — опять-таки во имя всё той же «демократии». Как сказал один из главных советников Трумэна: «Мы должны уберечь нашу конституцию, даже если для этого придётся отставить её».

Вполне естественно, что в этих условиях литература превращается в какой-то аккумулятор жестокости и грубости. В редакционной статье журнала «Лайф» прогресс объявлен «русской иллюзией». Но человек создан не для того, чтобы стоять на месте. Если он не может идти вперёд, он пятится назад. Если он не должен надеяться на добро, нужно заставить его принять зло. Если нужно превратить его в заклятого врага чудесного свободного мира — мира, создаваемого в Советском Союзе, — необходимо внушить ему презрение ко всем лучшим традициям американского народа. Его нужно заставить поклоняться грубой силе, дабы сам он превратился в грубое животное.

Поскольку мы затронули вопросы морали, небезынтересно приглядеться к двум чрезвычайно популярным фигурам в современной американской литературе. Имена Джона Стейнбека и Джемса Кэйна редко сближаются нашими критиками. Стейн-

бека превозносят, как эстета, продолжающего традицию «подсознания» Хемингуэй; Кэйн считается писателем менее гонимым. подчас его даже упрекают за то, что он рубит с плеча, хотя Франклин Адамс, к примеру, ставит его выше Хемингуэя. Тем не менее эти писатели имеют много общего; они черпают вдохновение из одного и того же источника, к которому стоит присмотреться получше.

Десять лет назад Стейнбек мог распознать действительность в её прогрессивном развитии; сегодня он отошёл от действительности, потеряв где-то по дороге своё мастерство. Недавно вышла его новая книга под названием «Консервный завод». Как и следовало ожидать, критики расхвалили роман за превосходное изображение жителей той части Калифорнии, которая под пером литературных обозревателей из «Таймса» превратилась в «страну Стейнбека». А герои этого «увлекательного» романа — банда лентяев, или, выражаясь точнее, бродяг. Эти симпатичные ребята не безработные, нет: просто они питают отвращение ко всякому труду. Они довольно безобидны, пока их не трогают, но стоит им разозлиться, как они готовы совершить любой вид насилия. Любовно-лирическая сторона их жизни протекает исключительно в стенах публичного дома, но читателю внушается, что проститутки — лучшие из женщин, так же как бродяги — высшая категория мужчин. Бродяги, выведенные в романе Стейнбека, вознесены автором на высоту новой аристократии. Все «низменные» проблемы рабочего класса они разрешают отрицанием труда. Они обладают «духовными» качествами, которые ставят их выше всех остальных людей, и только они одни из всей части человечества, населяющей Америку, нашли дорогу к раю с помощью крепких напитков и хулиганства. Центральный эпизод романа — описание оргии, устроенной бродягами в доме соседа-учёного, во время которой они разбивают вдребезги его ценную коллекцию фонографических записей. Но что значат культурные ценности и цивилизация по сравнению с «высшей культурой», которая живёт в «нетронутых» душах этих бродяг?

В конце книги тот же учёный читает хулиганам и проституткам любовную лирику в переводе с санскритского. Разве какой-нибудь живой язык, хотя и в переводе, мог бы удовлетворить столь взыскательные уши? После того, как хозяин потчевал своих гостей этим редкостным поэтическим блюдом, автор говорит:

«Филлис Мэ плакала, не скрываясь, и даже Дора вытирала глаза. Хэзел была так очарована звучанием слов, что не следила за их смыслом. Но все почувствовали, как пахнуло на них печалью мира. Каждый вспомнил утраченную любовь, забытый призыв».

Ну и ну! «Оригинально, своеобразно», — с восхищением писали критики. Такой же оригинальностью отличались оригинальные гаулейтеры в оригинальных городах гитлеровской Германии.

Кэйн менее «оригинален». В своей самой популярной книге, пользующейся огромным успехом, — «Почтальон всегда звонит дважды» — он рассказывает историю одной любви, которую критики называют «самой волнующей любовной историей наших дней».

Ещё бы не волнующая! Стандартный образец «прожжённого парня» — венец современной американской «культуры» — попадает в харчевню, стоящую у одной из калифорнийских дорог. Харчевню содержит грек, женатый на молодой особе с мыслительными способностями пятилетнего ребёнка и сексуальными наклонностями взрослой кошки, долго сидевшей взаперти. Грек старше своей жены, менее красив, чем «прожжённый парень», и ненавидим обоими — невзирая на его великодушие и доброту — за то, что он, как деликатно выражается Кэйн, «жирный».

Так как герой и героиня любят друг друга и харчевня нужна им для пропитания, то они решают убить грека. Будучи греком, а не англо-саксом — он вообще почти не человек, и его затянувшееся земное существование мешает им предаваться «любви». Любовь в изображении Кэйна заключается преимущественно в том, что «прожжённый парень» срывает одежду со своей возлюбленной. В промежутках между такими лирическими сценами они делают разнообразные попытки убить грека, которые в конце концов увенчиваются успехом. Да, «их есть царство небесное».

В обеих этих книгах авторы ищут и добиваются сочувствия читателя. Оба автора знают своё ремесло, и — признают они это или отрицают — их нравственные убеждения перекликаются с мировоззрением их героев.

Стейнбек явно сочувствует своим бродягам; он пишет о них одобрительно и любовно, так же как Кэйн пишет о своём убийце. Кэйн рисует своего героя столь привлекательным, что по прочтении романа читатель должен одобрить любой его поступок, хотя сцена убийства по омерзительности не уступает худшим образцам такого рода литературы. Но мораль, порождённая ненавистью к России, перевернула все нравственные понятия, и заповедь «не убий» превратилась в «убий».

В противовес Стейнбеку, от которого так и разит дешёвой фальшивой слезливостью, столь присущей многим современным писателям, под маской «гуманизма» проповедующим нечто прямо противоположное ему, Кэйн абсолютно хладнокровен и всякая сентиментальность чужда ему. Кэйн более сознательно, чем Стейнбек, впитал в себя психологию тупого насилия, характерную для наших дней, и он, в известной степени, стал ментором той многочисленной группы писателей, которые посвятили своё творчество воспеванию насилия; эта тема преобладает во всей литературной продукции современной Америки: в романах, на сцене, в кинофильмах, в радиовещании. У Кэйна имеется множество подражателей, начиная от таких, которые не хуже его владеют писательской техникой, и кончая малограмотными писаками.

В предисловии к своему роману «Бабочка» Кэйн пишет: «Когда я принялся за этот роман, я вернулся к первоначальному замыслу — не к той части его, которая касалась рабочего движения, ибо я давно пришёл к выводу, что эта тема, хотя она неизменно привлекает определённую часть интеллигенции, не может вдохновить писателя, — а к описанию самой местности: лесистых гор, прозрачных ручьёв, милых, симпатичных жителей, чьи маленькие хижины остались почти такими, какими выглядели во времена Дэниела Буна».

Речь идёт не больше и не меньше, как об угольном районе в Кентукки, где в тридцатых годах шла ожесточённая борьба рабочих за свои права; и эта тема «не вдохновила» Кэйна, так же как его не вдохновляет судьба рабочего класса в целом — не вдохновляют мощь рабочего движения, грандиозные классовые бои, стремление к счастливому будущему, историческая миссия строителя социализма.

Вместо этого Кэйн с истинным «вдохновением» обратился к теме кровосмесительной любви и не посовестился заявить, что «отцы влюблены в своих дочерей».

Творчество Кэйна быть может не заслуживало бы внимания, не будь оно столь показательным для значительной части американских писателей, проповедующих грубость, насилие и преступление.

Возьмём хотя бы один диалог из романа Кэйна «Превыше всякого бесчестья», вышедшего в 1949 году. Эта книга повествует о том, как лазутчик конфедератов дезертирует из армии, влюбившись в проститутку, и ради неё становится профессиональным убийцей. И здесь Кэйн опять-таки идёт вместе со своим героем по пути преступления, превознося убийство и сочувствуя убийце.

К концу книги, после успешного ограбления поезда, которое сопровождалось массовыми убийствами, героиня спрашивает:

«— Почему ты убил его?»

— Я убил троих.

— Да, но последнего? Того, которого тебе не нужно было убивать. Того, который всё повторял, что у него нет оружия: почтальона.

— Он видел нас. Он мог бы нас опознать.

— Роджер, ты лжёшь.

— А хоть бы и так?

— Ты убил его ради меня.

— Пусть это правда, но я тебе не сознаюсь в этом.

— Итак, нас ждёт ещё одна ночь — как та, которую мы провели в шахте, когда мы впервые узнали, чем может быть жизнь.

— Сейчас утро.

- Тогда пусть будет ещё одно утро.
- Убери свои губы.
- Целуй меня... Целуй ещё».

Любой нормальный человек, прочтя этот диалог, рассмеётся и решит, что вряд ли такая бездарная галиматья может нанести серьёзный вред; но в том-то и дело, что подобные мотивы преобладают в нашей литературе и звучат в ней, не умолкая. Общеизвестно, что детективный роман пользуется большим спросом на книжном рынке, чем все виды беллетристических произведений, вместе взятые. Это излюбленное детище западной «культуры» усердно рекламируется, как безобидная забава — вроде шарад и загадок — для «просвещённого» читателя. Это, мол, отдых для утомлённого ума. Герберт Гувер публично заявил о своей любви к детективным романам, и с тех пор этот жанр восхваляется на все лады, как некий целительный бальзам, к которому виднейшие государственные мужи прибегают после тяжёлого рабочего дня. Но даже в Америке не наберётся сотен тысяч государственных мужей, так что, повидимому, не только они питают пристрастие к этому пряному литературному блюду.

Детективный роман — отнюдь не безобидная загадка; по большей части только круглый идиот не может разгадать её с первой страницы; но даже в тех случаях, когда детективный роман — загадка по форме, по своему содержанию — это повесть об убийстве, в основу которой положена, мягко выражаясь, весьма странная психология. Правда, герой детективного романа, будь то Перри Мэзон, или Отец Браун, или сыщик О'Малли, или Фило Ванс и т. д. и т. п., к концу романа неизменно разоблачает убийцу, но это только вежливое расшаркивание перед различными организациями «защиты благопристойности». Истинный смысл детективного романа заключается не в конечном торжестве добродетели, а в содержании романа.

А основное содержание романа — убийство. Однако даже в Америке 1949 года убийство не такое уж обыденное дело. Хотя преступность среди населения неуклонно возрастает, всё же рядовой житель США редко своими глазами видит убийство; в Америке усиленно культивируется искусство скрывать все признаки насилия, и повседневная жизнь тщательно ограждается от зрелищ и звуков, могущих выдать присутствие смерти. Детективный роман не освещает какую-либо сторону действительности, не рисует преступление, как одно из главных зол капиталистического общества. Детективный роман, в котором со всех сторон так и валяются трупы, — это, без всяких прикрас, литература «бегства от жизни».

Любители и защитники этого жанра скажут, что смерть в детективном романе — не настоящая смерть, а только условный приём.

В этом-то и всё зло, ибо там, где смерть всего-навсего приём, что может остаться от уважения к жизни? Я уже говорил, что одна и та же мораль проповедуется во всей американской культуре — я имею в виду ту американскую культуру, которая распространяется прессой, кино и радио, находящихся во власти монополистического капитала. Разница лишь в художественном уровне, в языке и стиле. Вакханалия убийств, насилия, дикарства, глумление над человеком, пропагандируемые в миллионах юмористических и детективных романов, глядят на нас в переводе на кабацкий язык эстетов из «Партизан ревью», из стихов фашиста Эзры Паунд, который за свои труды удостоился премии Библиотеки Конгресса. Тому, кто ещё сомневается в этом, я предлагаю набрать воздуха в лёгкие и, зажав нос, обратиться к последнему опусу Джорджа Оруелла, любимца «просвещённых» читателей, пренебрегающих «комиксами» ради более «изысканной» литературы.

Оруэлл — англичанин, но в его сочинениях миф о превосходстве англосаксонской расы ничем не отличается от культа грубой силы и презрения к человеку, который утверждается в Америке монополистическим капиталом. Обе эти «культуры», или, точнее, слившись воедино под руководством и с благословения Эрнеста Бевина и Гарри Трумэна, целиком и полностью приняли уравнение немецкого фашизма: «человек равен таракану». В одной из своих книг Оруэлл, очевидно, с целью избежать обвинения в плагиате, уподобил человечество населению свиначника. Человек — свинья, — и точка. В своей новой книге «1984 год» Оруэлл рисует будущий мир, в

котором раз и навсегда покончено со всякой этикой и моралью. Разумеется, этот мир показан так, как неискущённому воображению Оруелла представляется бесклассовое общество; его герои, которые решительно отбрасывают столь ненужный хлам, как нравственные правила, — ярые враги того, что Оруелл иносказательно, с тонкостью, достойной слона, называет «партией». Послушайте нижеследующую очаровательную беседу:

«— Вы готовы обманывать, мошенничать, вымогать, развращать сознание детей, отравлять людей наркотиками, поощрять проституцию, распространять венерические болезни — словом, делать всё, что может подорвать и ослабить мощь партии?»

— Да, — с жеманной улыбкой отвечает антикоммунист Оруелла.

— Если бы, например, нам понадобилось, чтобы вы облили серной кислотой лицо ребёнка, вы готовы к этому?».

И на это блистательный герой Оруелла отвечает утвердительно.

Эту мерзость, сочинённую трюкстом, который в Индии состоял на службе у английской полиции, с наслаждением поглощают культуртрегеры американской реакции. В кампанию за распространение этой бессмысленной, но тем не менее вредной чепухи включились все «культурные силы» Америки. Клуб «Лучшая книга за месяц» рекомендовал книгу Оруелла; критики исходили слюной от восторга; «Ридерс Дайджест» конспектировал её; журнал «Лайф» посвятил ей восемь страниц; и все мелкие зазывалы из «Партизан ревью» в самых изысканных выражениях пели ей хвалу.

Показательно, что все реакционные писатели неизменно ратуют за отделение искусства от политики. Это вполне согласуется с дешёвым ходячим мнением, что коммунисты якобы превращают искусство в орудие политики. Нетрудно понять, что такие взгляды наруку реакции. Любому разумному человеку ясно, что ничто — а тем менее искусство — не может существовать в безвоздушном пространстве, и так же ясно, что искусство не существует само по себе, в отрыве от социальной действительности, а напротив, оно есть отражение социальной действительности. И поскольку политика — важнейший фактор её, отрыв искусства от политики был бы так же нелеп, как отрыв литературы от языка; разумеется, это отлично понимают все литературные подпевалы капитализма, хоть они притворно и говорят другое. Понимает это, например, тот же Оруелл — один из самых ярых и тупых политических пропагандистов, когда-либо бравшихся за перо; на всех его опасных и извращённых бреднях ясно видно клеймо: «Сделано на Уолл-стрите».

Роль этики в литературе — особенно в вопросе отношения литературы к действительности — никогда не определялась с достаточной ясностью. Причина этого в том, что только диалектический материализм выводит этические нормы из взаимоотношения классов и отношения всех классов к средствам производства; со всех остальных точек зрения этические нормы представляются абсолютными и неизменными, добро и зло — изначальны, они «вечны и богоданны».

Не существует единого набора этических мерок. В своё время ни Эмерсон, ни Торо, ни Уитмэн, ни Брайент, ни Марк Твэн не принимали морали рабовладельцев Юга; в своём творчестве они вдохновлялись иными нравственными понятиями, гораздо более близкими к советской этике, нежели к «этике» коалиции Трумэн — Бевин. Именно потому, что они владели таким ключом к действительности, они заняли столь видные места в истории литературы, между тем как современные им литературные поборники рабства давно забыты.

В наше время сущность морали можно свести к простейшей формуле: за или против фашизма и империализма? Никто не может остаться в стороне: середины нет; писатель должен выбрать тот или другой путь.

«Самое дорогое у человека, — говорит советский писатель Островский, — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

Эти слова, в которых Николай Островский ясно выразил своё моральное кредо,

взяты из его книги «Как закалялась сталь», вышедшей в Англии под названием «Становление героя». В этом романе Островский разрешает проблему рождения нового советского человека, показывает факторы, способствующие его становлению, силы, формирующие его. Из старого рождалось новое; пролетарий превращался в гражданина социалистического государства; из грязи, гнили и разложения капитализма появлялись первые ростки будущего.

Это была трудная задача; может быть, никогда ещё перед писателем не стояла задача столь трудная. Писателю предстояло показать новую действительность, и для постижения её требовались новые критерии. Старые критерии были столь же негодны, извращены и испорчены, как то общество, которое создало их. Не было готовых критериев, отвечающих требованиям сегодняшнего дня, — они выковывались из надежд и страданий. И исходя из этих новых критериев, Островский создал свою прекрасную книгу о росте и созревании советского человека.

Я не знаю ни одной книги во всей современной литературе на английском языке, которую можно было бы сравнить с ней.

Сущность советской литературы можно определить двумя словами: надежда и жизнь. Твёрдая надежда, твёрдая уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне открывает безграничные перспективы человеческого счастья. Впервые в истории человечества будущее сбросило дешёвые покровы идеализма и мистики; впервые дорога в будущее проложена на научной, материалистической основе. Вместо «пирога на небе» — «безграничные искания и достижения человеческого разума». И это не только мечта, не только надежды на будущее, а сама действительность нашего времени. Нужно твёрдо помнить об этом качественном различии.

Горький писал роман «Мать» почти в то же время, когда Джек Лондон писал «Железную пяту». И тот и другой сознательно примкнули к авангарду рабочего класса своей страны: Горький — к русской социал-демократической партии (которая стала потом коммунистической партией), Лондон — к левому крылу социалистической партии США (будущей коммунистической партии). И тот и другой находились под сильным влиянием временного поражения русского рабочего класса в революции 1905 года. Джек Лондон в «Железной пяте» нарисовал чудовищную картину грядущего фашизма, который грозит раздавить международное рабочее движение и отбросить человечество на столетия назад. Горький, который стоял ближе к борьбе, с несравненно большей надеждой смотрел в будущее. Герой книги «Мать», рабочий Павел, говорит, обращаясь к своим судьям:

«Мы — революционеры и будем таковыми до поры, пока одни — только командуют, другие — только работают... Победим мы, рабочие! Ваши доверители совсем не так сильны, как им кажется».

Ныне, когда ещё живы современники Павла, уже два поколения видели полную перестановку сил в мире. Даже самые ярые оптимисты среди капиталистов уже не могут верить во что-либо похожее на бредовое «тысячелетнее царство», провозглашённое Гитлером. «Закат капитализма» — так назвал Уильям Фостер эпоху, в которую мы живём; в этом — всеопределяющая реальность современности. Для советского писателя эта реальность столь осязаема и она столь органически входит в его существование, что жизнь и надежда для него естественны, как воздух, которым он дышит, и вода, которую он пьёт. И какую бы сторону советского общества писатель ни затронул, он повсюду найдёт жизнь и надежду.

Никогда, быть может, это не было так ясно видно, как в прекрасной литературе, рождённой великой войной советского народа против фашистских захватчиков. Только человек без сердца или дурак мог не почувствовать всего величия этого страшного и грозного испытания, но только советскому писателю дано было увидеть радость и веру в будущее, которые родились в огне этой борьбы. Это уже не одинокий голос революционера, защитника благородных жертв, мучеников Коммуны; это голос человека, защищающего социализм, социализм уже существующий; голос коммуниста — строителя будущего. В своей прекрасной книге «Взятие Великошумска», подлинной победной песне, полной гнева, надежды и мужества, талантлив-

вый советский писатель Леонид Леонов так говорит о советском танке, готовом к бою:

«К бою за родные горы, родившие её металл, за людей, её создавших, за Сталина, который повелел ей быть, двести третья была готова. И если человеческий инструмент, каким добывается независимость поколения, заслуживает такого слова, то была последняя её спокойная ночь перед рывком в бессмертие».

Это сказано по-новому; так же по-новому писали о войне Эренбург, Соболев, Фадеев, Гроссман, Павленко, Василевская и многие другие советские писатели. Это новое можно выразить так: «Я — гражданин будущего, я рассказываю о близком будущем всего человечества. Мы несокрушимы, ибо мы воплощаем надежду и чаяния всего человечества, и сотни миллионов идут за нами».

В этом коротком очерке я только коснулся вопроса об этике в связи с проблемой отношения литературы к действительности. Но я надеюсь, мне удалось хоть в некоторой степени опровергнуть мнение, что художественные критерии и человеческая этика обладают мистической неизменяемостью. Ни художественные критерии, ни правила морали не были вырезаны на скрижалях некоей божественной рукой; и те и другие возникли на основе материальных условий жизни. Заповедь «не укради» не могла существовать до возникновения частной собственности, и когда-нибудь, при коммунизме, не будет воров, так же как не будет эксплуататоров.

Мы должны ясно понять, что человеческая этика и художественные критерии появились на основе реальной жизни, на основе условий существования каждого класса, взаимоотношений классов общества. Не действительность стражает критерии, наоборот, критерии отражают различные аспекты действительности. И когда критерии теряют связь с объективной действительностью, они становятся такими же извращёнными и бесчеловечными, как этика современного капиталистического мира.

Таким образом, все современные извращённые теории искусства: сюрреализм, дадаизм, экзистенциализм, натурализм, лжеромантизм, эскейпизм, скворешник «новых поэтов», «новых критиков», «новых писателей», все столь популярные в Америке теории, утверждающие подсознательное, жестокое, свинское, инстинктивное и просто бредовое, — существуют потому, что наши этические критерии потеряли всякую связь с действительностью.

Буржуазная литература — зеркало умирающего общества — превратилась в стоячее болото; из этого болота подымается такой смрад, какого ещё не знал мир. Никогда ещё в истории капитализма буржуазная литература не падала так низко. Никогда ещё американский интеллигент так решительно не отворачивался от действительности. И это — в наше время, когда действительность так изумительна, потрясающа, так молода и величественна!

Французский коммунист Поль Вайян Кутюрье сказал: «Коммунизм — это юность мира»; Энгельс не раз указывал на то, что капитализм — это последняя глава пред истории человечества. Заря цивилизации встает над миром, — и общество, которое сделало своим символом веры массовое умерщвление, массовую эксплуатацию и массовое рабство, уходит прочь. Мы живём в великую эпоху, и она требует больших людей; а от искусства она требует благородства, которое было бы достойно нового человека. Нужен новый историк, ибо родилась новая действительность и пришёл новый герой. О Кафке и о других так называемых писателях, которые утверждают, что человек равен таракану, мы можем только сказать: к чёрту! — они уже выброшены на свалку истории.

Коммунистическое движение, впитав в себя все страдания, все надежды и чаяния человечества, — ныне могучая и непобедимая сила. Более двадцати миллионов коммунистов высоко несут знамя мечты человечества. Вот новые герои и новая действительность: греки, бесстрашно глядящие в глаза фашистским палачам; испанцы, продолжающие сражаться в горах своей родины; миллионы китайцев, идущих впе-

рѣд с песней свободы на устах; филиппинские патриоты; индийцы, защищающие свою многострадальную землю; австралийские докеры, отказывающиеся грузить пароходы для франкистской Испании; французские рабочие, которые шѣпотом говорят о партии расстрелянных¹; освободительное движение Вьетнама; жители Явы и их борьба за независимость; растущий гнев американских негров; рабочие Венгрии, освобождённые от тысячелетнего гнёта; гордые, мужественные советские люди, строящие коммунизм в стране, которую они защищали, как никто никогда ещё не защищал свою страну; и хмурые, негодующие американские рабочие, готовящиеся к завтрашнему дню.

Вы ищете героев? Вы не найдёте их среди жалких, продажных врагов коммунизма, которые так уютно чувствуют себя в сегодняшней Америке, но там вы не найдёте и литературы! Литература — неотъемлемая часть действительности. Литература не существует отдельно от жизни, и художник не может существовать отдельно от гражданина. Он может сдать врагу, но, сдавшись, он перестаёт быть писателем.

Какова же роль современного писателя? Что от него требуется? Должен ли он быть героем, и можно ли требовать героизма от целой общественной группы? В ответ на это мы скажем, что никто не требует от писателя больше того, чего требует его собственный талант. «Будь верен самому себе» — это труднее для писателя, чем для кого бы то ни было. Если он хочет сегодня создавать литературу, он должен твёрдо занять своё место в сегодняшней действительности.

Никогда ещё за всю американскую историю у нашей литературы так легко не гнулась спина. Целый легион писателей угодничает перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, перед министерством юстиции; голливудские сценаристы, журналы, жёлтые газеты, именующие себя прессой, — вся отвратительная, пустозвонная машина, которая изо дня в день распространяет ядовитую заразу реакционной «идеологии», все эти деятели «культуры» ползают на брюхе, прижимаясь лицом к грязи, чтобы даже краешком глаза не увидеть живую действительность!

И они-то смеют говорить о «художниках в мундире»! О «коммунистической линии в литературе»! Оглянемся на современный мир: кто нынешние выдающиеся писатели? В каждой стране — это коммунисты. О'Кэйси в Ирландии, Арагон во Франции, Нексе в Дании, Неруда в Чили — и, разумеется, целый отряд советских писателей огромного таланта и масштаба.

Не обязательно быть коммунистом, чтобы стать большим писателем, но необходимо признать коммунистическое отношение к действительности. Нужно любить человечество, а без понимания объективной действительности, борьбы человечества не может быть ни любви, ни уважения к человеку. Нужно любить свободу, потому что мечты, надежды и чаяния человечества неотъемлемы от свободы. Нужно видеть человека во всей его славе, славе сегодняшнего дня и славе завтрашнего. Иначе у писателя нет пути, кроме мрачного, грязного пути Эллиота и Кафки. Писателю прежде всего нужна вера, а вне объективной действительности, вне жизненной правды её не найти и не сохранить.

Немалый труд берёт на себя писатель, но велика награда, ожидающая его. Никогда ещё за всё существование человечества на земле не было таких песен для поющих, как ныне, никогда ещё не было таких тем для писателя. Нам выпало невиданное счастье, ибо нам даны такие возможности, каких не знала литература всех веков. Великие песни требуют великих певцов, а наше время — время величия.

Перевёл с английского
П. ТОПЕР.



¹ Этим именем французский народ называет коммунистическую партию Франции в память о свыше 70 000 французских коммунистов, участников движения Сопротивления, которые были убиты нацистами. Это имя показывает, какое место занимает коммунистическая партия Франции в сердце французского народа. (Прим. автора).

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Б. Закс. В борьбе за мир. — Е. Ковальчик. Единство замысла. — Г. Маргвелашвили. Неотвратимая воля истории. — Л. Сейфуллина. Необходимое и излишнее. — Е. Сурнов. О правде вымысла. — Н. Онуфриев. Новая книга о Белинском. — Д. Данин. Великий характер.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. БОРЬБА ЗА МИР

Академик Е. Тарле. Трезвый голос американского публициста. — М. Цунц. Учёный-борец Фредерик Жолио-Кюри.

ФИЛОСОФИЯ

Кандидат философских наук Л. Шершенно. Бертран Рассел — лейб-философ английского империализма.

ТЕХНИКА

Действительный член Академии наук БССР Н. Акулов. Рассказы о русском первенстве.

Литература и искусство

В борьбе за мир

Судьбы мира в Европе неразрывно связаны с проблемой послевоенного устройства Германии. Нет и не может быть мира и безопасности народов без того, чтобы были до конца выкорчеваны все корни германского милитаризма. Спокойный, свободный от страха перед угрозой войны труд миллионов простых людей Европы немислим без прочной гарантии против возможности превращения Германии в плацдарм новой агрессии.

На состоявшихся в октябре текущего года в Германской демократической республике выборах подавляющее большинство избирателей отдало свои голоса кандидатам Национального фронта. Впечатляющее единодушие, проявленное избирателями, воочию продемонстрировало стремление немецкого народа к миру, подлинно народную основу и жизнеспособность молодой демократической республики.

Но что привело к столь серьёзным сдвигам в сознании широких масс немецкого народа, значительные слои которого столь

долго были обманываемы гитлеровской пропагандой?

Роман «Залог мира» украинского писателя Вадима Собко подробно знакомит с успехами демократического переустройства советской зоны оккупации Германии. Он показывает, что только твёрдое и неуклонное выполнение Советским Союзом Потсдамских решений обеспечило эти успехи, которые, в свою очередь, закономерно привели к образованию Германской демократической республики.

Уже само название романа символично и полно глубокого смысла.

Залог мира — это миролюбивая, единая, независимая демократическая Германия, исполненная чувства дружбы по отношению к великому Советскому Союзу и странам народной демократии, решимости твёрдо отстаивать дело мира — таков смысл названия романа В. Собко, такова его основная идея.

Тема мира, тема мирного труда — одна из главных для литературы советского народа, высоко поднявшего с первых дней существования своего свободного социалистического государства знамя мира и дружбы между народами. Борьба за мир,

Вадим Собко. «Залог мира», роман. Перевод с украинского Ц. Дмитриевой и Н. Тренёвой. «Знамя», №№ 8, 9 за 1950 год. Главный редактор В. Кожевников.

советские писатели в своих произведениях, вышедших в послевоенные годы, неоднократно затрагивали тему Германии. В советском фильме «Встреча на Эльбе», посвящённом послевоенной Германии, впервые прозвучали слова: «Мир победит войну», — слова, облетевшие весь земной шар и включённые недавно состоявшейся Второй Всесоюзной конференцией сторонников мира в наказ советским делегатам на Всемирный конгресс.

Тема мира во весь голос звучит в романе В. Собко с первых же его страниц. Один из основных героев романа, полковник Чайка, в день своего назначения комендантом немецкого города Дорнау говорит своему помощнику капитану Соколову: «Войну мы выиграли, а теперь надо выиграть длительный, прочный мир».

Роман Вадима Собко, не сглаживая острых углов и не замазывая трудностей, показывает путь борьбы за демократическое обновление страны, против козней агентуры империалистов, врагов новой Германии, врагов мира.

В полном соответствии с исторической правдой политика Советского Союза по отношению к Германии показана в романе «Залог мира», как основной фактор, определивший демократический путь развития советской зоны оккупации Германии. Советские люди—герои романа—выступают как истинные и верные друзья германского народа, заботливо оберегающие все ростки нового,—выступают как носители передовых идей, вооружённые огромным опытом социалистического строительства в СССР.

Действие романа, почти на всём его протяжении, замкнуто в пределах небольшого саксонского городка Дорнау. Однако описанные Вадимом Собко события в послевоенной жизни этого городка столь полно вобрали в себя всё самое важное, всё самое типичное для всего востока Германии, что роман далеко перерастает свои географические рамки. Замысел автора — на примере Дорнау дать широкое полотно, рисующее жизнь всей послевоенной Германии, — осуществлён несомненно удачно.

В романе «Залог мира» Вадим Собко показал себя вдумчивым наблюдателем, умеющим глубоко анализировать общественные и политические явления, хорошо изучившим послевоенную Германию. Автор с большой теплотой и выразительностью ри-

сует образы советских офицеров и солдат, силой оружия освободивших немецкий народ от гитлеровского режима, а в дальнейшем осуществляющих в Германии советскую политику мирного устройства освобождённой от гитлеризма страны. Образы полковника Чайки и капитана Соколова, которым доверено руководство городком Дорнау, принадлежат к числу наиболее удавшихся автору.

Яркими, запоминающимися чертами обладает изображённый в романе полковник Чайка. В прошлом парторг на большом машиностроительном заводе, полковник Чайка предстаёт перед читателем, как человек разнообразного жизненного опыта, больших знаний и трезвого, ясного ума. Казалось бы, что общего между работой помощника командира танковой бригады по технической части и сложными и разнообразными обязанностями коменданта немецкого города? Но полковника Чайку не пугает возложенная на него трудная задача, хотя он хорошо сознаёт всю её ответственность. Партия большевиков, ленинско-сталинская теория, практика общественной работы в прошлом наилучшим образом вооружили его для выполнения новых обязанностей.

«Советский офицер... — это прежде всего носитель самых передовых идей нашего времени», — говорит полковник Чайка.

Получить возможность, вернувшись в Советский Союз, сказать: «Задание выполнено, товарищи! Раньше была Германия пугалом для всего мира, а теперь, под живительным влиянием Советского Союза, превратилась она в подлинно миролюбивую страну, стала залогом мира в Европе», — вот в чём видит свою задачу полковник Чайка.—«Стоит для этого пожить и потрудиться здесь. Честное слово, стоит!».

Другой представитель советской комендатуры в Дорнау, капитан Соколов, молодежь Чайки. По собственному признанию, он первое время «странно чувствует себя в новой должности». Однако ощущение неуверенности быстро исчезает. В этом Соколову помогает растущее понимание масштабов преобразований, осуществляемых в Дорнау, осознание деятельности маленькой комендатуры как «неотъемлемой части огромной созидательной работы, проводимой советским государством в освобождённой Германии».

Живой и энергичный, широко образованный, капитан Соколов с большим тактом и чуткостью выполняет свои новые обязанности.

Деятельность советской комендатуры скоро приносит плоды — жизнь входит в норму. «Только эта норма,—как отмечает старый немецкий писатель Болер,— очень уж непохожа на старую».

Разве мыслимо было раньше назначение простого рабочего Бертольда Грингеля директором завода «Мерседес»? Разве мог батрак Эрих Лешнер мечтать о собственном клочке земли? Кто позволил бы прежде рабочему-антифашисту Лексу Михаэлису стать бургомистром, возглавить городской магистрат?

Но всё это только начало.

Шаг за шагом показывает роман Вадима Собко становление новых порядков в Германии. Земельная реформа, наделение безземельных и малоземельных крестьян и батраков конфискованной у помещиков землёй; передача в народную собственность промышленных предприятий, принадлежащих военным преступникам; первые трудовые рекорды немецких горняков; борьба рабочих автозавода за двухлетний план; объединение социал-демократов и коммунистов в Социалистическую Единую партию Германии; ожесточённое сопротивление классовых врагов и разоблачение махинаций агентов англо-американской реакции; появление первой советской пьесы на немецкой сцене...

Все эти события в романе даны как отражение важнейшего, определяющего процесса, вызванного к жизни верной Потсдамским решениям политикой советских оккупационных властей: процесса раскрепощения духовных сил немецкого народа, роста сплочённости вокруг лозунгов единой, миролюбивой, демократической Германии.

Важно подчеркнуть, что советский писатель изображает перечисленные выше, полные исторического смысла события не как продиктованные и проведённые сверху — военной администрацией. Нет, и полковник Чайка, и капитан Соколов выступают в романе прежде всего как советчики, помощники — старшие, более опытные товарищи; но все демократические преобразования проводят сами немцы — простые люди Германии, осваивающие новый, свободный общественный уклад.

Советский генерал Дубров говорит:

«Наша задача не в том, чтобы работать за немцев, а в том, чтобы они почувствовали себя свободными людьми... Враждебные действия надо решительно пресекать. А в остальном мы предоставим всё самим немцам».

Когда батрак Эрих Лешнер, вместе со своими односельчанами, затевает раздел помещичьей земли, он говорит: «Мы должны подумать о том, как нарезать участки. Придётся проделать всё самим: оккупационная власть даст только разрешение и будет контролировать наши действия, чтобы никто не нарушил закона. А мы изберём комиссию и прекрасно со всем управимся».

Аналогичные мысли высказывает и ставший директором крупного завода «Мерседес» рабочий Бертольд Грингель. Профорганизатор завода спрашивает в связи с задуманным Грингелем введением сдельной оплаты: «Это полковник Чайка так приказал?».

Ответ Грингеля показывает, что советский комендант склонен избирать отнюдь не самые лёгкие, а лишь самые верные пути: «Он ничего не приказывал. Наш завод — собственность немецкого народа... Мне, наверно, было бы куда легче, если бы он приказывал».

Так передовые люди немецкого народа привыкают действовать смело и уверенно — в интересах своей страны. Не так-то просто было этого добиться в Германии, недавней цитадели фашизма...

Самые разнообразные люди действуют в романе В. Собко: рабочие, крестьяне, представители интеллигенции, активные антифашисты и люди колеблющиеся, выжидательные; борцы за демократию и их враги — вчерашние гитлеровцы, сменившие своих прежних хозяев и творящие тёмные дела по заданию американско-английских поджигателей войны.

Трудный, исполненный внутренней борьбы путь к единению с народом некоторых представителей немецкой интеллигенции ярко изображён в романе на примере известного писателя Болера и знаменитой актрисы Эдит Гартман. Судьба их во многом сходна. Эдит Гартман в своё время оказалась играть в фашистском спектакле и была выслана из Берлина в Дорнау, где ей пришлось долгие годы прозябать в без-

действию и зарабатывать на жизнь исполнением песенок в кабаре; Болер же, книги которого запретили гитлеровцы, надолго замолчал как писатель.

Разгром гитлеровского режима застает их обоих в состоянии растерянности. Привычные предрассудки недоверия к большевикам, неутраченная ещё вера в западную «демократию» диктуют им обоим тактику выжидания и бездействия. Болер не хочет писать, Эдит Гартман отказывается играть в создаваемом в Дорнау немецком театре.

Медленно, исподволь жизнь разрушает их буржуазные иллюзии, освобождает от груза ошибок.

Эдит Гартман, которая считала себя обречённой — ведь, по её мнению, русские пришли в Германию мстить, — начинает понимать, что никто не посягает на её творческую свободу, что в дни, когда весь немецкий народ взялся за строительство новой жизни, нельзя петь в ресторане под чечётку.

Художественная сила советской пьесы покорила Эдит Гартман, она соглашается сыграть главную роль женщины-комиссара. К ней приходит радость творчества. «За долгие годы я впервые почувствовала себя на сцене человеком и уже не могу не играть».

С отвращением отвергнув предложение уехать в английский сектор Берлина, чтобы играть в лживой антисоветской пьесе, Эдит Гартман с достоинством заявляет: «За войну я свой голос не отдам. Я хочу мира!».

Автор убедительно рисует дальнейший процесс превращения артистки в передового сознательного деятеля культуры демократической Германии.

Несколько медленнее жизнь переубеждает старого писателя Болера. Зоркий наблюдатель, он не может не видеть всего положительного, что каждодневно происходит на его глазах. Но он не хочет до конца понять смысл происходящего, он противится тому, чтобы сделать все выводы, занять определённое место в борьбе. Он начинает писать книгу «В советской

зоне» и, дорожа «своей репутацией объективного, независимого литератора», решает поведать обо всём — о хорошем и о плохом — всю правду. Но такую объективную книгу, по его мнению, издадут только в западных зонах. И он отправляет свою рукопись в Гамбург.

Болера постигает жестокое, горькое разочарование. Реакционные гамбургские издатели злобно искажают его книгу в самом грубом антисоветском духе. И только в советской зоне его книга выходит в свет такой, какой она была написана, только здесь писатель вновь обретает своего читателя. «Когда из Берлина прислали уже напечатанную книгу, он долго смотрел на неё, думая о том, что для каждого честного немца возможен теперь только один путь — борьба за новую, единую демократическую Германию, борьба за мир».

Но новое не приходит без борьбы, без отчаянного сопротивления со стороны сил реакции. Гнусная деятельность англо-американской агентуры — эсэсовцев вкуче с шумихеровцами — изображена в романе во всей неприглядной наготе. Штурмбанфюрер СС Курт Зандер быстро нашёл себе новых покровителей. Шпионаж, диверсии, провокации, убийства — вот задания, которые получает гестаповец Зандер в американской разведке. На заводе «Мерседес» выходят из строя станки — нить тянется к Зандеру, а через него к его боссу — американскому капитану. Торговцы обкрадывают население, недодавая полагающиеся по карточке продукты; крестьяне, приступившие к проведению земельной реформы, и Эдит Гартман, решившая играть в советской пьесе, получают письма с угрозами смерти; директора Грингеля пытаются убить — все провокации, все преступления, все безуспешные попытки повернуть вспять колесо истории планируются и финансируются извне, из западных зон. Бдительность советских людей кладёт конец омерзительной деятельности Зандера и его подручных.

Положение в Западной Германии лишь коротко затронуто в романе Собко. Писатель сумел в сжатой форме отчётливо по-

казать антинародную, агрессивную политику империалистов США и Англии, политику восстановления германского милитаризма. В этом смысле особенно выделяется небольшой эпизод, рисующий беседу Бертольда Грингеля со своим племянником Хорстом, бежавшим из Кельна, где ему угрожала мобилизация в воссоздаваемые американско-английскими агрессорами германские воинские соединения. Всё удивляет Хорста в Дорнау: и то, что его дядя стал директором завода, и отсутствие безработицы... «За всю свою сознательную жизнь он не видел города, где бы не было безработных. Возможно ли это на самом деле?».

Бертольд Грингель отвечает: «Пусть тебя не удивляет, что простым людям поручили управление большими заводами. Скоро ты убедишься, что им доверили целую страну».

В этих словах сформулирована одна из основных идей книги.

С сожалением приходится отметить недостатки в хорошем романе В. Собко. В числе их — относительная слабость художественной разработки образов людей труда по сравнению с представителями интеллигенции. Если несомненной удачей писателя является образ руководителя местной организации СЕПГ Макса Дальгова, страстного и непримиримого борца за прогрессивные идеи, сражавшегося в Испании в интернациональной бригаде; если перипетии психологических переживаний Болера и Эдит Гартман порой описаны даже слишком подробно, то крестьянин Эрих Лешнер, бывшие рабочие — бургомистр Лекс Мижаэлис и директор Бертольд Грингель, горняк Альфред Ренике — даны гораздо бледнее, схематичнее. Правда, в них верно найдено общее, типическое, но они скупомысленно отделены тем частным, конкретным, теми неповторимыми чертами, которые одни лишь могут создать у читателя ощущение индивидуального различия людей.

Невыразителен образ советской девушки, переводчицы Вали, которой вообще не отпущено автором почти никаких иных черт, кроме ненависти к немцам и неумения по-

нять, что «немцы немцам рознь». Преодоление этого заблуждения, пусть и рождённого горем, которое причинили ей гитлеровцы, автор не сумел показать убедительно.

Схематичен, недостаточно полнокровен образ жены капитана Соколова Любы. Работа её описана довольно подробно, но характера нет.

В некоторых эпизодах автор склонен разрешать созданные им коллизии нарочито усложнённым (а художественно — упрощённым) путём. Таковы неубедительные, бьющие на эффект, обстоятельства ареста Курта Зандера несущим букет цветов сержантом Кривоносом. Отдаёт приёмами детективного романа и эпизод с другим букетом, который с провокационной целью приносят на квартиру Соколова. Кстати, не веришь тому, что именно Валя, столь насторожённо относящаяся к немцам, на сей раз проявила излишнюю доверчивость в разговоре с доставившей цветы подручной гестаповца Зандера.

Последовательность развития действия ослабляется во второй половине романа, изобилующей скачками. Кое-где сообщаются результаты того или иного жизненного процесса без показа самого процесса. Такова, например, фраза: «Через два месяца Бертольд Грингель имел удовольствие сообщить полковнику Чайке, что на «Мерседесе» план выполнен». Как это произошло, писатель не показал.

Недостатки романа вполне исправимы. Вадим Собко сделал большое, полезное дело, правдиво и увлекательно рассказав советскому читателю о том, что произошло в Германии к востоку от Эльбы в период с мая 1945 года по октябрь 1949 года, когда была образована Германская демократическая республика и когда «люди жили под впечатлением сталинских слов и всюду чувствовалась уверенность в собственных силах».

Роман «Залог мира» — это новый успех советской литературы в благородном деле борьбы за мир.

Б. ЗАКС.

Единство замысла

Книга рассказов и очерков Сергея Антонова «По дорогам идут машины» обладает той цельностью, которая не так уж часто присуща сборникам рассказов. Это не просто собрание написанного писателем за последние годы, но и осуществление некоторого общего творческого замысла. Рассказы, собранные в этой книге, как бы объединены мотивом непрерывного движения вперёд, ощущением открытого простора жизни, неограниченных возможностей советских людей. И в судьбах героев, и в описаниях быта, природы раскрыт пафос этого движения к новому. И хотя герои книги Сергея Антонова, за очень редким исключением, прямо не говорят о великой цели, вдохновляющей их, но она — эта цель — явственно ощущается в их поведении, в отношении друг к другу, в их труде.

В рассказе, определившем заглавие книги, мотив движения развивается не только в сюжете, но и в описаниях. Вот как рисуется современная деревня в восприятии мальчика, от лица которого ведётся рассказ. «По нашей деревне день и ночь теперь ездят машины, возят камень на строительство электростанции, и на улице шум — всё равно как в Москве, на Красной площади». Ночью, проснувшись, мальчик слышит: «шумят машины, и изба тихонько дрожит, и ведро постукивает дужкой, и белый след окна проползает по стенке и по потолку». В сознании мальчика это движение не случайно связывается с Москвой, с Красной площадью, с ощущением большого простора жизни.

Сюжет этого рассказа может показаться традиционным: ещё одна из бесчисленных историй о задуманном и несостоявшемся бегстве мальчика из родного дома. Но на самом деле эта история раскрывает перед читателем новые черты нашего времени. Не смутная жажда приключений владеет Лёшкой, когда он решает бежать в свой районный центр — в город Остров. Ему хочется поскорее овладеть такой профессией, которая принесёт ему почёт и уважение. Примером для Лёшки служит доктор Харитон Иванович. О большом че-

ловечном труде этого скромного сельского врача говорится в рассказе скупко. Однако образ этот запомнится читателям. Но для Лёшки смысл труда Харитона Ивановича ещё не ясен: с ребячьей наивностью Лёшка воспринимает лишь внешние стороны профессии врача. «Работу-то я перетерплю. Зато докторам хорошо. Вот хоть Харитон Иванович: когда в Бабине кино, так ему кресло ставят».

Жизнь даёт правильное направление Лёшкиным стремлениям, заставляет по-новому задуматься о своём будущем. Лёшке поручают «ответственную работу» — сторожить на МТС, потому что кто-то повадился туда ходить ночью с неизвестной целью. И тут мальчик видит такой пример воодушевлённости человека трудом, что прежнее его представление о профессии изменяется. Лёшка начинает понимать, что самое важное — это не почёт и не слава сами по себе, а увлечённость любимым делом, стремление быть полезным. Ночным посетителем МТС оказывается фронтовик, инвалид Герасим, которому врачи запретили быть водителем, и который, таясь от всех, по ночам учился управлять машиной одной ногой. И Лёшка делает вывод: «Вот мне бы такое дело найти, которое меня бы, как Герасима, схватило... Тогда да! Тогда бы я не только в Остров — я бы до Москвы добёг».

Развитие сюжета рассказа приходит, казалось бы, к отрицательному результату: бегство не состоялось. Но в сознании героя произошли большие перемены, и этот положительный итог рассказа верен действительности, по-настоящему поэтичен. Мы не знаем, как скоро найдёт Лёшка себе дело, которое бы его «схватило», но убеждённости в том, что это обязательно произойдёт, нас не покидает, потому что всё в рассказе утверждает новое творческое отношение к труду, как норму поведения советских людей.

Книга открывается рассказом «Весна». Это один из самых поэтических рассказов С. Антонова, не случайно озаглавивший собой сборник писателя, изданный в 1947 году. Повествование ведётся от первого лица — колхозницы, бригадира комсомольской бригады Ньюши. Этот рассказ отмечен безыскусственностью, простотой Простота здесь — результат большого мастер-

ства писателя, умеющего через показ самых, казалось бы, будничных явлений жизни советских колхозников передать их непрестанный духовный рост, поэзию социалистической жизни.

Нюша сперва с недоверием — и это недоверие психологически тонко мотивировано в рассказе — относится к вновь избранному председателю колхоза Василию Карповичу. Думается ей: «парень он не самостоятельный» и «ничего в нём нет интересного». Но с первой же деловой встречи с ним — на ночном совещании бригадиров и трактористов, когда Василий Карпович начинает широкое наступление за новые показатели в труде, — отношение Нюши к нему меняется. Серьёзность, требовательность и воодушевлённость нового руководителя колхоза находят отклик в душе молодой колхозницы. «Не зерно ты, парень, а душу свою в землю кладёшь», — говорят Василию Карповичу колхозники, и эти слова передают самое главное в характере председателя — его творческое отношение к жизни, постоянную неуспокоенность, жажду нового и глубокую уверенность в том, что советский человек всего достигнет. Василий Карпович незаметно становится для Нюши самым дорогим человеком. Зарождающееся в её душе чувство к Василию прослежено С. Антоновым тонко, с большим тактом и верностью действительности; здесь видна основа духовной близости советских людей — их труд. Если в глазах ветеринарши Лёльки, мечтающей только об устройстве личного счастья, Василий Карпович неинтересен, потому что всегда одержим работой, то для Нюши как раз это свойство характера Василия Карповича и является самым привлекательным, побуждающим её работать по-новому, отдавая всю душу своему труду. Так рассказ о победном горячем труде людей показывает, «что есть в человеке главная красота».

Большим преимуществом Сергея Антонова как рассказчика является умение раскрыть характер своих героев в реальных поступках, в действиях. Как в рассказе «Весна» нельзя отделить тему любви от изображения картины весеннего сева в колхозе, так и в других рассказах Сергея Антонова всё личное, интимное непосредственно проверяется практикой, поведением человека. Этот способ изображения психологии героев и позволяет Сергею Антоно-

ву с большой правдивостью выразить непрерывность процесса роста людей, их движения вперёд.

Слитность картин природы, быта, труда с изображением характеров героев ярко раскрывается в рассказе «Утром». В историю одной любви, которую в ранний час ожидания восхода солнца рассказывает автору двадцатитрёхлетний Алексей, всё время включаются трудовые дела колхозников. История любви Алексея и Дуси оказывается в то же время историей борьбы колхоза за ветвистую гречку, историей о том, как на первых порах Алексей не поверил в затею Дуси, как осрамился в своём неверии, а затем «обратил внимание» на Дусю и, хотя терпел от неё насмешки, он от чистого сердца стремился помочь большому делу. Рассказывая о трудовой доблести и своём растущем чувстве к девушке, Алексей не раз замечает собеседнику: «Да тебе, наверное, слушать скучно? Ведь всё это сельскохозяйственная техника»... Но нельзя отделить эту «сельскохозяйственную технику» от истории жизни героев рассказа, не разрушив главного: чувство любви окрепло и выросло у этих людей на основе их участия в труде доблестном и бескорыстном.

Как рассказчик, С. Антонов умеет выбрать такие детали, которые, сохраняя свою конкретность и выразительность, вместе с тем имеют обобщающий смысл, позволяя понять и характер человека, и главное в судьбе его.

Тема единства личного и общественного интересно решена и в рассказе «Станция Щеглово».

Мимо станции один за другим идут товарные поезда — «шли хопёры, ледники, гондолы, пульманы, вагоны с надписью: «годен под хлеб», «жирные цистерны». Это непрерывное следование грузов как бы символизирует размах всенародной стройки. Но люди, работающие на станции, и особенно начальник её, Василий Иванович, живут по-старинке, неторопливо. Василий Иванович влюблён в проводницу пассажирского поезда Надю. Он всегда выходит встречать этот поезд, чтобы в короткие минуты стоянки перемолвиться с Надей словом. Он мечтает «поставить домик на две комнаты окнами в сад, да так, чтобы ветки в стёкла упирались, да взять бы Надю. Она согласилась бы, чего ей не

соглашаться». Но с Надей пока ещё не было прямого разговора.

Представление о счастье у Василия Ивановича узкое и мелкое, и это невольно обособляет его от окружающих людей. Даже в короткие мгновения свиданий с Надей сердечного, открытого разговора с нею у Василия Ивановича не происходит. Надя живёт иной жизнью, её интересуют стройки, новые люди.

Настоящая жизнь проходит мимо Василия Ивановича, даже когда он, помимо своего желания, оказывается втянутым в горячую работу диспетчера большой сортировочной станции. Новая работа порождает досаду, раздражение и обостряет мечту о тихом уюте. «Сбили меня с пути». — думает он и добивается возвращения в Щеглово, к своей мечте о садике, домике и Наде. Но у Нади свой путь в жизни. Узнав об этом, Василий Иванович «вдруг понял, как быстро мчится мимо него трудная, счастливая, большая жизнь, как старается она увлечь его с собой, а он, неизвестно почему, упираться». Концовка рассказа не оставляет сомнений в том, что Василий Иванович не останется в стороне от большой жизни.

О счастье трудовой творческой жизни, об открытых возможностях говорит С. Антонов в рассказе «В трамвае». В нём нет завёрнутого сюжета, как в других рассказах книги. Это зарисовка с натуры, но жилая по деталям, вмещающая большое жизненное содержание. Последним рейсом едет за завод паренёк Павел, только что прощавший мать и настроенный несколько рустно. Всего лишь несколькими фразами бменялись случайные спутники трамвая, о радость наполняет сердце Павла оттого, что «он, шестнадцатилетний парень в ватнике и вымазанных маслом штанах, свой реди этих людей, что все они считают его астоящим, нужным человеком». И пусть пока ещё не он, Павел, придумал скоромное кольцо для свёрл, не о нём написана статья в «Смене», но всё это идет, мечта имеет все основания стать действительностью.

Мягкая ирония, с какой написан этот рассказ, оттеняет собою большое содержание — чувство общности советских людей, область их в труде, перспективность этого труда.

Но рассказ «Сад», несмотря на то, что он, как и другие рассказы С. Антонова, отмечен и верно найденными деталями, и чёт-

кими портретными характеристиками, всё же менее удачен. В нём не достигнуто соединение двух линий сюжета: той, что связана с деятельностью изыскательской партии, и другой — колхозной. Автор порой сбивается в этом рассказе на очерковые описания. Непропорционально большое место занял в рассказе Боря Пучко, студент-практикант, персонаж во многом литературный.

В книгу С. Антонов включил и повесть «Лена», опубликованную в своё время, как и некоторые другие рассказы, в журнале «Звезда». Основанная на пристальном изучении действительности, эта повесть радует свежестью красок, разнообразием характеров, которые раскрываются в своём неповторимом индивидуальном своеобразии. Живо и увлекательно нарисованы в повести массовые сцены: колхозное собрание, беседа комсомольцев. Деловые вопросы и решения, касающиеся борьбы за высокий урожай, естественно переплетаются здесь с шуткой, весельем.

Большая удача писателя — образ Лены Зориной, новатора труда, подхватившей почин алтайских колхозников в борьбе за высокий урожай. С. Антонову удалось создать характер оригинальный и яркий. Лене не свойственны покладистость, спокойствие. Пытливая, настойчивая, она всегда выступает зачинщицей новшеств. А начав новое дело, Лена уже никогда не отступает от поставленной цели.

Но, быть может, характер Лены проявился бы ещё с большей правдивостью, если бы и другие герои повести были написаны выразительнее. И хотя в повести есть такие колоритные фигуры, как кузнец Никифор, бригадир Мария Тихоновна, дед Анисим, всё же ни один из них не достигает той степени художественной законченности, которая присуща образу Лены. Особенно не завершён образ председателя колхоза, коммуниста, бывшего фронтовика Павла Кирилловича. Писатель вправе был, рисуя этот образ, порой подчеркнуть и комические стороны, вроде привычки председателя придавать своему лицу грустное выражение, как только он садился в президиум, или его манеру заранее писать речи ораторам. Но самое главное — стиль, методы руководства колхозом показаны противоречиво, сбивчиво. То ли это настоящий рачительный хозяин, то ли это службист, который и шагу не шагнёт, если нет рас-

поряжения свыше, — остаётся неясным для читателя. Конечно, бывают председатели, что называется, ни рыба ни мясо. Но в таких случаях очень скоро вступают в действие живые источники критики снизу, а в повести С. Антонова авторитет Павла Кирилловича непрекаем. Замысел этого образа был, видимо, неотчётлив, расплывчат.

Если в рассказе «Весна» пример Василия Карповича порождает в людях ответное стремление работать лучше, вкладывая всю душу в труд, — то в повести «Лена» главная героиня, в сущности, остаётся одинокой. У неё есть помощники, но нет последователей. Правда, в конце повести мы узнаём, что хотя опыт Лены из-за стихийного бедствия и не дал положительных результатов, в других колхозах метод, за который она боролась, использован с большим успехом. Однако это сообщение никак не возмещает отсутствия в повести показа массового движения новаторов, и всё пережитое Леной остаётся, главным образом, фактом её личной биографии.

В книге опубликован большой очерк «Три тысячи девятнадцатая морская» — о передовиках-нефтяниках, которые по своим производственным результатам уже вступили в коммунизм. Этот очерк основан на тщательном изучении жизненного материала, он правдив и содержателен. Образ бригадира Мирзы Бедирханова подкупает обаянием, чистотой, высокой интеллектуальностью. Подать Бедирханову и другие герои очерка — люди высокой цели, истинные революционеры в труде. Превосходно показан новый пейзаж нефтепромысла, та социалистическая техника, на основе которой воплощаются в жизнь небывало высокие планы добычи. В очерке утверждается

торжество социалистических методов труда, воли и разума свободного советского человека.

В последнем рассказе книги «Дальние поезда» как бы соединяются две главные темы всего сборника — тема непрерывного движения нашего общества вперёд к коммунизму и тема человека — хозяина своей страны. На курорт едет старый разметчик завода Иван Афанасьевич. Сначала он чувствует себя обиженным из-за того, что на заводе смогли обойтись без него, незаменимого мастера. Но постепенно открывающаяся перед ним в пути картина умного, хозяйского труда советских людей разных профессий наполняет его душу радостью: «не беда, а счастье в том, что перестал он быть исключительным человеком».

Книга рассказов и очерков Сергея Антонова — серьёзное явление современной литературы. В жанре, который пользуется любовью и вниманием читателей, имеет богатейшие традиции в прошлой нашей литературе, Сергей Антонов работает с большим успехом, совершенствуя мастерство, находя новые и оригинальные способы воплощения правды жизни. Так, совсем недавно был напечатан в журнале «Огонёк» (№№ 38, 39, 40, 41) рассказ писателя «Поддубенские частушки», в котором со свойственным С. Антонову лиризмом и мягким юмором воссоздана картина современной колхозной жизни, процесса объединения и укрупнения колхозов, активности рядовых участников, ощущающих себя передовыми борцами за счастье всех людей, за мир и братство народов.

Е. КОВАЛЬЧИХ

★

Неотвратимая воля истории

В романе азербайджанского писателя Мирзы Ибрагимова «Наступит день» описан Иран в годы, предшествующие второй мировой войне.

Это — многоплановый социально-бытовой роман. В нём показаны почти все классы и слои иранского общества в описываемый

Мирза Ибрагимов. «Наступит день». Роман. Перевод с азербайджанского А. Шарифа, литературно обработанный П. Лукницким. Журнал «Звезда», №№ 4, 5, 6, 7, 8 за 1950 год. Главный редактор В. Дружин.

период: крестьянство, рабочие, интеллигенция, крупная буржуазия, бюрократия, высшее офицерство, шах и шахский двор; описана грабительская «деятельность» английских, американских и немецких колонизаторов. Но в центре внимания автора постепенное нарастание революционной борьбы, сплочение прогрессивных, демократических сил страны.

Деспотический режим Реза-шаха Пехлеви привёл к невиданному обнищанию и

родных масс, сопровождался беспримерным подавлением демократических свобод, коррупцией и бесконтрольным произволом имущих классов и чиновничества.

Честным, готовым трудиться на благо народа, полным иллюзий юношей предстаёт перед читателями главный герой романа Фридун. «С какими надеждами, с какими светлыми ожиданиями ехал Фридун в деревню! Ему казалось, что здесь он зарабатывает денег на всю зиму. Помогая дяде Мусе, обеспечит и себя куском хлеба и потом будет учиться в университете». Но иллюзиям его суждено было рассыпаться в прах при первом же соприкосновении с действительностью. Фридун видит глубокую любовь крестьянина к труду, к земле-кормилице, но он видит и его отчаяние: ведь земля принадлежит помещикам, и львиную долю урожая забирает тот же помещик!

Фридуну сначала кажется, что нужно уничтожить отдельные порочные явления, с которыми ему непосредственно пришлось столкнуться. Он видит свалку мусора, в которой копошатся дети; веки ребят обложены гноем, съедены трахоймой. «Нужно уничтожить эти свалки», — думает Фридун. Но в тот же день ему пришлось быть свидетелем сцены, потрясшей его: помещик Хикмат Исфагани, увеличивший вдвое оброк, приказал высечь дядю Мусу, решившегося протестовать. Фридун не мог не заступиться и сразу же оказался за решёткой. Покупив жандарма, он бежит в Тегеран. Так начинается путь революционера.

Тегеран. Стамбульский проспект. Крики и призывы нищих, коробейников, газетчиков:

- Подайте на хлеб!..
- Американские чулки!..
- Новая речь Геббельса!

В этих трёх строчках лаконично, но верно охарактеризован Иран в предвоенные годы: народ обнищал, экономика страны полностью подчинена контролю иностранного капитала, властители страны всё больше ввязываются в авантюры немецко-фашистских претендентов на мировое господство.

Картины нищеты и забитости народа меняются в романе изображением шахского дворца, гнусных придворных интриг; автор показывает, как иранские марионет-

ки — шах, министры, помещики, купцы и чиновники готовы трижды за день предать свой народ поочередно — англичанам, американцам и немцам, и всем им вместе, лишь бы укрепить своё положение, лишь бы получить покрупнее подачку и сохранить тёплое доходное местечко.

«Кипучая» и «разносторонняя» деятельность иностранных агентов в Иране — всех этих томасов, гарольдов и фон-вальтеръв показана с большой разоблачительной силой. Вот дёрнул за верёвочку английский посол и представитель англо-иранской нефтяной компании Томас — и лебезящий перед ними деспот-марионетка приказывает своим министрам: «В три дня определите с доверенными лицами господина посла, где расположить интересующие его военные объекты!» Дёрнул за верёвочку американский посол и советник по делам торговли Гарольд — и царственная марионетка величественно отдаёт распоряжение: «Даю вам пять дней... Необходимо с представителями господина посла составить основы соглашения о научно-исследовательском характере добычи нефти в северных районах нашего прекрасного государства!». Потянул за верёвочку эмиссар фюрера фон-Вальтер... Но мы знаем, чем это кончилось не только для Реза-шаха, но и для самого фюрера.

Разносторонне дан автором образ помещика Хикмата Исфагани. В своих поместьях, перед безропотными крестьянами, он прост и прям, как палка, которой он приказывает бить несчастных. Но в Тегеране он ведёт более «тонкую» политику, занимает более «хитроумную» позицию. Это один из тех, кто в момент подъёма освободительного движения примазался к нему, чтобы на революционной волне подняться к власти, а потом изменить народу. «...Продавая направо и налево интересы Ирана, он умел при этом сохранить репутацию «патриота»! И Хикмат Исфагани наживался в любой обстановке, он богател, поочередно прикидываясь то «сторонником умеренной политики», то «ирано-филсом», то «борцом против реакционных кругов». Иногда он шёл даже на союз с прогрессивными силами, чем запугивал своих противников в своём же собственном лагере и заставлял их идти на уступки, а исподволь взрывал изнутри демократическое движение или же в подходящий мо-

мент с изумительным вероломством предавал своих прогрессивных союзников и призвал уничтожать их силою оружия».

Таковы люди, вершащие судьбу иранского народа. Таков Иран — полуколония империалистических держав. И таков Тегеран с его лачугами бедняков и дворцами вельмож. Но есть в Иране сила, которая пока ещё дремлет. Сила эта — иранский пролетариат. Мирза Ибрагимов рисует пробуждение этой силы.

В Тегеране Фридун снимает комнату у рабочего-железнодорожника Серхана. Он видит тяжёлую, безрадостную жизнь семьи рабочего. «Будь проклята такая жизнь!» — говорит Серхан.

И в городе, и в деревне Фридун слышит одни и те же проклятья, и он задумывается над вопросом: что же надо сделать для того, чтобы люди были счастливы? Он знает: есть на севере, за Араксом, мир свободы и счастья, где человек — творец и хозяин своей жизни. Надо больше узнать об этой стране, надо узнать, какой путь прошли рабочие этой страны, прежде чем обрели своё счастье. И Фридун вскоре узнаёт об этом пути. Он прочитал о нём в книге, напечатанной в Баку старым арабским алфавитом. На титульном листе стояло имя автора — «Максим Горький», а немного ниже — «Мать».

«Нет, надо изменить эту жизнь!» — вот первая мысль, которую пробудила в Фридуна «Мать» Горького. И Фридун стал читать эту чудесную книгу своим друзьям.

Страницы романа Мирзы Ибрагимова, посвящённые созданию рабочей организации, едва ли не самые сильные. Автор шаг за шагом прослеживает процесс объединения передовых рабочих под руководством Фридуна, Серхана. Среди соратников Фридуна — персы Керимхан Азади и Риза Гахрамани, армянин Арам Симонян, курд Ахмед. У каждого из них своя судьба, свой жизненный путь. Но их объединяет общая цель и общая борьба. Начало борьбы — выпуск пламенных листовок, пропагандистских брошюр. Печатное слово помогает создать массовую основу революционного движения. Но создание ячеек, выпуск разоблачительных листовок и брошюр — это только первые шаги. Надо ясно осознать цели борьбы. «Разве мы осознали, чего хотим? За какую власть боремся? Пока мы говорили только о разрушении существующего строя». С этими словами

обращается Фридун к своим друзьям. И тут опять на помощь приходит книга. «Друзья мои! Это «Вопросы ленинизма» товарища Сталина. Читаешь эту книжку, и кажется: между строк просвечивает солнце и освещает нам путь. До сих пор по этому трудному пути мы продвигались ощупью, впотьмах... В наш век единственное знамя свободы всех народов — это ленинское и сталинское учение!». Это взволнованные слова агитатора. Мирза Ибрагимов убедительно показывает впечатление, произведённое великой книгой на рабочих. Жена Серхана, Фериди, говорит: «Теперь уж я ничего не боюсь, Серхан, милый. Ты только подумай, кто стоит за нами. Мне кажется, что Сталин здесь, в самом сердце у меня. И говорит: будь смелой, не бойся, ты на правильном пути!..»

...Тяжёлый путь борьбы пройден Фридуном и его друзьями. Многие товарищи погибли, многие заточены в темницы. Оставшиеся на свободе продолжают начатое дело, укрепляют революционную организацию. Реакция нагнетает. Она собирается нанести демократическому движению сокрушающий удар... Но планы превращения Ирана в плацдарм немецко-фашистского наступления на Советский Союз сорваны: осенью 1941 года, предупреждая нападение Гитлера с юга, в Иран вступают советские войска. Насмерть перепуганные реакционные иранские власти, спеша перестраховать себя, освобождают политических заключённых. Хикмат Исфагани и ему подобные торопятся перекраситься в ярых сторонников демократии. Они способствуют падению Реза-шаха, чтобы захватить власть в свои руки. Однако широкие слои иранского народа настойчиво требуют демократизации страны. Работа Фридуна и его друзей не пропала даром: лучшие сыны иранского народа приступают к созданию подлинно демократической партии — Народной партии. До этого исторического момента и доводит своё повествование Мирза Ибрагимов. К сожалению, события осени 1941 года (в том числе и подготовка к созданию Народной партии) показаны автором слишком бегло, без той глубины и художественной убедительности, которые характерны для лучших страниц романа.

Именно эта беглость повествования, дающая себя знать в некоторых случаях, — один из главных художественных недостатков романа «Наступит день». Автор:

охвачен большой материал, им приведено в движение множество действующих лиц. И порою он начинает подгонять своих героев, форсирует события, чтобы успеть дотянуть до конца все сюжетные нити повествования. Иногда, впрочем, эти нити обрываются. Так, читатель ничего не узнаёт о дальнейшей судьбе дочери дяди Мусы Гюльназа, насильственно приведённой в один из тегеранских публичных домов. Скороговоркой говорит автор и о некоторых других событиях (например, о смерти Нияза — сына дяди Мусы).

М. Ибрагимов создал целую галерею реалистических, полнокровных образов — как положительных, так и отрицательных. Но в ряде случаев недостаточная чёткость замысла predetermined неудачу его художественного воплощения. Приведём наиболее характерные примеры. Автор решил показать, как некоторые честные представители высшего офицерства, преодолевая классовые предрассудки и иллюзии, приходят в лагерь подлинных демократов. Таким должен был быть один из главных действующих лиц романа сертиб (полковник) Селими. Но образ этот не показан в развитии, в движении.

Сначала сертиб Селими полон безграничной и непоколебимой веры в шаха, хотя и возмущён режимом, господствующим в Иране. Он говорит о некоей стене, которая существует между народом и шахом, — придворные, министры, бюрократы. Стоит, по его мнению, уничтожить эту стену — и шах, узнав правду о положении народа, облагодетельствует его. И в это верит Селими на протяжении почти всего романа — до встречи с шахом. Но, наконец, сертибу удаётся поговорить с шахом, и он убеждается в ложности своих иллюзий. Тут он сразу же становится последовательным демократом, готовым включиться в революционную борьбу рабочих. Этот переход мало и плохо подготовлен романистом.

Недостаточно чётко обрисован и образ дочери Хикмата Исфгани — Шамсии. Её колебания — от симпатий к демократам до честолюбивых мечтаний стать любовницей наследного принца — психологически недостаточно мотивированы. Читатель каждый раз видит лишь результат развития образа, но процесс этого развития остаётся от него скрытым. Неудача эта тем более досадна, что автору несомненно удалась другие женские образы. Так, в об-

рисовке Фериды он сумел достигнуть большой психологической тонкости, смог найти многие конкретные художественные детали, характеризующие и раскрывающие этот образ.

Хочется отметить также элементы риторики и декларативности, заметные как в речах героев, так и в авторских описаниях. Мирза Ибрагимов, нам кажется, идёт по линии наименьшего сопротивления, начиная некоторые главы публицистически-обзорными вступлениями.

Мирза Ибрагимов далеко ушёл от сковывавших некогда развитие азербайджанской литературы обветшалых восточных традиций. Язык романа «Наступит день» в основном точен, лаконичен, выразителен. Реализм в раскрытии образов и в построении сюжета вытеснил традиционные восточные штампы и условность. Автор умело и умеренно пользуется восточными поговорками и афоризмами, специфическими оборотами для речевых характеристик героев и для создания «местного колорита». Но всё же некоторые, если можно так выразиться, рудименты восточной манерности стиля и мелодраматичности ситуации в романе ещё заметны.

...Обстановка, создавшаяся в сегодняшнем Иране, всё больше и больше напоминает времена, описанные М. Ибрагимовым. Вновь попораны демократические свободы, вновь резко усилилась реакция, попираются кровные интересы народа, особенно национальных меньшинств. Иран в ещё большей степени, чем раньше, превращён в страну террора и бесправия. Правда, нет Реза-шаха и фон-Вальтера. Но зато гарольды и томазы с ещё большим рвением дёргают за верёвочки, к которым привязаны их услужливые иранские марионетки.

Фридун и его друзья знали, что их первая победа — лишь начало большого и трудного пути борьбы и испытаний: «Фридун был убеждён, что если даже поднятое ими алое знамя временно будет смято, всё равно это не спасёт реакционеров, грязных дельцов, деспотов. Историей они бесповоротно обречены на гибель. Будущее принадлежит труду и свободе. Да, такова неотвратимая воля истории!»

«Наступит день» Мирзы Ибрагимова — роман о неотвратимой воле истории.

Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ.

Необходимое и излишнее

На фоне общего расцвета советской художественной прозы отстающим жанром является рассказ. Этот вопрос, ставший предметом широкого обсуждения, глубоко волнует советских писателей, которые пытаются найти причины этого отставания. Так, например, Б. Полевой считает основной причиной этого явления недостаток внимания к рассказу со стороны издателей и критиков. Мне думается, причина таится глубже. Она в самих авторах, в их восприятии реального нашего бытия. Современная действительность чрезвычайно сложна, многообразна и величава. Её легче показать в экстенсивном развёртывании сюжета в романе, в повести, чем в рассказе. Рассказ требует интенсивного построения сюжета. Начало и конец рассказа должны быть логически крепко связаны в узел одного какого-нибудь события. Труден отбор такого события, которое определяло бы наиболее значительный момент в судьбе героя рассказа и заключало бы в себе наиболее реальные и типичные для нашей действительности явления.

Актуальным для современного советского читателя может быть и рассказ, сюжет которого взят из прошлого. Но и мы, советские литераторы, и наши читатели, естественно, тяготеем к современной тематике. Она даёт нам такие убедительные прогнозы нашего будущего, какие не могут дать сюжеты, взятые из прошлого. Но рассказ из прошлого, так сказать «отстоявшегося» быта тоже труднее написать, чем повесть. Творческое напряжение автора в повести распределяется более спокойно и равномерно. Там возможно пояснить картину быта подробным изложением судьбы не только центрального, но и второстепенных героев произведения. В рассказе обязателен строгий отбор самых необходимых сведений об этих вторых лицах. Рассказ требует непременно чёткой композиции, динамики в развёртывании сюжета и предельной ясности изложения. Всё это — достижения, требующие большого труда. Великие русские писатели никогда не шли по линии наименьшего сопротив-

ления. Именно им принадлежит заслуга в создании непревзойдённых образцов этого боевого и чрезвычайно актуального жанра.

Если замысел художественного произведения хорошо выношен, он непременно выльется в тот жанр, который больше всего ему соответствует, который наиболее целесообразен для воплощения данного замысла. Беда в том, что некоторым даже талантливым писателям подчас не хватает умения точно осознать собственный творческий замысел. В результате возникает аморфный, расплывчатый сюжет, который особенно пагубен для короткого литературного повествования. Это ясно сказалось в рассказе Е. Шереметьевой «Посёлок «Победа».

Этот рассказ — не первое произведение писательницы. В 1946 году был опубликован её роман «Вступление в жизнь», который представлял собой попытку навязать советскому читателю гнилую и тлетворную мораль эксплуататорского общества. Эта фальшивая, идейно порочная книга, глубоко чуждая духу советской литературы, была подвергнута в нашей печати резкой критике.

Основной сюжет нового рассказа заключается в следующем. Проект железнодорожного посёлка, представленный молодым архитектором Ириной Струниной, отвергнут жюри конкурса. Принят проект Семёна Бирюка, товарища Ирины по академии. Струнина глубоко огорчена. Она искренно считает свой проект художественно более сильным, а проект Бирюка для неё всего лишь «незатейливый стандартик». Тем не менее, когда Бирюк предлагает ей принять непосредственное участие в осуществлении его проекта, Ирина соглашается. Реализуя проект своего товарища, Струнина убеждается, что её собственный проект непрактичен, а проект Бирюка отвечает бытовым потребностям и художественно гармонирует с местностью. Ирина сознаёт, что решение жюри конкурса было правильным. На строительстве посёлка молодой архитектор убеждается в преимуществе такого проектирования, которое было бы связано с конкретными требованиями жизни и отвечало бы им, — перед планированием кабинетным, оторванным от практики, от реальных запросов советских людей.

Е. Шереметьева. «Посёлок «Победа». «Звезда» № 3 за 1950 год. Главный редактор В. Дружин.

Этот основной сюжет свеж, актуален и достаточно глубок. Для рассказа его было бы достаточно. Но Е. Шереметьева решила его расширить ещё одной сюжетной линией. Автор вводит в рассказ новую тему — внезапное усыновление Ириной девятилетнего сироты Андрюши из детдома. Это — «трудный мальчик», по определению завуча детского дома, Марьи Никитичны. Его мать погибла в плену. Андрюша попал в детдом прямо из фашистского лагеря. Можно ли такую сложную детскую судьбу механически вклинить в самостоятельный, совсем иной сюжет? Ясно, что от насильственного, надуманного, художественно неоснованного вторжения «трудного мальчика» сразу пострадала начальная стройная композиция рассказа «Посёлок «Победа». Рассказ сделался растянутым, рыхлым.

Е. Шереметьевой вредит отсутствие строгого контроля в отборе основного, главного, неумение отбрасывать лишнее, затемняющее, уводящее от развития основной тематической линии. Например, зачем понадобился в произведении нелепый рассказ паренька в «камере хранения ручного багажа»: «Дядя Антон очки разбил, — по правде не разбил, а они упали у него в борщ горячий — только с печи — и лопнули. Так вот он меня и не пускает — заставляет накладные писать».

Писательница нашла яркие реалистические краски для описания природы: «Оранжевый отблеск на верхушках деревьев погас, и небо в просветах будто слиняло. Ветер колыхнул потускневшие листья, и лес

затих. Было тепло. Погода ещё стояла ясная, по-летнему жаркая, но тёмный оттенок отживающей зелени, запах сена и поздних цветов и особенная тишина уже напоминали об осени».

Но в изображении главной героини рассказа подчас ощущается слащавость, например, в описаниях её взаимоотношений с мужем, в том, как автор любит Ириной. Е. Шереметьевой удалось раскрыть душевные богатства героини рассказа, показать её внутренний облик. Зачем же писательнице понадобились «конфетные» прикрасы, которые снижают значительность образа?

Необходимо автору отделаться от стилистической манерности, иногда прорывающей реалистическую словесную ткань рассказа. Например: «Во входной двери заворочался ключ»; «во всех движениях его большого тела сквозила терпеливая грусть»; «...мысли не толкаются, а идут стройно, и даже голос стал звучней»; «она не успела побороть ещё топорщившееся самолюбие»; «она чуть было не взорвалась».

В письме А. П. Чехова к Е. Шавровой есть такие строки:

«В ваших повестях есть ум, есть талант, есть беллетристика, но недостаточно искусства. Вы правильно лепите фигуру, но не пластично. Вы не хотите или ленитесь удалить резом всё лишнее. Ведь сделать из мрамора лицо, это значит удалить из этого куска то, что не есть лицо».

Е. Шереметьевой необходимо научиться удалять из своего литературного материала «то, что не есть лицо».

Л. СЕЙФУЛЛИНА.

★

О правде вымысла

В этой книжке тринадцать маленьких рассказов. Самостоятельные в сюжетном отношении, они связаны общностью героев и места действия. Из рассказа в рассказ переходят лесорубы Юхан большой и Юхан маленький, прораб Максим Максимыч, секретарь парторганизации Холодеев, бригадир землекопов Елизавета, начальник строительства Синицын и многие другие. Вместе с ними мы движемся через болота, леса, песчаные дюны — к Ле-

нинграду. Идёт строительство трассы ленинградского газопровода. Перипетии этого строительства, радости и тревоги его участников и руководителей и составляют содержание книжки.

Её основа жизненно достоверна. Рассказы, собранные в ней, — это, по сути, очерки; значительная часть из них повествует о том, что, повидимому, в действительности происходило на строительстве. И всё же мы не воспринимаем их как непосредственное отражение жизненных фактов. Впечатление литературной условности не покидает нас на протяжении всей книжки, раз-

Иосиф Колтунов. «Наступающий день». Рассказы. Редактор И. Кратт. «Советский писатель», Л. 1949.

рушая фактографическую конкретность описаний и характеристик.

Есть в книжке рассказ о фотографе. Замыкая её, он служит тому, что формалисты когда-то называли «обнажением приёма». Действующий в этом рассказе фотограф — литературный «заместитель» автора. Рассказывая о нём, автор рассказывает о себе. Самый замысел и творческие установки книги передаются нам под видом сообщения о творческих принципах фотографа Лесохина.

Лесохин возвращается в те места, где ещё недавно шло строительство. Там, где ещё вчера были километры взрытой, вздыбленной земли, теперь стоят «опрятные стандартные домики — оранжевые, голубые, розовые». Их стены украшены лесохинскими фотографиями, — живая летопись строительства заключена в этих снимках. «Вон изыскатели идут по снегу с нивелиром, а эти ребята с рейками в руках и топорами за поясом — только что демобилизованные солдаты, местные жители — большой и маленький Юханы; снимок слева — это ленинградцы, приехавшие на воскресник; справа — Люба, экскаваторный машинист; ниже — Виктор сваривает трубы, ещё ниже — газопрессовая колонна подходит к хутору Иынаными; а вон Елизавета стоит на бруствере траншеи — только что подсчитали, что она выполнила три нормы».

Сюжеты этих фотографий — это и есть сюжеты отдельных рассказов, составивших книгу. И поэтому, когда Лесохин, глядя на свои фотографии, думает: «Вот так мы и работали», мы понимаем — это сам автор книги хочет, чтобы мы так поняли и оценили его стремление сохранить память о трудовых подвигах строителей газопровода.

Итак, задача книги — дать портретную галерею передовиков строительства, развернуть перед читателем киноленту строительных будней. Такова задача — но не таков результат. Книга И. Колтунова не стала той летописью социалистического опыта строителей газопровода, какой её задумал автор, — не стала, ибо слезная хроника стахановского труда и новаторских дерзаний заслонена в рассказах И. Колтунова пёстрым сором мелочного сочинительства. Лесохин — он просто фотографировал то, что давала ему жизнь. Колтунов же пошёл путём вымысла, — и это было бы и законно, и плодотворно.

если бы вымысел его был верен правде действительности. К сожалению, так не случилось.

В рассказе «Под железной дорогой» И. Колтунов вспоминает один из примечательнейших эпизодов строительства. В течение одной ночи строители пробили под полотном железной дороги тоннель — пробили в труднопроходимых породах, проявив высокие образцы технического мастерства, смелости, инициативы. Рассказ об этой вдохновенной и умной работе таил в себе поистине неисчерпаемые возможности. Но автора книги заинтересовали не эти возможности. Другие темы отвлекают его, — отвлекают настолько, что то, во имя чего, собственно, писался рассказ — героика замечательной ночи, — оказывается подавленным, забитым другими мотивами.

Мы узнаём из этого рассказа и о мамаше Тамбрикас, приютившей у себя обоих Юханов, и о нравах, царящих у неё в семье, и о её дочери Линде, и о тех курьёзных обстоятельствах, при которых Линда разыскала Юханов после того, как они однажды вздумали не явиться ночевать к мамаше Тамбрикас. Об этой встрече Колтунов пишет с особым удовольствием: Линда застигла их купающимися в холодном ручье! Вот тогда-то, сидя по горло в ледяной воде и посинея от стужи, Юханы и рассказали Линде о том, как этой ночью был пробит тоннель под железной дорогой. Но о многом ли расскажешь в таких условиях, особенно если учесть, как медлителен и некрасноречив Юхан большой и как мешает ему своей суетливой манерой заскакивать вперёд Юхан маленький? Удивительно ли после этого, что о подвигах знаменитой ночи читатели узнают так мало, так обидно мало!

Весь этот рассказ являет собой выразительнейший пример утери писателем в процессе развития повествования правильных идейных ориентиров. Растянутый бытовой анекдот — вот что получилось из этого рассказа у Колтунова, лишь в самом финале дающего выход волнующей героической теме победоносного труда советскими людьми. Тема эта возникает в рассказе наспех, так и не успев, по существу, развиться.

Так же смещены, перепутаны все плоскости и в рассказе «Дело Дюжакова». Его основой должна была стать тема воспитательной работы парторганизации строи-

тельства, тема критики и самокритики, тема преодоления косности, инерции, отставания, тема разоблачения носителей этих консервативных начал на строительстве. Однако в рассказе подробно описано множество разных вещей — и таких маловажных, как, например, цвет волос секретарши Верочки или её суждения о достоинствах своего лица, и таких существенных, как, например, подъём затонувшего в болоте экскаватора, — но всё это одинаково не имеет почти никакого отношения к тому, что должно было бы явиться сержневой темой рассказа. На всём его протяжении секретарь парторганизации строительства Холодеев готовит очередное заседание партбюро, посвящённое обсуждению «дела Дюжакова». Оказывается, однако, что усилия Холодеева были напрасны: рассказ кончается, а партбюро так и не собирается. Жаль: может быть хотя бы на заседании читатели узнали, наконец, в чём же, собственно, состояло пресловутое «дело Дюжакова». Ведь другого случая, чтобы разобратся в нём, автор читателю не дал, как не дал он случая познакомиться и с воспитательной и организаторской работой Холодеева. Ни в «Деле Дюжакова», ни в других рассказах книги нет ни одного момента, когда можно было бы наглядно увидеть направляющую роль партийной организации в развитии строительства; ни одного момента, когда бы мы увидели коммунистов строительства за решением насущных вопросов своей жизни, своего труда.

Все эти ошибки объясняются тем, что Колтунов не умеет сосредоточиться на главном, то и дело отвлекается в сторону, фиксирует мелочи в ущерб основному, решающему («Первая встреча», «Чайная у дороги»). Возможности спокойно и просто развить материал самой действительности он часто предпочитает оригинальничание, литературщину. Именно это и губит его книгу. Найдя своих героев в самой гуще действительности, Колтунов перенёс их на страницы рассказов, придав им налёт литературной условности, подчас нарочитости. Он словно бы думает, что сами по себе его герои и их дела окажутся недостаточно занимательными, и поэтому всё время ищет для них ракурс позымысловатее, трактовку пооригинальнее.

Чужачества привлекают подчас писателя в его героях больше, чем их работа, чем

их внутренний мир. Так «сделан», например, образ старого прораба Максима Максимиича. История о том, при каких обстоятельствах он получил коня, рассказана живее и подробнее, чем те эпизоды, в которых старик выступает как мастер своего дела, как руководитель важного участка на строительстве. Мы ещё видим в этих эпизодах, как он наблюдает за работой приезжих ленинградцев («Вместо воскресения»), но совсем не видим, как он сам работает, не слышим и аргументов, при помощи которых ему удаётся уговорить остаться на строительстве ленинградскую ткачиху Лебедеву. В итоге перед нами возникает занятный силуэт беспокойного, комически тщеславного, ещё более комически влюблённого в конский спорт старика. Но живой души советского патриота, энтузиаста-строителя, его замечательного опыта, его своеобразных, десятилетиями выношенных взглядов и убеждений, мы почти не видим, почти не чувствуем.

То же преобладание внешней характеристики над раскрытием внутреннего мира сказывается и в образах Юхана большого и Юхана маленького, написанных ярко, колоритно, но как бы под диктовку Эльмара Грина, — и в образе начальника строительства Сеницына. Его автор старательно ставит на пьедестал, окружает ореолом почтительных эпитетов и многозначительных восклицательных знаков. Но Сеницын всё же не живёт, не действует в книге, — он лишён главного, что могло бы сделать его образ по-живому осязаемым и симпатичным: поступков, мыслей, наглядно раскрывающих его достоинства как руководителя.

В этом смысле Сеницын разделил участь Холодеева. Говоря об этом своём персонаже, Колтунов тоже не пожалел рекомендаций и авансов, но оказался удивительно скуп на показ, на изображение секретаря парторганизации в той жизненной сфере, которая единственно могла способствовать достойному раскрытию его качеств как партийного руководителя. Только однажды мы видим Холодеева действующим. В рассказе «Первая встреча» Холодеев заступает перед Сеницыным за увольняемую заведующую детскими яслями Уклеякину. И сколько многозначительности, сколько нарочитой патетики внесено в рассказ об этом крохотном по своему объективному значению эпизоде!

Однако, если представить себе, какие острые и сложные вопросы приходится в действительности решать начальнику и партийному руководителю крупного государственного строительства, с какой страстью и прямотой иной раз эти вопросы обсуждаются в жизни, — делается совершенно очевидным, насколько мелок, незначителен этот эпизод, несмотря на все настойчивые попытки Колтунова раздуть его «принципиальное значение».

Лесохин — если продолжить самим писателем подсказанное сопоставление автора с его героем — наверняка прошёл бы мимо многих из тех ситуаций и явлений, которые нашли себе место в рассказах книги. И поэтому, хотя среди них есть и удачные («Пожар», «Репейников, Демидов и Люба»), в целом книжка кажется беднее и мельче, чем те дела и люди, зеркалом которых она должна была бы явиться.

Не то плохо при этом, что автор «Наступающего дня» не пошёл по пути точного документального очерка, поплававшись художественным вымыслом развить и обогатить материал, непосредственно почерпнутый в действительности. Большинство советских писателей кладут в основу своих произведений впечатления и факты, ко-

рые им подсказала жизнь. Но, пользуясь этими фактами, они художественно осмысливают их, обогащая впечатления от единичных явлений действительности всем многообразным опытом борьбы нашего народа за коммунизм, поднимают частное до уровня типического, в каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном образе стремятся раскрыть наиболее существенные закономерности нашего развития. Беда И. Колтунова в том, что он не пошёл по этому пути. Вымысел, которым он хотел обогатить свои впечатления, вынесенные со строительства газопровода, не содержит в себе той большой правды жизни, которой прежде всего ищет в литературе советский читатель. Он художочен и искусственен, этот вымысел. Видимо, не глубокое, а поверхностное и беглое знание действительности питало его.

Того, что удалось Колтунову увидеть на трассе газопровода, оказалось мало для книги об этом газопроводе. Книга не стала полноценной творческой удачей писателя. Этому помешала, к сожалению, та нарочитость, которая в целом ряде случаев не дала пробиться подлинной правде жизни в его рассказах.

Е. СУРКОВ.

★

Новая книга о Белинском

Выпущенный Институтом мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР сборник статей «Белинский историк и теоретик литературы» должен был по замыслу его составителей широко осветить роль великого критика в истории русской литературы, показать то, чем ценно теоретическое наследие Белинского для нашей современности. Руководствуясь указаниями Ленина, назвавшего Белинского в числе предшественников русской социал-демократии, составители и участники сборника стремились показать борьбу критика за реализм и народность в литературе, против крепостничества и обскурантизма.

Сборник открывается статьёй А. Мясникова «В. И. Ленин о Белинском», в кото-

«Белинский историк и теоретик литературы». Сборник статей. Ответственный редактор Н. Л. Бродский. Издательство Академии наук СССР, М.-Л. 1949.

рой не только приводятся знаменитые высказывания Владимира Ильича о Белинском, но и обстоятельно разъясняется глубочайшее принципиальное значение, которое эти высказывания имеют для понимания литературно-критической деятельности Белинского. Эта статья вводит читателей в круг идейных проблем, осветить которые призван сборник.

К сожалению, далеко не все авторы статей сборника справились с поставленной задачей, не все подошли к изучению творчества Белинского с большевистской страстностью и теоретической глубиной, которой вправе были ждать от них читатели.

В первую очередь этот упрек может быть отнесён к авторам центральных и по объёму и по своему тематическому значению статей — А. Лаврецкому и А. Цейтлинну.

Первый из них в статье «Историко-литературная концепция Белинского, её предшественники, последователи и критики» попытался выяснить, чем Белинский обогатил науку о литературе, установить дальнейшее развитие его взглядов Чернышевским и Добролюбовым, а также выяснить, в каком направлении шло извращение эстетики Белинского в буржуазном литературоведении. Для решения этой задачи А. Лаврецкий сопоставляет эстетические воззрения Белинского со взглядами его предшественников в критике — Марлинского, Н. Полевого, Надеждина, Веневитинова, устанавливает сходство литературных взглядов Пушкина и Белинского, анализирует высказывания Чернышевского, Добролюбова, критикует работы по истории литературы буржуазных литературоведов Милокова, Галахова, Пыпина.

В результате такого исторического экскурса А. Лаврецкий приходит к выводу, что главной заслугой Белинского явилось создание представления о русской литературе, как целостном и национально-самобытном процессе, создание теории о двух направлениях, двух началах в русской литературе — сатирическом и риторическом. Именно движения к национальной самобытности в развитии русской литературы и не заметили предшественники великого критика, ошибочно пытавшиеся создать представление о русской литературе до Белинского, как о литературе, в которой якобы имеется много явлений подражательности иноземным образцам.

Этими общими, хотя и существенными определениями А. Лаврецкий и ограничивается в своём истолковании историко-литературной концепции Белинского. Подобное описание взглядов критика мало что даёт для раскрытия их идейной направленности. Сказать о Белинском только, что он защищал принцип самобытности, народности и реализма в литературе, ещё не значит вскрыть его ценнейший вклад в литературную науку.

Ведь хорошо известно, что идеологи охранительного лагеря тоже пропагандировали принципы самобытности, народности и реализма, но делали это по-своему, иначе понимая задачи литературы, нежели Белинский.

Недостаток статьи А. Лаврецкого в том и состоит, что она не показывает, какое идейное содержание вкладывал Белинский в свои эстетические принципы. А между тем теоретическое богатство работ Белинского нельзя раскрыть, не показав конкретно, в чём сказалось влияние его революционно-демократических взглядов на решение им важнейших проблем эстетики.

Порочность метода, применённого А. Лаврецким в анализе литературной теории Белинского, неумение автора статьи проникнуть в идейную сущность разбираемого материала дали о себе знать и в той части его работы, где идёт речь об отношении Чернышевского и Добролюбова к наследию Белинского. Эстетические высказывания великих продолжателей дела Белинского не только не становятся более ясными после комментариев автора статьи, но, наоборот, запутываются и искажаются.

Примером такой путаницы может служить освещение А. Лаврецким вопроса об отношении Белинского и Чернышевского к творчеству Пушкина, с одной стороны, и Гоголя — с другой.

Белинский, как известно, высоко ценил Пушкина, открывшего новый этап в развитии русской литературы, но он, тем не менее, счёл нужным после появления «Ревизора» и «Мёртвых душ» подчеркнуть, что Гоголь, по сравнению с Пушкиным, «более поэт социальный» и поэтому «более поэт в духе времени». Иначе говоря, Белинский подчёркивал значение гоголевских произведений, видя в них более резко и открыто выраженное критическое отношение к современной социальной действительности, чем это было у Пушкина. Как известно, критик, стремясь возможно более наглядно выяснить новаторскую роль Гоголя в русской литературе, впадал даже в ошибку, указывая на якобы имевшееся у Пушкина снисходительное отношение к тёмным сторонам русской жизни, чего в действительности у великого поэта никогда не было.

Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы», движимый теми же побуждениями, что и Белинский, — в условиях классово-борьбы, ещё более обострившейся в 50—60-е годы, — не устал говорить о том, какое исключительное значение имеет острая критика русских социальных порядков средствами художе-

ственного слова. В связи с этим и он тоже придавал особое значение гоголевскому критическому реализму, назвав движение передовой русской литературы того времени гоголевским направлением.

Однако, вместе с тем, нужно иметь в виду, что ни Белинский, ни Чернышевский вовсе и не думали умалять значение творчества Пушкина в развитии русской литературы. Наоборот, они лучше, чем кто-либо из их современников, понимали Пушкина и хорошо знали, что его вольнолюбие, призывы к борьбе за свободу имели действительное значение для пробуждения общественного сознания. Они ясно понимали и то, какую исключительную роль предстоит сыграть произведениям Пушкина в будущем, при иной социальной обстановке, когда пушкинский пафос жизнеутверждения и глубокий действенный гуманизм получат опору в самой действительности.

Но А. Лаврецкий все эти вопросы в своей статье настолько запутал, что у читателя может сложиться неверное представление об отношении революционных демократов к двум величайшим представителям русской литературы.

Есть в статье А. Лаврецкого ошибки и другого рода. Например, он утверждает, будто Белинский «почувствовал... но не мог ещё раскрыть» трагедию Гоголя, вставшего в конце жизни на путь мистики и отказа от своих произведений. Эту трагедию, по мнению Лаврецкого, понял только Чернышевский. А о чём же, в таком случае, так страстно писал Белинский в своём знаменитом письме к Гоголю, как не о трагедии писателя, спустившегося в «Выбренных местах из переписки с друзьями» до проповеди мракобесия?

Трагедия Гоголя описана Лаврецким в таком стиле: «Чернышевский понял эту трагедию так, как понимаем мы её и теперь: как противоречие между настоящей потребностью в глубоком осмыслении того, что он столь пронзительно увидел в жизни, и невозможностью найти удовлетворение этой потребности, являвшейся между тем жизненной необходимостью для дальнейшего развития его творчества и для самого его существования».

Попробуй разберись в этом наборе «учёных» слов!

Совершенно не прав А. Лаврецкий, пытаясь установить резкое расхождение в отношении Белинского и Добролюбова к сатире в русской литературе XVIII века. То обстоятельство, что Добролюбов упоминал в своих статьях на ограниченность сатиры XVIII века, А. Лаврецкий оценивает, как отход от взглядов Белинского. На самом же деле Добролюбов совершенно справедливо оценивал сатиру Кантемира и других дворянских писателей XVIII века, когда писал, что их сатира никогда не добиралась до главного зла, ст которого «...происходят общие народные недостатки и бедствия». И эта мысль Добролюбова вовсе не противоречила высказываниям, которые имеются по этому вопросу у Белинского,—наоборот, мысль Добролюбова является логическим развитием этих высказываний.

В статье А. Цейтлина «Белинский — мастер русской литературной критики» исследуется стиль критика. Автор отмечает много различных «граней» в стиле Белинского. Он говорит о борьбе критика за реализм, «одухотворённый общественным идеалом», о его требовании активного отношения к жизни, об умении вскрывать «тайны» писательской работы, о глубоком историзме, пронизывающем все работы критика, об его принципиальности и многом другом.

Наблюдения автора статьи над работой Белинского в своих частностях интересны. И всё же тема статьи — стиль работы великого критика — остаётся нераскрытой. Случилось это потому, что А. Цейтлин, давая характеристику деятельности Белинского с самых различных сторон, забывает осветить её с самой важной стороны — идеологической. Как только по ходу изложения материала возникает необходимость указать, за какие принципы и против кого боролся Белинский, автор отделяется общими фразами. Например, говоря об отношении Белинского к реакционной критике, А. Цейтлин, вместо того, чтобы дать конкретную характеристику острой, страстной борьбы Белинского с реакционными взглядами булгариных, сенковских, славянофилов и пр., ограничивается такими фразами: «Белинский с исключительной резкостью боролся против беспринципности, которая господствовала в критике этого консервативного лагеря». Но А. Цейтлину по-

учается, таким образом, что для Белинского главным пороком его идейных противников была их беспринципность, а не реакционность их взглядов.

Белинскому, как замечательному полемисту, отведён в статье специальный раздел. Тут можно найти всякого рода сообщения и о методах его полемики, и о том, то она была для Белинского особой формой выяснения истины, и об искусстве использовании критиком ремарок и проворитса в этом разделе и о том, против кого был у Белинского направлен гонь полемики—указываются имена Буларина, Греча, Сенковского, Шевырёва и р. Но о содержании полемических выступлений Белинского в статье не говорится, поэтому все наблюдения автора виснут в оздухе, превращаются в пустую схему, лишённую жизни.

Иногда автор пытается дать определение тех принципов эстетики, которые защищал Белинский, но выводы эти очень уманны и неопределённые. Например, Цейтлин в одном месте статьи так определяет сущность защищаемого Белинским реализма: «Белинский ратовал за реализм, духотворённый передовым общественным идеалом. Его трактовка реалистического метода предусматривала не «погружение в прозу и грязь жизни, но просветление идею самых простых житейских отношений, очеловечение естественных стремлений».

Цитата использована неуместно и не делает мысль автора статьи ясной. В самом теле, общественный идеал, которым руководствовался Белинский, никак не может быть сведён к абстрактному требованию «очеловечения естественных стремлений». Других же, более конкретных определений в работе А. Цейтлина нет.

Статья заканчивается указанием на мировое значение деятельности Белинского, но мысль эта не развита, не подтверждена хотя бы некоторыми конкретными материалами и ссылками.

Чувство неудовлетворения и досады появляется и после чтения статьи В. Нечаевой «Белинский и проблема русского исторического романа». Вместо того, чтобы в свете политических и исторических воззрений критика рассмотреть его оценки отдельных исторических романов и сделать обобщающие выводы о том, каковы были

взгляды Белинского на исторический роман. В. Нечаева применила крайне страшный метод освещения выбранной ею темы. В самом начале своей статьи В. Нечаева заявила, что изучение взглядов Белинского на исторический процесс в её задачи не входит и что её интересуют лишь высказывания Белинского об историческом романе. Создаётся впечатление, что, по мнению автора статьи, взгляды Белинского на исторический роман ничего общего не имеют с его общественными, революционно-демократическими воззрениями, и поэтому нечего ими заниматься в данной статье. Но отказ от анализа исторических взглядов Белинского лишает статью серьёзного теоретического значения. Она фактически состоит лишь из цитат и пересказа отзывов Белинского о разных исторических романах. Когда же в одном случае В. Нечаева всё же делает попытку характеризовать взгляды Белинского, получается сплошной конфуз. Заинтересовавшись тем, как определял Белинский роль писателя в создании исторического романа и спрашивается ли писатель, как создатель исторических романов, от учёного, историка,— В. Нечаева пришла к следующему выводу: «В истории для Белинского на первом месте была всегда руководящая, объединяющая мысль, объясняющая и связывающая события и факты, показывающая их как единый процесс, совершающийся по определённым законам. Драгоценные материалы, из которых строится здание, историк собирает путём длительного тщательного изучения прошлого, не гнушаясь мелочей, частностей, деталей, необходимых для создания целого; возводит же здание из этих деталей художник, цементируя их, дополняя недостающие части, заставляя жить их мёртвые обломки творческой силой воображения, проникновенной фантазией».

Возникает вопрос: неужели В. Нечаева серьёзно убеждена, что Белинский думал об историческом процессе именно так, как она излагает? Ведь тогда надо будет признать, что Белинский был идеалистом, ставящим первоосновой истории идеи, то есть надо будет извратить самую суть исторических воззрений критика. Остаётся, по видимому, предположить, что весь этот абзац в статье — плод непродуманной и небрежной работы.

Ничего общего со взглядами Белинского не имеет и та трактовка роли писателя и историка в области описания конкретных исторических событий, которая дана в статье. Белинский никогда не противопоставлял писателя учёному, историку, как это делает В. Нечаева (см., например, статью Белинского «Опыт истории русской литературы»).

Статьям А. Лаврецкого, А. Цейтлина и В. Нечаевой присущ один общий порок: авторы пытаются анализировать литературную концепцию Белинского вне её связей с общественно-политическими взглядами критика и поэтому ходят вокруг и около своих тем, будучи не в силах обнаружить подлинную оригинальность и новаторское значение эстетических суждений критика.

По более правильному пути идут М. Кургинян, Н. Бродский и некоторые другие авторы сборника. Анализируя литературные высказывания Белинского, они устанавливают их органическое единство с его философскими, политическими взглядами. Плодотворность такого подхода сказалась особенно наглядно в статье М. Кургинян «Понятие трагического у Белинского». В ней сделаны ценные выводы о теории трагедии у Белинского, показана эволюция этой теории в связи с преодолением критиком своих идеалистических ошибок и объясняется отношение критика к различным литературным произведениям этого жанра. Все эти наблюдения даны в свете общественно-политических воззрений Белинского, предопределивших его понимание трагического в жизни и литературе, его концепцию трагического героя.

Д. Благой («Белинский и Пушкин»), Н. Степанов («Белинский и Гоголь»), Н. Бродский («Белинский и Тургенев») в своих статьях содержательно разбирают отзывы Белинского о творчестве Пушкина, Гоголя и Тургенева. Авторы показывают многие совпадения в эстетических взглядах критика и этих великих писателей, раскрывают влияние Белинского на Пушкина, Гоголя и Тургенева. Одновременно они показывают и значение творческого опыта этих писателей для формирования литературных взглядов Белинского.

Нужно, однако, отметить и некоторые неточности, допущенные Н. Степановым в анализе статей Белинского о Гоголе. Одно время Белинский считал, что у Гоголя как

писателя-реалиста не было совершенно ни каких предшественников в литературе. Позднее он от этой ошибочной мысли отказался и, продолжая считать талант Гоголя оригинальным и самобытным, стал рассматривать его творчество в связи с предшествующей ему литературой. Н. Степанов почему-то считает случайное замечание Белинского об отсутствии у Гоголя предшественников не ошибкой, а величайшей заслугой. Неправильно объясняется в статье и мысль Белинского о существовании трудностей, которые испытывали писатели той эпохи, когда они ставили перед собой задачу создать образы положительных героев. По мысли критика, «хорошие люди» в России были (Белинский под ними подразумевал передовых, революционно мыслящих людей), но изображать их в литературе не позволяла «цензурная тамсжня». Н. Степанов приводит цитату, где изложено эта мысль Белинского, но при этом неудачно добавляет, что писатели критического реализма тридцатых и сороковых годов якобы не могли давать изображения положительных героев не только по вине цензуры, но и потому, что... «в современном обществе не было положительных героев как явления типического». Таких выводов Белинский не делал, ибо он знал, как богат был русский народ и в тяжёлую пору николаевской реакции светлыми, честными умами. По непонятной причине замалчиваются в статье Степанова и ошибки Белинского при оценке отдельных произведений Гоголя. Очень недокзательно звучит утверждение исследователя, что Гоголь в конце жизни будто бы отказался от многих своих реакционных взглядов.

Интересные наблюдения содержит статья Н. Бродского «Белинский и Тургенев». Н. Бродский не только говорит об общем влиянии Белинского на Тургенева, — что обычно в этих случаях делается, — но и устанавливает следы непосредственного воздействия статей и бесед Белинского на образы и картины тургеневских произведений. Эти отзвуки исследователь находит в «Рудине», «Записках охотника», «Гамлете Щигровского уезда».

В статье И. Успенского «Письмо Белинского к Гоголю и Л. Н. Толстой» обстоятельно разбирается вопрос об отношении Л. Н. Толстого к знаменитому письму Белинского к Гоголю и к тому примиритель-

ному отношению Гоголя к современной ему действительности, которое нашло выражение в книге «Выбранные места из переписки с друзьями». В статье впервые публикуются пометки Л. Н. Толстого на книге Гоголя, изданной в 1857 году.

К числу удач сборника должна быть отнесена также статья А. Мясникова «Борьба Плеханова за Белинского с реакционной критикой». В ней показана борьба Плеханова с реакционными критиками из декадентского лагеря, клеветнически пытавшимися в своё время отрицать значение Белинского в истории русской критики. Известно, что Плеханов одним из первых в марксистской критике положил начало разъяснению роли Белинского, как замечательного русского мыслителя и общественного деятеля.

Но, вместе с тем, он допустил и грубые ошибки в истолковании некоторых сторон деятельности критика. В частности, Плеханов неправильно представил картину эволюции взглядов Белинского, связав их с влиянием на него немецких философов,

ошибочно выдвинул тезис о неизменности эстетических воззрений критика на различных этапах его работы.

В статье А. Мясникова эти ошибки Плеханова отмечены, и указаны их причины, коренящиеся в метафизическом подходе Плеханова к наследию Белинского. Плеханов не раскрыл революционной роли эстетики Белинского, так как в трактовке эстетических вопросов сбивался на позиции Канта и Тэна.

В заключение хотелось бы пожелать, чтобы Институт мировой литературы имени А. М. Горького выполнил своё обещание, данное в предисловии к сборнику, и опубликовал новые работы о Белинском, в которых с большей теоретической глубиной и продуманностью были бы освещены такие важнейшие вопросы, как эволюция взглядов критика, его роль в общественной борьбе и истории литературы прошлого, была бы показана величайшая роль великого критика в развитии передовой общественной мысли в России.

Н. ОНУФРИЕВ.

★

Великий характер

На одном из тех бесценных листков бумаги, которые тайком припрятал в камеру № 267 в Панкрате тюремный надзиратель Адольф Колинский и которые стали рукописью бессмертного «Репортажа с петлей на шее», 19 мая 1943 года Юлиус Фучик набросал своё завещание:

«...Я написал много литературно-критических и политических статей, репортажей, литературных этюдов и театральных рецензий. Многие из них жили день и с ним умерли. Оставьте их в покое. Некоторые же имеют значение и сегодня. Я надеялся, что Густина издаст их. Теперь на это мало надежды. Поэтому прошу моего верного друга Ладю Штола из моих материалов составить пять книг:

1. Политические статьи и полемика.
2. Избранные очерки о Родине.
3. Избранные очерки о Советском Союзе.
- 4 и 5. Литературные и театральные статьи и этюды...».

Юлиус Фучик. «Избранные очерки и статьи». Перевод с чешского. Редактор Б. Шуплецов. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

Свободная Чехия выполнила волю своего преданного сына. Его сочинения изданы. Теперь, переводимые на десятки языков, они становятся достоянием всего прогрессивного человечества, к которому были обращены последние слова последней книги Фучика: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!». Это — та самая книга, за которую сейчас посмертно Ю. Фучик удостоен Почётной Премии Мира.

Жизнь Юлиуса Фучика уже принадлежит истории. Литературоведы уже изучают его литературное наследство, историки — его революционную деятельность.

Но Юлиус Фучик продолжает бороться за социалистическую Чехословакию в рядах того поколения чешских коммунистов, с которыми он вместе шёл к победе свободы, мира и демократии. Бессмертие Фучика — не лавровый венок, а оружие партии.

Книга «Избранные очерки и статьи» — прямое свидетельство продолжающейся жизни замечательного литератора-коммуниста.

Казалось бы, в этой книге соседствуют несоединимые вещи. В самом деле, что об-

шего между рассказом о том, как советские люди — строители Сталинградского тракторного завода своими небывалыми темпами опровергли все мрачные предсказания американцев, и статьёй о чешской детской литературе? Как поставить рядом открытое письмо Геббельсу от имени чешской интеллигенции и размышления над «Книгой стихов» Гавличека Боровского? Разве что-нибудь роднит мысли, пришедшие на ум критику при чтении сказок Карела Эрбена, с чувствами, какие переполняют предсмертные письма революционера из нацистской тюрьмы в Берлине?..

Но всё это, внешне будто и несоединимое, в действительности накрепко связано одно с другим.

Как ни разнообразны по своему характеру страницы книги Юлиуса Фучика, они воспринимаются, как строки одной песни, как звенья одной цепи. Что же придаёт им единство? Что создаёт эту удивительную цельность творчества агитатора-трибуна, критика и литературоведа, журналиста и писателя Юлиуса Фучика? Он сам был человеком великой цельности, той цельности, в которой хочется видеть производное не только слова «целый», но и слова «цель». Он был человеком великой целеустремлённости. Вооружённый прекрасным знанием революционной теории марксизма, изучавший Ленина и Сталина, он понимал, куда ведёт историческое развитие. В январе 1942 года, когда ему было 39 лет, а впереди оставались лишь полтора года страшной жизни в нацистских застенках, он написал в статье «Под знаменем коммунизма»: «...партийный билет коммуниста — это воинский билет солдата армии, сражающейся за свободу мира...». Это была не крылатая фраза, а итог жизни, борьбы, работы. Он всегда жил на переднем крае истории. И каждый его очерк, критическая статья, письмо были корреспонденциями с фронта борьбы за коммунизм. Фучик сравнивает себя с солдатом, и это образное уподобление обладает, вместе с тем, чертами фотографической точности. Он прожил жизнь под огнём врага — в непрерывной схватке с отечественной чешской реакцией и с чужеземными гитлеровскими оккупантами. «Революцией мобилизованный и призванный», он ни на день не покидал поля боя и пал в бою. Он стал национальным чешским героем не только по-

тому, что умирал как герой, но потому, что жил как герой!

Находясь некоторое время в Советской стране и восхищаясь самоотверженностью советского народа, Фучик часто размышлял о природе героизма, отличающего деятельность людей — строителей будущего и борцов за свободу мира. В очерке «О героях и героизме», напечатанном в 1934 году в «Свете праце», он писал:

«...герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества».

«Решительные моменты» в жизни самого Фучика шли непрерывной чередой, и он всегда делал «то, что нужно делать в интересах человеческого общества».

Была бы безуспешной попытка дать в короткой статье даже самый беглый обзор тех пятидесяти очерков, репортажей, политических выступлений в газетах, подпольных листовок, литературных этюдов, критических работ и заметок Юлиуса Фучика, которые собраны в его книге. Но одна характерная черта свойственна всему, что он писал, черта, которая как бы перечёркивает границы всех литературных жанров, представленных в этой книге, и заставляет забывать, что вот сейчас мы читали репортаж, а теперь — агитационную листовку, а только что познакомились с критической статьёй..

Эта черта — рвущийся наружу, никогда не дремлющий боевой темперамент политика-публициста. Недаром так часто вспоминается образ Маяковского, когда читаешь книгу чешского писателя-революционера! Это — во многом родственные души..

Страстная публицистичность — то гневная, то скорбная, то призывная, то блестящая пленительным чешским юмором, то философски раздумчивая — пронизывает книгу Юлиуса Фучика насквозь. Ни одно явление жизни или искусства не интересует его само по себе, а только (как всеобъемлюще это «только») в отношении к той борьбе за коммунистическое будущее, которая составляет главное содержание всей истории современности.

Вот он рассказывает читателям «Руде право» о весне в Ленинграде: «Идёт дождь, и светит солнце. Нева уже сбросила свой ледяной покров...». Что это — лирическая зарисовка? Весенний пейзаж? Да. Но на-

Злюдая строительную весну в Ленинграде, он вспоминает, как «один французский архитектор — видимо, потому, что у него не было другой работы, — подсчитал, что через двадцать лет от Парижа останутся одни развалины... в Париже не строят новых домов»... А рисуя начало навигации в Ленинградском порту, он припоминает пароходные кладбища в портах Америки и Европы. Он многое припоминает, чтобы ещё и ещё раз продемонстрировать противоположность жизни в двух мирах — старом и новом. И обыкновеннейшая лирика эсеннего приморского пейзажа — картина отплытия первого корабля — как бы незнаний приобретает символическое значение революционного призыва:

«Ещё долго развеялся на мачте большой красный флаг, посылая свой привет. Красный.

И в желтизне южной весны и в голубой весне севера это — цвет страны вечной весны».

Вот он рассказывает в очерке «На Пяндже, когда стемнеет», как на советскую погранзаставу приходят из Афганистана несчастные люди, чтобы получить медицинскую помощь, исцеление недугов. Что это — рассказ о гуманных врачах? Далёкая от обычных представлений европейца сцена из жизни Востока? Да. Но Фучик вспоминает, что советские пограничники «внушают панический ужас каждому, кто с недобрый намерением пытается обмануть их бдительность», и неожиданно признаётся: «Я весело смеюсь вместе с ними, когда вижу их победителями в белых халатах врачей, раздающими хинин вместо убивающего свинца и сеющими жизнь вместо смерти Армия мира». С какой новой силой звучат сегодня эти слова: «Армия мира!»

Вот Фучик пишет статьи, посвящённые смерти Карела Чапека. «...Писатель с мировым именем... Огромная сила Чапека...». Что это — некролог? Посмертная дань великого уважения к гению чешской литературы? Да. Но не только. Вдумываясь в трагическую судьбу писателя, который ненавидел фашизм, любил свой народ, но не понимал истинных путей его освобождения, сторонился политики и был затравлен реакцией, Юлиус Фучик гневно спрашивает: «Кто отнял его у чешской культуры? Смерть. Только ли смерть? Ей никто не помогал? Ведь она сломила моло-

дую, ещё не отцветшую жизнь. Откуда у неё взялись на это силы? Что объединилось прежде, чем пал этот человек?» И критик-коммунист отвечает на эти вопросы не как «беспристрастный» литературный судья, а как судья политический. Он снова и снова разоблачает непримиримую враждебность капиталистического мира «истинному поэтическому творчеству». И рассказывая в статье «Чапек живой и мёртвый», как простой люд Чехословакии, в те дни уже проданной Гитлеру в Мюнхене, многотысячной процессией шёл в безмолвном и грозном молчании мимо свежей могилы писателя-патриота, Фучик с гордостью замечает: «И вот парадокс — мёртвый Чапек стал борцом. Тот, кто сам себя тщательно изображал в виде мирного садовника, стал боевым символом для тех, на кого он не рассчитывал»...

Ленин говорил, что «...постоянное дело публицистов — писать историю современности...». Всё написанное Фучиком, о чём бы ни шла речь, — это страницы такой истории. Он видел и постигал жизнь в движении. Он умел рассматривать действительность в её революционном развитии и требовал этого от чешских писателей; он упрекал Карела Чапека за то, что тот долгие годы «пытался воспеть настоящее, между тем как поэт должен стремиться к будущему». Живой и животворный образ будущего он видел в жизни нашего социалистического государства. «В стране, где наше завтра уже стало вчерашним днём» — так назвал Юлиус Фучик свою первую книгу очерков о Советском Союзе. Само название это дышало непоколебимой верой в победу идеи социализма в Чехословакии и звало чешский народ последовать примеру народов России. Он говорил, что дать «точную, правильную, честно нарисованную картину» жизни в Советской стране, «это всё равно, что поставить читателя на перекрёстке двух дорог, ведущих к двум разным мирам, и на дорожном столбе написать:

Путь к жизни.

Путь к смерти».

В его сознании пролетарского революционера-коммуниста будущее, настоящее и прошлое были связаны цепью живой ответственности. Весь поглощённый интересами непосредственной повседневной политической борьбы, он много внимания уделял в своих критических работах прошлому

чешской культуры, чешского искусства, стараясь извлечь и из прошлого всё то, что может помочь его народу встать на «путь к жизни».

Он писал о Божене Немцовой и Юлиусе Зайере, о Кареле Гавличеке и Яне Колларе, о Кареле Эрбене и Алоизе Ирасеке, о Витезславе Галеке и Яне Неруде. «Будущему историку литературы я завещаю любовь к Яну Неруде, — писал он в «Репортаже с петлёй на шее». — Это наш величайший поэт». И тут же добавлял: «Он смотрел далеко в будущее».

Солдат, сражающийся на переднем крае современной истории, критик-коммунист Юлиус Фучик так часто говорит о замечательных чешских писателях прошлого, со школьных лет знакомых каждому чеху, потому, что «творчество, которое не теряет своей актуальности с годами, является наследием всех, кто борется за свободу». И его литературоведческие работы так же публицистичны, как очерки «о стране, которая стоит в центре современной истории», как политические статьи послевоенского периода.

Вековечным вопросом всей чешской истории был вопрос о национальной независимости чешского народа, о сохранении и развитии его славянской самобытности. Этот вопрос не могла разрешить буржуазная республика, и невиданную остроту он приобрёл после мюнхенского предательства, в годы гитлеровской оккупации Чехословакии. В эти годы смелый разговор о прошлом чешской культуры, о неумирающих национально-освободительных традициях звучал в ней, как прямой вызов предателям из лагеря буржуазных националистов и как призыв к решительной борьбе с фашизмом.

«У нас... не было и нет поэтов, воспевающих поражение свободы, воспевающих порабощение человека человеком, нет поэтов рабства, предательства, угодливости. Такого сорта поэты у нас никогда не рождались и не могли родиться», — писал Юлиус Фучик в декабре 1938 года. И он раскрывал черты подлинной истории современности, когда в одной главе рассказывал о народных сказках Эрбена и баховской реакции после революции 1848 года, а в другой — о сатирах Гавличека и его изгнании из Чехии австрийскими властями, а в третьей — противопоставлял на-

родность и революционность Божены Немцовой пошлomu «бидермайеру» первой половины XIX века, завезённому в Чехию и Германию и Англии, мещанскому «бидермайеру» с его заботой «о мирном разрешении конфликтов», с его идеалами порядочности и добропорядочности...

«...Женщина с прекрасным человеческим сердцем мятежника и с судьбой борца», — говорил он о Божене Немцовой. И в этом слышалось обращение к каждому чеху — пусть и твоё сердце будет мятежным! Выбери и ты судьбу борца!

Но в то же время критик-коммунист на минуту не поддавался соблазну — имя великих достоинств чешских классиков простить им их слабости, их идейные заблуждения, их историческую ограниченность. «Божена Немцова по-своему, и в принципе верно, объясняет мир, — писал Юлиус Фучик, — но она не знает, как изменить его».

Всю проблему чешской национальной зависимости, которой столько вдохновенных страниц посвящено в его книге, Фучик рассматривал, как часть более общей проблемы борьбы народа за новое общественное устройство, за торжество социализма. «Далеко видел поэт Ян Неруда!» — восклицал Фучик, восхищаясь тем, что ещё в 1890 году Неруда увидел в революционном пролетариате «единственную силу, которая может завоевать и завоеует свободу и счастливую жизнь для человека, для всех народов, для всего человечества».

Фучик любил жизнь, любил людей, любил будущее человечества.

Он сделал много. Но он не успел сделать всего, что мог и мечтал сделать. В письме, написанном за полгода до казни и тайно вынесенном из Панкраца на волю, он говорил своей жене Густине:

«Странная вообще у меня судьба. Ты знаешь, как мне хотелось быть птицей или кустом, облаком или бродягой, всем, кто любит, как и я, простор, солнце и ветер. И вот уже годы, долгие годы я живу под земной жизнью, словно корень. Один из тех неприглядных, пожелтевших корней среди тьмы и тлена, что держат над землёй дерево жизни. Никакая буря не свалит дерева с крепкими корнями. Этими гордятся корни. И я. Я делал всё, что было в моих силах, и делал охотно. Но свет — свет я любил и хотел бы расти

высь и хотел бы цвести и созреть, как олеозный плод.

Ну что ж. На дереве, которое мы, корни, держали и удержали, появляются молодые побеги и созреют новые плоды — социалистические поколения рабочих, писателей, литературных критиков и историков, которые пусть позже, но лучше расскажут о том, чего я рассказать уже не мог. И тогда, быть может, и мои плоды алыются соком, хотя на мои горы никогда уже не падёт снег».

Д. ДАНИН.

★

Международные отношения. Борьба за мир

Трезвый голос американского публициста

Это — полезная книга для всех, интересующихся историей «холодной войны», которую ведёт англо-американский блок против СССР и стран народной демократии.

Но мы считаем нужным начать с указания на отрицательные стороны этого нужного издания.

Во-первых, совершенно несогласно с традициями советских издательств давать книгам сенсационные названия. Дело в том, что в переводе книга озаглавлена «Неизбежна ли гибель Америки?». Автор же назвал свою книгу гораздо скромнее: «Должны ли мы погибнуть?» («Must we perish?»). Он имел в виду, как явствует из всего содержания книги, гибель миллионов людей, уничтожение богатств, разрушение городов, — словом, всё то, что грозит не только Америке, но и всему человечеству, втягиваемому империалистами США в третью мировую войну. Названию же книги в русском издании придан зачем-то совсем другой смысл, ничуть не отвечающий мысли автора. И меньше всего на свете именно мы смешиваем неизбежную гибель владычества монополистического капитализма с «гибелью Америки».

Во-вторых, серьёзным недостатком издания является то, что нельзя книгу, написанную до 25 сентября 1949 года, издавать в 1950 году, ограничиваясь несколь-

После этих слов, потрясающих душу, думаешь — с болью от сознания его ранней и страшной гибели, и с ненавистью к его ничтожным убийцам — думаешь о том, каких бесценнейших людей рождает революция и какой это был могучий, необыкновенный человек. Он называл «великим» слово «характер». Он сам был великим характером — великим сыном своего века, своего народа, своей партии.

кими совсем беглыми строками во вступительной статье В. Бережкова о последствиях сообщения ТАСС относительно атомного оружия, которым располагает СССР. Ведь даже в самых азартно-империалистических органах США, вроде «Нью-Йорк таймс» или «Чикаго трибюн», неоднократно приходилось и приходится читать утверждения, что после сообщения ТАСС от 25 сентября 1949 года произошли очень большие сдвиги в настроении буквально всех классов американского общества в вопросе о возможностях и сроках будущего военного столкновения. Одних (вроде Гарримана, Гувера, Брэдли, Мэтьюса и др.) охватила истерия, и они предаются злобному кликушеству, призывая наверстать время, «упущенное» после фултонской речи Черчилля 5 марта 1946 года. Другие, подобно Уолтеру Липпману, напротив, находят, что торопиться теперь уже бесполезно и нужно ждать более благоприятной конъюнктуры.

И всё же за книгой Мейера следует признать не только историческое значение. Многие в ней звучат и сейчас достаточно злободневно. Автор рассказывает о второй мировой войне, о подвохах и интригах американских империалистов против Советского Союза до и после начала войны, о том, какие ковы против социалистической державы готовили именно в те страшные годы, когда проливалась русская кровь для спасения человечества от гитлеровского владычества.

Вторая половина книги посвящена организации Уолл-стритом и его прислуж-

Гершл Д. Мейер. «Неизбежна ли гибель Америки?». Перевод с английского И. Довгалевской и Е. Романовой. Редакторы Д. Жантиева и И. Тихомирова. Издательство иностранной литературы. М. 1950.

никами — Трумэн, Маршаллом, Ачесоном и пр. — кампании провокаций и поджигательства новой войны.

Книга написана добросовестно, со знанием дела, и хотя не блещет ни новизной, ни какой-либо оригинальностью или глубиной мысли, но является правдивым и содержательным отчётом о недавнем прошлом американской агрессивной внешней политики. Это — полезное напоминание и предостережение всем тем, кто не понимает, что против угрозы третьего мирового побоища нужно активно и неустанно бороться. Но таких людей становится всё меньше. Народы мира с каждым днём всё теснее сплываются для решительной борьбы с поджигателями новой войны. Растёт количество подписей под Стокгольмским Воззванием. Люди доброй воли сумеют схватить за руку зарвавшихся империалистов, мечтающих о том, чтобы превратить в золото кровь народов.

Некоторые страницы книги обличают известную отчуждённость американского автора от европейских условий и событий. На стр. 34 читаем: «погибло много либеральных и прогрессивных деятелей: Ратенау, Эрцбергер, Роза Люксембург, Карл Либкнехт и другие». Разве можно ставить рядом столь разнородные имена? Если Ратенау и Эрцбергера с натяжкой можно считать либеральными деятелями, то это название прямо-таки оскорбительно для памяти выдающихся революционеров, какими были Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Там, где речь идёт об отношении США к нападению Японии на Китай в 1931 году, не сказано самого главного: президент Гувер своевременно распорядился дать знать Японии, что если японские войска направятся из Маньчжурии «на север», то Америка против этого не будет возражать

В другом месте автор сообщает, что «антифашисты, протестовавшие против возвращения рурской промышленности нацистским картелям, были брошены в тюрьму». Но ни здесь, ни вообще на всём протяжении книги нет ни слова о «рурском статуте», отдающем Рур со всей его добывающей и обрабатывающей промышленностью в руки комиссии из 15 человек, в которой 12 голосов принадлежат США, Англии, Франции и Белилюксу, а 3 голо-

са — немцам, назначаемым тремя «державами-победительницами». Это умолчание о рурском статуте тоже говорит о некоторой устарелости разбираемой книги. Об этом же свидетельствует и то, что автор серьёзно обсуждает желание Англии столкнуть Советский Союз с Соединёнными Штатами, чтобы обессилить их обоих. Эта мысль действительно могла быть своё время у кое-кого из английских деятелей. Но сейчас в империалистических кругах Англии преобладает одна забота: всецело поддерживать антисоветскую политику государственного департамента США.

Определённо положительной и ценной стороной книги Мейера является осведомлённость автора в закулисной деятельности магнатов Уолл-стрита и американских дипломатов, тесно связанных с биржевиками.

Автор доказательно характеризует всё ускоряющийся процесс разложения и загнивания капиталистической системы в Америке, Европе и в других частях мира. В военном психозе, который организуют правящие круги США, он справедливо видит стремление отвлечь внимание народных масс от внутреннего кризиса.

«Антисоветские блоки, — пишет Мейер, — сколачиваемые сейчас для подготовки новой войны, также базируются на иллюзии. Дело в том, что американский империализм не может рассчитывать на каких-либо постоянных союзников. Малочисленные, разложившиеся и циничные правящие классы Западной Европы, которые согласны стать вассалами Уолл-стрита — за определённую цену, — не смогли бы противостоять испытаниям войны».

Один из основных выводов, к которым привёл автора анализ фактов, собранных в его книге, сформулирован так: «По существу, американский народ так же миролюбив, как и народ Советского Союза. Но одним миролюбием мы не добьёмся мира... Лишь единое, организованное и активное сопротивление народных масс может теперь сдерживать попытки монополистов свергнуть Соединённые Штаты в самоубийственную войну».

Книга Мейера найдёт у нас своего читателя. Она может быть широко использована советскими людьми, стремящимися пополнить свои знания в области истории последнего десятилетия.

Академик Е. ТАРЛЕ.

Учёный-борец Фредерик Жолио-Кюри

Это было в 1946 году в Нью-Йорке. К Фредерику Жолио-Кюри во время заседаний комиссии по атомной энергии ООН подошёл представитель США Бернард Барух.

— Послушайте, — развязно сказал он, — вы безумец, если рассчитываете построить атомную установку во Франции. Всё дряхло у вас. Ваша индустрия не способна снабдить вас необходимым оборудованием для научной работы... — И, чуть понизив голос, добавил тоном делового бизнесмена: — Оставайтесь в Соединённых Штатах... Мы вам создадим все условия...

Фредерик Жолио-Кюри презрительно улынулся.

Американским империалистам не удалось ни подкупить, ни утратить знаменитого физика. Он был и остался верным сыном французского народа, подлинным учёным-гуманистом, страстным борцом за мир, смелым обличителем поджигателей новой войны. Один из крупнейших в мире учёных-атомников, человек, сделавший так много для того, чтобы вызвать из глубин материи мощные источники новой — атомной — энергии, он, вместе с сотнями миллионов людей доброй воли, ведёт борьбу против использования этой энергии в целях всеобщего истребления и разрушения. Самоотверженный и благородный боец против неистовствующих атомщиков, он стал близок и дорог друзьям мира во всех концах земного шара.

Со страниц вышедшей недавно в Париже книги Мишеля Рузе «Фредерик Жолио-Кюри» встаёт мужественный и глубоко человеческий облик замечательного учёного-коммуниста, названного Морисом Торезом «славой Франции».

М. Рузе знакомит читателя с жизненным путём Фредерика Жолио-Кюри. Знаменитому учёному сейчас пятьдесят лет. Его отец, по происхождению рабочий, сражался на баррикадах Парижской Коммуны. Окончив высшую школу в Париже, Фредерик Жолио сначала работал инженером на металлургическом заводе в Люксембурге, а затем, при содействии своего учителя, крупнейшего французского физика Поля Ланжевена, поступает ассистентом в ла-

бораторию всемирно известной деятельницы науки Мари Кюри-Склодовской, дважды удостоенной Нобелевской премии.

Молодой ассистент обнаруживает незаурядный экспериментаторский талант. За исследования электрохимических свойств полония — одного из двух радиоактивных элементов, открытых Пьером и Мари Кюри, — он получает степень доктора наук.

Тридцатилетний доктор вместе с женой Ирэн Кюри (дочь Пьера и Мари Кюри) ведёт неутомимую научную работу, завершающуюся великим открытием, которое принесло супругам Жолио-Кюри мировую славу. Если старшее поколение Кюри явилось основоположниками новой науки — радиоактивности, то их преемники — Фредерик и Ирэн Жолио-Кюри — создали искусственные радиоактивные элементы. Эти открытия, знаменовавшие новую страницу в развитии науки, ещё раз убедительно опровергли догмат о неизменяемости материи и помогли человеческому разуму проникнуть в тайны атома, добраться до самого сокровенного — атомного ядра. Замечательное научное открытие супругов Жолио-Кюри, отмеченное Нобелевской премией (1935), нашло применение в физиологии, медицине, технике.

Продолжая свои изыскания в области искусственной радиоактивности и расщепления атомного ядра, Фредерик Жолио-Кюри ещё в 1936 году предсказал возможность получения и использования внутриатомной энергии путём осуществления цепной реакции.

С большим интересом читаются страницы книги, рисующие участие Фредерика Жолио-Кюри в движении Сопротивления в годы немецкой оккупации Парижа. Всемирно знаменитый учёный рука об руку с рабочими, коммунистами, ежедневно рискуя жизнью, честно и самоотверженно выполнял долг патриота. Благодаря мужеству и находчивости Жолио-Кюри в руки немецких оккупантов не попали препараты и материалы, связанные с изысканиями в области атомной энергии. Если бы не этот подвиг Жолио-Кюри, то гитлеровцы, по утверждению специалистов, смогли бы в короткий срок овладеть тайной атомной энергии.

Жолио-Кюри возглавил подпольный «Национальный фронт». Лаборатории Коллеж

Michel Rouzé. «Frédéric Joliot-Curie». Paris, 1950. Мишель Рузе. «Фредерик Жолио-Кюри», Париж, 1950.

де Франс он превратил в арсенал оружия и боеприпасов. Учёный непосредственно участвовал в боевых заданиях и дважды попадал в лапы гестапо. Он был стойким и храбрым солдатом антифашистской армии.

Весной 1942 года Фредерик Жолио-Кюри вступил в ряды коммунистической партии, к которой, как пишет М. Рузе, «его влекло давно умом и сердцем». Учёный-патриот убедился, что коммунисты являются подлинными борцами за национальную независимость, социальную справедливость, за осуществление самых высоких и светлых человеческих идеалов. «Если меня арестуют и расстреляют, — говорил он боевым друзьям, — я хочу умереть коммунистом».

После войны профессор Жолио-Кюри назначается верховным комиссаром по делам атомной энергии Франции. Он мечтает о широком мирном использовании могущественных сил, заключённых в атоме. «Нужно показать, — писал он, — что мирные перспективы этой области науки чрезвычайно заманчивы... Мы находимся в преддверии атомной эры...».

Жолио-Кюри неизменно подчёркивал мирное назначение своих экспериментальных работ. 15 декабря 1948 года в старых казематах форта Шатильон (близ Парижа) он пустил в ход первую французскую атомную установку. Со всех концов Франции посыпались приветствия. От имени президента и правительства профессору Жолио-Кюри было передано поздравление «в связи с блестящим успехом французской науки и техники». Французские горняки заканчивали своё приветствие словами: «Салют Жолио-Кюри — герою науки на службе миру!».

Но заокеанские хозяева маршаллизованной Франции были недовольны победой, одержанной учёным-коммунистом. Назавтра же после пуска атомной установки «Нью-Йорк геральд» многозначительно писала: «Англо-американская монополия на атомную энергию перестала существовать вчера в 12 часов 12 минут». В американской и американизированной французской печати усиливалась травля Жолио-Кюри. Одновременно участились попытки заставить верховного комиссара по атомной энергии придать своим исследовательским работам военный характер. Жолио-Кюри

оставался твёрдым и непреклонным. «Если правительство потребует, чтобы я направил свою работу на изобретение оружия массового уничтожения, я отвечу: «Нет!» — всё энергичнее и решительнее повторял он.

Деятельность Жолио-Кюри на посту председателя Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира вызвала нараставшее озлобление ачесонов и барухов. Вашингтонские боссы начали усиливать нажим на своих парижских марионеток, требуя принятия «решительных мер». После посещения Жолио-Кюри Советского Союза в ноябре 1949 года «Се матэн ле пен» провокационно писала: «Путешествие г-на Жолио-Кюри в Москву произвело скверное впечатление в американском и английском генеральных штабах». Известное выступление Жолио-Кюри с трибуны XII съезда французской коммунистической партии, в котором он смело разоблачил агрессоров-атомщиков, отдалось за океаном истерическим эхом. Выдавая намерения заправил США, «Ньюс уик» прямо заявил: «После своих высказываний на XII съезде коммунистической партии верховный комиссар по делам атомной энергии может ожидать устранения со своего поста». Спустя две недели после этого заявления продажные французские правители, которые ещё недавно превозносили «неоценимые патристические заслуги» Фредерика Жолио-Кюри, выполнили приказ своих американских хозяев: учёный, так много сделавший для французской науки, был снят со своего поста.

Волна протестов против устранения Жолио-Кюри прокатилась по всей Франции и превратилась в международную демонстрацию солидарности всех друзей мира с выдающимся учёным-гуманистом.

В главе «Учёный и человек» М. Рузе подчёркивает глубокую веру Жолио-Кюри в силы науки, в её неисчерпаемые возможности. Жолио-Кюри решительно осуждает учёных, которые пытаются отбродиться от социальных и политических проблем, замкнуться в своих научных «башнях из слоновой кости». Он часто повторяет слова Поля Ланжевена: «Передовая наука не может стгородиться от борьбы за социальную справедливость». Жолио-Кюри призывает учёных не ограничиваться пацифистскими заклинаниями, а активно бороться против подготавливаемой империалистами

новой мировой бойни. Голос Фредерика Жолио-Кюри в защиту мира горячо и убеждённо звучит с трибун конференций и митингов в Париже и Риме, Стокгольме и Бомбее, Лондоне и Праге.

Фредерик Жолио-Кюри, неоднократно посещавший СССР, с восхищением отзывался о советской науке, служащей человеческому благу и делу мира. Касаясь прогресса наук в Советской стране, Жолио-Кюри в докладе, прочитанном в Москве 10 ноября 1949 года, говорил:

«Прогрессивные учёные всех стран мира, так же как и вы сами, понимают, что этот не имеющий прецедента расцвет вашей научно-исследовательской деятельности смог осуществиться только благодаря тому, что ваши таланты, ваши способности развиваются в благоприятной среде — в мире социализма, созданном великими учёными — революционерами Лениным и Сталиным, в мире, где наука поставлена на службу народу. Вы можете работать с энтузиазмом и спокойной совестью, так как знаете, что результаты ваших исследований будут использованы для защиты завоеванных свобод и непрерывного улучшения условий материального и морального существования человечества».

Автор книги находит яркие детали для характеристики Фредерика Жолио-Кюри — одного из крупнейших учёных современности, одного из лидеров мирового антивоенного движения. Человек большого ума, сильной воли, концентрированной энергии, целеустремлённый и жизнерадостный, нежный семьянин и страстный спортсмен, любитель природы и поклонник музыки — все эти черты сливаются в цельный обаятельный образ.

Несмотря на непрекращающуюся травлю, Фредерик Жолио-Кюри и его супруга продолжают свою деятельность на благо мира и передовой науки. Преемники Пьера и Мари Кюри, они уже имеют свою научную смену. Эллиен — дочь Фредерика и Ирэн Жолио-Кюри — и её муж Мишель

Ланжевен — внук знаменитого физика Поля Ланжевена — также посвятили себя исследованиям в области ядерной физики.

Книга М. Рузе представляет собой публицистический очерк. Она написана на основе живых наблюдений и разнообразного документального материала. Жаль, что автор дал недостаточно подробную характеристику мировоззрения Жолио-Кюри, его научных взглядов и прогнозов, представляющих большой интерес.

Поль Ланжевен, например, в 1945 году писал: «Перед войной Жолио-Кюри предвидел возможность создания теплоцентралей мощностью в 300 000 киловатт каждая, потребляющих в качестве топлива лишь одну тонну урана в год вместо трёх миллионов тонн каменного угля или нефти, потребляемых современными паровыми турбинами. Если бы захотели удешевить это производство энергии, то достаточно было бы одного грузового судна, нагруженного ураном, чтобы обеспечить производство на целое столетие».

Несмотря на неполноту, книга М. Рузе представляет несомненную ценность и найдёт в любой стране широкий круг читателей. Эту книгу следовало бы издать и на русском языке. Советские люди с интересом ознакомятся с очерком, посвящённым выдающемуся учёному-борцу, который, по словам автора предисловия — известного английского физика Бернала — сумел заслужить признательность и популярность не только благодаря своим умственным и моральным качествам, но главным образом потому, что «он есть и остаётся человеком народа».

Книга «Фредерик Жолио-Кюри» лишний раз показывает, что в наш век, когда все дороги ведут к коммунизму, люди большого таланта и честного сердца находят своё настоящее место и призвание в рядах активных борцов за мир, справедливость, социализм.

М. ЦУНЦ.

Философия

Бертран Рассел — лейб-философ английского империализма

Лорд Бертран Рассел — английский философ и социолог — один из лидеров современного философского идеализма. На протяжении всей своей философской деятельности он ведёт ожесточённую войну с материалистической философией и вместе с тем яростно выступает против коммунизма. Этот, теперь уже весьма престарелый аристократ, — потомок многих поколений небезызвестных лордов Рассел, прославившихся своим богатством и активным участием в самых реакционных мероприятиях английского правительства, — не отстаёт от своих предков. Рассел, если можно так выразиться, убеждённый и рьяный конквистадор. В молодости он был ярким сторонником войны с бурами, а в преклонных годах сделался восторженным поклонником Гитлера. По существу своему Рассел — активный фашист.

Его перу принадлежит не одно реакционное произведение, восхваляющее право захвата, удара кулака, насилия, но при одном только условии: если насилие это направлено против народа, а не против правящей верхушки.

Страх перед растущим сознанием народных масс, страх перед грядущим возмущением вырвавшегося из тисков умственной придавленности народа, ненависть к стране коммунизма водят пером престарелого лорда, толкают его к открытой пропаганде новой мировой войны.

«Я вижу, — писал Рассел уже несколько лет назад, — только одну надежду на сохранение цивилизации — смелую и более или менее империалистическую политику Соединённых Штатов в течение ближайших лет, до того, как другие страны будут иметь атомную бомбу».

Капитальный труд Рассела, носящий громкое название «История западной философии», и ряд его позднейших статей, опубликованных в английской печати, в частности брошюра «Values in the atomic

B. Russell. „A history of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day“. New York, London. (Бертран Рассел. «История западной философии в её связи с политической и социальной обстановкой от древних времён до наших дней». Нью-Йорк, Лондон).

age» («Ценности в век атома», Лондон, 1949), приняты на вооружение англо-американскими фашистами всех мастей. И немудрено. В своих «высоко-теоретических» трудах Рассел призывал к новой мировой войне и стремился доказать, что империализм представляет собой единственный пригодный для человечества общественный порядок. Противоречия капиталистического общества Рассел старается преподнести как основные противоречия всей мировой истории. Он анализировал философию античного мира, средних веков, нового времени, чтобы при помощи множества философских трюков, демагогической лжи, софистики и лицемерия ещё раз попытаться убедить наивных читателей в ненужности и бесцельности борьбы с отжившим капиталистическим порядком.

Основные положения этой книги сводятся примерно к следующему: мир нереален, наука бессильна, человек ничтожен и беспомощен перед лицом загадочных закономерностей, управляющих вселенной; поэтому не следует полагаться на свой разум, а должно смириться и безропотно подчиняться существующему в капиталистическом обществе порядку, который, кстати, вполне устраивает самого лорда Рассела. Наука якобы не может ничего сказать о законах объективного мира, и прежде всего о законах общественной жизни.

Не случайно лорд Рассел, как и другие современные буржуазные философы, всячески стремится развенчать науку и, прежде всего, науку об обществе. Не случайно он утверждает, что мир нереален и непознаваем, что над всем главенствует иррациональное начало, что человек — пылинка в космическом вихре. Научное познание общественных явлений, если познанием этим владеют трудящиеся, которые видят в нём средство изменения мира, просто опасно для столпов и идеологов империализма. Господа рэсселы и иже с ними прекрасно понимают, что познать мир общественных отношений, мир капитализма, означает для трудящихся — преобразовать этот мир, то есть ликвидировать капиталистический общественный строй вовсе.

Найти противоядие против марксистской философии, показывающей, как изменить,

преобразовать общественный мир, — таково основное задание, полученное Рэсселом и его коллегами от их империалистических заказчиков.

Рэссел почитает разум! Но только при двух условиях: во-первых, «разум» должен вызывать у человека неуверенность, отчаяние, неопределённость (в противном случае выводы разума превращаются для Рэссела в «догму»); во-вторых, разум должен являться достоянием одиночек.

И «социальный порядок», удовлетворяющий Рэссела, должен также отвечать прежде всего одному условию: он должен поощрять существование и произвол отдельных «свободных индивидов», то есть немногих избранных, принадлежащих, разумеется, к «высшим слоям общества», — тех самых индивидов, чей «разум» заключается в освобождении от всякой социальной ответственности, в животном эгоизме. Образец такого «порядка» — строй империалистических государств.

Голос Рэссела дрожит от восхищения, когда он описывает буйства (по его мнению — проявления свободы личности и разума) западных феодалов. «Какой был смысл покорять мир, если нельзя пить, убивать и любить так, как хочется!»

Лейб-философ английского империализма злобно нападает на коммунизм якобы во имя защиты личности. Для Рэссела немислимо единство личных и общественных интересов. Основным «социальным» конфликтом всей человеческой истории, определяющим, по его утверждению, борьбу и различия множества философских систем, является конфликт между общественными отношениями и личной свободой, между порядком и анархией. Но неверно было бы предполагать, что Рэссел — поборник анархии. Когда речь идёт о капиталистическом строе, он за порядок! Тут на сцену вдруг выступает некий, оказывается, возможный компромисс между иррациональным общественным порядком и своеволием разума.

Интересна та ханжеская форма, которую Рэссел выбирает для пропаганды своих реакционных воззрений — поделка под «терпимость и широту взглядов». Рэссел надеется, что идеи современной реакции легче и быстрее будут усвоены в Англии под флагом традиционной английской «страсти к компромиссу», к золотой середине. Как

известно, английская «страсть к компромиссу» всегда, даже во времена Локка и Юма, фактически означала лишь обман трудящихся, подкуп их, морочение мнимыми уступками.

Современная английская буржуазия давно уже перестала пользоваться ширмой либерализма и «склонности к компромиссам». Орудием господства современных империалистов является реакция по всей линии, в том числе прямая и бешеная реакция в области философии. И всё же Рэссел пытается придать своей озлобленной фашиствующей пропаганде империализма благонамеренный вид, вид «свободомысленных» рассуждений. Его выдаёт только воинствующий реакционный характер предлагаемого им компромисса.

Наиболее удачным, наивысшим «философским синтезом» Рэссел объявляет... средние века — время господства инквизиции, костров, католической схоластики. Правда, и в этой эпохе он находит некоторые недостатки: идея, мол, хороша, да государство несколько слабо — и глубокомысленно добавляет: «Проблема длительного и удовлетворяющего социального порядка может быть разрешена лишь путём сочетания практического реализма Римской империи с идеализмом божьего града святого Августина».

Итак, деспотизм римских императоров, освящённый церковным мракобесием, — таков идеал, предлагаемый сэром Рэсселем. Терпимость, действительно, полная, способная объединить абсолютно всех — от Гитлера до Черчилля, от Черчилля до «философов» современного лейборизма.

Рэссел настойчиво твердит о «западной цивилизации», о «западном духе», развивая попутно нацистскую идейку о расовом превосходстве «западного» человека над «восточным».

Приветствуя стерилизацию, проводимую в США, он заявляет, что физический отбор недостаточен, необходимо принимать во внимание ещё и «духовную полноценность». Бред фашистских негодяев, повешенных в Нюрнберге, на все лады повторяется Рэсселом.

Не однажды лорд Рэссел уже выступал с пропагандой — устной и письменной — идеи всемирного правительства и мирового господства англо-саксов. Он повторяет эту гнилую космополитскую идейку и в своих

последних произведениях. Надо отметить, что президентское кресло в этом правительстве он без пререканий отдаёт Америке (что же делать, если аристократическая Англия ослабела и уже не в состоянии сама сорвать этот куш!). «Необходимость международного правительства, — беспартийно утверждает почтенный лорд, — ясна каждому, но, — сокрушается он, — на пути стоят национальные страсти».

Новая мировая война прославляется им, как единственный способ достигнуть желанного идеала. А идеал представляет собой следующее: «Конечно, после окончания войны у государств не будет другого выхода, как пойти на всё, что предлагает Америка». Рабство под эгидой американских монополий — вот к чему хочет Рассел склонить трудящихся. «В области политики, — угодливо разглагольствует он, — самое важное — это установление международного правительства — мера, которая, я ожидаю, будет осуществлена посредством управления миром Соединёнными Штатами... Единое правительство будет создано под эгидой Америки... создание единого всемирного государства осуществимо только путём силы».

В поисках мер спасения империализма лорд Рассел приходит к выводу, что «исцеление от кризиса, порождённого прошедшей войной, возможно лишь при помощи ещё более великой войны». Философствующий поджигатель войны не скрывает своей фанатической ненависти к Советскому Союзу, — он-то уже давно убеждал своих хозяев начать войну с Россией!

Рассел торопится, ибо мощь Советского Союза и прогрессивных сил всего мира растёт с каждым днём. Он предупреждает английских милитаристов, что они могут

выиграть только при условии, если война начнётся в ближайший срок. Он сигнализирует своим хозяевам о величайшей опасности, которая грозит им, — опасности назревающей революции и пробуждения сознания народных масс.

Можно открыть любое сочинение лорда Рассела на любой странице, и каждая страница расскажет читателю о страхе Расселов и их хозяев перед грядущим, об их ненависти к народам всех стран и прежде всего к стране социализма — авангарду прогрессивного, миролюбивого человечества.

Если бы из всех философских «трудов», сходящих с конвейеров англо-американских буржуазных философских фирм, остались только последние работы лорда Рассела, их было бы совершенно достаточно, чтобы во всей полноте представить себе облик современной англо-американской буржуазной философии. О ней можно сказать только словами Салтыкова-Щедрина: «Нет ничего опаснее, как изображение прохвоста, не сдерживаемого уздой... Однажды возбуждённое, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, повертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, — вот единственные цели, которые истинный прохвост признаёт достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Всё это мятётся, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в тёмную безрассветную даль».

*Кандидат философских наук
Л. ШЕРШЕНКО.*

★

Техника

Рассказы о русском первенстве

В русской дореволюционной литературе можно найти лишь немного примеров защиты приоритета отечественных деятелей

В. Болховитинов, А. Буянов, В. Захарченко, Г. Остроумов. «Рассказы о русском первенстве». Под общей редакцией В. Орлова. «Молодая гвардия», М. 1950.

науки и техники. Образцом выдающейся работы в этой области является труд проф. Б. Н. Меншуткина, посвящённый М. В. Ломоносову. Только при советской власти благородной задаче восстановления исторических заслуг замечательных людей в нашей стране стало уделяться должное внимание.

Книги, восстанавливающие правдивую историю науки и техники и предназначенные для молодёжи, имеют особое значение. Они призваны сыграть огромную воспитательную роль, показывая образцы высокого служения Родине и науке и одновременно разоблачая ложный приоритет некоторых иностранцев, похищавших русские изобретения у живых изобретателей или стремившихся отнять заслуженную славу у давно умерших. В связи с этим хочется ещё раз напомнить прекрасные слова товарища Сталина, сказанные им в беседе с президентом Академии наук Комаровым: «Молодёжь в особенности должна знать историю науки»¹.

Новая книга «Рассказы о русском первенстве», написанная коллективом авторов, относится к книгам, призванным выполнить эту важнейшую задачу.

Большим достоинством этой книги является её широкий диапазон, охватывающий и точные науки, и разнообразные отрасли техники, и военное дело, и геологию, и сельское хозяйство, и биологию, и медицину.

Читатель этой полезной и интересной книги почерпнёт из неё немало новых, ценных сведений. Он узнает о многих выдающихся русских деятелях науки и техники, не получивших должной оценки своих трудов при жизни, а затем несправедливо забытых. Приведём несколько примеров.

Имя М. Г. Павлова навеки связано с историей проникновения человеческой мысли в тайны строения вещества. А между тем это имя очень мало известно среди широких кругов читателей научно-популярной литературы. М. Г. Павлов ещё в начале прошлого столетия близко подошёл к некоторым важным современным представлениям о строении материи и первый в мире высказал предположение, что атомы построены из положительно и отрицательно заряженных частиц.

В этом же направлении работал и другой учёный Б. Н. Чичерин. В восьмидесятых годах XIX века он произвёл математический анализ таблицы Менделеева и создал планетарную модель атома.

К сожалению, говоря о Чичерине и его планетарной модели атома, авторы не отмечают, что другие высказывания Чиче-

рина носили реакционный идеалистический характер.

С гордостью узнаёт читатель о трудах Н. Кузнецова и А. Одинцова, которым принадлежит честь изобретения тепловоза. Созданный ими проект дизель-электрического локомотива мощностью в 2000 лошадиных сил был первым в мире проектом тепловоза, на который русские изобретатели 24 сентября 1905 года получили охранное свидетельство. Косность царских чиновников не дала возможности превратить талантливый проект в прекрасную машину.

Ни в одной из вышедших популярных книг не найдёт читатель имён А. М. Игнатьева, изобретателя нетупящегося инструмента — многослойных резцов, В. С. Пятова, разработавшего способ прокатки броневых плит, И. Тиме, К. А. Зворыкина, Я. Г. Усачёва — основоположников теории резания. В «Рассказах о русском первенстве» всем этим замечательным людям воздаётся должное. Их открытия описываются кратко, но ярко и выразительно.

В главе «Выдающиеся открытия» перед читателем встаёт из забвения интереснейшее изобретение студента-медика П. П. Княгининского, сконструировавшего первый в мире «автомат-наборщик» — автоматическую наборную типографскую машину. Автомат Княгининского появился в XIX веке — на два десятка лет раньше наборных машин — линотипа и монотипа.

В главах, посвящённых биологии, впервые в нашей литературе в обобщённой форме подаётся огромный материал о русском первенстве в той области, в которой сейчас во всём мире ведётся такая ожесточённая идеологическая борьба. Читатели узнают о предшественниках Дарвина — А. А. Каверзневе, Я. К. Кайданове и П. Ф. Горянинове — выдающихся русских учёных, посвятивших себя науке о жизни.

Бесспорной заслугой коллектива авторов является то, что им удалось в «Рассказах о русском первенстве» наглядно показать сложный процесс — эволюцию русских идей в науке и технике. Почти повсюду переброшен «мостик» от прошлого к настоящему. Авторы сумели в целом ряде случаев показать органическую связь работ русских учёных с современными выдающимися достижениями деятелей советской науки и техники. Великие идеи живут и развиваются в нашем народе, и нет разрыва ме-

¹ «Правда» от 10 февраля 1945 года.

жду гениальным творчеством Ломоносова и творчеством его далёких потомков.

Книга, двенадцать разделов которой охватывают огромный круг тем, написана как единое целое.

Каждый раздел книги вполне закончен. Он достаточно полно охватывает тему и в то же время тесно связан со всем содержанием «Рассказов». Это позволило об одном и том же учёном или инженере говорить в разных местах, ничуть не повторяясь. Например, материал о П. Л. Чебышеве — великом русском математике и механике — читатель найдёт и в разделе «Творцы точных наук», и в разделе «Творцы механики».

Язык книги образен и в то же время прост и лаконичен. «Рассказы» хорошо и своеобразно проиллюстрированы. Иллюстрации служат не только для «оживления» текста, не только помогают понять его, но во многих случаях являются как бы вторым текстом — второй книгой в рисунках.

У книг, создаваемых коллективом авторов, всегда есть то преимущество, что каждый из них пишет только о наиболее ему близком и знакомом. Вот почему, несмотря на охват большого количества разнообразных тем, книга не получается дилетантской, поверхностной.

Читая эту книгу, забываешь, что она написана четырьмя авторами, а не одним. Это явилось результатом того, что книга создана творчески спаянным коллективом.

«Рассказы о русском первенстве» вышли из редакционной «лаборатории» журнала ЦК ВЛКСМ «Техника — молодёжи», журнала, давно и успешно борющегося за приоритет отечественной науки и техники.

Естественно поэтому, что рецензируемая книга представляет особый интерес для молодёжи. В то же время «Рассказы» будут с интересом прочтены любым инженером или педагогом и безусловно окажут практическую помощь в их деятельности.

Есть в книге и отдельные недостатки.

Несмотря на значительный объём, содержание книги недостаточно полно. Надо было найти место и для рассказов о русских зодчих, о метеорологах, об океанографах, о которых авторы почему-то забыли. Ничего не сказано, к сожалению, о приоритете В. К. Аркадьева в открытии магнитного резонанса, об открытии основных законов теории растворов Д. П. Коноваловым, о первенстве Н. А. Шилова на открытие цепных реакций, о первенстве Д. В. Алексеева на ценную теорию распространения пламени. Следовало бы дать более полно ссылки на первоисточники.

Закрываешь эту хорошую книгу с пожеланием увидеть обещанное в её предисловии продолжение — книгу о блистательных победах советской науки и техники.

Действительный член Академии наук БССР
Н. АКУЛОВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Октябрь—ноябрь 1950 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Капитал. Т II. 530 стр. Цена 15 р.

В. И. Ленин. Пролетарская революция и ренегат Каутский. 104 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. И. Ленин. Сочинения. Издание четвертое. Том 31. 546 стр. Цена 6 р. 50 к.

Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). Выпуск восьмой. Цена 60 р.

И. А. Гладков. Очерки строительства советского планового хозяйства в 1917—1918 гг. 362 стр. Цена 7 р. 50 к.

Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 32 стр. Цена 20 к.

П. И. Ляшенко. История народного хозяйства СССР. Том I. 656 стр. Цена 12 р. Том II. 736 стр. Цена 15 р.

Первый Всемирный Конгресс Странников Мира. Париж—Прага 20—25 апреля 1949 года. 536 стр. Цена 8 р. 50 к.

Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР. 32 стр. Цена 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Аргутинская, М. Повзе. Крылатые люди. Роман. Книга первая. 262 стр. Цена 7 р.

О. Баркова. Каждый день. Повесть. 384 стр. Цена 9 р.

В. Богатырёв. Хозяева земли. Поэма. 82 стр. Цена 2 р. 50 к.

В. Вишневский. Избранное. 336 стр. Цена 7 р. 50 к.

В. Закруткин. Пловучая станица. Роман. 354 стр. Цена 8 р. 50 к.

А. Караваева. Родной дом. Роман. 434 стр. Цена 10 р. 50 к.

Ю. Либединский. Горы и люди. Роман. 690 стр. Цена 15 р. 50 к.

В. Овечкин. Хозяева жизни. Повести и рассказы. 434 стр. Цена 9 р.

А. Первенцев. В Корею. 82 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Попов. На исходе ночи. Роман. 534 стр. Цена 12 р.

Г. Сарьян. Чудесное поколение. Поэма. Авторизованный перевод с армянского В. Звягинцевой и Я. Смелякова. 118 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. Телешев. Записки писателя. 356 стр. Цена 8 р. 50 к.

А. Толстой. Иван Грозный. Драматическая повесть в двух частях. 174 стр. Цена 4 р. 50 к.

С. Тока. Слово арата. Повесть. Перевод с тувинского. 180 стр. Цена 3 р. 50 к.

С. Тудор. День отца Сойки. Роман. Перевод с украинского. 238 стр. Цена 6 р.

С. Шаншиашвили. Пьесы. 398 стр. Цена 10 р.

Г. Эмин. Новая дорога. Стихи. Авторизованный перевод с армянского. 136 стр. Цена 2 р. 50 к.

И. Эренбург. Надежда мира. 98 стр. Цена 1 р. 50 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Шарлотта Бронте. Джен Эйр. Роман. Перевод с английского В. Станевич. 524 стр. Цена 9 р. 50 к.

Былины. 88 стр. Цена 1 р. 25 к.

Иван Вазов. Избранные произведения в двух томах. Том II. Под игом. Роман. Перевод с болгарского. 456 стр. Цена 9 р.

Александр Волошин. Земля Кузнецкая. Роман. 308 стр. Цена 7 р.

К. Гавличек Боровский. Сатира и статьи. Перевод с чешского. 160 стр. Цена 3 р. 50 к.

Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. 296 стр. Цена 6 р.

М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. Том 5. Повести, рассказы, очерки, стихи. 1900—1906. 496 стр. Цена 12 р.

Чарльз Диккенс. Жизнь и приключения Мартина Чезлвита. Роман. Перевод с английского. Том I. 496 стр. Цена 9 р. Том 2. 456 стр. Цена 8 р. 50 к.

Евг. Долматовский. Слово о завтрашнем дне. Книга стихов. 104 стр. Цена 2 р. 25 к.

В. Ильенков. Большая дорога. «Роман-газета» 9 (57). 56 стр. Цена 2 р. Окончание. «Роман-газета» 10 (58). 52 стр. Цена 2 р.

М. Исаковский. Избранное. 432 стр. Цена 10 р. 50 к.

Эм. Казакевич. Весна на Одере. Роман. 428 стр. Цена 9 р.

Любен Каравелов. Болгары старого времени. Повесть. Перевод с болгарского Т. Горбова. 96 стр. Цена 1 р. 50 к.

Вилис Лацис. Буря. Роман в трёх частях. Часть третья. 340 стр. Цена 7 р. 50 к.

В. Маяковский. О Ленине. Стихотворения. Поэмы. 192 стр. Цена 3 р.

Ги де Мопассан. Полное собрание сочинений. Том II. 408 стр. Цена 10 р.

Ги де Мопассан. Рассказы. Перевод с французского. 176 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем. Том IX. Критика и публицистика. 1841—1869. 840 стр. Цена 16 р.

Мартин Андерсен Нексе. Рассказы и статьи. Перевод с датского. 104 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Н. Островский. Пьесы. 240 стр. Цена 3 р. 50 к.

Ф. И. Панфёров. Бруски. Роман. Книги первая и вторая. 492 стр. Цена 9 р. Книги третья и четвёртая. 592 стр. Цена 10 р.

Акоп Паронян. Избранное. Составил и перевёл с армянского Я. Хачатрянц. 208 стр. Цена 5 р.

М. Пархоменко. Иван Франко и русская литература. 200 стр. Цена 3 р.

Эжен Потье. Избранное. Перевод с французского. 304 стр. Цена 8 р.

А. Пузиков. Оноре Бальзак. 64 стр. Цена 1 р.

А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в шести томах. Том 6. Историческая проза. 768 стр. Цена 15 р.

А. С. Пушкин в русской критике. Сборник статей. Вступительная статья и примечания В. Дорофеева и Г. Черемнина. 688 стр. Цена 13 р.

Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре. Перевод с грузинского Шалва Нуцубидзе. 244 стр. Цена 10 р.

Максим Рыльский. Собрание стихов. 1910—1950. Перевод с украинского под редакцией Бориса Турганова. 548 стр. Цена 14 р.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. 552 стр. Цена 8 р.

Жорж Санд. Избранные сочинения. Перевод с французского. 1 том. 824 стр. Цена 16 р.

И. Сергиевский. А. С. Пушкин. 192 стр. Цена 4 р.

А. Собкович. Иван Вазов. 64 стр. Цена 1 р.

С. М. Степняк-Кравчинский. Андрей Кожухов. Роман. 344 стр. Цена 5 р. 50 к.

Галактион Табидзе. Избранные стихи. Перевод с грузинского. 272 стр. Цена 6 р. 75 к.

Ваган Терян. Стихи. Перевод с армянского. 108 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Н. Толстой. Два гусара. Поликушка. После бала. 128 стр. Цена 2 р.

Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича. За что? 80 стр. Цена 1 р.

И. С. Тургенев. Затишье. 80 стр. Цена 1 р.

К. А. Федин. Первые радости. Роман. 352 стр. Цена 6 р. 50 к.

Назым Хикмет. Стихи. Перевод с турецкого. 192 стр. Цена 4 р.

Акакий Церетели. Пережитое. Второе переработанное издание. Перевод с грузинского Елены Гогоберидзе. 144 стр. Цена 4 р. 25 к.

Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения. 840 стр. Цена 29 р. 50 к.

Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений. Том VII. Статьи и рецензии. 1860—1861. 1096 стр. Цена 18 р.

А. П. Чехов. «Детвора» и другие рассказы. 96 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. П. Чехов. Юмористические рассказы. 128 стр. Цена 1 р. 75 к.

И. Щедрин (М. Е. Салтыков). Избранные произведения в семи томах. Том I. Губернские очерки. 388 стр. Цена 10 р. Том II. Помпадур и помпадурши. История одного города. 404 стр. Цена 10 р.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

А. Андросик, Н. Сабуров. Переработка плодов и овощей. 98 стр. Цена 2 р. 50 к.

М. Бокитко. Опыт механизации отделочных работ. 50 стр. Цена 1 р. 50 к.

Виноград в северных районах СССР. Сборник статей. Под редакцией С. М. Рубина. 242 стр. Цена 7 р. 75 к.

О произведениях классиков марксизма-ленинизма. Сборник статей. Выпуск I. 456 стр. Цена 9 р.

Ответы на вопросы трудящихся. Сборник. Выпуск IV. 66 стр. Цена 1 р. 25 к.

Споёмте, друзья. Сборник песен. 78 стр. Цена 1 р. 50 к.

ПРОФИЗДАТ

Анна Караваева. Родной дом. Роман. 416 стр. Цена 14 р. 25 к.

Н. Лопырев. Рабочий клуб. 76 стр. Цена 1 р. 75 к.

С. Митин. Новые резервы. 72 стр. Цена 90 к.

П. Никифоров. Памятка ревизионным комиссиям ФЭМК. 64 стр. Цена 1 р.

И. В. Смирнов. Живая известь. 64 стр. Цена 1 р.

ДЕТГИЗ

З. Александрова. Ветер на речке. Стихи. 12 стр. Цена 85 к.

А. Барто. Машенька. 16 стр. Цена 2 р. 50 к.

С. Баруздин. Кто построил этот дом. 16 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ф. Белкин. Наш колхоз. Стихи. 22 стр. Цена 3 р.

И. Василенко. Артёмка. 224 стр. Цена 7 р. 30 к.

Волшебное кольцо. Русские сказки. Пересказал А. Платонов. Под общей редакцией Мих. Шолохова. 128 стр. Цена 4 р.

П. Воронько. Цветущий край. Перевод с украинского. 40 стр. Цена 50 к.

С. Георгиевская. Рассказы. 24 стр. Цена 30 к.

С. Григорьев. Александр Суворов. Историческая повесть. 352 стр. Цена 11 р.

В. Грусланов и М. Лободин. Шпага Суворова. Из рассказов историка. 148 стр. Цена 6 р. 90 к.

В. Гюго. Девяносто третий год. Сокращённое издание. Перевод с французского М. Шишмарёвой. 304 стр. Цена 4 р. 80 к.

М. Ефетов. Полсса чудес. 256 стр. Цена 8 р. 90 к.

Н. Захарович. Достижения мичуринцев в выведении новых сортов растений. 64 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Г. Короленко. История моего современника. Раннее детство и годы ученья. 232 стр. Цена 5 р. 85 к.

Лу Синь. Родное село. Перевод с китайского. 72 стр. Цена 2 р.

С. Маршак. Лесная книга. 22 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Михалков и А. Пахомов. Важные дела. 16 стр. Цена 1 р. 55 к.

Б. Раевский. У костра. Стихи. 24 стр. Цена 1 р.

Л. Рахманов. Яблочков. 84 стр. Цена 3 р.

А. Рылов. Когда это бывает. 16 стр. Цена 2 р. 60 к.

Стихи о Ленине и Сталине. 80 стр. Цена 1 р. 65 к.

Н. Тихонов. Рассказы. 84 стр. Цена 2 р. 60 к.

Г. Тушкан. Разведчики зелёной страны. Научно-фантастическая повесть. 544 стр. Цена 15 р. 30 к.

Е. Чарушин. Что за зверь? 72 стр. Цена 2 р. 55 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Б. Изюмский. Начало пути. Записки офицера-воспитателя. 198 стр. Цена 6 р.

А. В. Карасёв, Г. И. Оськин. Дмитрий Донской. 62 стр. Цена 1 р.

Ф. П. Кошелёв. Великие победы советского народа в борьбе за послевоенную сталинскую пятилетку. 112 стр. Цена 2 р. 15 к.

Р. Куницкий. День и ночь. Времена года. Издание 2-е. 32 стр. Цена 50 к.

И. Ф. Полак. Строеие вселенной. Издание 2-е. 40 стр. Цена 60 к.

Говард Фаст. Кларктон. Роман. Перевод с английского. 152 стр. Цена 2 р.

Ф. Честнов. Радио сегодня. 208 стр. Цена 5 р.

Н. Шпанов. Поджигатели. Роман. 922 стр. Цена 22 р.

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Соколов. Малая земля. Записки участника десанта. 88 стр. Цена 1 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

С. П. Алексеев. Исследование шумов города Москвы. 104 стр. Цена 5 р.

Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. 380 стр. Цена 28 р.

Н. М. Волков. Принципы и методы картометрии. 326 стр. Цена 23 р.

С. И. Вольфович. Пути современной химии. 58 стр. Цена 2 р.

Т. Н. Кары-Ниязов. Астрономическая школа Улугбека. 530 стр. Цена 18 р.

Б. Б. Кафенгауз. И. Т. Посошков. Жизнь и деятельность. 188 стр. Цена 13 р.

В. В. Коршак. Химия высокомолекулярных соединений. 528 стр. Цена 39 р.

Е. Л. Кринов. Небесные камни. 78 стр. Цена 3 р.

С. Н. Крицкий и М. Ф. Менкель. Инженерно-гидрологические основы речной гидротехники 390 стр. Цена 28 р.

Н. С. Крылов. Работы по обоснованию статистической физики. 206 стр. Цена 13 р.

Д. М. Лебедев. География в России Петровского времени. 382 стр. Цена 21 р.

Материалы по истории отечественной химии. 270 стр. Цена 20 р.

Н. Н. Миклухо-Маклай. Собрание сочинений, т. 1. 414 стр. Цена 24 р.

В. А. Обручев. От Кяхты до Кульджи. 2-е издание. 270 стр. Цена 14 р.

В. Т. Пашуто. Очерки по истории Галицко-волинской Руси. 328 стр. Цена 18 р. 50 к.

П. Я. Полубаринова-Кочина. Жизнь и деятельность С. В. Ковалевской. 50 стр. Цена 2 р.

Б. И. Ростоцкий. К истории борьбы за идейность и реализм советского театра. 112 стр. Цена 6 р.

А. С. Серафимович. Исследования, воспоминания, материалы, письма. 342 стр. Цена 18 р.

Г. Л. Сергеева. Вопросы вины и виновности в практике по уголовным делам Верховного суда СССР. 184 стр. Цена 9 р.

Я. И. Френкель. Принципы теории атомных ядер. 294 стр. Цена 14 р. 50 к.

П. П. Шорыгин. Избранные труды. 544 стр. Цена 37 р.

Джерард Уинстенли. Избранные памфлеты. 380 стр. Цена 13 р.

ГЕОГРАФИЗ

Ежегодник советского альпинизма «Побеждённые вершины». 486 стр. Цена 13 р. 50 к.

Д. М. Затуловский. Как люди поднимаются на высокие горы. 72 стр. Цена 1 р. 15 к.

М. П. Петров. Подвижные пески. 454 стр. Цена 12 р.

И. Спирин. Покорение Северного полюса. 314 стр. Цена 7 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР

Н. Н. Бурденко. Собрание сочинений. Том V. 256 стр. Цена 16 р 20 к.

Б. И. Збарский, С. Р. Мардашев. Новые методы изучения белкового обмена. 24 стр. Цена 75 к.

М. Г. Сердюков, В. Ф. Снегирёв. Жизнь и научная деятельность. 268 стр. Цена 11 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Е. А. Адамович. Объяснительное чтение в начальной школе. 298 стр. Цена 7 р. 20 к.

Н. Н. Волков. Восприятие предмета и рисунка. 508 стр. Цена 20 р.

Л. Г. Добрынина. Выразительное чтение художественных произведений в начальной школе. 32 стр. Цена 70 к.

К. Н. Соколов. Записки учителя-биолога. 118 стр. Цена 4 р. 20 к.

В. И. Сорокин. Анализ литературного произведения в школе. 278 стр. Цена 10 р. 60 к.

В. Н. Шацкая. Музыка в школе. 174 стр. Цена 9 р. 40 к.

ГОСПЛАНИЗДАТ

И. Е. Кантышев. Вопросы экономики зерновых совхозов. 172 стр. Цена 6 р.

Организация внутризаводского хозрасчёта. Под редакцией Л. М. Кантора. 104 стр. Цена 2 р. 50 к.

Правые лейбористы на службе английского и американского империализма. 410 стр. Цена 12 р. 50 к.

МАШГИЗ

А. А. Абрикосов. Машиностроительное черчение и чтение чертежей. В помощь производственному обучению и самостоятельному повышению производственной квалификации. 140 стр. Цена 9 р 40 к.

М. А. Аранович. Организация потока на машиностроительном заводе. 126 стр. Цена 4 р. 40 к.

П. Я. Алянаки и др. Весомизмерительные приборы. 252 стр. Цена 12 р.

Б. Л. Богуславский. Многошпиндельные токарные автоматы и полуавтоматы. 574 стр. Цена 30 р.

Н. С. Бурмистров. Организация рентабельной работы машиностроительного завода. 140 стр. Цена 5 р.

В. А. Василевская, Л. А. Слуцкий. Стахановцы литейного цеха (ЗИС). 84 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. С. Виргинский. Замечательные русские изобретатели Фроловы. 152 стр. Цена 5 р. 30 к.

А. П. Владзиевский, М. О. Якобзон. Справочник механика. 496 стр. Цена 25 р.

А. К. Горошкин. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник конструктора. 278 стр. Цена 18 р. 40 к.

А. М. Даниелян. Резание металлов и инструмент. 452 стр. Цена 22 р.

М. Е. Зубцов. Технология холодной штамповки 464 стр. Цена 15 р. 80 к.

В. С. Квятковский, Н. М. Шапов и др. Малые гидротурбины. (Работы, удостоенные Сталинской премии.) 268 стр. Цена 19 р. 50 к.

Краткий справочник машиностроителя. Под редакцией А. С. Близнянского. 488 стр. Цена 23 р 40 к.

М. Я. Левицкий. Резьбофрезерование. 192 стр. Цена 10 р. 20 к.

Г. А. Матвеев. История отечественного котлостроения. 284 стр. Цена 16 р.

М. П. Павлов. Техника измерения скоростей и времени. 288 стр. Цена 14 р. 50 к.

Л. Я. Попилов, Л. И. Козловский. Электроискровая обработка металлов. 130 стр. Цена 5 р. 20 к.

Н. Н. Рыков. Резервы инструментально-го хозяйства машиностроительного завода 272 стр. Цена 11 р. 60 к.

Г. И. Самоль и И. И. Гольдблат. Газобаллонные автомобили. 212 стр. Цена 12 р.

А. А. Чеканов. Сварка металлов при низких температурах. 124 стр. Цена 7 р. 80 к.

Н. М. Юрьев. Организация ритмичной работы по графику. 112 стр. Цена 3 р. 60 к.

Л. Б. Януш, В. М. Панский и др. Конструкция и расчёт паровозов. Справочник. 390 стр. Цена 34 р. 50 к.

ГИЗЛЕГПРОМ

И. И. Капустин. Расчёт производительности обувных машин. 106 стр. Цена 4 р. 50 к.

И. И. Капустин. Резание и режущий инструмент в кожебумном производстве. 172 стр. Цена 10 р. 50 к.

В. М. Крюков. Проектирование хлопкопрядильных фабрик. 276 стр. Цена 10 р. 50 к.

М. М. Майзель, И. К. Квяткевич, Л. Г. Пин. Машины и аппараты кожевенного и мехового производства. 590 стр. Цена 20 р.

М. М. Пруслин. Новое отечественное оборудование. Швейная машина 27 класса. 68 стр. Цена 2 р.

А. Г. Севостьянов, А. В. Ефимов. Устройство, монтаж, ремонт и наладка ленточных и ровничных машин. 236 стр. Цена 10 р. 50 к.

М. И. Уаров. Книжно-журнальная и газетная корректура. 240 стр. Цена 7 р. 65 к.

К. В. Урнов. Электропривод полиграфических машин. 312 стр. Цена 11 р.

Н. В. Чернов. Курс технологии кожи. 172 стр. Цена 6 р. 60 к.

ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

Б. П. Аникин. Механизация лесоразработки. 320 стр. Цена 11 р. 65 к.

П. Л. Богданов. Ботаника. 358 стр. Цена 14 р. 80 к.

Г. П. Быстров. Спичечное производство. 448 стр. Цена 15 р.

С. Б. Виленц. Производство древесной массы. 216 стр. Цена 10 р. 75 к.

П. В. Воробанов. Ельники севера. 180 стр. Цена 11 р. 50 к.

Д. Д. Ерахтин и Е. И. Лопухов. Одноколейные ледяные дороги. 360 стр. Цена 20 р. 10 к.

И. И. Жаркой. Карманный справочник инженера леспромхоза. 82 стр. Цена 5 р. 85 к.

П. И. Лапин, Н. В. Никитин. Резервы увеличения производительности лесопильных заводов. 36 стр. Цена 1 р. 50 к.

Я. К. Лезитин и А. Ф. Хавин. Камские сплавы. 136 стр. Цена 5 р. 40 к.

Г. Ф. Морозов. Очерки по лесокультурному делу. 236 стр. Цена 14 р. 55 к.

В. Д. Огиевский и др. Сборник по лесоразведению. 160 стр. Цена 6 р. 95 к.

В. А. Падня и Г. С. Петухов. Механизация погрузки и разгрузки лесоматериалов на железнодорожном транспорте. 64 стр. Цена 2 р. 80 к.

ГОСЛИТИЗДАТ УКРАИНЫ

Я. Баш. Горячие чувства. Роман. 332 стр. Цена 10 р.

А. Шиян. Гроза. Роман. 330 стр. Цена 15 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА ВОСТОКА» (Ташкент)

Д. Брянцев. Конец осинового гнезда. 304 стр. Цена 10 р.

М. Кузовенко. Вслед за мечтой. 32 стр. Цена 75 к.

Н. Пулатов. К завственной цели. 22 стр. Цена 50 к.

КРЫМИЗДАТ

О. Джигурда. Теплоход «Кахетия». Подземный госпиталь. 271 стр. Цена 9 р.

А. Малин. Басни. 37 стр. Цена 2 р.

Херсонес-Корсунь. Путеводитель по раскопкам. 87 стр. Цена 2 р.

Я. Чугунин, В. Юганоза. Фенологический календарь по защите плодового сада от вредителей и болезней. 275 стр. Цена 9 р.

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

С. Залыгин. Северные рассказы. 80 стр. Цена 1 р. 70 к.

Сергей Залыгин. Оськин аргиз. Рассказ. 16 стр. Цена 40 к.

Ф. Крыжановский, И. Полянский, С. Дмитриев. На кирпичном производстве. (Опыт новаторов.) 24 стр. Цена 35 к.

А. Макаренко. Педагогическая поэма. 568 стр. Цена 18 р. 80 к.

С. В. Певзнер. Каким должно быть здоровое жилище. 32 стр. Цена 50 к.

С. В. Певзнер и М. Л. Ляхович. Гигиена колхозника и его семьи. 32 стр. Цена 50 к.

Ю. С. Салин. Что надо знать начинающему охотнику. 144 стр. Цена 2 р. 70 к.

Е. Стюарт. Про нашу Наташу. Стихи. 2-е издание. 48 стр. Цена 1 р. 50 к.

Вяч. Шишков. Угрюм-река. Роман. 440 стр. Цена 26 р. 75 к.

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Г. Гарин. Детство Тёмы. 136 стр. Цена 4 р. 75 к.

Н. Г. Гарин. Гимназисты. 236 стр. Цена 9 р.

О. Маркова. Улица сталеваров. Повесть. 152 стр. Цена 5 р. 10 к.

«Уральский современник» № 17. Альманах. 228 стр. Цена 7 р. 50 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

за 1950 год

★

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ. ПЬЕСЫ

Фёдор Гладков. Вольница, повесть. VII—3; VIII—9; IX—26.

Олесь Гончар. Два рассказа (из цикла «Юг»): Жаворонок; На дороге. Перевёл с украинского Л. Шапиро. XI—24.

Олесь Гончар. Микита Братусь, повесть. Авторизованный перевод с украинского Л. Шапиро. XII—44.

Георгий Гулиа. Чёрные гости. Историческая повесть. II—39.

Владимир Добровольский. Женя Маслова. Роман. I—8.

Любовь Кабо. За Днестром, роман. V—61; VI—5.

Александр Корнейчук. Калиновая роща. Комедия в четырёх действиях, пяти картинах. Перевод с украинского. VI—82.

Александр Крон. Кандидат партии, пьеса в 4-х действиях (6 картин). X—3.

Евг. Леваковская. Московская повесть. IV—5.

Василий Лозовой. В долине Стрипы. Рассказ агронома. Авторизованный перевод с украинского А. Константинова. II—117.

Владимир Матов. Синицы, рассказ. IX—128.

Юрий Нагибин. Покупка коня, рассказ. IX—109.

Дмитрий Осин. В середине лета, рассказ. IX—9.

Мих. Слонимский. Инженеры, роман. III—3.

Юрий Трифонов. Студенты, повесть. X—56; XI—49.

Павел Шабунин. Стахановцы, повесть. VII—108.

ПОЭМЫ И СТИХИ

Ласло Беньямин. Весна в Венгрии. Перевёл с венгерского Леонид Мартынов. Предисловие Анатоля Гидаша. II—166.

Дебора Вааранди. В прибрежном колхозе; Песня о болоте (Из поэтов советской Прибалтики). Авторизованный перевод с эстонского В. Журавлёва. VII—185.

Антанас Венцлова. На берегу Дуная (Из поэтов советской Прибалтики). Перевод с литовского Павла Антокольского. VII—188.

Самед Вургун. Мугань (Из поэмы). Перевела с азербайджанского А. Адалис. XI—41.

Василий Глотов. Возвращение, стихотворение. IX—126.

Семён Гудзенко. Дальний гарнизон. Поэма о пехотинце. II—3.

Фатмир Гята. Песня о партизане Бенко. Авторизованный перевод с албанского Д. Самойлова. VIII—178.

Ахмед Джамиль. Все народы встают! Перевёл с азербайджанского М. Светлов. XI—45.

Юрий Ефремов. Зодчий мира, стихотворение. VII—105.

Золтан Зелк. У могилы советского солдата. Перевёл с венгерского Леонид Мартынов. Предисловие Анатоля Гидаша. II—162.

Дьюла Ийеш. Кровельщики. Перевёл с венгерского Мих. Зенкевич. Предисловие Анатоля Гидаша. II—163.

Анатоль Имерман. Капитан. (Из поэтов советской Прибалтики). Перевод с латышского В. Алатырцева. VII—187.

М. Исаковский. Из венгерской народной поэзии: Подмастерье мельника; Расставанье; Прилети, прилети; Три сиротки; Назови меня мужем. II—169.

М. Исаковский. Два стихотворения: Детство; Хорошо весной бродится. III—124.

М. Исаковский. Наташа, стихотворение. VII—107.

Ференц Капоши. На деревянном блюде. Перевёл с венгерского Мих. Зенкевич. Предисловие Анатоля Гидаша. II—168.

Аркадий Кулешов. Только вперёд, поэма. Перевёл с белорусского М. Исаковский. XI—14.

Петер Куцка. Рукопожатье. Перевёл с венгерского Мих. Зенкевич. Предисловие Анатоля Гидаша. II—165.

Мих. Луконин. Ленин. Стихотворение. I—I.

Мих. Луконин. Дорога к миру, поэма. V—3.

Валдис Лукс. Золотые яблоки. (Из поэтов советской Прибалтики). Перевод с латышского Вл. Лифшица. VII—186.

С. Маршак. Из Роберта Верна: Шотландская слава; Был честный фермер мой отец; Подруга угольщика; Надпись на бумажных деньгах; Элегия на смерть Пэг Никольсон, лошади священника; Конец лета; Поцелуй; Горной маргаритке, которую я примял своим плугом; Песня раба-негра; Прощение Вруарских вод владельцу земель, по которым они протекают; Наш Вилли пива наварил; Ночной разговор; Там О'Шентер (поэма). Эпиграммы: Ответ «Верноподданым уроженцам Шотландии»; При посещении богатой усадьбы; Надпись на могильном камне; О черепе тупицы; О происхождении одной

особы. Переводы. Предисловие М. Морозова. I—241.

С. Маршак. Новые стихи. (Из книги «В дороге»): Вокзал; Школа на колёсах; Стихи о времени. IV—147.

С. Маршак. Годовщина. Надпись на скале, стихи. V—159.

С. Маршак. На страже мира, кантата. VIII—3.

Сергей Наровчатов. Тихий океан, стихотворение. VIII—8.

Дмитрий Осин. На Красной площади, стихотворение. IV—3.

Н. Рыленков. Пастух, поэма. IX—102.

И. Рядченко. Сверстник. Стихотворение. I—240.

Се Тин-юй. Письмо в Цзяннань. (Из китайских поэтов). Перевёл с китайского Л. Эйдли. IX—6.

Петер Силс. Певец. (Из поэтов советской Прибалтики). Перевод с латышского В. Шефнера. VII—188.

Алексей Сурков. Четыре стихотворения: «Гражданину мира»; Шираз; На Тегеранском базаре; Персидский залив. I—3.

Алексей Сурков. Из книги путешествий: Лондонский нищий; Типерери; Жалоба британца. Стихи. XII—87.

А. Твардовский. 22 июня 1941 года, стихи. VI—3.

Теофилис Тильвитис. Упыри. (Из поэтов советской Прибалтики). Перевод с литовского Павла Антокольского. VII—189.

Теофилис Тильвитис. На земле литовской, повесть в стихах. Авторизованный перевод с литовского М. Петровых. XII—3.

Тянь Цзянь. Правды великой весна. (Из китайских поэтов). Перевёл с китайского Л. Эйдли. IX—7.

Яков Ухсай. Облака, стихи. Перевод с чувашского Б. Иренина. X—179.

Михай Фазекаш. Мати Лудаш. Поэма. Перевёл с венгерского Николай Тихонов. Предисловие Анатоля Гидаша. II—172.

Владимир Фёдоров. Белгород, цикл стихов: 1. Памятник. 2. В розысках друга. 3. Молодой театр. 4. Хозяин лесов. 5. Девушка из слободки. 6. Первый шаг. 7. Моя землячка. 8. Тридцать лет спустя. 9. Наша родословная. 10. Улица юности. 11. Наш поэт. VI—73.

Владимир Фёдоров. Современники Стихи: 1. Парень из Буковины. 2. Час придёт. 3. Китайский подарок. 4. Призвание. 5. Братья. 6. Адмирал. XII—89.

Зейнал Халил. Ковёр девушек. Перевёл с азербайджанского Павел Шубин. XI—47.

Леонид Хаустов. Ровесница; Мы были с тобою рядом... Студентка; За околицей; На травах настоенный вечер... Стихи. X—53.

Яков Хелемский. Депутат, стихотворение. III—127.

Назым Хикмет. Стихи поэта коммуниста: Ночью идёт снег; Во времена султана Гамида; Двадцатый век; Грудная жаба. Перевёл с турецкого О. Савич. IV—150.

Цзан Кэ-цзя. Наша повозка мчится на фронт. Процаюсь с Чанъанью. (Из китайских поэтов). Перевёл с китайского Л. Эйдли. IX—4.

Геворк Эмин. Моим друзьям. Архитектору; Армении. Перевод с армянского В. Звягинцевой. Армянский танец; На Красной площади. Перевод с армянского М. Максимова. X—176.

Юрий Яковлев. Встреча года. Стихотворение. I—7.

Янь Чэнь. Наш самый дорогой товарищ. (Из китайских поэтов). Перевёл с китайского Л. Эйдли. IX—3.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. Артемьев. Черные рабы Америки. VII—192.

Б. Быховский. Современный фидензм. VI—185.

Юрий Жуков. Яд космополитизма. (Заметки о маршализованной литературе Франции). III—207.

Юр. Корольков. В Западной Германии. (Записки корреспондента). VI—133.

А. Твардовский. На хуторе в Туре-Фиорде. (Из норвежских записей). IX—136.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

С. Маршак. Заметки о мастерстве. XII—184.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Ив. Зыков. Рыбный Каспий. IX—151.

Ю. Капусто. Хлебоборьбы. IV—154.

Елена Нагаева. У нас в школе. V—161.

Геннадий Фиш. Лес в степи III—163.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Из писем учёного. IV—186.

Борис Завадский. Пять лет за океаном. (Из канадских записок). XII—94.

Захар Княшко. На Кубанской земле. (Записки председателя колхоза). Литературная запись Г. Новогрудского и А. Дунаевского. III—129.

П. Хрусталёв. Герой Советского Союза гвардии подполковник. На аэродромах американской авиации. (Из записок советского лётчика). II—182.

ЗА МИР, ЗА ДЕМОКРАТИЮ!

П. Ефанов. Корейские записки. XI—183.

Юр. Корольков. В новой Германии. (Записки корреспондента). XII—142.

Пабло Неруда. Наш долг. Перевела с испанского В. Кутейщикова. IV—199.

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

Ю. Милёнушкин. Новое в науке о жизни. VIII—182.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Анна Антоновская. Эпоха в кривом зеркале. (О романе К. Гамсахурдиа «Давид Строитель»). VII—231.

А. Бочаров. О советской лирической песне. VII—211.

Виктор Важдаев. Проповедник космоплатизма. Нечистый смысл «чистого искусства» Александра Грина. I — 257.

Акад. А. В. Винтер. Во имя коммунизма. XI — 3.

В. Ермилов. Советская литература — борец за мир. X — 180.

К. Зелинский. Расцвет литератур социалистических наций. IV — 220.

И. Зильберштейн. История одного шедевра. (К двадцатилетию со дня смерти И. Е. Репина). IX — 199.

Валентин Катаев. Марк Твен и Америка. (Доклад, прочитанный 26 апреля 1950 года на вечере, посвящённом сорокалетию со дня смерти Марка Твена, в Центральном Доме литераторов в Москве). V — 229.

Е. Ковальчик. Живая литература и мёртвая схема. V — 189.

Г. Ленобль. Советский читатель и художественная литература. VI — 204.

Т. Мотылёва. Черты прогрессивной зарубежной литературы. V — 204.

Т. Мотылёва. Литература демократической Германии. XI — 222.

В. Николаев. Их голос звучит в наши дни. VIII — 199.

К. Пигарев. Великий русский полководец. (К 150-летию со дня смерти А. В. Суворова). V — 181.

И. Реформатская. Новые книги о Маяковском. VIII — 210.

И. Рябов. Соль земли. (Мысли о выборах в Верховный Совет Союза ССР). III — 184.

М. Соловьёв. Некоторые вопросы истории среднеазиатских литератур. VI — 228.

Зинаида Троицкая. Под знаменем мира. III — 194.

Е. Усевич. Заметки о поэтике Маяковского. IV — 203.

Говард Фаст. Литература и действительность. Перевёл с английского П. Топер. XII — 213.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

В. Азаров. Стихи остаются в строю. («Стихи остаются в строю». Произведения поэтов, павших в боях за Родину). IV — 257.

В. Александров. Стихотворения Бо Цзюй-и (Бо Цзюй-и. «Четверостишия». Перевод с китайского, вступительная статья и комментарии Л. Эйдлина). V — 241.

В. Александров. Некрасовские тома «Литературного наследства». («Литературное наследство. Н. А. Некрасов». Тт. I, II, III). VIII — 244.

И. Араимев. По просторам Родины. (И. Соколов-Аликопов. «По лесам и горам»). VII — 257.

И. Араимев. Замыслы и свершения. (Вячеслав Лебедев. «Новый город». Повесть). IX — 234.

И. Афанасьев. Всепобеждающая новь. (Семен Бабаевский. «Свет над землей». Роман. Книга первая). VI — 248.

К. Буковский. Ясные характеры. (В. Павлова. «Ясный берег». Повесть). V — 234.

Н. Венгроз. Увлекательная профессия. (Ф. Вигдорова. «Мой класс». Из дневника молодой учительницы). V — 251.

Б. Галанов. Книга об американской школе. (Н. Кальма. «Дети горчичного рая»). IV — 266.

В. Гольцев. Садриддин Айни и его воспоминания. (Садриддин Айни. «Бухара». Воспоминания. Тома I и II. Перевод С. Бородина). IV — 253.

В. Городинский. Книга о музыкальном мире Пушкина. (А. Глумов. «Музыкальный мир Пушкина»). XI — 277.

Н. Грибачёв. С высокой трибуны. (Алексей Сурков. «Миру — мир!»). VI — 241.

Н. Грибачёв. Слово о друзьях. (Александр Гитович. «Стихи о Корее»). VIII — 234.

С. Григорьева. Поэмы Антона Велевича. (Антон Велевич. «Поэмы». Перевод с белорусского Александра Прокофьева). II — 241.

Д. Данин. Главное и подробности. (Николай Панов. «Повесть о двух кораблях»). IX — 245.

Д. Данин. Великий характер. (Юлиус Фучик. «Избранные очерки и статьи». Перевод с чешского). XII — 261.

Б. Дацюк, кандидат исторических наук. Роман, искажающий историю. (Григорий Мирошниченко. «Азов»). V — 237.

Б. Дацюк, кандидат исторических наук. Правда истории и литературные стилизации. (Валерий Язвицкий. «Иван III государь вся Руси». Исторический роман в четырёх книгах). VII — 253.

А. Дьяков, доктор исторических наук. Начало прозрения. (Бхабани Бхаттачария. «Голос». Перевод с английского). IV — 276.

С. Евгенов. Искатели чёрного золота. (Маиаф Сулейманов. «Тайна недр». Перевод с азербайджанского А. Садовского). IV — 259.

В. Жданов. Горький и Сибирь. («Горький и Сибирь». Сборник составлен С. Кожевниковым и А. Коптеловым. «М. Горький и сибирские писатели». Сборник воспоминаний. Составили С. Кожевников и А. Коптелов). X — 247.

Б. Закс. Плохие комментарии. (С. Т. Ансиков. «Избранные сочинения»). V — 243.

Б. Закс. В борьбе за мир. (Вадим Собко. «Залог мира», роман. Перевод с украинского Ц. Дмитриевой и Н. Тренёвой). XII — 240.

С. Ильичёва. Роман о Невельском. (Николай Задорнов. «К Тихому океану»). Роман. VII — 249.

Ю. Капусто. Книги старшего друга. (М. Прилежаева. «С тобой товарищи»). I — 285.

З. Кедрина. В творческой разведке. (Г. Муштафин. «Миллионер»). I — 275.

З. Кедрина. Искусство простоты. (Б. Полевой. «Золото»). VII — 246.

Л. Климович. Вопросы литературы народов СССР в первом томе Большой Советской Энциклопедии. («Большая Советская Энциклопедия». Том 1-й). XI — 262.

Е. Книпович. Весна в Европе. (Эм. Казакевич. «Весна на Одере»). II — 229.

Е. Книпович. Путь народного поэта. (Евг. Мозольков. «Янка Купала»). VI — 251.

- А. Коваленков.** Новая ступень. (Юрий Гордиенко. «Вчера и сегодня»). X—240.
- Е. Ковальчик.** Новый роман А. Коптяевой. (Антонина Коптяева. «Иван Иванович», роман). I—279.
- Е. Ковальчик.** Единство замысла. (Сергей Антонов. «По дорогам идут машины». Рассказы и очерки). XII—245.
- М. Козьмин.** Искры большевистских идей. (Мих. Соколов. «Искры»). XI—248.
- Б. Костелянец.** Новые люди Туликсаара. (Освальд Тооминг. «Зеленое золото». Роман. Авторизованный перевод с эстонского). X—244.
- С. Кругерская.** Два романа австралийской писательницы (К. Причард. «Девяностые годы». Сокращенный перевод с английского Г. Озерской и В. Станевич. К. Причард. «Золотые мили». Перевод с английского Т. Кудрявцевой и С. Серпинского). X—258.
- Е. Куук.** Главное недосказано. (В. Берце. «Первые одиннадцать». Авторизованный перевод с латышского Д. Глезера). XI—269.
- К. Лапин.** Люди, которыми должно гордиться. (К. Коничев. «Люди больших дел»). V—246.
- К. Лапин.** Книга об авторе «Конька-горбунка». (В. Утков. «Сказочник П. П. Ершов»). IX—248.
- К. Лапин.** Литературная критика на страницах молдавского журнала. (Журнал «Октябрь» («Октомврие») №№ 1—6 за 1949 год и №№ 1—3 за 1950 год). XI—272.
- А. Лацис.** Большая семья. (Ф. Наседкин. «Большая семья», роман). V—249.
- Г. Ленобль.** Слабая книга. (Всеволод Кочетов. «Кому светит солнце»). IV—262.
- Г. Ленобль.** Героинка повседневного труда. (Анатолий Рыбаков. «Водители», Роман). X—241.
- И. Липпан.** Пути венгерской интеллигенции. (Иван Болдижар. «Зимний поединок»). VIII—248.
- Ю. Лукин.** Творческий подвиг писателя. (Н. Вирюнов. «Воды Нарына»). VII—259.
- Ю. Лукин.** Страница новой жизни. (Виталий Закруткин. «Пловучая станция», Роман). IX—227.
- Ю. Лукин.** Голос братьев. («Поэзия борьбы и победы». Переводы с болгарского под редакцией Б. Шуплецова. Составители В. Злыднев и Д. Марков). XI—253.
- Г. Маргвелашвили.** Антология грузинской поэзии. («Поэзия Грузии»). VIII—225.
- Г. Маргвелашвили.** Неотвратима воля истории. (Мирза Ибрагимов «Наступит день». Роман. Перевод с азербайджанского А. Шарифа, литературно обработанный П. Лукницким). XII—248.
- С. Марголис.** В защиту мира. («В защиту мира»). Стихи советских поэтов). III—223.
- С. Марголис.** Две повести молодых писателей. (В. Резунов. «Новые берега». Повесть. А. Ливнев «Первооткрыватели». Повесть). VI—262.
- С. Марголис.** Обновленная жизнь. (Аскер Евтых. «Аул Псыбэ». Повесть). IX—255.
- М. Матусовский.** Поэзия непобедимого народа. («Современная корейская поэзия». Перевод с корейского). IX—223.
- М. Мендельсон.** Американские гангстеры в военной форме. (Стефан Гейм. «Крестоносцы». Сокращенный перевод с английского Н. Волжиной, Н. Дарузес и Е. Калашниковой). X—253.
- М. Мендельсон.** Макгрегоры вступают в борьбу за мир. (James Aldridge „The Diplomat“. Джеймс Олдридж. «Дипломат»). XI—256.
- Л. Михайлова.** Для детей и о детях. (Н. Артюхова. «Повести о детях»). VIII—236.
- А. Могиланский.** Об издании романа «Тысяча душ». (А. Ф. Писемский. «Тысяча душ»). IV—274.
- Дм. Молдавский.** Предания и были. (Мирсаид Миршакар. «Стихи и поэмы». Перевод с таджикского). III—227.
- Н. Москвин.** Щедрая схема. (Анатолий Вахов. «Сергей Сазонов»). IV—264.
- Н. Москвин.** Невоплощенный замысел. (Андрей Павлов. «Одна семья»). VIII—250.
- Т. Мотылёва.** «Фауст» в переводе В. Пастернака. (Иоганн-Вольфганг Гёте. «Избранные произведения». Составление, предисловие и комментарии Н. Вильмонта). VIII—239.
- А. Нечаев.** Русские богатыри. («Русские богатыри». Былины. Обработка для детей И. Карнаухова). IV—278.
- Вл. Николаев.** Повесть о молодости. (Александр Войченко. «Молодость»). II—236.
- Вл. Николаев.** Два памфлета Ярослава Галана. (Ярослав Галан. «Отец тьмы и присные». Перевод с украинского Вл. Росельса. Ярослав Галан. «На службе у сатаны». Перевод с украинского В. Тарсис). VIII—231.
- В. Николаев.** Очерки Ивана Рябова. (Иван Рябов. «Годы и люди»). IV—272.
- Лев Озеров.** Поэзия борьбы за мир. (Олександр Підсуха. «Я хочу миру». На украинском языке). II—232.
- И. Окунев.** Плоды сочинительства. (Борис Неволов. «Недра»). IX—250.
- Н. Онуфриев.** Новая книга о Велинском. («Велинский историк и теоретик литературы». Сборник статей) XII—256.
- А. Палладин.** Наука и буржуазное общество. (С. Розвал. «Лучи жизни». Роман). VII—243.
- В. Паннов.** Без чувства нового. (Иван Горюнов. «Золотинка». Рассказы). VI—260.
- В. Паннов.** Творческий отчет специального корреспондента. (П. Белявский. «Простые люди»). XI—265.
- В. Померанцев.** «Поездка на Рейн». (Максимилиан Шеер. «Поездка на Рейн». Сокращенный перевод с немецкого Н. Довгалева и Е. Чирковой). X—261.
- П. Пустовойт.** Две книги о Николае Островском. (Л. Розова и Е. Островская. «Н. Островский в школе». Н. Венгров и М. Эфрос. «Жизнь Николая Островского»). IV—268.
- Н. Разговоров.** Слова вдохновенной правды. (Jean Richard Block. „De la France trahie à la France en armes“. Жан-Ришар Блок. «От Франции проданной к Франции восставшей»). III—226.

Ф. Раппопорт. За боевой молодежный журнал. (Журнал «Смена». №№ 1—24 за 1949 год и №№ 1—9 за 1950 год). IX—232.

В. Розанов. Румынские писатели о советской литературе („Despre literatura si arta sovietica“. «О советской литературе и советском искусстве»). IV—280.

Е. Русакова. Начало пути. (О. Хавкин. «Всегда вместе»). IX—260.

К. Руткина. Поверхностные рассказы. (Алексей Шубин. Рассказы. М. Подобедов. Рассказы). IX—253.

Л. Сейфуллина. Роман о сибирской деревне. (Г. Марков. «Строговцы»). I—273.

Л. Сейфуллина. Необходимое и излишнее. (Е. Шереметьев «Посёлок Победа»). XII—252.

Ш. Скорино. Люди, которые приходят первыми. (А. Чаковский. «У нас уже утро»). III—219.

Н. Соколова. Судьба таланта. (С. Смирнов. «Династия Казанцевых»). I—282.

Н. Соколова. На лесной полосе. (К. Львова. «На лесной полосе»). III—222.

Ц. Солодарь. Голос честных людей Америки (В. Лавренёв. «Голос Америки»). Драма в 4 действиях, 6 картинах). I—277.

Е. Сурнов. Образ Богдана Хмельницкого. (Натан Рыбак. «Переяславская рада». Роман. Авторизованный перевод с украинского В. Турганова). VI—244.

Е. Сурнов. Подвиг Севастополя. (Б. Борисов. «Подвиг Севастополя»). IX—229.

Е. Сурнов. О правде вымысла. (Иосиф Колтунов. «Наступающий день», рассказы). XII—253.

А. Тарасенков. Труд и творчество. (Галина Николаева. «Жатва». Роман). X—235.

П. Топер. «Поэма о Человеке» (Kuba. „Gedicht vom Menschen“. Куба «Поэма о Человеке»). IX—238.

А. Турнов. Боевой жанр. (Сергей Васильев. «Взирая на лица. (Пародии, эпиграммы, иронические портреты)»). X—251.

Е. Усиевич. Книга об Исаковском. (В. Александров. «Михаил Исаковский». Критико-биографический очерк). VI—254.

Я. Фрид. Мишель Ронде и Этьен Лантье. (Andre Philippe. „Michel Rondet“. Roman historique. Андре Филипп. «Мишель Ронде». Исторический роман). VI—257.

Я. Фрид. «Розы возвращения» (Paul Tillard. „Les roses du retour“. Роман. Поль Тийар. «Розы возвращения». Роман). VIII—252.

Майор **В. Хабин.** Роман об армии героев. (А. Листовский. «Калёные тропы». Роман). II—234.

Александр Чаковский. На большой дороге. (В. Ильенков. «Большая дорога»). II—238.

Александр Чаковский. За мир! (Илья Эренбург. «За мир!»). VIII—222.

М. Эфрос. О наших детях. (Ю. Сотник. «Невиданная птица»). IX—257.

Б. Ярустовский. Тема и её воплощение. (А. Новиков. «Рождение музыканта»). IX—242

История. Борьба за мир. Международные отношения. Военная наука. Рабочее движение.

В. Азаров. Борец за демократическую Германию. (Вильи Бредель. «Эрнст Тельман». Главы из книги). VIII—263.

А. Александрова. Сын народа. (Морис Торрез. «Сын народа». Перевод с французского). VIII—254.

Проф. К. Базилевич. Древние повести о воинской славе. («Воинские повести древней Руси»). V—261.

Капитан 1-го ранга **А. Баковиков.** На морском охотнике. (Игорь Чернышёв. «На морском охотнике. Записки офицера»). VII—273.

С. Бахрушин, член-корреспондент Академии наук СССР. Новые страницы истории Сибири. (С. В. Киселёв. «Древняя история Южной Сибири»). IV—283.

Л. Безыменский. На путях к демократической Германии. (Walter Ulbricht. „Lehrbuch für den demokratischen Staats- und Wirtschaftsaufbau“ Вальтер Ульбрихт. «Опыт демократического государственного и хозяйственного строительства»). IX—262.

А. Беленький, кандидат исторических наук. «Нищие, сидящие на золотом мешке». (А. Волков. «Латинская Америка»). III—236.

Н. Габинский. Факты из истории Мексики. (Г. Паркс. «История Мексики»). VI—270.

Проф. **И. Галкин.** Исторические корни агрессии германского империализма. (А. С. Ерусалимский. «Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце XIX века»). IV—285.

Полковник **Н. Денисов.** СССР—родина парашютизма (Г. В. Залуцкий. «Изобретатель авиационного парашюта Г. Е. Котельников»). II—249.

Н. Дмитриев, член-корреспондент Академии наук СССР. Новый труд по истории культуры Азербайджана. (Гейдар Гусейнов. «Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане XIX века»). II—251.

А. Ерусалимский, доктор исторических наук. Книга об исторических судьбах латышского и эстонского народов. (Я. Зутис. «Остзейский вопрос в XVIII веке»). VII—262.

А. Иглицкий. Полезная брошюра о Корее. (В. В. Ковыженко. «Корея»). VIII—257.

В. Кириллов, кандидат технических наук, инженер-майор. Конструктор стрелкового оружия. (В. А. Дегтярёв. «Моя жизнь»). II—253.

Юр. Корольков. О чём же говорят немецкие генералы? (Liddel Hart. „The german generals talk“. Лиддел Гарт. «Что рассказывают немецкие генералы»). I—289.

Юр. Корольков. Признания шпиона-двойника. (H. V. Gisevius. „Bis zum bitteren Ende“. Г. В. Гизевинус. «До горького конца»). V—258.

П. Крайнов. Возрождение фашизма и милитаризма в Японии. («Мы обвиняем правительство Иосиды». (На японском языке). VII—270.

- П. Крайнов.** Столица народного Китая. (Н. Никитин. «Пекин»). X—266.
- В. Кремичев.** Правда о трагедии американского фермера. (Анна Рочестер. «Почему бедны фермеры». Перевод с английского). V—263.
- Л. Лагин.** Свидетельство очевидца. (Василий Кучерявенко. «В Америке. (Записки советского моряка)»). X—270.
- Б. Леонтьев.** Правда об «американском образе жизни» («Факты о положении трудящихся в США. (1947—1948 гг.)»). Перевод с английского Г. А. Владимирского). III—232.
- Б. Леонтьев.** Американский империализм и Ватикан. (М. М. Шейнман. «Идеология и политика Ватикана на службе империализма»). VIII—260.
- Б. Леонтьев.** Освободительная борьба народов Азии и планы империалистов. (Owen Lattimore. «The Situation in Asia». Оуэн Латтимор. «Положение в Азии»). XI—280.
- Л. Любимов.** Соревнование в невежестве и во лжи. («Nouveau Petit Larousse illustré». «Новый маленький иллюстрированный Ларусс»). VIII—271.
- Я. Макаренко.** Разоблаченный миф. («Pis'lat Polski Ludowej». «Пять лет народной Польши»). IV—287.
- В. Матвеев.** Враги прогресса. (J. Allen. «Atomic energy and society». Дж. Аллен. «Атомная энергия и общество»). IV—290.
- Д. Мельников.** Поворотный пункт в истории Европы. («Образование Германской демократической республики. Документы и материалы»). VIII—263.
- Р. Миллер-Будницкая.** «Я обвиняю поджигателей войны». (Eugene Dennis. «In defense of your freedom». Юджин Деннис. «В защиту вашей свободы»). VII—265.
- В. Минаев.** Американский легион — штурмовой отряд реакции. (Джастин Грей. Правда об Американском легионе). I—286.
- В. Минаев.** «Американское действие» в действии (Джон Л. Спивак. «Спасители» Америки). Перевод с английского). V—254.
- В. Минаев.** Америка без прикрас. (Н. Васильев. «Америка с чёрного хода». Очерки и зарисовки). VI—268.
- Л. Михайлова.** Подвиг Невельского. (В. Тренёв. «Путь к океану»). III—238.
- В. Мочалов.** В новой Болгарии. (Ф. Т. Константинов. «Болгария на пути к социализму»). I—291.
- В. Мочалов.** Югославия под пятой фашизма. («Jugoslavie pod botou fašizmu»). II—244.
- А. Недорезов.** Работы чехословацких историков. («Velká čijnová socialistická revoluce a naše národní svoboda». «Великая Октябрьская социалистическая революция и наша национальная свобода»). XI—285.
- В. Пашуто,** кандидат исторических наук. Новый труд о Золотой Орде. (Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский. «Золотая Орда и её падение»). IX—268.
- К. Сивков,** доктор исторических наук. Вождь крестьянства — Иван Болотников. (И. И. Смирнов. «Восстание Болотникова. 1606—1607»). V—256.
- Л. Славин.** Уолл-стрит и его дела. (Б. Розанов. «Уолл-стрит»). IV—292.
- Акад. Е. Тарле.** Заокеанские гитлеровцы. (Дж. Спивак. «Американский фашизм». Перевод с английского Д. Куниной). II—243.
- Акад. Е. Тарле.** Американские геополитики. (Ю. Н. Семёнов. «Фашистская геополитика на службе американского империализма»). III—230.
- Акад. Е. Тарле.** Могучий голос борцов за мир. (Журнал «Сторонники мира». («Les partisans de la Paix») №№ 1—9. 1949—1950). VI—265.
- Акад. Е. Тарле.** Трезвый голос американского публициста (Гершл Д. Мейер. «Неизбежна ли гибель Америки?» Перевод с английского И. Довгалева и Е. Романовой). XII—265.
- А. Трайнин,** член-корреспондент Академии наук СССР. За дело мира. (Marian Muszkat. «Zagadnienie energii atomowej a walka o pokój». Мариан Мушкат. «Проблема атомной энергии и борьба за мир»). X—264.
- М. Цунц.** Пятнадцать миллионов бесправных. (Гарри Хейвуд. «Освобождение негров». Перевод с английского Н. Яковлевой и И. Тихомировой). IX—264.
- М. Цунц.** Учёный-борец Фредерик Жолио-Кюри. (Michel Rouzé. «Frédéric Joliot-Curie»). XII—267.
- Е. Черняк,** кандидат исторических наук. Американские космополиты — поджигатели войны. (V. Nash. «The World must be governed». В. Нэш. «Мир должен быть управляем»). X—268.
- Ф. Шахмаонов.** Ватикан на службе Уолл-стрита. (Tibor Koeves. «Inside report on the new crusade». Авро Манхэттэн. «Ватикан. Католическая церковь — оплот мировой реакции»). I—293.
- М. Шифман,** доктор юридических наук. Дорога чести — дорога коммунистов. (Флоримон Бонт. «Дорога чести». Перевод с французского). VIII—269.
- А. Шпирт,** доктор экономических наук. Борьба империалистических держав за нефть. (Майкл Брукс. «Нефть и внешняя политика». Перевод с английского и вступительная статья И. Арсеньева). VII—268.
- Инженер-контр-адмирал А. Юровский.** Морская слава нашей Родины. (Генерал-майор Д. Корниенко, капитан 1-го ранга Н. Мильграм. «Военно-Морской флот советской социалистической державы»). II—247.

Философия

- Л. Шершенно,** кандидат философских наук. Бертран Рассел — лейб-философ английского империализма. (B. Russel. «A history of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day». New York, London. Бертран Рассел. «История западной философии»). XII—270.

Право

А. Полторак, кандидат юридических наук подполковник юстиции. На верном пути (Н. П. Фарберов. «Государственное право стран народной демократии»). VII—277.

И. Свешников, Буржуазное право — орудие реакции (М. Л. Шифман. «Буржуазная юстиция на службе реакции»). X—273.

В. Тадевосян, кандидат юридических наук. Советское законодательство о браке и семье. (Г. М. Свердлов. «Советское законодательство о браке и семье»). VII—275.

А. Трайнин, член-корреспондент Академии наук СССР. «Социализм строится на труде» (А. Е. Пашерстник. «Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих»). I—295.

А. Трайнин, член-корреспондент Академии наук СССР. В лабиринте английского права (К. Кенни. «Основы уголовного права». Перевод с английского). II—255.

А. Трайнин, член-корреспондент Академии наук СССР. Против поджигателей и преступников войны (М. Ю. Рагинский и С. Я. Розенблит. «Международный процесс главных японских военных преступников»). VI—272.

Партийная жизнь

Ф. Ревякин, секретарь партийного комитета металлургического завода «Серп и молот». Мастера политической агитации (В. Щепанский. «Массово-политическая работа на заводе»). III—241.

География

Акад. **Л. Берг**. Основоположник новой географии (И. и Л. Крупениковы. «Путешествия и экспедиции В. В. Докучаева»). III—244.

М. Буяновский, кандидат географических наук. По Советской Армении (Мариэтта Шагинян. «Путешествие по Советской Армении»). IX—280.

Н. Думитрашко, доктор географических наук. Ценная работа об Алтае (М. В. Тронов. «Очерки оледенения Алтая»). VIII—277.

А. Иглицкий. Русские путешественники в Африке (И. И. Бабков. «По Африке»). I—308.

Подполковник **П. Корзинкин**. Землепроходец XX века (Н. Волотников. «Никифор Бегичев»). II—263.

Д. Лебедев. Первые русские геодезисты на Тихом океане (О. А. Евтеев. «Первые русские геодезисты на Тихом океане»). XI—289.

Е. Лукашова, кандидат географических наук. Впечатления советского натуралиста (Л. Родин. «Пять недель в Южной Америке. Впечатления натуралиста»). VIII—279.

Сергей Марков. Дневники писателя-путешественника (Н. Г. Гарин. «Из дневников кругосветного путешествия. (По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову)»). II—261.

Э. Мурзаев, доктор географических наук. Книга исследователя Алтая (В. В. Сапожников. «По Русскому и Монгольскому Алтаю»). I—306.

Э. Мурзаев, доктор географических наук. Самая южная советская республика (П. Скосырев. «Туркменистан»). IV—293.

Э. Мурзаев, доктор географических наук. Исследование о Китае и Монголии (Г. Н. Потанин. «Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия»). IX—278.

Э. Мурзаев, доктор географических наук. Академик Иван Иванович Лепёхин (Н. Г. Фрадкин. «Академик И. И. Лепёхин и его путешествия по России в 1768—1773 гг.»). X—281.

В. Охтников. Повесть о приключениях смелой мысли (Л. Платов «Архипелаг исчезающих островов»). III—246.

А. Хавин. Заявка на большую тему (С. Николаев. «Камские просторы»). VIII—281.

Техника

Н. Акулов, действительный член Академии наук ВССР. Рассказы о русском первенстве (В. Волховитинов, А. Буянов, В. Захарченко, Г. Остроумов. «Рассказы о русском первенстве»). XII—272.

М. Голей, А. Горелов. Нерешённая задача (А. Антрушин. «Рассказы о русской технике»). XI—288.

А. Иглицкий. Создатель «огненной машины» (Н. Харджиев, В. Тренин. «Огненная машина. Повесть об Иване Ползунове»). II—259.

А. Иглицкий. Сталь во имя мира (В. Амосов. «Мы — советские сталевары»). Литературная запись И. Пешкина. VI—274.

А. Исаев. Россия — родина трактора (Л. Давыдов. «Родина трактора»). IX—275.

Проф. **В. Кузнецов**. Новое в строительной механике (П. З. Власов. «Общая теория оболочек и её приложение в технике»). III—243.

Проф. **В. Кузнецов**. Наука в помощь высотному строительству (Н. В. Корноухов. «Прочность и устойчивость стержневых систем»). VII—279.

Б. Ляпунов. Творцы русского ракетного оружия (М. Сонкин. «Русская ракетная артиллерия (Исторические очерки)»). I—300.

Ю. Милёнушкин, кандидат биологических наук. Страница истории русской науки (С. Л. Соболев. «История микроскопа и микроскопических исследований в России в XVIII веке»). VII—280.

А. Морозов. Сборник «Ломоносовские чтения» («Ломоносовские чтения. Современные проблемы науки и техники»). I—298.

А. Морозов. Голос моря (В. В. Шулейкин. «Очерки по физике моря»). VI—276.

В. Охтников. Путешествие в невидимый мир (М. Ильин. «Путешествие в атом»). I—296.

И. Пешкин. Школа новаторов (С. А. Павловский. «Каменщик Ф. Д. Шавлюгин». И. П. Ширков. «Мой опыт кирпичной кладки»). II—257.

А. Погребинский, доктор экономических наук. Роль Москвы в техническом прогрессе России (Н. И. Фальковский. «Москва в истории техники»). X — 276.

Н. Финкельштейн. «Мастерской сын» Козьма Фролов (Н. Я. Савельев. «Козьма Дмитриевич Фролов. Жизнь и деятельность замечательного русского изобретателя»). IX — 276.

Сельское хозяйство

И. и Л. Крупениковы. Завтрашний день наших степей (В. Журавский, Б. Мартынов. «Каменная степь»). I — 304.

И. и Л. Крупениковы. Труды виднейшего русского агронома (П. А. Костычев. «Почвы чернозёмной области России. Их происхождение, состав и свойства». В. В. Докучаев, П. А. Костычев, К. А. Тимирязев, В. Р. Вильямс. Избранные сочинения (Статья П. А. Костычева «О борьбе с засухами в чернозёмной области посредством обработки полей и накопления на них снега»). VI — 279.

Л. Крупеников. Народный опыт (А. К. Гопко. «Наступление на засуху»). IX — 270.

И. Хохлов. О роли пчёл в сельском хозяйстве (А. А. Климентов «Пчеловодство»). IX — 273.

Математика

Е. Рвачёва и Д. Мейзлер, научные сотрудницы Львовского отдела Института математики Академии наук УССР. Муза болтливости (Сергей Вобров. «Волшебный двурог»). I — 302.

Экономика

А. Погребинский, доктор экономических наук. Книга о народном хозяйстве Украины («Нариси розвитку народного господарства Української РСР», «Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР»). VIII — 274.

Медицина

Проф. **И. Кочергин**. Успехи советской хирургии (Н. А. Богораз. «Восстановительная хирургия», тома I и II). IV — 295.

Астрономия

В. Амбарцумян, президент Академии наук Армянской ССР. Новое в учении о Вселенной (Журналы «Известия Крымской астрофизической обсерватории» и «Доклады Академии наук СССР» за 1948 и 1949 гг.). — 266.

А. Михайлов, член-корреспондент Академии наук СССР. Достижения советской астрономии (Работы В. Амбарцумяна и В. Рикаряна в журналах «Сообщения Бюроисской обсерватории», «Доклады Академии наук Армянской ССР» и «Астрономический журнал»). III — 248.

Химия

А. Буянов. Крупное достижение советской химии («Доклады Академии наук СССР» и «Журнал общей химии». М. 1946—1949). VI — 281.

Акад. **С. Вольфович**, **В. Охотников**. Книга о великом русском учёном (О. Н. Писаржевский. «Дмитрий Иванович Менделеев»). IV — 297.

А. Капустинский, член-корреспондент Академии наук СССР. Капитальный труд по истории отечественной промышленности (П. М. Лукьянов. «История химических промыслов и химической промышленности России до конца XIX века». Под редакцией академика С. И. Вольфовича. Тт. I и II). VIII — 276.

Биология

Е. Русакова. Будущим преобразователям природы («Книга юного натуралиста». Составитель И. Халифман). X — 278.

Геология

Н. Шатский, член-корреспондент Академии наук СССР. Настольная книга советских геологов (В. А. Обручев. «История геологического исследования Сибири»). V — 265.

Археология

М. Левин, кандидат исторических наук. Открытие советских археологов и антропологов («Тешик-Таш. Палеолитический человек»). Труды Научно-исследовательского института антропологии под редакцией проф. М. А. Гремяцкого, доцента М. Ф. Нестурха). VI — 282.

Л. Липин, кандидат исторических наук. Книга о древнейшей истории Закавказья (В. В. Пиотровский. «Археология Закавказья с древнейших времён до I тысячелетия до н. э.» Курс лекций). X — 283.

Антропология

М. Салманович, кандидат исторических наук. На пороге новой науки (М. М. Герасимов. «Основы восстановления лица по черепу»). II — 265.

Библиотечное дело

А. Иглицкий. Величайшее книгохранилище мира (И. Романовский. «Книга и жизнь. Очерки о Государственной библиотеке СССР имени Ленина»). XI — 294.

Филателия

Б. Кривцов, кандидат технических наук. Маленькие документы большого значения (И. И. Дайхес. «О чём говорят советские почтовые марки»). VII — 282.

Физкультура и спорт

Михаил Ботвинник. Книга о М. Чигорине (Н. И. Греков. «М. И. Чигорин — великий русский шахматист»). II — 267.

Н. Зубарев, заслуженный мастер спорта. Успехи советских шахматистов («Турниры и матчи». Бюллетень Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР). XI — 292.

А. Иглицкий. Избранные партии чемпиона мира (М. М. Ботвинник. «Избранные партии, 1926—1946»). III — 250.

Книжные новинки

Декабрь 1949 года. I — 311.

Январь 1950 года. II — 269.

Февраль 1950 года. III — 253.

Март 1950 года. IV — 300.

Март—Апрель 1950 года. V — 269.

Апрель—Май 1950 года. VI — 285.

Май—Июнь 1950 года. VII — 285.

Июнь—Июль 1950 года. VIII — 284.

Июль—Август 1950 года. IX — 284.

Август—Сентябрь 1950 года. X — 286.

Сентябрь—Октябрь 1950 года. XI — 298.

Октябрь—Ноябрь 1950 года. XII — 275.



Главный редактор А. Т. Твардовский.
Редколлегия: М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов.

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
 Вход с улицы Чехова, 1.

Сдан в набор 1/XI-50 г.

А 53098.

Объем 18 печ. л.

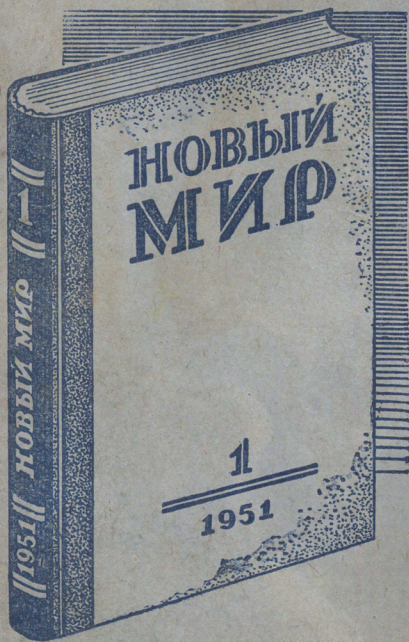
Тираж 104.000

Подписано к печати 20/XI-50 г

Заказ № 2411

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1951 год



НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

„НОВЫЙ МИР“



ЖУРНАЛ
„НОВЫЙ МИР“
ВЫХОДИТ
В ПЕРЕПЛЕТЕ
И БЕЗ ПЕРЕПЛЕТА

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 1951 год:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
В переплете	108 р.	54 р.	27 р.
Без переплета	84 р.	42 р.	21 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

„Союзпечать“, всеми почтовыми конторами и уполномоченными
железнодорожных издательств на транспорте

Цена 9 руб.